

НОВЫЙ  
МИР

12

---

1937

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**Д В Е Н А Д Ц А Т А Я**

**Д Е К А Б Р Ь**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 7**

Статформат Б5 176 × 250.

Уполю. Главлита Б-60170. Об'ем 18 печ. лист. по 64.000 знак. Техн. ред. О. Гуревич.

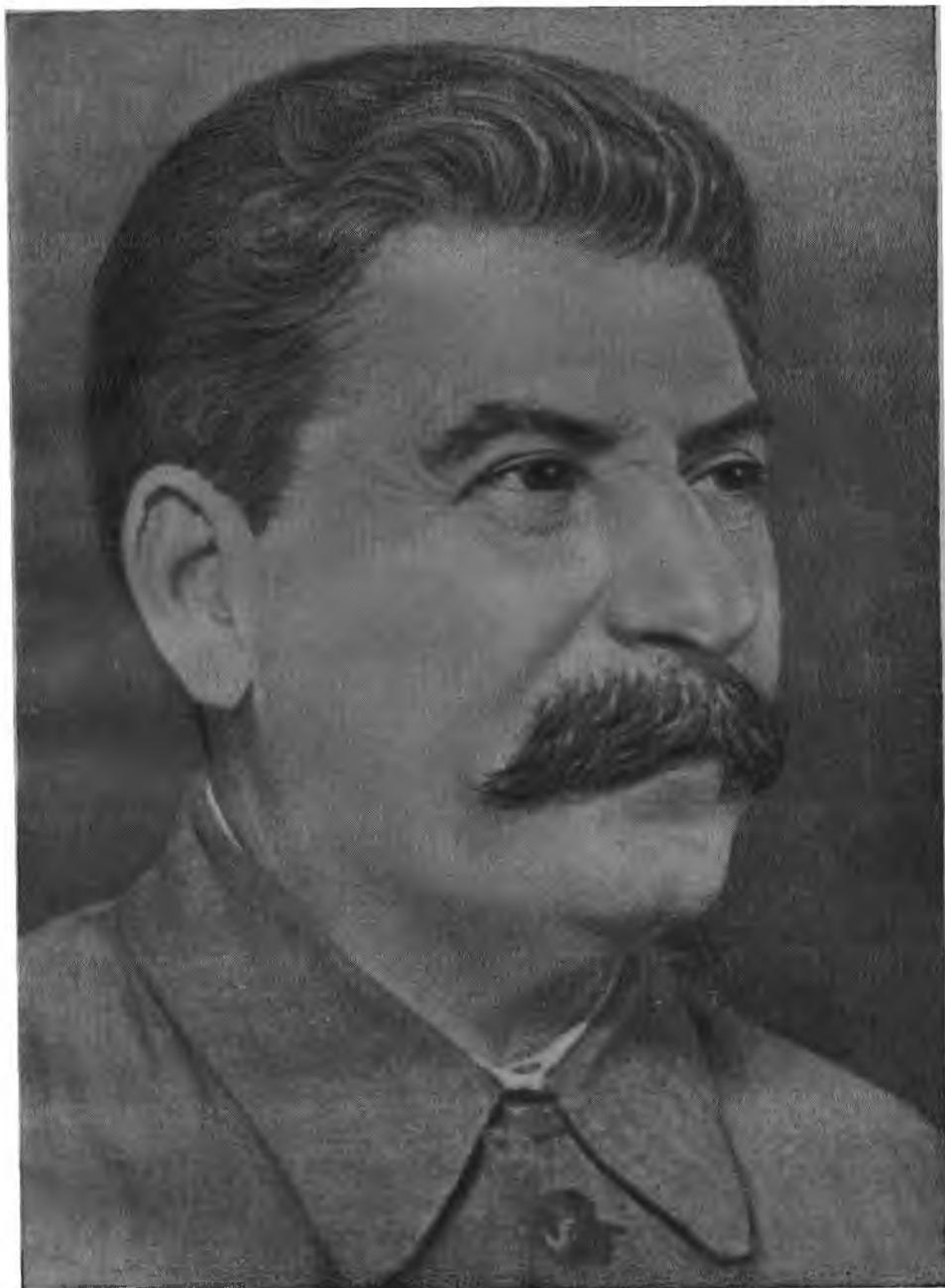
Одано в набор 15/XI-37 г. Подписано к печати 2/XII-37 г. Тир. 70.000 Зак. 2662.

Тип. им. тов. И. И. Ожворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВКЛАДКИ — портреты: И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,  
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, А. А. Андреева, А. И. Микояна,  
В. Я. Чубаря, С. В. Коснора, А. А. Жданова, Н. И. Ежова, **С. М. Кирова.**

	Стр.
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР . . . . .	5
ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ. — Привет вождю, <i>стихотворение</i> . . .	15
МИХ. ШОЛОХОВ. — Тихий Дон, <i>роман</i> , продолжение. . . . .	17
ДЖАМБУЛ. — Страна выбирает Верховный Совет, <i>стихотворение</i> .	52
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. — Друзья, <i>рассказ</i> . . . . .	54
В. ЗВЯГИНЦЕВА. — Ты выберешь лучшего друга страны, <i>стихо-</i> <i>творение</i> . . . . .	61
Н. НЕЗЛОБИН. — Стихотворения. . . . .	62
В. ЖУРАВЛЕВ. — Слово моей матери, <i>стихотворение</i> . . . . .	64
С. ДИКОВСКИЙ. — Случай в селе Грушевке, <i>рассказ</i> . . . . .	65
МИХ. РУДЕРМАН. — Счастье, <i>стихотворение</i> . . . . .	75
ПАВЕЛ НИЛИН. — Профессор Бурденко, <i>рассказ</i> . . . . .	76
Л. НИКУЛИН. — Дружба, <i>повесть</i> . . . . .	99
ШОТА РУСТАВЕЛИ. — Витязь в тигровой шкуре. ( <i>Отрывки из</i> <i>поэмы</i> ). Перев. Н. Заболоцкого, иллюстр. с карт. худ. С. Кабуладзе.	141
ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Энергия, <i>роман</i> , продолжение. . . . .	154
—	
ПЛАМЕННЫЙ ТРИБУН РЕВОЛЮЦИИ.—Памяти С. М. Кирова.	182
КАК МНЕ ГОРЕ МОЕ ВЫПЛАКАТЬ? —Перевод с мордовского.	183
—	
В. ГАВРИЛОВ. — Алексей Стаханов. . . . .	187
ТАТЬЯНА ШАПОВАЛОВА. — Я — дочь трудового народа. . .	193
Акад. И. М. ГУБКИН. — Моим избирателям. . . . .	197
И. ЭКСЛЕР. — Владимир Коккинаки. . . . .	209
А. ЭРЛИХ. — Посланцы советской литературы. . . . .	215
Б. ЛАПИН, Э. ХАЦРЕВИН. — Поездка в Карабах и Курдистан.	226
Л. МОРЕВ. — «Губерниальный староста». . . . .	235
—	
К. АЛТАЙСКИЙ. — Сталинская Конституция в песнях народов СССР. . . . .	239
Д. ДАНДУРОВ. — Руставели и современность. . . . .	245
КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ. — Шота Руставели и его поэма.	254
Е. ПАМФИЛОВА. — Сатира Некрасова . . . . .	263
ИВАН ЕВДОКИМОВ. — В музее А. М. Горького. . . . .	273
К. ГРИШИН. — Три книги о социалистической родине. . . . .	278
<b>СУЛЕЙМАН ИЗ АУЛА АШАГА-СТАЛЬ</b> . . . . .	283



**ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН**

**Генеральный секретарь Центрального Комитета ВКП(б).**

*Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Сталинскому избирательному округу гор. Москвы.*

*«Сердца наши полны законной гордостью за великую честь голосовать за того, кто неуклонно вел и ведет нашу страну по ленинскому пути, кто отстоял ленинизм в боях против всех врагов партии и народа, чье имя является боевым знаменем трудящихся всего мира, — за великого Сталина».*

*(Из обращения 125-тысячного митинга трудящихся Сталинского избирательного округа гор. Москвы).*

# Выборы в Верховный Совет СССР

**П**риближается великий исторический день—день выборов в Верховный Совет СССР — высший законодательный орган Советского государства. С огромным воодушевлением ожидает весь советский народ наступления этого дня. Стопроцентная явка к избирательным урнам — под этим лозунгом проходят десятки тысяч собраний в городах и селах, по всей необъятной стране Советов. Каждый избиратель проникнут сознанием важности предстоящего ему выполнения государственного акта — голосования за самых лучших, самых преданных делу социализма, вернейших сынов и дочерей советского народа.

12 декабря 1937 г. войдет в историю не только СССР, но и всего человечества как знаменательнейшая дата в развитии нового, социалистического общества. Предстоящие выборы будут происходить на основе Сталинской Конституции, навеки закрепившей гигантские достижения Великой Октябрьской Социалистической революции, Конституции, венчающей славный 20-летний путь борьбы и побед. Вот когда мечта лучших представителей человечества, высший идеал всех революционных народных движений—бессмертный лозунг «свобода, равенство и братство» претворен в жизнь. Вот когда торжествует подлинная демократия, а не тот на-

сквозь фальшивый буржуазный лжедемократизм, который «всегда сжат тесными рамками капиталистической эксплуатации и всегда остается поэтому, в сущности, демократизмом для меньшинства, только для имущих классов, только для богатых»<sup>1</sup>.

Вот когда торжествует подлинное равенство всех граждан социалистического государства, а не то фальсифицированное лжеравенство «между хозяином и рабочим, между помещиком и крестьянином, если у первых имеется богатство и политический вес в обществе, а вторые лишены и того и другого, если первые являются эксплуататорами, а вторые эксплуатируемыми»<sup>2</sup>.

Вот когда с особой силой непреложно звучат слова товарища Сталина о том, что «изменился в корне облик народов СССР... развилось в них чувство взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотрудничество народов в системе единого союзного государства»<sup>3</sup>.

Золотыми буквами на скрижалях истории записан Основной Закон первого социалистического государства. 5 декабря с. г. исполняется годовщина Великой Сталинской Конституции.

<sup>1</sup> Ленин. Соч., т. XXI, стр. 429

<sup>2</sup> И. В. Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 21. Партиздат 1936.

<sup>3</sup> И. В. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР, стр. 15. Партиздат. 1936.

Этот день недаром объявлен в Советском Союзе всенародным праздником. Может ли быть праздник радостнее, веселее, чем славный день, увековечивший новую Конституцию СССР!

Какое счастье, какая гордость быть гражданином социалистической родины, сознавать себя ее полноправным строителем, неустанно чувствовать ответственность за ее судьбы! Велика и прекрасна наша возрожденная родина с ее несметными богатствами, полноводными реками, недрами, изобилующими углем, нефтью, золотом, с ее плодородными колхозными полями, гигантскими фабриками и заводами, ее возникающими один за другим новыми городами — центрами мощной индустрии. Она развивается, растет, прогрессирует на благо населяющих ее народов. Полновластными хозяевами этой страны, построившей социализм, утвердившей новый, небывалый в истории, общественный строй, свободный от эксплуатации человека человеком, являются сами трудящиеся массы. Рабочие, колхозники, ученые, герои социалистического труда, ударники, стахановцы, пятисотницы, тысячники, летчики, писатели, художники, — все они непосредственные участники управления своим советским государством.

Какой величественный путь! Какие гигантские, победоносные итоги!

«Прошло не одно тысячелетие до так называемой «новой эры». Прошло еще свыше 1900 лет «новой эры», когда, наконец, нашлась революционная организация, которая повела трудящихся в бой против капитала, против власти буржуазии и помещиков. В 1917 году рабочие вместе с крестьянами разгромили своих угнетателей, захватив власть в свои

руки, установив диктатуру пролетариата в нашей стране»<sup>1</sup>.

Великая пролетарская революция уничтожила, разрушила старую, насквозь прогнившую, продажную, подкупленную, бюрократическую машину буржуазно-помещичьего государства. На ее месте она создала Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов — эти органы подлинно народной власти, эту политическую основу пролетарского государства.

«Советы есть прямое выражение диктатуры пролетариата, — писал товарищ Сталин. — Через советы проходят все и всякие мероприятия по укреплению диктатуры и строительству социализма. Через советы осуществляется государственное руководство крестьянством со стороны пролетариата. Советы соединяют миллионные массы трудящихся с авангардом пролетариата»<sup>2</sup>.

Через Советы, при помощи Советов миллионные массы трудящихся учились управлять государством, строить новую жизнь, социализм. Авангард рабочего класса — великая партия Ленина — Сталина вела их по этому славному пути. Нелегким был этот путь, но тем отраднее, тем радостнее оказались победы. Немало врагов пролетарского государства точило зубы, создавало препятствия, старалось внушить трудящимся неверие в свои силы. Враги народа, троцкистско-бухаринские шпионы — фашистские наемники, подлейшие убийцы верного ученика и соратника великого Сталина — народного трибуна Сер-

<sup>1</sup> Доклад В. М. Молотова на торжественном заседании в Большом театре 6 ноября 1937 года. См. «Правду» от 10 ноября 1937 г.

<sup>2</sup> И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 114 — 115, изд. 10-е.

гея Мироновича Кирова — гадили, вредили, предавали интересы народа. Но гады оказались раздавленными, их гнезда выкорчевываются, превращаются в прах. Враги Советского Союза потерпели поражение. Сколько их было разбито на полях сражений, на многочисленных фронтах! Сколько буржуазных жалких пророков обанкротилось! Прислужники капитала, предвещавшие гибель Советскому Союзу, должны были конфузливо ретироваться, разоблаченные действительностью. Под руководством славного сталинского наркома внутренних дел СССР товарища Ежова — работники НКВД неутомимо и беспощадно очищают нашу родную землю от всей троцкистско-бухаринской фашистской мрази — шпионов, диверсантов, вредителей. 20 декабря 1937 г. вся наша страна будет праздновать двадцатилетие ВЧК—ОГПУ—НКВД. Это будет всенародный праздник. Это будет демонстрация теснейшего единения между народом и его гордостью — могущественным и грозным коллективом работников НКВД — доблестных защитников социализма.

Советское государство крепнет и преуспевает с каждым днем. На практике самой жизнью проверялось учение Ленина—Сталина о построении социализма в одной стране. Социализм в СССР победил бесповоротно. Его преимущества над капиталистическим строем стали очевидны. Его блага ежедневно, ежечасно чувствуют на себе широчайшие массы Советского государства. Победоносные Сталинские пятилетки превратили отсталую, темную, нищую, забитую страну в передовую, культурную, мощную индустриальную державу. На колхозных полях, обрабатываемых при по-

мощи высокой техники, взошла новая жизнь. Оправдал себя, принес богатые плоды союз рабочих и крестьян, Все крепче становится связь хозяйственная и культурная между городом и деревней. Разве не характерными являются происходящие во многих местах сейчас объединенные предвыборные собрания представителей рабочих и служащих городских предприятий и совхозов или городской интеллигенции с представителями колхозов? Уже ощутимы становятся предпосылки коммунистического общества, в котором навсегда сотрутся грани между городом и деревней.

Новая Сталинская Конституция утвердила незыблемые законы, уже вошедшие в жизнь устои нового, социалистического строя: социалистическую собственность на орудия и средства производства, ликвидацию эксплуатации и эксплуатирующихся классов, ликвидацию безработицы, право на отдых, право на образование. Труд стал неотъемлемым правом и делом чести каждого работоспособного гражданина СССР.

Забил могучим ключом новый открытый родник. Пробудилась гигантская творческая энергия в широчайших народных массах необъятного Советского Союза. Вчера еще забитые, темные, угнетенные национальности сегодня показывают чудеса своего политического роста и культурного подъема. Появилось стахановское движение, выросла армия отважных строителей социализма, замечательных организаторов социалистического труда. Сколько славных имен—сталинских орлов—героев Советского Союза — вписано в историю

эпохи строительства социализма! Имена эти множатся с каждым днем, с каждым новым подъемом к высотам коммунизма.

В первый период Великой Октябрьской Социалистической революции Ленин говорил:

«Организаторских талантов в «народе», т.е. среди рабочих и неэксплуатирующих чужого труда крестьян, масса; их тысячами давил, губил, выбрасывал вон капитал, их не умеем еще найти, ободрить, поставить на ноги, выдвинуть — мы. Но мы этому научимся, если примемся — со всем революционным энтузиазмом, без которого не бывает победоносных революций, — учиться этому»<sup>1</sup>.

Прошло 20 лет, 20 лет бури и натиска, гигантской работы, небывалых достижений! Социалистическая экономика породила новые общественные отношения, нового человека, свободного, строящего для себя и для своих детей новую, счастливую жизнь. Не стало эксплуататорских классов. Ликвидирован класс капиталистов, нет больше кулаков, купцов, спекулянтов. Изменились, стали иными и оставшиеся классы: рабочий класс, класс крестьян, интеллигенция.

В своем историческом докладе о проекте новой Конституции, этом документе, который останется в веках как свидетельство пройденного человечеством нового рубежа — перехода к бесклассовому обществу, — товарищ Сталин говорил: «... грани между рабочим классом и крестьянством, равно как между этими классами и интеллигенцией — стираются, а старая классовая исключитель-

ность — исчезает. Это значит, что расстояние между этими социальными группами все более и более сокращается»<sup>1</sup>.

Великая Сталинская Конституция закрепляет все эти гигантские достижения, она открывает новую эру развернутой социалистической демократии, которая предоставляет всем трудящимся Советского Союза одинаковые права участвовать в управлении государством, сливая «государственный аппарат с миллионными массами», уничтожая «шаг за шагом всякое подобие барьера между государственным аппаратом и населением»<sup>2</sup>.

«Вся власть в СССР, — гласит Сталинская Конституция, — принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся». Это означает, что диктатура пролетариата приобретает еще более широкую и мощную базу (пусть враги Советского Союза не думают, будто Сталинская Конституция отменяет диктатуру пролетариата и руководящую роль коммунистической партии!); это означает, что избранный на основе Сталинской Конституции Верховный Совет СССР будет по-настоящему народным представительством, отражающим действительную волю и интересы трудящихся социалистической родины. Вот почему день 12 декабря — день выборов в Верховный Совет СССР — является поистине величественным всенародным праздником, который готовятся ознаменовать трудящиеся массы Советского Союза.

<sup>1</sup> И. В. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР, стр. 13. Партиздат. 1936.

<sup>2</sup> И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 149, изд. 9-е. Партиздат. 1933.

<sup>1</sup> Ленин. Соч., т. XXII, стр. 457.



**ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ**

**Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР.**

*Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Молотовскому избирательному округу гор. Москвы.*

*«Величайшее счастье для нас, избирателей Молотовского округа, отдать свой голос и свое доверие лучшему ученику и соратнику великих дел Ленина—Сталина, тому, кто всю свою сознательную жизнь отдал за интересы трудового народа, за дело коммунизма, — Вам, товарищу Молотов».*

*(Из обращения 80-тысячного митинга трудящихся Молотовского избирательного округа гор. Москвы).*



**ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ КАГАНОВИЧ**

**Секретарь Центрального Комитета ВКП(б), народный комиссар тяжелой промышленности СССР.**

*Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Ташкентскому-Ленинскому избирательному округу (Узбекская ССР).*

*«Мы считаем за счастье отдать Вам свои голоса и иметь своим депутатом в Верховном Совете ближайшего соратника великого Сталина, преданнейшего сына своей родины, стойкого и непоколебимого большевика, мастера сталинского стиля руководства, борца за социализм, за счастье всего советского народа».*

*(Из приветственного письма участников 100-тысячного митинга трудящихся Ташкентского-Ленинского избирательного округа товарищу Л. М. Кагановичу).*



Еще задолго до 12 октября — официального начала избирательной кампании — в нашей стране начался огромный политический подъем, стимулом к которому явился исторический доклад товарища Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов. Этот подъем достиг своего апогея во время самой избирательной кампании, которая проходит необычайно активно, демонстрируя творческий энтузиазм, сплоченность, единство и горячий советский патриотизм сынов и дочерей социалистической родины. Избирательная кампания с исключительной яркостью показала ту теснейшую, неразрывную, кровную связь, которая существует между широчайшими народными массами и партией большевиков. Пламенные речи выступающих на митингах, на многочисленных предвыборных собраниях рабочих, работниц, колхозников, служащих, красноармейцев и академиков свидетельствуют о беззаветной любви и безграничном доверии советского народа к коммунистической партии, к ее Сталинскому Центральному Комитету, к советскому правительству.

Трудящиеся СССР с исключительной тщательностью и вниманием намечали в качестве кандидатов в депутаты в верховный орган советского государства лучших патриотов нашей родины, самых верных, самых преданных, непоколебимых борцов за дело Ленина — Сталина, за счастье рабочих и крестьян, за социализм. И естественно, что кандидатура лучшего из лучших сынов социалистической родины, гениального руководителя и вождя ее, любимого друга тру-

дящихся товарища Сталина, оказалась на первом месте. За великого Сталина голосует вся Советская страна! Бесчисленное количество избирательных округов выдвинуло товарища Сталина своим первым депутатом в Верховный Совет. С какой беспредельной любовью повторялось и вторгается на предвыборных митингах и собраниях славное имя великого вдохновителя и организатора побед социализма!

Вот горячие слова обращения, адресованного Иосифу Виссарионовичу 125-тысячным митингом трудящихся Сталинского избирательного округа (г. Москва), баллотироваться в котором дал свое согласие товарищ Сталин:

«Сердца наши полны законной гордостью за великую честь голосовать за того, кто неуклонно вел и ведет нашу страну по ленинскому пути, кто отстаивал ленинизм в боях против всех врагов партии и народа, чье имя является боевым знаменем трудящихся всего мира, — за великого Сталина. Нашим голосованием мы выразим единодушную волю и стремление всех трудящихся нашей родины — СССР видеть Вас первым депутатом Верховного Совета...

Голосуя за Вас, товарищ Сталин, мы голосуем за счастливую, свободную, радостную, зажиточную жизнь миллионов нашей великой родины, мы голосуем за еще более замечательное будущее страны Советов.

Наше голосование поддерживается пролетариями и угнетенными народами всего мира, потому что в Вас, товарищ Сталин, сконцентрированы воля трудящихся к победе, могучая сила и неукротимый революционный энтузиазм пролетариев всех стран в

борьбе за всемирную пролетарскую революцию»<sup>1</sup>.

С огромным энтузиазмом трудящиеся Советского Союза в депутаты Верховного Совета СССР были выдвинуты соратники товарища Сталина, любимейшие и популярнейшие руководители нашей великой партии и правительства — товарищи Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян, Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Хрущев и другие члены ЦК ВКП(б).

Цвет рабочего класса, лучшие из лучших людей нашей страны, выдвинуты в кандидаты в Совет Союза и в Совет Национальностей. В подавляющем большинстве это новые люди, выросшие вместе с новой социалистической техникой, создатели и строители социализма, новое, замечательное сталинское поколение. Они вышли из самой гущи народной, закалялись в борьбе против всех и всяческих врагов социалистического строя, накопили громадный государственный опыт, и теперь они заслуженно призваны занять места избранников народа.

Кто они, эти кандидаты в высший орган советского государства. Это — плеяда Стахановых, Дюкановых, Коробовых, Изотовых, Кривоносов, Бусыгиных, Виноградовых, Демченко, Сметаниных, виднейших стахановцев социалистических предприятий и социалистических полей. Их имена известны и дороги каждому гражданину Советского Союза.

В числе кандидатов — представители нашей славной Красной армии, зоркого и могучего часового советских рубежей, командиры и рядовые бойцы красноармейских и красно-

флотских частей. Списки кандидатов украшают легендарные имена Героев Советского Союза, подвиги которых в Арктике, на воздушных просторах прогремели на весь мир, сказочные подвиги, воспетые народом в его гордых и радостных песнях. Громов, Чкалов, Водопьянов, Папанин, Байдуков — как много говорит нам каждое из этих имен.

В многочисленных округах будут баллотироваться лучшие представители советской интеллигенции: президент Академии Наук академик Комаров, инженер Коваленко, народный артист СССР Москвин, известные советские писатели: Алексей Толстой, Михаил Шолохов и другие. Народ выдвигает мужественных борцов за дело социализма, государственно мыслящих людей, понимающих всю ответственность грандиозных задач, стоящих перед их великой родиной.

Избирательная кампания явилась огромной политической школой для широчайших масс. Как разительно отличается эта избирательная кампания от продажных, демагогических, корруптированных предвыборных кампаний в капиталистических странах!

Советский агитатор, пропагандист избирательной кампании ставит своей задачей расширить кругозор своего избирателя, поднять его политический уровень, мобилизовать, активизировать его бдительность, обеспечить выборы лучших и верных представителей народа, парализовать малейшие попытки врага помешать выборам хотя бы на отдельном участке. Цель политического агента, ловкого дельца в избирательной кампании капиталистических стран, можно определить двумя словами: обмануть избирателя. Для этой цели политиче-

<sup>1</sup> См. «Правду» от 11 ноября 1937 г.

ский агент, купленный тем или другим кандидатом буржуазии, той или другой партией, пользуется всеми средствами: запугиванием, обманом, подкупом, провокацией и открытым физическим насилием.

Каким должен быть депутат, представитель советского народа в верховном законодательном органе нашей страны?

Сейчас на этот вопрос может ответить с полной ответственностью любой советский избиратель.

Тов. Н. Трусов, стахановец завода им. Кирова (б. «Динамо»), заявляет:

«Депутат должен ненавидеть врагов народа, как все мы, честные рабочие, ненавидим их, беспощадно бороться с ними и уничтожать их.

Наш депутат — это тот, кто кровно связан с массами. Он должен знать запросы масс и быстро откликаться на них. Наш депутат должен уметь организовывать массы вокруг большевистской партии и советской власти и вести их на дальнейшую борьбу за коммунизм».

«Кого я изберу в Верховный Совет СССР? — спрашивает тов. Н. Дворецкий, стахановец Московского автозавода им. Сталина. — Я изберу только испытанных людей, только таких, которых я хорошо знаю, у которых слова не расходятся с делом, которые кровно связаны со мной, рабочим, одной любовью к родине, к коммунистической партии, к нашему великому учителю товарищу Сталину. Мой депутат может быть только таким».

Как яркий солнечный весенний день от мрачной осенней ночи, отличается наш советский депутат, подлинный представитель народа, от продажных, беспринципных демагогов — пресло-

вутых парламентариев капиталистического мира. Социальный состав так называемых «народных представительств» в странах капитала — красноречивый список депутатов промышленников, финансовых тузов, банкиров, помещиков и титулованных особ — говорит сам за себя. О каких интересах трудящихся может идти речь в парламенте, где заседают зубры капитала, опытейшие и изощреннейшие мастера эксплуатации, отборные представители всех потогонных систем, где демократия служит лишь ширмой жесточайшего обмана избирателя. Цинизм современного парламентаризма не превзойден! За ним следует откровенный кулак фашистской кровавой диктатуры, превратившей выборы в отвратительный фарс.



Избирательная система в капиталистических странах с начала и до конца держится на обмане и надувательстве избирателя. Только отъявленные политические пройдохи, прожженные демагоги и продажные апологеты капитализма могут говорить о равенстве в странах капитала. «В конституции (буржуазной.—Р е д.) писалось о свободе, о равенстве. Это ложь. Пока есть трудящиеся, собственники способны и даже вынуждены, как собственники, спекулировать. Мы говорим, что равенства нет, сытый не равен голодному и спекулируют — трудящемуся..»

Это равенство (буржуазное.—Р е д.) давало господство в государстве капиталистическому классу»<sup>1</sup>.

Буржуазия чрезвычайно предусмотрительна: там, где конституция формально предоставляет избирательное

<sup>1</sup> Ленин, Соч. т. XXV, стр. 104—105.

право, законы, бесконечное юридическое крючкотворство аннулируют это мнимое равенство. В Советском Союзе неуклонное выполнение Сталинской Конституции обеспечивается специальным законом — «Положением о выборах в Верховный Совет СССР».

Какие только препятствия не стоят на пути избирателя, принадлежащего к классу трудящихся в капиталистическом государстве: и возраст, и пол, и цвет кожи, и имущественный ценз, и ценз оседлости, и степень грамотности.

Как снедаемый пороками, разбитый параличом, желчный, завистливый старик ненавидит юность, полную жизни и радости, так современная консервативная буржуазия на склоне дней своих боится молодежи, протестующей, недовольной, революционно настроенной. Миллионы трудящейся молодежи вовсе отстранены буржуазией от участия в выборах: возрастной ценз чрезвычайно высок в большинстве капиталистических стран.

Женщина лишена избирательного права в огромном числе даже буржуазно-демократических стран. В странах фашизма женщина полностью изгнана из общественной жизни. «Домашний очаг», восхваляемый фашистами, стал тюрьмой для германской трудящейся женщины.

Подлинным сарказмом звучит бахвальство буржуазии о равенстве, когда даже в такой передовой буржуазно-демократической стране, как Франция, избирательным правом пользуются лишь 11 с половиной миллионов человек при 42 миллионах населения. Таковы скудные итоги всех пышных слов и торжественных

обещаний, которые расточала на заре своей молодости французская буржуазия! В Англии — в стране прославленного парламентаризма — избиратель, владеющий недвижимостью или предприятием, по закону получает дополнительно второй избирательный голос. Лондонское Сити, это царство некоронованных королей — банкиров и финансовых тузов, — предоставляет 37 тысяч дополнительных голосов своим хозяевам.

Ценз оседлости — обычное средство урезывания избирательного права трудящихся в капиталистических странах. В статье «Политические софизмы», написанной в 1905 году, Ленин разоблачает в частности этот трюк заправил царской России. «Капитал перебрасывает рабочие массы из конца в конец страны, — писал Ленин, — лишает их оседлости, и за это рабочий класс должен терять часть своих политических прав!»<sup>1</sup>.

Изошренные формы принимают национально-расовые ограничения в избирательном праве капиталистических стран. В фашистской Германии «гражданином империи» может быть только «чистокровный ариец». Многочисленные народы колоний империалистических держав лишены избирательного права.

Мы могли бы до бесконечности умножать эти примеры, разоблачающие вопиющее социальное неравенство между эксплуатируемыми и эксплуататорами в капиталистическом мире. Подлинно чудовищный контраст со страной социализма являют собой страны, еще поработанные капиталом. Их путь за истекшие 20 лет — путь, обрешивший миллионы людей на страдания, нищету и вымирание, путь,

<sup>1</sup> Ленин. Соч., т. VII, стр. 245.

залитый кровью народной, освещенный заревом военных пожаров!

\*\*\*

Статья 135 Основного Закона СССР гласит: «Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав».

Женщины пользуются наравне с мужчинами правом избирать и быть избранными; наконец, избирательным правом наравне со всеми гражданами пользуются и бойцы Красной армии. В капиталистических странах буржуазия не допускает солдат к участию в выборах.

Избирательная система в Стране Советов — самая демократическая в мире, подлинно народная. Священно право гражданина Советского Союза. Нерушимо это право, ибо оно зиждется на всем экономическом и политическом укладе социалистического строя нашей страны.

Советский закон строго карает всякое нарушение порядка выборов, малейшее нарушение прав избирателя. Но не только государственные законы обеспечивают порядок советских выборов. Его обеспечивают политическая сознательность и социалистическая дисциплина советских избирателей.

В этой связи, однако, огромное значение приобретают предвыборная

агитация и пропаганда, а также организационные вопросы избирательной кампании, вырастающие до уровня крупной политической задачи. Не может быть самотека в избирательной кампании, ибо самотек может оказаться только на-руку вражеским элементам, которые пытаются навредить, воспользоваться головоутипством организаторов выборов на том или другом участке.

Ответственна и почетна роль агитатора, который должен донести до каждого избирателя конкретный, живой образ того достойного сына или дочери социалистической родины, за которых 12 декабря отдаст свой голос советский гражданин. Огромное поле деятельности открывается в предвыборной кампании и для советского писателя, литератора, журналиста. Его задача — довести до избирателя пламенное слово большевистской правды! Его задача — ярко и образно рассказать о жизни замечательных людей нашего времени, о скромных героях, о мужественных патриотах. Его задача — звать всех в день 12 декабря к избирательным урнам для голосования за этих замечательных людей нашей замечательной эпохи! Какие богатые возможности, какие блестящие перспективы открываются для творчества советского писателя! Какое счастье жить и работать в Сталинскую эпоху! Какое подлинное счастье ощущать, что ты служишь своему народу, своей родине!

\*\*\*

12 декабря — знаменательный день для трудящихся всего мира. Проводимые на основе Великой Сталинской Конституции выборы в Верховный Совет СССР имеют крупное между-

народное значение. Они с непобедимой силой свидетельствуют о гигантских достижениях Советского Союза, о крепости и непоколебимости утвердившегося социалистического строя, о преимуществах социалистического строя над строем капиталистическим.

Никаким врагам Советского Союза не удастся скрыть от трудящихся всего мира этой величественной эпопеи — строительства нового социалистического общества. «... то, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах, — уже осуществлено в СССР» (Сталин).

Успехи, достижения Советского Союза укрепляют веру трудящихся в их собственные силы, закаляют волю к борьбе, ненависть к классовому врагу. Трудящиеся в капиталистических странах на опыте Советского Союза все больше убеждаются в том, что «то, что осуществлено в СССР, вполне может быть осуществлено и в других странах» (Сталин). Ибо жизнь подтвердила правильность пути, намеченного великими гениями социалистической революции — Лениным и Сталиным. Гигантский опыт, увенчавшийся победой, способствует росту влияния коммунизма во всем мире.

Страна социализма, подлинной демократии, непоколебимой и последовательной политики мира, — СССР привлекает к себе глубочайшие симпатии всех народов, ненавидящих фашизм и войну. Советский Союз — символ борьбы с агрессорами, с фашистскими насильниками, поджигателями войны. Вокруг СССР сплываются все подлинные сторонники мира, в нем видят опору все ма-

лые нации и государства. «Мир нуждается в СССР» — образно выразился французский писатель Жан Кассу в своем приветствии к 20-летию Великой Октябрьской Социалистической революции.

Величественный путь борьбы, пройденный трудящимися Советского Союза, вдохновляет сейчас героических бойцов республиканской Испании. Великий пример Страны Советов воодушевляет китайский народ, объединяющийся ныне для борьбы с чужеземным насильником — японским агрессором. СССР — отечество всех трудящихся — самое драгоценное достояние всех народов мира.

«Мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания, и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного неистовства»<sup>1</sup>.

И недаром фашистская нечисть клопочет ненавистью против страны социализма. День 12 декабря — это еще одно яркое доказательство мощи и непобедимости Советского Союза. Это еще один суровый обвинительный приговор режиму эксплуатации, насилия и угнетения, царящему в странах капитализма.

С радостью, с величайшей гордостью ждут этого дня трудящиеся всего мира, взоры которых с любовью и надеждой обращены к великому Советскому Союзу, к его гениальному вождю — товарищу Сталину.

<sup>1</sup> Ленин. Соч., т. XXIII, стр. 109.

# ПРИВЕТ ВОЖДЮ

**ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ**

Одною шестою мира  
Мы владеем по праву.  
Незыблема наша свобода,  
Своры врагов сметены.

Великому Ленину слава!  
Великому Сталину слава!  
Народу Советскому слава!  
Слава героям страны!

Ленин сказал народу  
Слово Советской Власти,  
Ленин повел миллионы  
В славный Октябрьский бой.

Сталин, с тобою вместе  
Идем по дороге к счастью,  
В трудностях и победах  
Мы следуем за тобой.

Ты передал народу  
Свою богатырскую силу.  
Мы жмем твою крепкую руку  
Тысячью тысяч рук.

Все, что для нас в человеке  
Сердцу советскому мило, —  
Все мы в тебе обретаем,  
Любимый отец и друг.

Советскому человеку  
Доступны любые высоты,  
Доступны любые широты —  
И Север и дальний Юг.

Он всюду несет с собою  
Сталинскую заботу,  
И он побеждает с тобою,  
Любимый отец и друг!

Советского человека  
Не устрашат невзгоды  
И, если к нему из мрака  
Опасность рванется вдруг, —

Он встретит ее спокойно,  
Встретит, как сын народа,  
И он победит с тобою,  
Любимый отец и друг!

С тобой до последней победы,  
С тобой до последнего вдоха!  
Учи, непреклонный учитель,  
И мужеством нашим владей.

Мы время свое называем —  
«Сталинская эпоха».  
Пусть славится эта эпоха  
Могучих и честных людей!

---



**КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ ВОРОШИЛОВ**

**Народный комиссар обороны СССР, Маршал Советского Союза.**

*Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Минскому Городскому избирательному округу.*

*«...каждый из нас с величайшей радостью отдаст свой голос за Вас, Климент Ефремович, как за лучшего из лучших большевиков, верного сына нашей большевистской партии и великого трудового народа нашей страны, ближайшего соратника величайших людей нашей эпохи — В. И. Ленина и товарища Сталина».*

*(Из обращения 55-тысячного митинга трудящихся Минского Городского избирательного округа (Велорусская ССР).*



## **МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН**

**Председатель ВЦИК и ЦИК Союза ССР.**

**Кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР, баллотируется по Ленинградскому городскому избирательному округу.**

*«С исключительными способностями государственного деятеля товарищ Калинин организует массы на борьбу за развитие и укрепление пролетарского государства, за сплочение трудящихся всех национальностей, за счастье рабочих и крестьян нашей великой страны.*

*...за Михаила Ивановича Калинина, за боевого соратника Сталина, верного сына нашей родины, любимого всем народом, мы призываем голосовать избирателей Ленинграда!».*

*(Из обращения избирателей Кировского и Ленинского районов и собрания избирателей Красногвардейского и Выборгского районов ко всем избирателям Ленинграда).*

# Тихий Дон

Роман

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА XIV

На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка погнала к Дону быков, а Ильинична и Наталья проворно накрыли на стол.

Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как всегда, налила в большую общую миску.

Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на дарьину миску:

— Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она, что, не нашей веры стала?

— И чего тебе надо? Ешь!

Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбаясь:

— Ага, понимаю! С той поры, как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. Тебе что, Дашка, аль гребостно с нами из одной чашки хлебать?

— Не гребостно, а нельзя, — хрипло ответила Дарья.

— Через чего же это?

— Глотка болит.

— Ну, и что?

— Ходила в станицу, и фершал сказал, чтобы ела из отдельной посуды.

— У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?

Дарья побледнела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него:

— Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя! Прилипнет, как орпей, и отцепы от него нету!

— Да мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич, — по мне, вы хоть через край хлебайте.

С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щип, заорал дурным голосом:

— Подать не умеете, распроклятые! Кто такие щип, прямо с пылу, подает?!

— Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся, — утешила Ильинична.

Дуняшка чуть не пыркнула, глядя, как побагровевший отец выбирает из бороды капусту и кусочки картофеля, но лица остальных были настолько серьезны, что и она сдержалась, и взгляд от отца отвела, боясь некстати рассмеяться.

После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. 11 с. г.

вороха пахнувшего гнильцой сена, утаптывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед.

За курганом садилось солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удушливую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распутившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому степному пруду, переключаясь, летели чибисы.

Дарья лежала на покачивающемся возу вниз лицом, опираясь на локти, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат; на спокойном, чистом лице ее бродили медно-красные отблески. «Вот Наташка счастливая, у нее и муж, и дети, ничего ей не надо, в семье ее любят, а я—конченный человек. Издохну — никто и ох не скажет» — думала Дарья, и у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспреестанно думать о своей пропащей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность:

— Хочу, Наталья, повиниться перед тобою...

Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать и она вышла проводить его за ворота, и тогда так же горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи... Григорий отъезжал, полубернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой, девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца... Ей стало неприятно оттого, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехотя спросила:

— В чем виниться-то?

— Был такой грех... Помнишь, весной приезжал Григорий с фронта на побывку? Вечером в энтот день, помнится, я доила корову. Пошла в курень, слышу — Аксинья меня окликает. Ну, зазвала к себе, подарила, прямо таки навязала, вот это колечко, — Дарья повертела на безымянном пальце золотое кольцо, — и упросила, чтобы я вызвала к ней Григория... Мое дело, что ж... Я ему сказала. Он тогда всю ночь... Помнишь, он говорил, будто Кудинов приезжал и он с ним просидел? Брехня! Он у Аксиньи был!

Ошеломленная, побледневшая Наталья молча ломала в пальцах сухую веточку донника.

— Ты не сердчай, Наташа, на меня. Я и сама не рада, что призналась тебе...— искательно сказала Дарья, пытаясь взглянуть Наталье в глаза.

Наталья молча глотала слезы. Так неожиданно и велико было снова поразившее ее горе, что она не нашла в себе сил ответить что-либо Дарье и только отворачивалась, пряча свое искаженное страданием лицо.

Уже перед въездом в хутор, досадуя на себя, Дарья подумала: «И чорт меня дернул расквитить ее. Теперь будет целый месяц слезы точить! Нехай бы уж жила, ничего не знаючи. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше». Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала:

— Да ты не убивайся дюже. Эка беда какая! У меня горюшко потяжельше твоего, да и то хожу козырем. А там чорт его знает,—может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я же за ним не следила. А раз испойманый — значит, не вор.

— Догадывалась... — тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка.

— А догадывалась, так чего ж ты у него не допыталась? Эх, ты, никудышня! У меня бы он не открутился! Я бы его в такое щемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы!

— Боялась правду узнать... Ты думаешь — это легко? — блеснув глаза-

ми, заикаясь от волнения, сказала Наталья. — Это ты так... с Петром жили... А мне, как вспомню... как вспомню все, что пришлось... пришлось пережить... И зараз страшно!

— Ну, тогда позабудь об этом, — простодушно посоветовала Дарья.

— Да разве это забывается!.. — чужим, охрипшим голосом воскликнула Наталья.

— А я бы забыла. Дело большое!

— Позабудь ты про свою болезнь! Дарья рассмеялась.

— И рада бы, да она, проклятая, сама о себе напоминает! Слушай, Наташка, хочешь, я у Аксиньи все дочиста узнаю? Она мне скажет! Накажи господь! Нет такой бабы, чтобы утерпела, не рассказала об том, кто и как ее любит. По себе знаю!

— Не хочу я твоей услуги. Ты мне и так услужила, — сухо ответила Наталья. — Я — не слепая, вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ить не из жалости ты призналась, как сводничала, а чтобы мне тяжелее было...

— Верно! — вздохнув, согласилась Дарья. — Рассуди сама, не мне же одной страдать?

Дарья слезла с арбы, взяла в руки налыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На в'езде в проулок она подошла к арбе.

— Эй, Наташка! Что я у тебя хочу спросить... Дюже ты своего любишь?

— Как умею, — невнятно отозвалась Наталья.

— Значит, дюже, — вздохнула Дарья. — А мне вот ни одного дюже не доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось... Мне бы теперь сызнова жизнь начать — может, и я бы другой стала?

Черная ночь сменила короткие летние сумерки. В темноте сметывали на базу сено. Женщины работали молча, и Дарья даже на окрики Пантелея Прокофьевича не отвечала.

## ГЛАВА XV

Стремительно преследуя отступавшего от Усть-Медведицкой противника, об-

единенные части Донской армии и верхнедонских повстанцев шли на север. Под хутором Шашкиным на Медведице разгромленные полки 9-й Красной армии пытались задержать казаков, но были снова сбиты и отступали почти до самой Грязе-Царицынской железнодорожной ветки, не оказывая решительного сопротивления.

Григорий со своей дивизией участвовал в бою под Шашкиным и крепко помог пехотной бригаде генерала Сутулова, попавшей под фланговый удар. Конный полк Ермакова, ходивший по приказу Григория в атаку, захватил в плен около двухсот красноармейцев, отбил четыре станковых пулемета и одиннадцать патронных повозок.

К вечеру с группой казаков 1-го полка Григорий в'ехал в Шашкин. Около дома, занятого штабом дивизии, под охраной полусотни казаков, стояла густая толпа пленных, белея бязевыми рубахами и кальсонами. Большинство их было разутю и раздето до белья, и лишь изредка в белесой толпе зеленела грязная защитная гимнастерка.

— До чего белье стали, как гуси! — воскликнул Прохор Зыков, указывая на пленных.

Григорий натянул поводья, повернул коня боком; разыскав в толпе казаков Ермакова, поманил его к себе пальцем.

— Под'езжай, чего ты по-за чужими спинами хоронишься?

Покашливая в кулак, Ермаков под'ехал. Под черными негустыми усами его, на разбитых губах запеклась кровь, правая щека вздулась и темнела свежими ссадинами. Во время атаки конь под ним споткнулся на всем скаку, упал, и камнем вылетевший из седла Ермаков сажня два скользил на животе по кочковатой толоке. И он, и конь одновременно вскочили на ноги. А через минуту Ермаков, в седле и без фуражки, страшно окровавленный, но с обнаженной шашкой в руке, уже настигал катившуюся по косогору казачью лаву...

— И чего бы это мне хорониться? — с кажущимся удивлением спросил он, поровнявшись с Григорием, а сам смущенно отводил в сторону еще не поту-

шие после боя, налитые кровью, осатанелые глаза.

— Чует кошка, чью мясу с'ела! Чего сзади едешь? — гневно спросил Григорий.

Ермаков, трудно улыбаясь распухшими губами, покосился на пленных.

— Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты мне зараз загадки не задавай, все равно не разгадаю, я нынче с коня сторчь головой падал...

— Твоя работа? — Григорий плетью указал на красноармейцев.

Ермаков сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление:

— Вот, сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда же это они успели?.. Скажи на милость! Только-что от'ехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, растелешили бедных дочиста!..

— Ты мне дурочку не трепи! Чего ты прикидываешься? Ты велел раздеть?

— Сохрани господь! Да ты в уме, Григорий Пантелеевич?

— Приказ помнишь?

— Это насчет того, чтобы...

— Да-да, это насчет того самого!..

— Как же, помню. Наизусть помню! Как стишок, какие в школе, бывалоча, разучивали.

Григорий невольно улыбнулся, — перегнувшись на седле, схватил Ермакова за ремень портупей. Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира.

— Харлампий! Без шуток, к чему ты дозволил? Новенький полковник, какого заместо Копылова посадили в штаб, донесет, и придется отвечать. Ить не возрадуешься, как начнется волынка, спросы да допросы.

— Не мог стерпеть, Пантелеевич! — серьезно и просто ответил Ермаков. — На них было все с иголочки, им только-что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и дома с одежей не густо. А с них — один чорт — все в тылу посымали бы! Мы их будем забирать, а тыловая сволочь будет раздевать? Нет уж, нехай лучше наши попользуются! Я буду отвечать, а с меня взятки гладки! И ты, пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я

знать ничего не знаю и об этих делах сном-духом не ведаю!

Поровнялись с толпой пленных. Сдержанный говор в толпе смолк. Стоявшие с краю сторонились конных, поглядывали на казаков с угрюмой опаской и настороженным выжиданием. Один красноармеец, распознав в Григории командира, подошел вплотную, коснулся рукою стремени:

— Товарищ начальник! Скажите вашим казакам, чтобы нам хоть шинели возвратили. Явите такую милость! По ночам холодно, а мы прямо-таки нагие, — сами видите.

— Небось, не замерзнешь середь лета, суслик! — сурово сказал Ермаков и, оттеснив красноармейца конем, повернулся к Григорию. — Ты не сумлевайся, я скажу, чтоб им отдали кое-что из старья. Ну, сторонись, сторонись, вояки! Вам бы в штанах вшей бить, а не с казаками сражаться!

В штабе допрашивали пленного командира роты. За столом, покрытым ветхой клеенкой, сидел новый начальник штаба, полковник Андреянов — пожилой, курносый офицер, с густою проседью на висках и с мальчишески оттопыренными, крупными ушами. Против него, в двух шагах от стола, стоял красный командир. Показания допрашиваемого записывал один из офицеров штаба, сотник Сулин, прибывший в дивизию вместе с Андреяновым.

Красный командир — высокий, рыжеусый человек, с пепельно-белесыми, остриженными под ежик волосами, — стоял, неловко переступая голыми ногами по крашеному охрой полу, изредка поглядывая на полковника. Казаки оставили на пленном одну нижнюю солдатскую рубаху из желтой, неотбеленной бязи да взамен отобранных штанов дали изорванные в клочья казачьи шаровары с выцветшими лампасами и неумело приштопанными латками. Проходя к столу, Григорий заметил, как пленный коротким, смущенным движением поправил разорванные на ягодицах шаровары, стараясь прикрыть оголенное тело.

— Вы говорите, Орловским губвоенкоматом? — спросил полковник, корот-

ко, поверх очков взглянув на пленного, и снова опустил глаза и, прищурившись, стал рассматривать и вертеть в руках какую-то бумажку, — как видно, документ.

— Да.

— Осенью прошлого года?

— В конце осени.

— Вы лжете!

— Я говорю правду.

— Утверждаю, вы лжете!..

Пленный молча пожал плечами. Полковник глянул на Григория, сказал, пренебрежительно кивнув в сторону допрашиваемого:

— Вот, полюбуйтесь: бывший офицер императорской армии, а сейчас, как видите, большевик. Попался и сочиняет, будто у красных он случайно, будто его мобилизовали. Врет дико, наизво, как гимназистика, и думает, что ему поверят, а у самого попросту нехватает гражданского мужества сознаться в том, что предал родину... Бойтся, мерзавец!

Трудно двигая кадыком, пленный заговорил:

— Я вижу, господин полковник, у вас хватает гражданского мужества на то, чтобы оскорблять пленного...

— С мерзавцами я не разговариваю!

— А мне сейчас приходится говорить.

— Осторожнее! Не вынуждайте меня, я могу вас оскорбить действием!

— В вашем положении это так нетрудно и главное — безопасно!

Не обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника. «Здорово ощипал он полковничка!» — с удовольствием подумал Григорий и не без злорадства глянул на мясистые, багровые щеки Андреянова, подергивавшиеся от нервного тика.

Своего начальника штаба Григорий не взлюбил с первой же встречи. Андреянов принадлежал к числу тех офицеров, которые в годы мировой войны не были на фронте, а благополучно отсиживались по тылам, используя влиятельные служебные и родственные связи и знакомства, всеми силами цепенясь

за безопасную службу. Полковник Андреянов и в гражданскую войну ухитрился работать на оборону, сидя в Новочеркасске, и только после отстранения от власти атамана Краснова он вынужден был поехать на фронт.

За две ночи, проведенных с Андреяновым на одной квартире, Григорий с его слов успел узнать, что он очень набожен, что он без слез не может говорить о торжественных церковных богослужениях, что жена его — самая примерная жена, какую только можно представить, что зовут ее Софьей Александровной и что за ней некогда безуспешно ухаживал сам наказный атаман барон фон-Габбе; кроме этого, полковник любезно и подробно рассказал: каким имением владел его покойный родитель, как он — Андреянов — дослужился до чина полковника, с какими высокопоставленными лицами ему приходилось охотиться в 1916 году; а также сообщил, что лучшей игрой он считает вист, полезнейшим из напитков — коньяк, настоенный на тминном листе, а наивыгоднейшей службой — службу в войсковом интендантстве.

От близких орудийных выстрелов полковник Андреянов вздрагивал, верхом ездил неохотно, ссылаясь на болезнь печени; неустанно заботился об увеличении охраны при штабе, а к казакам относился с плохо скрываемой неприязнью, так как, по его словам, все они были предателями в 1917 году, и с этого года он всзненавидел всех «нижних чинов» без разбора. «Только дворянство спасет Россию!» — говорил полковник, вскользь упоминая о том, что и он — дворянского рода, и что род Андреяновых — старейший и заслуженнейший на Дону.

Несомненно, основным пороком Андреянова была болтливость, та старческая, безудержная и страшная болтливость, которой страдают некоторые словоохотливые и неумные люди, достигшие преклонного возраста и еще смолodu привыкшие судить обо всем легко и развязно.

С людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда испытывал к ним чувство глу-

бокого отвращения. На второй день после знакомства с Андреяновым Григорий начал избегать встреч с ним и днем преуспевал в этом, но, как только останавливались на ночевку, Андреянов разыскивал его, торопливо спрашивал: «Вместе ночуем?» — и, не дожидаясь ответа, начинал: «Вот вы, любезнейший мой, говорите, что казаки неустойчивы в пешем бою, а я, в бытность мою офицером для поручений при его превосходительстве... Эй, кто там, принесите мой чемодан и постель сюда!». Григорий ложился на спину, закрывал глаза и, стиснув зубы, слушал, потом неучтиво поворачивался к неугомонному рассказчику спиной, с головой укрывался шинелью, думал с немой яростью: «Как только получу приказ о переводе — лупану его чем-нибудь тяжелым по голове: может, после этого он хоть на неделю языка лишится!». «Вы спите, сотник?» — спрашивал Андреянов. «Сплю» — глухо отвечал Григорий. «Позвольте, я еще не досказал!» — и рассказ продолжался. Сквозь сон Григорий думал: «Нарочно подсунили мне этого балабона. Должно, Фицхелауров постарался. Ну как с ним, с таким ушибленным, служить?». И, засыпая, слышал пронзительный тенорок полковника, звучавший, как дождевая дробь по железной крыше.

Вот поэтому-то Григорий и злорадствовал, видя, как ловко пленный командир отделяет его разговорчивого начальника штаба.

С минуту Андреянов молчал; шурился; длинные мочки его оттопыренных ушей ярко пунцовели, лежавшая на столе белая, пухлая рука, с массивным золотым кольцом на указательном пальце, вздрагивала:

— Слушайте вы, ублюдок! — сказал он охрипшим от волнения голосом. — Я приказал привести вас ко мне не для того, чтобы пикироваться с вами, вы этого не забывайте! Понимаете ли вы, что вам не отвертеться?

— Отлично понимаю.

— Тем лучше для вас. В конце-концов мне наплевать, добровольно вы пошли к красным или вас мобилизовали.

Важно не это, важно то, что вы из ложно понимаемых вами соображений чести отказываетесь говорить...

— Очевидно, мы с вами разное понимаем вопросы чести.

— Это потому, что у вас ее не осталось и вот столько!

— Что касается вас, господин полковник, то, судя по обращению со мной, я сомневаюсь, чтобы честь у вас вообще когда-нибудь была!

— Я вижу — вы хотите ускорить развязку?

— А вы думаете, в моих интересах ее затягивать? Не пугайте меня, не выйдет!

Андреянов дрожащими руками раскрыл портсигар, закурил, сделал две жадных затяжки и снова обратился к пленному:

— Итак, вы отказываетесь отвечать на вопросы?

— О себе я говорил.

— Идите к чорту! Ваша паршивая личность меня меньше всего интересует. Потрудитесь ответить вот на какой вопрос: какие части подошли к вам от станции Себряково?

— Я вам ответил, что я не знаю.

— Вы знаете!

— Хорошо, доставлю вам удовольствие: да, я знаю, но отвечать не буду.

— Я прикажу вас выпороть шомполами, и тогда вы заговорите!

— Едва ли! — Пленный тронул левой рукой усы, уверенно улыбнулся.

— Камышинский полк участвовал в этом бою?

— Нет.

— Но вам левый фланг прикрывала кавалерийская часть, что это за часть?

— Оставьте! Еще раз повторяю вам, что на подобные вопросы отвечать не стану.

— На выбор: или ты, собака, сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! Ну?!

И тогда неожиданно высоким, юношески звучным голосом пленный сказал:

— Вы мне надоели, старый дурак! Тупица! Если б вы попались ко мне, я бы вас не так допрашивал!..

Андреянов побледнел, схватился за кобуру нагана. Тогда Григорий неторопливо встал и предостерегающе поднял руку.

— Ого! Ну, теперь хватит! Погугарили — и хватит. Обое вы горячие, как погляжу... Ну, не сошлись, и не надо, об чем толковать? Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово! Я и не ждал!

— Нет, позвольте!.. — горячился Андреянов, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру.

— Не позволю! — с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоняя собой пленного. — Пустое дело — убить пленного. Как вас совесть не зазревает намеряться на него, на такого? Человек безоружный, взятый в неволю, вон на нем и одежды-то не оставили, а вы намахиваетесь...

— Долой! Меня оскорбил этот негодяй! — Андреянов с силой оттолкнул Григория, выхватил наган.

Пленный живо повернулся лицом к окну, — как от холода повел плечами. Григорий с улыбкой следил за Андреяновым, а тот, почувствовав в ладони шероховатую рукоять револьвера, как-то нелепо взмахнул им, потом опустил дулом книзу и отвернулся.

— Рук не хочу марать... — отдышавшись и облизав пересохшие губы, хрипло сказал он.

Не сдерживая смеха, сияя из-под усов кипенным оскалом зубов, Григорий сказал:

— Оно и не пришлось бы! Вы поглядите, наган-то у вас разряженный. Ишо на ночевке, я проснулся утром, взял его со стула и поглядел... Ни одного патрона в нем, и нечищенный, должно, месяца два! Плохо вы доглядаете за личным оружием!

Андреянов опустил глаза, повертел большим пальцем барабан револьвера, улыбнулся:

— Чорт! А ведь верно...

Сотник Сулин, молча и насмешливо наблюдавший за всем происходившим, свернул протокол допроса, сказал, приятно картавя:

— Я вам неоднократно говорил, Семен Поликарпович, что с оружием вы обращаетесь безобразно. Сегодняшний случай — лишнее доказательство тому.

Андреянов поморщился, крикнул:

— Эй, кто там из нижних чинов? Сюда!

Из передней вошли два ординарца и начальник караула.

— Уведите! — Андреянов кивком головы указал на пленного.

Тот повернулся лицом к Григорию, молча поклонился ему, пошел к двери. Григорию показалось, будто у пленного под рыжеватыми усами в чуть приметной благодарной усмешке шевельнулись губы...

Когда утихли шаги, Андреянов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, желчно сказал:

— Вы блестяще защищали эту сволочь, это — дело ваших убеждений, но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение, — послушайте, что же это такое?

— Беда не дюже большая, — примитивно ответил Григорий.

— Нет, все же напрасно. А знаете ли, я бы мог его убить. Тип возмутительный! До вашего прихода я бился с ним полчаса. Сколько он тут врал, путал, изворачивался, давал заведомо ложных сведений — ужас! А когда я его уличил — попросту и наотрез отказался говорить. Видите ли, офицерская честь не позволяет ему выдавать противнику военную тайну. Тогда об офицерской чести не думал, сукин сын, когда нанимался к большевикам... Полагаю, что его и еще двух из командного состава надо без шума расстрелять. В смысле получения интересующих нас сведений — они все безнадежны: закоренелые и непоправимые негодяи, следовательно, и щадить их незачем. Вы — как?

— Каким путем вы узнали, что он — командир роты? — вместо ответа спросил Григорий.

— Выдал один из его же красноармейцев.

— Я полагаю — надо расстрелять этого красноармейца, а командиров

оставить!—Григорий выжидающе взглянул на Андреянова.

Тот пожал плечами и улыбнулся так, как улыбаются, когда собеседник неудачно шутит.

— Нет, серьезно, вы как?

— А вот так, как я уже вам сказал.

— Но, позвольте, это из каких же соображений?

— Из каких? Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии дисциплину и порядок. Вчера, когда мы ложились спать, вы, господин полковник, дюже толково рассказывали, какие порядки надо будет заводить в армии после того, как разобьем большевиков, чтобы выгравить из молодежи красную заразу. Я с вами был целиком согласный, помните? — Григорий поглаживал усы, следя за меняющимся выражением лица полковника, рассудительно говорил: — А зараз вы что предлагаете? Этим же вы разврат заводите! Значит, нехай солдаты выдают своих командиров? Это вы чему же их научаете? А доведись нам с вами быть на таком положении, тогда что? Нет, помиуйте, я тут упрუსь! Я — против.

— Как хотите, — холодно сказал Андреянов и внимательно посмотрел на Григория. Он слышал о том, что повстанческий командир дивизии своенравен и чудаковат, но этакого от него не ожидал. Он только добавил: — Мы обычно так поступали в отношении взятых в плен красных командиров, и в особенности — бывших офицеров. У вас что-то новое... И мне не совсем понятно ваше отношение к такому, казалось бы, бесспорному вопросу.

— А мы обычно убивали их в бою, ежели доводилось, но пленных без нужды не расстреливали! — багровея, ответил Григорий.

— Хорошо, пожалуйста, отправим их в тыл, — согласился Андреянов. — Теперь вот какой вопрос: часть пленных — мобилизованные крестьяне Саратовской губернии — изъявила желание сражаться в наших рядах. Третий пехотный полк наш не насчитывает и трехсот штыков. Считаете ли вы возможным после тщательного отбора

вливать в него часть добровольцев из пленных? На этот счет из штабарма у нас имеются определенные указания.

— Ни одного мужика я к себе не возьму. Убыль пушай пополняют мне казаками, — категорически заявил Григорий.

Андреянов попробовал убедить его:

— Послушайте, не будем спорить. Мне понятно ваше желание иметь в дивизии однородный казачий состав, но необходимость понуждает нас не брезговать и пленными. Даже в Добровольческой армии некоторые полки укомплектовываются пленными.

— Они пушай делают, как хотят, а я отказываюсь принимать мужиков. Давайте об этом больше не будем гутарить, — отрезал Григорий.

Спустя немного он вышел распоряжаться относительно отправки пленных. А за обедом Андреянов взволнованно сказал:

— Очевидно, не сработаемся мы с вами...

— Я тоже так думаю, — равнодушно ответил Григорий. Не замечая улыбки Сулина, он пальцами достал из тарелки кусок вареной баранины, начал с таким волчьим хрустом дробить зубами твердоватый хрящ, что Сулин сморщился, как от сильной боли, и даже глаза на секунду закрыл.

Через два дня преследование отступавших красных частей повела группа генерала Сальникова, а Григория срочно вызвали в штаб группы, и начальник штаба — пожилой благообразный генерал, — ознакомив его с приказом командующего Донской армией о расформировании повстанческой армии, без обиняков сказал:

— Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией, теперь же мы не можем доверить вам не только дивизии, но и полка. У вас нет военного образования, и в условиях широкого фронта, при современных методах ведения боя, вы не сможете командовать крупной войсковой единицей. Вы согласны с этим?

— Да, — ответил Григорий. — Я сам хотел отказаться от командования дивизией.

— Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваших возможностей. У нынешних молодых офицеров это качество встречается весьма редко. Так вот: приказом командующего фронтом вы назначаетесь командиром четвертой сотни двенадцатого полка. Полк сейчас на марше, верстах в двадцати отсюда, где-то около хутора Вязникова. Поезжайте сегодня же, в крайнем случае — завтра. Вы, как будто, что-то имеете сказать?

— Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть.

— Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте.

— Я за две войны четырнадцать раз ранен и контужен.

— Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно и еще можете сражаться. Что касается ранений, то кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего!

Вероятно, для того, чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцов при расформировании повстанческой армии, многим рядовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в подхорунжие, а офицеры — участники восстания — получили повышение в чинах и награды.

Не был обойден и Григорий: его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги по борьбе с красными и объявили благодарностью.

Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизий и полков заменили генералы и полковники, командирами сотен назначили опытных офицеров; целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рядовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанной в боях на Донце.

Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, — прощаясь, сказал:

— Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо придется думать, крепко думать, как дальше быть...

Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо:

— Опять старинка зачинается?

— Куда же нас теперича?

— Силуют народ, как хотят, сволочи!

— Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?!

— Ну, ребята, объединились на свою шею!..

— Сызнова их благородия заламывать нас зачинают!

— Зараз держися! Суставчики зачнут выпрямлять во-всю...

Григорий выждал тишины, сказал:

— Занапрасну глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и супротивничать начальникам. Расходись по квартирам да языками поменьше орудуйте, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а в аккурат до полевых судов да до штрафных сотен.

Казаки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили:

— Прощай, Пантелевич! Ты нас тоже недобрым словом не поминай.

— Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службицу ломать!

— Зря ты нас в трату дал. Не соглашался бы сдавать дивизию!

— Жалкуем об тебе, Мелехов. Чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ить нам от этого не легче, а тяжелее будет, вот в чем беда!

Лишь один казак, уроженец с хутора Наполовского, сотенный балагур и остролов, сказал:

— Ты, Григорий Пантелевич, не верь им. Со своими ли работаешь, аль с чужими — одинаково тяжело, ежели работа не в совесть!

Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять 19-й полк.

Не успел принять сотню и как следует ознакомиться с людьми — вызвали к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замешкался и явился только через полчаса. Он ждал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню? Стоящий народ?» — и, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал:

— Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость... У вас дома — большое несчастье. Сегодня ночью из Вешенской получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте.

— Дайте телеграмму, — бледнея, проговорил Григорий.

Он взял сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал в мгновение запотевшей руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка загнулся, когда говорил:

— Да, этого я не ждал. Стало быть, я поеду. Прощайте.

— Не забудьте взять отпускное свидетельство.

— Да-да. Спасибо, не забуду.

В сени он вышел, уверенно и твердо шагая, привычно придерживая шашку, но, когда начал сходить с высокого крыльца, вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце.

На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткое перильце, а правой — проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и, когда оторвался от перил и направился к привязанному у калитки коню, то шел, уже тяжело ступая ногами, слегка покачиваясь.

## ГЛАВА XVI

Несколько дней после разговора с Дарьей Наталья жила, испытывая такое ощущение, какое бывает во сне, когда тяжело давит дурной сон и нет сил очнуться. Она искала благовидного предлога, чтобы пойти к жене Прохора Зыкова и попытаться у нее узнать, как жил Григорий в Вешенской во время отступления и виделся ли там с Аксиньей, или нет. Ей хотелось убедиться в вине мужа, а словам Дарьи она и верила, и не верила.

Поздно вечером подошла она к зыковскому базу, беспечно помахивая хвостом. Прохорова жена, управившись с делами, сидела около ворот.

— Здорово, жалмерка! Телка нашего не видала? — спросила Наталья.

— Слава богу, милушка! Нет, не видала.

— Такой поблудный, проклятый, — дома никак не живет! Где его искать — ума не приложу.

— Постой, отдохни трошки, найдется. Семечками угостить?

Наталья подошла, присела. Завязался немудрый бабий разговор.

— Про служивого не слышать? — поинтересовалась Наталья.

— И вестки нету. Как, скажи, в воду канул, анчихрист! А твой либо прислал что?

— Нет. Сулился Гриша написать, да что-то не шлет письма. Гутарют в народе, будто где-то за Усть-Медведицу наши пошли, а окромя ничего не слышала. — Наталья перевела разговор на недавнее отступление за Дон, осторожно начала выпрашивать, как жили служивые в Вешенской и кто был с ними из хуторных. Лукавая прохорова жененка догадалась, зачем пришла к ней Наталья, и отвечала сдержанно, сухо.

Со слов мужа она все знала о Григории, но, хотя язык у нее и чесался, рассказывать побоялась, памятуя прохорово наставление: «Так и знай: скажешь об этом кому хоть слово — положу тебя головой на дровосеку, язык твой поганый на аршин вытяну и отрублю. Ежли дойдет слух об этом до Григория — он же меня походя убьет, между

делом! А мне одна ты осточертела, а жизнь пока ишо нет, поняла? Ну, и молчи, как дохлая».

— Аксинью Астахову не доводилось твоему Прохору видать в Вешках? — уже напрямик спрашивала потерявшая терпение Наталья.

— Откуда ему было ее видать! Разве им там до этого было? Истинный бог, ничего не знаю, Мироновна, и ты про это у меня хоть не пытай. У моего беле-сого чорта слова путнего не добьешься. Только и разговору знает — подай да прими.

Так ни с чем и ушла еще больше раздосадованная и взволнованная Наталья. Но оставаться в неведении она больше не могла, это и толкнуло ее зайти к Аксинье.

Живя по соседству, они за последние годы часто встречались, молча кланялись друг дружке, иногда перебрасывались несколькими фразами. Та пора, когда они при встречах, не здороваясь, обменивались ненавидящими взглядами, прошла; острота взаимной неприязни смягчилась, и Наталья, идя к Аксинье, надеялась, что та ее не выгонит и уж о ком, о ком, а о Григории будет говорить. И она не ошиблась в своих предположениях.

Не скрывая изумления, Аксинья пригласила ее в горницу, задернула занавески на окнах, зажгла огонь, спросила:

— С чем хорошим пришла?

— Мне с хорошим к тебе не ходить...

— Говори плохое. С Григорием Пантелеевичем беда случилась?

Такая глубокая, нескрываемая тревога прозвучала в аксиньином вопросе, что Наталья поняла все. В одной фразе сказались вся Аксинья, открылось все, чем она жила и чего боялась. После этого, по сути, и спрашивать об ее отношениях к Григорию было незачем, однако Наталья не ушла, помедлив с ответом, она сказала:

— Нет, муж живой и здоровый, не пужайся.

— Я и не пужаюсь, с чего ты берешь? Это тебе об его здоровье надо страдать, а у меня своей заботы хватит. — Аксинья говорила свободно, но, почувствовав, как кровь бросилась ей

в лицо, проворно подошла к столу и, стоя спиной к гостье, долго поправляла и без того хорошо горевший огонь в лампе.

— Про Степана твоего слышать что?

— Поклон пересылал недавно.

— Живой-здоровый он?

— Должно быть. — Аксинья пожала плечами.

И тут не смогла она покривить душой, скрыть свои чувства: равнодушие к судьбе мужа так явственно проглянуло в ее ответе, что Наталья невольно улыбнулась.

— Видать, не дюже ты об нем печалуешься... Ну, да это — твое дело. Я вот чего пришла: по хутору идет брехня, будто Григорий опять к тебе прислоняется, будто выдается вы с ним, когда приезжает он домой. Это верно?

— Нашла у кого спрашивать! — насмешливо сказала Аксинья. — Давай я у тебя спрошу, верно это или нет?

— Правду боишься сказать?

— Нет, не боюсь.

— Тогда скажи, чтобы я знала, не мучилась. Зачем же меня зря томить?

Аксинья сузила глаза, шевельнув черными бровями.

— Мне тебя все одно жалко не будет, — резко сказала она. — У нас с тобой так: я мучаюсь — тебе хорошо, ты мучаешься — мне хорошо... Одного ить делим? Ну, а правду я тебе скажу: чтобы знала загодя. Все это верно, брешут не зря. Завладала я Григорием опять и уж зараз постараюсь не выпустить его из рук. Ну, чего ж ты после этого будешь делать? Стекла мне в курене побьешь или ножом нарежешь?

Наталья встала, завязала узлом гибкую хворостину, бросила ее к печке и ответила с несвойственной ей твердостью:

— Зараз я тебе никакого лиха не сделаю. Погожу, придет Григорий, погугарю с ним, потом будет видно, как мне с вами, обоими, быть. У меня двое детей, и за них и за себя я постоять сумею!

Аксинья улыбнулась.

— Значит, пока мне можно жить без опаски?

Не замечая насмешки, Наталья пошла к Аксинье, тронула ее за рукав.

— Аксинья! всю жизнь ты мне попереку стояла, но зараз уж я просить не буду, как тогда, помнишь? Тогда я помоложе была, поглубже, думала — упрощу ее, она пожалеет, смируется и откажется от Гриши. Зараз не буду! Одно я знаю: не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ль ты его когда-нибудь — так, как я? Должно быть, нет. Ты с Листницким путалась, с кем ты, гулящая, не путалась? Когда любят — так не делают.

Аксинья побледнела, — отстранив Наталью рукой, встала с сундука.

— Он меня этим не попрекал, а ты попрекаешь? Какое тебе дело до этого? Ладно! Я — плохая, ты — хорошая, дальше что?

— Это все. Не сердчай. Зараз уйду. Спасибо, что открыла правду.

— Не стоит, не благодари, и без меня узнала бы. Погоди трошки, я выйду с тобой ставни закрыть. — На крыльце Аксинья приостановилась, сказала: — Я рада, что мы с тобой по-доброму расстаемся, без драки, но напоследок я так тебе скажу, любезная соседка: в силах ты будешь — возьмишь его, а не — не обижайся. Добром я от него тоже не откажусь. Года мои не молоденькие, и я, хоть ты назвала меня гулящей, — не ваша Дашка, такими делами я сроду не шутовала... У тебя хоть дети есть, а у меня, — голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже, — один на всем белом свете! Первый и последний. Знаешь что? Давай об нем больше не гутарить. Жив будет он, оборонит его от смерти царица небесная, вернется — сам выберет...

Ночь Наталья не спала, а наутро вместе с Ильиничной ушла полоть бахчу. В работе ей было легче. Она меньше думала, равномерно опуская мотыгу на высушенные солнцем, рассыпающиеся в прах комки песчаного суглинка, изредка выпрямляясь, чтобы отдохнуть, вытереть пот с лица и напиться.

По синему небу плыли и таяли изорванные ветром белые облака. Солнечные лучи палили раскаленную землю. С

востока находил дождь. Не поднимая головы, Наталья спиной чувствовала, когда набежавшая тучка заслоняла солнце; на миг становилось прохладнее, на бурую, дышащую жаром землю, на разветвленные арбузные плети, на высокие стебли подсолнуха стремительно ложилась серая тень. Она покрывала раскинутые по косогору бахчи, разомлевшие и полегшие от зноя травы, кусты боярышника и терна с понурой, испачканной птичьим пометом листвою. Звонче звенел надсадный перепелиный крик, отчетливей слышалось милое пение жаворонков, и даже ветер, шевеливший теплые травы, казался менее горячим. А потом солнце наконец пронизывало ослепительно белую кайму уплывавшей на запад тучки и, освободившись, снова низвергало на землю золотые, сияющие потоки света. Где-то далеко-далеко, по голубым отрогам обданных гор, еще шарила и пятнила землю провожающая тучка тень, а на бахчах уже властвовал янтарно-желтый полдень, дрожало, переливалось на горизонте текучее марево, удушливее пахла земля и вскормленные ею травы.

В полдень Наталья сходила к вырытому в яру колодезю, принесла кувшин ледяной родниковой воды. Они с Ильиничной напились, помыли руки, сели на солнцепеке обедать. Ильинична на разостланной завеске аккуратно порезала хлеб, достала из сумки ложки, чашку, из-под кофты вынула спрятанный от солнца узкогорлый кувшин с кислым молоком.

Наталья ела неохотно, и свекровь спросила:

— Давно замечаю за тобой, что-то ты не такая стала... Аль уж с Гришкой что у вас получилось?

У Натальи жалко задрожали ответные губы.

— Он, маманя, опять с Аксиньей живет.

— Это... откуда же известно?

— Я вчера у Аксиньи была.

— И она, подлюка, призналась?

— Да.

Ильинична помолчала, раздумывая. На морщинистом лице ее, в углах губ легли строгие складки.

— Может, она похваляется, проклятая?

— Нет, маманя, это верно, чего уж там...

— Не доглядела ты за ним...—осторожно сказала старуха. — С такого муженька глаз не надо сводить.

— Да разве углядишь? Я на его совесть полагаюсь... Неужли надо было его к юбке моей привязывать? — Наталья горько улыбнулась, чуть слышно добавила: — Он не Мишатка, чтобы его сдержат. Наполовину седой стал, а старое не забывает...

Ильинична вымыла и вытерла ложки, ополоснула чашку, прибрала посуду в сумку и только тогда спросила:

— Это вся и беда?

— Какая вы, маманя... И этой беды хватит, чтобы белый свет стал немил!

— И чего ж ты надумала?

— Чего ж окромя надумаешь? Заберу детей и уйду к своим. Больше жить с ним не буду. Нехай берет ее в дом, живет с ней... Помучилась я и так достаточно.

— Смолоду и я так думала, — со вздохом сказала Ильинична. — Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что я горюшка от него приняла, и сказать нельзя. Только уйтить от родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинью умом — сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не веляю!

— Нет, маманя, жить я с ним не буду, и слов не теряйте.

— Как это мне слов не терять? — возмутилась Ильинична. — Да ты мне что — не родная, что ли? Жалко мне вас, проклятых, или нет? И ты мне, матери-старухе, такие слова говоришь? Сказано тебе: выкинь из головы, стало быть — и все тут. Ишь, выдумала: «Уйду из дому!». А куда прийдешь? А кому ты из своих нужна? Отца нету, курень сожгли, мать сама под чужим плетнем Христа ради будет жить, и ты туда воткнешься, и внуков моих за собой потянешь? Нет, милая, не будет твоего дела! Приедет Гришка, тогда поглядим, что с ним делать, а зараз ты

мне и не толкуй об этом, не веляю и слушать не буду!

Все, что так долго копилось у Натальи на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке рыданий. Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую, неласковую землю и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слез.

Ильинична — эта мудрая и мужественная старуха — и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с остатками молока, положила его в холодильник, потом налила в чашку воды, подошла и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь; знала и то, что лучше слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Дав Наталье выплакаться, Ильинична положила свою загорелую от работы руку на голову снохи, — глядя черные, глянцевиные волосы, сурово сказала:

— Ну, хватит! Всех слез не вычерпаешь, оставь и для другого раза. Нака вот, попей воды.

Наталья утихла. Лишь изредка поднимались ее плечи да по телу пробегала мелкая дрожь. Неожиданно она вскопчила, оттолкнула Ильиничну, протягивавшую ей чашку с водой, и, повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, скороговоркой, захлебываясь, прокричала:

— Господи! Всю душеньку мою он вымотал! Нету больше силы так жить! Господи, накажи его, проклятого! Срази его там насмерть! Чтобы больше не жил он, не мучил меня!..

Черная, клубящаяся туча ползла с востока. Глухо грохотал гром. Пронизывая крутые облачные вершины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая молния. Ветер клонил на запад ропущие травы, нес со шляха горькую пыль, почти до самой земли пригнал отягощенные семечками шляпки подсолнухов.

Ветер трепал раскосмаченные волосы Натальи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног широкий подол серой будничной юбки.

Несколько секунд Ильинична с суевным ужасом смотрела на сноху. На фоне вставшей в полнеба черной грозо-

вой тучи она казалась ей незнакомой и страшной.

Стремительно находил дождь. Предгрозовая тишина стояла недолго. Тревожно заверещал косо снижавшийся копчик, в последний раз свистнул возле норы суслик, густой ветер ударил в лицо Ильиничны мелкой песчаной пылью, с воем полетел по степи. Старуха с трудом поднялась на ноги. Лицо ее было смертельно-бледно, когда она сквозь гул подступившей бури глухо крикнула:

— Опамятуйся! Бог с тобой! Кому ты смерти просишь?!

— Господи, покарай его! Господи, накажи!—выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико громоздились тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний.

Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье, схватила ее за плечо.

— Становись на колени! Слышишь, Наташка?!

Наталья глянула на свекровь какими-то незрячими глазами, безвольно опустилась на колени.

— Проси у бога прощения! — властно приказала Ильинична. — Проси, чтобы не принял твою молитву. Кому ты смерти просила? Родному отцу своих детей! Ох, великий грех... Крестись! Клааняйся в землю. Говори: «Господи, прости мне, окаянной, мое прегрешение».

Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок.

Омытая ливнем степь дивно зеленела. От дальнего пруда до самого Дона перекинулась горбатая яркая радуга. Немо погромыхивал на западе гром. В яру с орлиным клекотом мчалась мутная нагорная вода. Вниз, к Дону, по косогору, по бахчам стремились вспенившиеся ручьи. Они несли порезанные дождем листья, вымытые из почвы корневища трав, сломленные ржаные колосья. По бахчам, заваливая арбузные

и дынные плети, расплзались жирные песчаные наносы; вдоль по летникам, глубоко промывая колени, стекала взывавшая вода. У отхожины дальнего бугра догорал подожженный молнией стог сена. Высоко поднимался лиловый столб дыма, почти касаясь верхушкой распростертой по небу радуги.

Ильинична и Наталья спускались к хутору, осторожно ступая босыми ногами по грязной, скользкой дороге, высоко подобрыв юбки. Ильинична говорила:

— Норов у вас, у молодых, велик, истинный бог! Чуть чего — вы и беситесь. Пожила бы ты так, как я смолоду жила, что бы ты тогда делала? Тебя Гришка за всю жизнь пальцем не тронул, и то ты недовольная, вон какую чуду сотворила: и бросать-то его собралась, и омороком тебя шибало, и чего ты только не делала, бога и то в ваши поганые дела путала.. Ну, скажи, болезная, и это — хорошо? А меня идол мой хромоногий смолоду до смерти убивал, да ни за что, ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. Сам паскудничал, а на мне зло срывал. Придет, бывало, на заре, закричу горькими слезами, попрекну его, ну и даст кулакам волю... По месяцу вся синяя, как железо, ходила, а ить выжила же и детей вскормила, и из дому ни разу не счинаясь уходить. Я не охваливаю Гришку, но с таким ишо можно жить. Кабы не эта змея — был бы он из хуторных казаков первым. Приворожила она его, не иначе.

Наталья долго шла, молча что-то обдумывая, потом сказала:

— Маманя, я об этом больше не хочу гутарить. Григорий приедет, там видно будет, куда мне деваться... Может, сама уйду, а может, и он выгонит, а зараз я из вашего дома никуда не тронусь.

— Вот так бы и давно сказала! — обрадовалась Ильинична. — Бог даст, все уладится. Он ни за что тебя не выгонит, и не думай об этом! Так он любит и тебя, и детишков, да чтобы помыслил такое? Нет-нет! Не променяет он тебя на Аксинью, не может он такое сделать! Ну, а промеж своих мало ли

чего не бывает? Лишь бы живой он возвратился...

— Смерти я ему не хочу... Сгоряча я там все говорила... Вы меня не попрекайте за это... Из сердца его не вынешь, но и так жить тяжелехонько!..

— Милушка моя, родимая! Да разве ж я не знаю? Только сразмаху ничего не надо делать. Верное слово, бросим об этом гутарить! И ты старику, ради Христа, зараз ничего не говори. Не его это дело.

— Я вам хочу про одно сказать... Буду я с Григорием жить или нет, пока не известно, но родить от него больше не хочу. Ишо с этими не видно, куда придется деваться... А я беременная зараз, маманя...

— И давно?

— Третий месяц.

— Куда ж от этого денешься? Хочешь, не хочешь, а родить придется.

— Не буду, — решительно сказала Наталья. — Нынче же пойду к бабке Капитоновне. Она меня от этого ослобонит... Кое-кому из баб она делала.

— Это — плод травить? И поворачивается у тебя язык, у бессовестной? — Возмущенная Ильинична остановилась среди дороги, всплеснула руками. Она еще что-то хотела сказать, но сзади послышалось тарахтенье колес, звучное чмоканье конских копыт по грязи и — чей-то понукающий голос.

Ильинична и Наталья сошли с дороги, на-ходу опуская подоткнутые юбки. **Езавший** с поля старик — Бесхлебнов Филипп **Агеевич** — поровнялся с ними, придержал резвую кобылку.

— Садитесь, бабы, подвезу, чего зря грязь месить.

— Вот спасибо, Агеевич, а то мы уж утомились осклизаться, — довольно проговорила Ильинична и первая села на просторные дроги.

После обеда Ильинична хотела поговорить с Натальей, доказать ей, что нет нужды избавляться от беременности; моя посуду, она мысленно подыскивала, по ее мнению, наиболее убедительные доводы, думала даже о том, чтобы о решении Натальи поставить в известность старика и при его помощи отгово-

рить от неразумного поступка взбесившуюся с горя сноху, но, пока она управлялась с делами, Наталья тихонько собралась и ушла.

— Где Наталья? — спросила Ильинична у Дуняшки.

— Собрала какой-то узелок и ушла.

— Куда? Чего она говорила? Какой узелок?

— Да почему я знаю, маманя? Положила в платок чистую юбку, ишо что-то и пошла, ничего не сказала.

— Головушка горькая! — Ильинична, к удивлению Дуняшки, беспомощно заплакала, села на лавку.

— Вы чего, маманя? Господь с вами, чего вы плачете?

— Отвяжись, настырная! Не твое дело! Чего она говорила-то? И чего же ты мне не сказала, как она собиралась?

Дуняшка с досадою ответила:

— Чистая беда с вами! Да откуда же я знала, что мне надо было вам об этом говорить? Не навовсе же она ушла? Должно быть, к матери в гости направилась, — и чего вы плачете, в ум не возьму!

С величайшей тревогой Ильинична ждала возвращения Натальи. Старику решила не говорить, боясь попреков и нареканий.

На закате солнца со степи пришел табун. Спустились куцые летние сумерки. По хутору зажглись редкие огни, а Натальи все не было. В мелеховском курене сели вечерять. Побледневшая от волнения Ильинична подала на стол лапшу, сдобренную поджаренным на постном масле луком. Старик взял ложку, смел в нее крошки черствого хлеба, ссыпал их в забородатевший рот и, рассеянно оглядев сидевших за столом, спросил:

— Наталья где? Чего к столу не кличете?

— Ее нету, — вполголоса отозвалась Ильинична.

— Где ж она?

— Должно, к матери пошла и заговесталась.

— Долго она гостует. Пора бы порядок знать... — недовольно бормотнул Пантелей Прокофьевич.

Он ел, как всегда, старательно, исто-во; изредка клал на стол вверх доньш-ком ложку, косым, любующимся взгля-дом окидывал сидевшего рядом с ним Мишатку, грубовато говорил: «Повер-нись, чадунюшка мой, трошки, дай-ка я тебе губы вытру. Мать у вас — по-блуда, а за вами и догляду нет...». И большой, заскорузлой и черной ладонью вытирал нежные, розовые губенки внука.

Молча довечеряли, встали из-за сто-ла. Пантелей Прокофьевич приказал:

— Тушите огонь. Гасу мало, и нечего его зря переводить.

— Двери запирать? — спросила Ильи-нична.

— Запирай.

— А Наталья?

— Явится — постучит. Может, она до утра будет шлаться? Тоже моду взяла... Ты бы ей побольше молчала, старая ведьма! Ишь, надумала по ночам в гости ходить... Вот я ей утром выка-жу. С Дашки придмер взяла...

Ильинична легла, не раздеваясь. С полчаса пролежала, молча ворочаясь, вздыхая, и только-что хотела встать и итти к Капитоновне, как под окном по-слышались что-то неуверенные, шаркаю-щие шаги. Старуха вскочила с несвой-ственной ее летам живостью, торопливо выбежала в сенцы, открыла дверь.

Бледная, как смерть, Наталья, хва-таясь за перильце, тяжело всходила по крыльцу. Полный месяц ярко освещал ее осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза, страдальчески изогнутые брови. Она шла, покачиваясь, как тяжело раненый зверь, и там, где ступала ее нога, оставалось темное кровавое пятно.

Ильинична молча обняла ее, ввела в сенцы. Наталья прислонилась спиной к двери, хрипло прошептала:

— Наши спят? Мама, затрите за мной кровь... Видите — наследила я...

— Что же ты с собою наделала?! — давясь рыданиями, вполголоса восклик-нула Ильинична.

Наталья попробовала улыбнуться, но вместо улыбки жалкая гримаса исказила ее лицо.

— Не шумите, мама, а то наших побудите... Вот я и ослобонилась. Те-

перь у меня душа спокойная... Только уж дюже кровь... Как из резаной, из меня хлышет... Дайте мне руку, мама-ня... Голова у меня кружится.

Ильинична заперла на засов дверь, словно в незнакомом доме, долго шарила дрожащей рукою и никак не могла най-ти в потемках дверную ручку. Ступая на цыпочках, она провела Наталью в боль-шую горницу; разбудила и высала Ду-няшку, позвала Дарью, зажгла лампу.

Дверь в кухню была открыта, и от-туда слышался размеренный могучий храп Пантелея Прокофьевича; во сне сладко чмокала губами и что-то лепета-ла маленькая Полюшка. Крепок детский ничем не тревожимый сон!

Пока Ильинична взбивала подушку, готовя постель, Наталья присела на лавку, обессиленно положила голову на край стола. Дуняшка хотела было вой-ти в горницу, но Ильинична сурово ска-зала:

— Уйди, бессовестная, и не показы-вайся сюда! Не дело тебе тут нати-раться.

Нахмуренная Дарья взяла мокрую тряпку, ушла в сени. Наталья с трудом подняла голову, сказала:

— Сымите с кровати чистую одежду... Постелите мне дерюжку... Все одно, из-мажу...

— Молчи! — приказала Ильинич-на. — Раздевайся, ложись. Плохо тебе? Может, воды принесть?

— Ослабла я... Принесите мне чи-стую рубаху и воды.

Наталья с усилием встала, неверны-ми шагами подошла к кровати. Тут только Ильинична заметила, что юбка Натальи, напитанная кровью, тяжело обвисает, липнет к ногам. Она с ужа-сом смотрела, как Наталья, будто по-бывав под дождем, нагнулась, выжала подол, начала раздеваться.

— Да ты же кровью изошла! — всхлинула Ильинична.

Наталья раздевалась, закрыв глаза, дыша порывисто и часто. Ильинична глянула на нее и решительно направи-лась в кухню. С трудом она растолкала Пантелея Прокофьевича, сказала:

— Наталья захворала... Дюже пло-хая, как бы не померла... Зараз же за-

прягай и езжай в станицу за фершалом.

— Выдумашь чертовщину! С чего ей поделалось? Захворала? Поменьше бы по ночам таскалась...

Старуха коротко объяснила, в чем дело. Взбешенный Пантелей Прокофьевич вскочил, — на-ходу застегивая шаровары, пошел в горницу.

— Ах, паскудница! Ах, сукина дочь! Чего удумала, а?! Неволя ее заставила!.. Вот я ей зараз пропесочу!..

— Одураел, проклятый?! Куда ты лезешь?.. Не ходи туда, ей не до тебя!.. Детей побудишь! Ступай на баз да скорее запрягай!.. — Ильинична хотела удержать старика, но тот, не слушая, подошел к двери в горницу, пинком распахнул ее.

— Нарботала, чортова дочь! — зарорал он, став на пороге.

— Нельзя! Батя, не входи! Ради Христа, не входи! — пронзительно вскрикнула Наталья, прижимая к груди снятую рубаху.

Чертыхаясь, Пантелей Прокофьевич начал разыскивать зипун, фуражку, упряжь. Он так долго мешкал, что Дуняшка не вытерпела — ворвалась в кухню и со слезами напустилась на отца:

— Езжай скорее! Чего ты роешься, как жук в навозе?! Наташка помирает, а он битый час собирается! Тоже! Отец, называется! А не хочешь ехать — так и скажи! Сама запрягу и поеду!

— Тю, сдурела! Что ты, с привязу сорвалась? Тебя ишо не слышали, короста липучая! Тоже, на отца шумит, пакость! — Пантелей Прокофьевич замахнулся на девку зипуном и, вполголоса бормоча проклятия, вышел на баз.

После его отъезда в доме все почувствовали себя свободнее. Дарья замывала полы, ожесточенно передвигая стулья и лавки; Дуняшка, которой после отъезда старика Ильинична разрешила войти в горницу, сидела у изголовья Натальи, поправляя подушку, подавала воду; Ильинична изредка навдывалась к спавшим в бокоушке детям и, возвратясь в горницу, подолгу смотрела на Наталью, подперев щеку ладонью, горестно качая головой.

Наталья лежала молча, перекатывая по подушке голову с растрепанными, мокрыми от пота прядями волос. Она истекала кровью. Через каждые полчаса Ильинична бережно приподнимала ее, вытаскивала мокрую, как хлющ, подстилку, стлала новую.

С каждым часом Наталья все больше и больше слабела. За полночь она открыла глаза, спросила:

— Скоро зачнет светать?

— Что невидно, — успокоила ее старуха, а про себя подумала: «Значит, не выживет! Бойтся, что обеспамятеет и не увидит детей...».

Словно в подтверждение ее догадки, Наталья тихо попросила:

— Маманя, разбудите Мишатку с Полюшкой!..

— Что ты, милушка! К чему их середь ночи будить? Они напужаются, гляючи на тебя, крик подымут... К чему их будить-то?

— Хочу поглядеть на них... Мне плохо.

— Господь с тобой, чего ты гутаришь? Вот зараз отец привезет фершала, и он тебе пособит. Ты бы уснула, болезная, а?

— Какой мне сон! — с легкой досадой в голосе ответила Наталья. И после этого надолго умолкла, дышать стала ровнее.

Ильинична потихоньку вышла на крыльцо, дала волю слезам. С опухшим, красным лицом она вернулась в горницу, когда на востоке чуть забелел расцвет. На скрип двери Наталья открыла глаза, еще раз спросила:

— Скоро рассветет?

— Рассветает.

— Укройте мне ноги шубой!..

Дуняшка набросила ей на ноги овчинную шубу, поправила с боков теплое одеяло. Наталья поблагодарила взглядом, потом подозвала Ильиничну, сказала:

— Сядьте возле меня, маманя, а ты, Дуняшка, и ты, Дарья, выйдите на час, я хочу с одной маманей погутарить... Ушли они? — спросила Наталья, не открывая глаз.

— Ушли.

— Батя не приехал ишо?

— Скоро придет. Тебе хужеет, что ли?

— Нет, все одно... Вот что я хотела сказать... Я, маманя, помру вскорости... Чует мое сердце. Сколько из меня крови вышло — страсть! Вы скажите Дашке, чтобы она, как затопит печь, поставила воды побольше... Вы сами обмойте меня, не хочу, чтобы чужие...

— Наталья! Окстись, лапушка моя! Чего ты об смерти заговорила? Бог милостив, очунешься.

Слабым движением руки Наталья попросила свекровь замолчать, сказала:

— Вы меня не перебивайте... Мне уж и гутарить тяжело, а я хочу сказать... Опять у меня голова кружится... Я вам про воду сказала? А я, значит, сильная... Капитоновна мне давно это сделала, с обеда, как только пришла... Она, бедная, сама напужалась... Ой, много крови из меня вышло... Лишь бы до утра дожить... Воды побольше нагрейте... Хочу чистой быть, как помру... Маманя, вы меня оденьте в зеленую юбку, в эту, какая с прошивкой на оборке... Гриша любил, как я ее надевала... и в поплиновую кофточку... она в сундуке сверху, в правом углу, под шалькой лежит... А ребят пушай уведут, как я кончусь, к нашим... Вы бы послали за матерью, нехай придет зараз... Мне уж надо прощаться... Примите из-под меня. Мокрое все...

Ильинична, поддерживая Наталью под спину, вытащила подстилку, кое-как подсунула новую. Наталья успела шепнуть:

— На бок меня... поверните! — И тотчас потеряла сознание.

В окна глянул голубой рассвет. Дуняшка вымыла цибарку, пошла на баз доить коров. Ильинична распахнула окно — и в горницу, напитанную тяжким запахом свежей крови, запахом сгоревшего керосина, хлынул бодрящий, свежий и резкий холодок летнего утра. На подоконник с вишневых листьев ветер отряхнул слезинки росы; послышались ранние голоса птиц, мычание коров, густые, отрывистые хлопки пастушечьего арапника.

Наталья пришла в себя, открыла глаза, кончиком языка облизала сухие,

обескровленные, желтые губы, попросила пить. Она уже не спрашивала ни о детях, ни о матери. Все отходило от нее и, как видно, навсегда...

Ильинична закрыла окно, подошла к кровати. Как страшно переменилась Наталья за одну ночь! Сутки назад была она, как молодая яблоня в цвету, — красивая, здоровая, сильная, а сейчас щеки ее выглядели блее мела с обдонской горы, нос заострился, губы утратили недавнюю яркую свежесть, стали тоньше и, казалось, с трудом прикрывали раздвинутые подковки зубов. Одни глаза Натальи сохранили прежний блеск, но выражение их было уже иное. Что-то новое, незнакомое и пугающее проглядывало во взгляде Натальи, когда она изредка, повинувшись какой-то необъяснимой потребности, приподнимала синеватые веки и обводила глазами горницу, на секунду останавливая их на Ильиничне...

На восходе солнца приехал Пантелей Прокофьевич. Заспанный фельдшер, усталый от бессонных ночей и бесконечной возни с тифозными и ранеными, потягиваясь, вылез из тарантаса, взял с сиденья сверток, пошел в дом. Он снял на крыльце брезентовый дождевик, — перегнувшись через перила, долго мылил волосатые руки, исподлобья пошатривая на Дуняшку, лившую ему в пригоршню воду из кувшина, и даже раза два подмигнул ей. Потом вошел в горницу и минут десять пробыл около Натальи, предварительно выслав всех из комнаты.

Пантелей Прокофьевич и Ильинична сидели в кухне.

— Ну, что? — шопотом справился старик, как только они вышли из горницы.

— Плохая...

— Это она самовольно?

— Сама надумала... — уклонилась Ильинична от прямого ответа.

— Горячей воды, быстро! — приказал фельдшер, высунув в дверь взлохмаченную голову.

Пока кипятили воду, фельдшер вышел в кухню. На немой вопрос старика безнадёжно махнул рукою.

— К обеду отойдет. Страшная потеря крови. Ничего нельзя сделать! Григория Пантелеевича не известили?

Пантелей Прокофьевич, не отвечая, торопливо захромал в сенцы. Дарья видела, как старик, зайдя под навесом сарая за косилку и припав головой к прикладку прошлогодних кизеков, плакал навзрыд...

Фельдшер пробыл еще с полчаса, посидел на крыльце, подремал под лучами восходящего солнца, потом, когда вскипел самовар, снова пошел в горницу, впрыснул Наталье камфары, вышел и попросил молока. С трудом подавляя зевоту, выпил два стакана, сказал:

— Вы меня отвезите сейчас. У меня в станице больные и раненые, да и быть мне тут не к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душою послужил Григорию Пантелеевичу, но говорю честно: помочь не могу. Наше дело маленькое — мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделили, что ей и жить не с чем... Матка изорвана, прямо-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишешь!

Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье:

— Ты отвезешь. Не забудь кобылу напоить, как спустишься к Дону.

Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика:

— Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, и говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними! Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего! Кабы я ее, сноху вашу, на ноги поднял, — тогда другое дело.

Утром, часов около шести, Наталья почувствовала себя значительно лучше. Она попросила умыться, причесала волосы перед зеркалом, которое держала Дуняшка, и, оглядывая родных как-то по-новому сияющими глазами, с трудом улыбнулась:

— Ну, теперь я пошла на поправку! А я уж испужалась... Думала — все мне, концы... Да что это ребята так

долго спят? Поди, глянь, Дуняшка: не проснулись они?

Пришла Лукинична с Грипашкой. Старуха заплакала, глянув на дочь, но Наталья взволнованно и часто заговорила:

— Чего вы, маманя, плачете? Не такая уж я плохая... Вы меня не хоронить же пришли? Ну, на самом деле, чего вы плачете?

Грипашка незаметно толкнула мать, и та, догадавшись, проворно вытерла глаза, успокаивающе сказала:

— Что ты, дочушка, это я так, сдурю слезу сронила. Сердце защемило, как глянула на тебя... Уж дюже ты переменялась...

Легкий румянец заиграл на щеках Натальи, когда она услышала мишаткин голос и смех Полюшки.

— Кличьте их сюда! Кличьте скорее!.. — просила она. — Нехай они потом оденутся!..

Полюшка вошла первая, на пороге остановилась, кулачком протирая заспанные глаза.

— Захворала твоя маманька... — с улыбкой проговорила Наталья. — Подойди ко мне, жаль моя!

Полюшка с удивлением рассматривала чинно сидевших на лавках взрослых, — подойдя к матери, огорченно спросила:

— Чего ты меня не разбудила? И чего они все собрались?

— Они пришли меня проведать... А тебя я к чему же будила бы?

— Я б тебе воды принесла, посидела бы возле тебя...

— Ну, ступай, умойся, причешишь, помолись богу, а потом придешь, посидишь со мной.

— А завтракать ты встанешь?

— Не знаю. Должно быть, нет.

— Ну, тогда я тебе сюда принесу, ладно, маманюшка?

— Истый батя, только сердцем не в него, помягче... — со слабой улыбкой сказала Наталья, откинув голову и зябко натягивая на ноги одеяло.

Через час Наталье стало хуже. Она поманила пальцем к себе детей, обняла их, перекрестила, поцеловала и попросила мать, чтобы та увела их к себе.

Лукинична поручила отвести ребятишек Грипашке, сама осталась около дочери.

Наталья закрыла глаза, сказала, как бы в забыты:

— Так я его и не увижу... — Потом, словно что-то вспомнив, резко приподнялась на кровати. — Верните Мишатку!

Заплаканная Грипашка втокнула мальчика в горницу, сама осталась на кухне, чуть слышно причитая.

Угрюмоватый, с неласковым мелеховским взглядом, Мишатка несмело подошел к кровати. Резкая перемена, происшедшая с лицом матери, делала мать почти незнакомой, чужой. Наталья протянула сынишку к себе, почувствовала, как быстро, будто у пойманного воробья, колотится маленькое мишаткино сердце.

— Нагнись ко мне, сынок! Ближе! — попросила Наталья.

Она что-то зашептала Мишатке на ухо, потом отстранила его, пытливо посмотрела в глаза, сжала задрожавшие губы и, с усилием улыбнувшись жалкой, вымученной улыбкой, спросила:

— Не забудешь? Скажешь?

— Не забуду... — Мишатка схватил указательный палец матери, стиснул его в горячем кулачке, с минуту подержал и выпустил. От кровати пошел он, почему-то ступая на цыпочках, балансируя руками...

Наталья до дверей проводила его взглядом и молча повернулась к стене.

В полдень она умерла.

## ГЛАВА XVII

Многое передумал и вспомнил Григорий за двое суток пути от фронта до родного хутора... Чтобы не оставаться в степи одному со своим горем, с неотступными мыслями о Наталье, он взял с собою Прохора Зыкова. Как только выехали с места стоянки сотни, Григорий завел разговор о войне, вспомнил, как служил в 12-м полку на Австрийском фронте, как ходили в Румынию, как бились с немцами. Говорил он безумолку, вспоминал всякие потешные

истории, происходившие с их однополчанами, смеялся...

Простоватый Прохор вначале недоуменно косился на Григория, дивясь его необычайной разговорчивости, а потом все же догадался, что Григорий воспоминаниями о давнишних днях хочет отвлечь себя от тяжелых думок, — и стал поддерживать разговор и, быть может, даже с излишним старанием. Со всеми подробностями рассказывая о том, как пришлось ему когда-то лежать в Черниговском госпитале, Прохор случайно взглянул на Григория, увидел, как по смуглым щекам его обильно текут слезы... Из скромности Прохор приотстал на несколько сажень, с полчаса ехал сзади, а потом снова поровнялся, попробовал было заговорить о чем-то постороннем, пустяковым по значимости, но Григорий в разговор не вступил. Так они до полудня и рысили, молча, рядом, стремя к стремени.

Григорий спешил отчаянно. Несмотря на жару, он пускал своего коня то крупной рысью, то наметом и лишь изредка переводил его на шаг. Только в полдень, когда отвесно падающие лучи солнца начали палить нестерпимо, Григорий остановился в балке, расседлал коня, пустил его на попас, а сам ушел в холодок, лег ничком — и так лежал до тех пор, пока не спала жара. Раз они покормили лошадей овсом, но положенного на выкормку времени Григорий не соблюдал. Даже их — привычные к большому пробегам — лошади к концу первых суток резко исхудали, шли уже не с той неутомимой резвостью, как вначале. «Этак нехитро и погубить коней. Кто так ездит? Ему хорошо, чорту, он своего загонит и в любой момент себе другого под седло достанет, а я откуда возьму? Доскачется, дьявол, что придется до самого Татарского из такой дали пеши пороть либо на обывательских тянуть!» — раздраженно думал Прохор.

На утро следующего дня возле одного из хуторов Федосеевской станицы он не стерпел, сказал, обращаясь к Григорию:

— Скажи, как ты хозяином сроду не был... Ну, кто так, без роздыху, и день

и ночь скачет? Ты глянь, как кони перепали. Давай хоть на вечерней зорьке наорчим их, как полагається.

— Езжай, не отставай, — рассеянно ответил Григорий.

— Я за тобой не угонюсь, мой уж пристаёт. Может, отдохнем?

Григорий промолчал. С полчаса они рысили, не обменявшись ни словом, потом Прохор решительно заявил:

— Давай же дадим им хоть трошки салнуть! Я дальше так не поеду! Слышишь?

— Толкай, толкай!

— До каких же пор толкать? Пока копыта откинет?

— Не разговаривай!

— Помилосердствуй, Григорий Пантелевич! Я не хочу своего коня обдирать, а дело идет к этому...

— Ну, становись, чорт с тобой! Приглаживай, где трава получше.

Телеграмма, блуждавшая в поисках Григория по станицам Хоперского округа, пришла слишком поздно... Григорий приехал домой на третий день после того, как похоронили Наталью. У калитки он спешился, на-ходу обнял выбежавшую из дома всхлипывающую Дуняшку, нахмурился, попросил:

— Выводи коня хорошенько... Да не реви! — и повернулся к Прохору: — Езжай домой. Понадобись — скажу тогда.

Ильинична, держа за руки Мишатку и Полюшку, вышла на крыльцо встречать сына.

Григорий схватил в охапку детишек, дрогнувшим голосом сказал:

— Только не кричать! Только без слез! Милые мои! Стало быть, осиротели? Ну-ну... Ну-ну... Подвела нас мамка...

А сам, с величайшим усилием удерживая рыдания, вошел в дом, поздоровался с отцом.

— Не уберегли... — сказал Пантелей Прокофьевич и тотчас же похромал в сенцы.

Ильинична увела Григория в горницу, долго рассказывала про Наталью.

Старуха не хотела было говорить всего, но Григорий спросил:

— Почему она надумала не родить, ты знаешь?

— Знаю.

— Ну?

— Она перед этим ходила к твоей, к этой... Аксинья ей и рассказала про все...

— Ага... так? — Григорий густо побагровел, опустил глаза.

Из горницы он вышел постаревший и бледный; беззвучно шевеля синеватыми, дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени, потом достал из подсумка серый от пыли кусок сахара, расколочил его на ладони ножом, виновато улыбнулся:

— Вот и весь гостинец вам... Вот какой у вас отец... Ну, бежите на баз, зовите деда.

— На могилку пойдешь? — спросила Ильинична.

— Как-нибудь потом... Мертвые не обижаются... Как Мишатка, Полюшка? Ничего?

— В первый день дюже кричали, особенно Полюшка... Зараз — как угорворились, и не вспоминают об ней при нас, а нынче ночью слышала: Мишатка кричал потихоньку... Залез под подушку головой, чтобы его не слышать было... Я подошла, спрашиваю: «Ты чего, родненький? Может, со мной ляжешь?». А он и говорит: «Ничего, бабуня, это я, должно быть, во сне...». Погутаешь с ними, пожалей их... Вчерась утром, слушаю, гутають в сенцах промеж собой. Полюшка и говорит: «Она вернется к нам. Она — молодая, а молодые навсё не умирают». Глупые ишо, а сердчишки-то болят, как у больших... Ты голодный, небось? Сем-ка я соберу тебе перекусить чего-нибудь, чего ж молчишь?

Григорий вошел в горницу. Будто впервые попал сюда, он внимательно оглядел стены, остановил взгляд на прибранной, со взбитыми подушками кровати. На ней умерла Наталья, оттуда в последний раз звучал ее голос... Григорий представил, как Наталья прощалась с ребяташками, как она их целовала и, быть может, крестила, и снова, как тогда, когда читал телеграмму о

ее смерти, ощутил острую, колющую боль в сердце, глухой звон в ушах.

Каждая мелочь в доме напоминала о Наталье. Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. Григорий зачем-то обошел все комнаты и торопливо вышел, почти выбежал на крыльцо. Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал: «Видно — укатали сивку крутые горки...».

Дуняшка вываживала по двору коня. Около амбара конь, сопротивляясь поводу, остановился, понюхал землю, — вытянув шею и подняв верхнюю губу, ощерил желтые плиты зубов, потом фыркнул и неловко стал подгибать передние ноги. Дуняшка потянула за повод, но конь, не слушаясь, стал ложиться.

— Не давай ложиться! — крикнул из конюшни Пантелей Прокофьевич. — Не видишь — он оседланный! Почему не расседлала, чортова дуреха?!

Неторопливо, все еще прислушиваясь к тому, что делалось у него в груди, Григорий подошел к коню, снял седло, — пересилив себя, улыбнулся Дуняшке:

— Пошумливает отец?

— Как и всегда, — ответно улыбнулась Дуняшка.

— Поводи ишо трошки, сестра.

— Он уж высох, ну да ладно, повою.

— Повалиться дай ему, не препятствуй.

— Ну-ну, братушка... Горюешь?

— А ты думала — как? — задыхаясь, ответил Григорий.

Движимая чувством сострадания, Дуняшка поцеловала его в плечо и, отчего-то смутившись до слез, быстро отвернулась, повела коня к скотиньему базу.

Григорий пошел к отцу. Тот старательно выгребал навоз из конюшни.

— Твоему служивскому помещению готовлю.

— Чего же не сказал? Я бы сам вычистил.

— Выдумал тоже! Что я, аль немощный? Я, брат, как кремневое ружье. Мне износу не будет! Ишо прыгаю поменьку. Завтра вот думаю жита ехать косить. Ты надолго прибеги?

— На месяц.

— Вот это хорошо! Поедем-ка на поля? В работе оно тебе легче будет...

— Я уж и сам подумал об этом.

Старик бросил вилы, рукавом вытер пот с лица, с сокровенными нотками в голосе сказал:

— Пойдем в курень, пообедаешь. От него, от этого горя, никуда не скроешься... Не набегаешься и не скоронишься. Должно быть, так...

Ильинична собрала на стол, подала чистый рушник. И опять Григорий подумал: «Бывало, Наталья угощала...». Чтобы не выдать волнения, он проворно стал есть. С чувством признательности взглянул на отца, когда тот принес из кладовой заткнутый пучком сена кувшин с самогоном.

— Помянем покойницу, царство ей небесное, — твердо проговорил Пантелей Прокофьевич.

Они выпили по стакану. Старик немедля налил еще, вздохнул:

— За один год двоих у нас в семье не стало... Прилюбила смерть наш курень.

— Давай об этом не гутарить, батя! — попросил Григорий.

Он выпил второй стакан залпом, долго жевал кусок вяленой рыбы, все ждал, когда хмель ударит в голову, заглушит неотвязные мысли.

— Жита нынешний год хороши! А наш посев от других прямо отменитый! — хвастливо сказал Пантелей Прокофьевич. И в этой хвастливости, в тоне, каким было сказано, уловил Григорий что-то наигранное, нарочитое.

— А пшеница?

— Пшеница? Трошки прихваченная, а так — ничего, пудов на тридцать пять, на сорок. Гарновка, ох да и хороша ж вышла у людей, а нам, как на грех, не пришлось ее посеять. Но я дюже не жалкую! В такую разруху куда его, хлеб, девать? К Парамонову не повезешь, а в закромах не удержишь. Как

пододвинется фронт — товарищи все выметут, как вылижут. Но ты не думай, у нас и без нынешнего урожая года на два хлеба хватит. У нас, слава богу, и в закромах его по ноздри, да ишо кое-где есть... — Старик лукаво подмигнул, сказал: — Спроси у Дашки, сколько мы его прихоронили про черный день! Яму в твой рост да в полтора маховых ширины — доверху набухали! Нас эта проклятая жизнь трошки приbedнила, а то ить мы тоже хозяевами были... — Старик пьяно засмеялся своей шутке, но спустя немного с достоинством расправил бороду и уже деловито и серьезно сказал: — Может, ты об теще чего думаешь, так я тебе скажу так: ее я не забыл и нужде ижней помог. Не успела она как-то и словом заикнуться, а я на другой день воз хлеба, не мерямши, насыпал и отвез. Покойница Наталья была дюже довольная, аж слезьми ее прошибло, как узнала про это... Давай, сынок, по третьей дернем? Только у меня и радости осталось, что ты!

— Что ж, давай, — согласился Григорий, подставляя стакан.

В это время к столу несмело, бочком подошел Мишатка. Он вскарабкался отцу на колени и, неловко обнимая его за шею левой рукой, крепко поцеловал в губы.

— Ты чего это, сынок? — растроганно спросил Григорий, заглядывая в затуманенные слезами детские глаза, сдерживаясь, чтобы не дохнуть в лицо сынишки самогонной вонью.

Мишатка негромко ответил:

— Маманька, когда лежала в горнице... когда она ишо живая была, подозвала меня и велела сказать тебе так: «Приедет отец — поцелуй его за меня и скажи ему, чтобы он жалел вас». Она ишо что-то говорила, да я позабыл...

Григорий поставил стакан, отвернулся к окну. В комнате долго стояла тягостная тишина.

— Выпьем? — негромко спросил Пантелей Прокофьевич.

— Не хочу. — Григорий ссадил с колен сынишку, встал, поспешно направился в сенцы.

— Погоди, сынок, а — мясо? У нас — курица вареная, блинцы! — Ильинична метнулась к печке, но Григорий уже хлопнул дверью.

Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотиний баз, конюшню; глядя на коня, подумал: «Надо бы искупать его», потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. «Гроб Наталье отец делал» — решил Григорий. И торопливо зашагал к крыльцу.

Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял боченок с водой; вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.

## ГЛАВА XVIII

Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью и свыкся с ней за шесть лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя виновным в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла детей и ушла жить к матери; если бы она умерла там, жестокая в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испытывал бы тяжесть утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно. Но со слов Ильиничны он знал, что Наталья простила ему все, что она любила его и вспоминала о нем до последней минуты. Это увеличивало его страдания, отягчало совесть немолкнущим укором, заставляло по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем...

Было время, когда Григорий ничего не питал к жене, кроме холодного безразличия и даже неприязни, но за последние годы он стал иначе относиться к ней, и основной причиной перемены, происшедшей в его отношении к Наталье, были дети.

Вначале и к ним Григорий не испытывал того глубокого отцовского чувства, которое возникло в нем за послед-

нее время. На короткий срок приезжая с фронта домой, он пестал и ласкал их, как бы по обязанности и чтобы сделать приятное матери, сам же не только не ощущал в этом какой-то потребности, но не мог без недоверчивого удивления смотреть на Наталью, на бурные проявления ее материнских чувств. Он не понимал, как можно было так самозабвенно любить эти крохотные крикливые существа, и не раз по ночам с догадой и насмешкой говорил жене, когда она еще кормила детей грудью: «Чего ты вскакиваешь, как бешеная? Не успеет крикнуть, а ты уж на ногах. Ну, нехай, надуется, покричит, небось золотая слеза не выскочит!». Дети относились к нему с не меньшим равнодушием, но по мере того, как они росли, — росла и их привязанность к отцу. Детская любовь возбудила и у Григория ответное чувство, и это чувство, как огонек, перебросилось на Наталью.

После разрыва с Аксиньей Григорий никогда не думал всерьез о том, чтобы разойтись с женой; никогда, даже вновь сойдясь с Аксиньей, он не думал, чтобы она когда-нибудь заменила мать его детям. Он не прочь был жить с ними с обеими, любя каждую из них по-разному, но, потеряв жену, вдруг почувствовал и к Аксинье какую-то отчужденность, потом глухую злобу за то, что она выдала их отношения и — тем самым — толкнула Наталью на смерть.

Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе, — в мыслях он неизбежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобогрейки, и все же вспоминал Наталью; память настойчиво воскрешала давно минувшее, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, разговоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, манеру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса...

На третий день начали косить ячмень. Григорий, как-то среди дня, когда Пантелей Прокофьевич остановил лошадей, слез с заднего стульца косилки,

положил на полок короткие вилы, сказал:

— Хочу, батя, поехать домой на час.

— Зачем?

— Что-то соскучился по ребятишкам...

— Что ж, поезжай, — охотно согласился старик. — А мы тем временем будем копнить.

Григорий тотчас же выпряг из косилки своего коня, сел на него и шагом пшел по желтой щетинистой стерне к шляху. «Скажи ему, чтобы жалел вас!» — звучал в ушах его натальин голос. Григорий закрывал глаза, бросал поводья и, погруженный в воспоминания, предоставлял коню итти бездорожно.

В густосинем небе почти недвижно стояли раскиданные ветром редкие облака. По стерне враскачку ходили грачи. Они семьями сидели на копнах; старые из клюва в клюв кормили молодых, только недавно оперившихся и еще неуверенно поднимавшихся на крыло. Над скошенными десятинами стон стоял от грачиного крика.

Конь Григория норовил итти по обочине дороги, изредка на-ходу срывал ветку донника, жевал ее, гремя удилами. Раза два он останавливался, ждал, завидя вдали лошадей, и тогда Григорий, очнувшись, понукал его, невидящим взором оглядывал степь, пыльную дорогу, желтую россыпь копен, зеленовато-бурые делянки вызревающего проса.

Как только Григорий приехал домой, явился Христоня, мрачный с виду и одетый, несмотря на жару, в суконный английский френч и широкие бриджи. Он пришел, опираясь на огромную свежеструганную ясеневую палку, поздоровался.

— Проведать пришел. Прослышал про ваше горе. Похоронили, стал-быть, Наталью Мироновну?

— Ты каким путем с фронта? — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони.

— После ранения на поправку пустили. Скобленули меня поперек пуза сразу две пули. И до се там, возле ки-

шок, сидят, застряли, стал-быть, проклятые. Через это я и при костыле нахожусь, видишь?

— Где же это тебя попортили?

— Под Балашовым.

— Взяли его? Как же тебя зацепило?

— В атаку шли. Балашов, стал-быть, забрали и Поворино. Я забирал.

— Ну, расскажи, с кем ты, в какой части, кто с тобой из хуторных? Приживайся, вот табак.

Григорий обрадовался новому человеку, возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний. Христоня проявил некоторую сообразительность, догадавшись, что в его сочувствии Григорий не нуждается, и стал охотно, но медлительно рассказывать о взятии Балашова, о своем ранении. Дымя огромной цыгаркой, он густо баял:

— Шли в пешем строю по подсолнухам. Они били, стал-быть, из пулеметов и из орудий, ну, и из винтовок, само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей, как ни пригинался, а все меня видно, ну, они, пули-то, меня и нашли. Да ить это хорошо, что я ростом вышел, а будь пониже — аккурат в голову бы угодили! Были они, стал-быть, наизлете, но вдарили так, что ажник в животе у меня все забурчало, и каждая горячая, чорт, как, скажи, из печки вылетела... Лапнул рукой по этому месту, чую — во мне они сидят, катаются под кожей, как жировики, на четверть одна от другой. Ну, я их помаял пальцами и упал, стал-быть. Думаю: шутки дурные, к едреной матери с такими шутками! Лучше уж лежать, а то другая прилетит, какая порезвей, и наскрозь пронижет. Ну, и лежу, стал-быть. Нет-нет, да и потрогаю их, пули-то. Они все там, одна вблизи другой. Ну, я и испужался, думаю: что как они, подлюки, в живот проваляются, тогда что? Будут там промеж кишков кататься, как их доктора разыщут? Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое, побредут пуйки-то до главной кишки — и ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение

получится. Лежу, шляпку подсолнуха открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взяли этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой, стал-быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал: «Давай пули вырежем?». А я сам себе на уме... Спросил: «Могут они, ваше благородие, в нутро провалиться?». «Нет, говорит, не могут». Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать! Знаю я эти шутки! Вырежут, не успеет рубец затянуться — и опять иди в часть. «Нет, говорю, ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой понести, же не показать, а они мне не препятствуют, не велика тяжесть». Обругал он меня, а на побывку пустил, на неделю.

Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитрое повествование, спросил:

— Ты куда попал, в какой полк?

— В четвертый сводный.

— Кто из хуторных с тобой?

— Наших там много: Аникушка Скопец, Бесхлебнов, Коловейдин Аким, Мирошников Семка, Горбачев Тихон.

— Ну, как казачки? Не жалуются?

— Обижаются на офицеров, стал-быть. Таких сволочей понасажали, житья нету. И почти все — русские, казакон нету.

Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное, ворсистое сукно английских штанов.

— А ботинок, стал-быть, на мою ногу не нашлось, — раздумчиво говорил он. — В английской державе, под ихними людьми, таких ядреных ног нету... Мы же пашаницу сеем и едим, а там, небось, как и в России, на одном жите сидят. Откель же им такие ноги иметь? Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали, а все одно — плохо...

— Что плохо? — поинтересовался Григорий.

Христоня улыбнулся, сказал:

— Снаружи хорошо, в середине плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стал-быть, ничего из этой войны

не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут...

Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Пожи-ву с неделю и уеду на фронт. Тут с то-ски пропадешь». До вечера он был до-ма. Вспомнил детство и смастерил Ми-шатке ветряную мельницу из камыши-нок, ссучил из конского волоса силки для ловли воробьев, дочери искусно сде-лал крохотную коляску с вращающимися колесами и причудливо изукрашен-ным дашлом, пробовал даже свернуть из лоскутков куклу, но тут у него ни-чего не вышло; кукла была сделана при помощи Дуняшки.

Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале отнеслись к его затеям с недо-верием; но потом уже ни на минуту не отходили от него, и под вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Ми-шатка, сдерживая слезы, заявил:

— Ты сроду такой! Приедешь на-час и опять нас бросаешь... Забери с собой и силки, и мельницу, и трещет-ку, все забери! Мне не нужно!

Григорий взял в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал:

— Ежли так — давай решим: ты — казак, вот и поедем со мной на поля: будем ячмень косить, копнить, на ко-силке будешь с дедом сидеть, коней бу-дешь погонять. Сколькo там кузнецов в траве! Сколькo разных птах в баера-ке! А Полюшка останется с бабкой до-моседовать. Она на нас в обиде не бу-дет. Ее, девичье, дело — полы подме-тать, воду бабке носить из Дону в ма-ленькой ведрушенке, да мало ли у них всяких бабьих делов? Согласный?

— А то нет! — с восторгом восклик-нул Мишатка. У него даже глаза забле-стели от предвкушаемого удовольствия.

Ильнична было воспротивилась.

— Куда ты его повезешь? Выду-маешь, чума его знает что! А спать гдe он будет? И кто за ним будет нагляды-вать. Упаси бог, либо к лошадям подой-дет — вдарят, либо змея укусит. Не ездий с отцом, милушка, оставайся до-ма! — обратилась она к внуку.

Но у того вдруг зловеще вспыхнули сузившиеся глаза (точь-в-точь, как у

деда Пантелея, когда он приходил в ярость), сжались кулачки, и высоким, плачущим голосом он крикнул:

— Бабка, молчи!.. Все одно поеду! Батянюшка, роденький, не слухай ее!..

Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать:

— Спать он будет со мной. Отсюда-ва поедем шагом, не уроню же я его. Готовь ему, мамаша, одежду и не бойсь — сохрани в целости, а завтра к ночи при-везу.

Так началась дружба между Григо-рием и Мишаткой.

За две недели, проведенных в Татар-ском, Григорий только три раза, и то мельком, видел Аксинью. Она с прису-щим ей умом и тактом избегала встреч, понимая, что лучше ей не попадаться Григорию на глаза. Женским чутьем она распознала его настроение, сообразила, что всякое неосторожное и несвоевре-менное проявление ее чувств к нему может вооружить его против нее, ки-нуть какое-то пятно на их взаимоотно-шения. Она ждала, когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал с по-ля с возом хлеба, припозднился, в су-мерках около крайнего в степи проулка встретил Аксинью. Она издали покло-нилась, чуть приметно улыбнулась. Улыбка ее была выжидающей и тревож-ной. Григорий ответил на поклон, но разминуться молча не смог.

— Как живешь? — спросил он, не-заметно натягивая вожжи, умеряя лег-кий шаг лошадей.

— Ничего, спасибо, Григорий Панте-леевич.

— Что это тебя не видно?

— На полях была.. Бьюсь одна с хо-зяйством.

Вместе с Григорием на возу сидел Мишатка. Может быть, поэтому Гри-горий не остановил лошадей, не стал больше занимать Аксинью разговором. Он отъехал несколько сажень, обернулся, услышав оклик. Аксинья стояла около плетня.

— Долго пробудешь в хуторе? — спросила она, взволнованно оцципывая лепестки сорванной ромашки.

— Днями уеду.

По тому, как Аксинья на секунду замялась, было видно, что она хотела еще что-то спросить. Но почему-то не спросила, махнула рукой и торопливо пошла на выгон, ни разу не оглянувшись.

## ГЛАВА XIX

Небо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный, дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна блестели.

Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им трое конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая. Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканый зипун, издали угадал Григория, громко сказал спутникам: «А ить это — Мелехов, братушки!» — и, поровнявшись, придержал рослого гнедого коня.

— Здорово живешь, Григорий Пантелевич! — приветствовал он Григория.

— Здравствуй! — ответил Григорий, тщетно пытаясь вспомнить, где он встречался с этим рыжебородым, мрачным на вид казаком.

Его, как видно, недавно произвели в подхорунжие, и он, чтобы не сойти за простого казака, нашил новенькие погоны прямо на зипун.

— Не угадаешь? — спросил он, подвезжая вплотную, протгивая широкую, покрытую огненно-красными волосами руку, крепко дыша запахом водочного перегара. Тупое самодовольство сияло на лице новиспеченного подхорунжего, крохотные голубые глазки его искрились, под рыжими усами губы расплывались в улыбку. Неселый вид зипунного офицера развеял Григория. Не скрывая насмешки, он ответил:

— Не угадаю. Видать, я встречался с тобой, когда ты был ишо рядовым... Тебя недавно произвели в подхорунжие?

— В самый раз попал! С неделю, как произвели. А встречались мы с тобой

у Кудинова в штабе, кажись — под благовещение. Ты меня тогда из одной беды выручил, вспомни-ка! Эй, Трифон! Езжайте помаленьку, я догоню! — крикнул бородач приостановившимся неподалеку казакам.

Григорий с трудом припомнил, при каких обстоятельствах виделся с рыжим подхорунжим, вспомнил и кличку его: «Семак!», и отзыв о нем Кудинова: «Стреляет, проклятый, без промаху! Зайцев на-бегу из винтовки бьет, и в бою лихой, и разведчик хороший, а умом — малое дите». Семак, в восстание командую сотней, совершил какой-то проступок, за который Кудинов хотел с ним расправиться, но Григорий вступился, и Семак был помилован и оставлен на должности командира сотни.

— С фронта? — спросил Григорий.

— Так точно, в отпуск еду из-под Новохоперска. Чудок, верст полтораста кругу дал, заезжал в Слащевскую, там у меня — сродствие. Я добро помню, Григорий Пантелевич! Не откажи в милости, хочу угостить тебя, а? Везу в сумках две бутылки чистого спирту, давай их зараз разопьем?

Григорий отказался наотрез, но бутылку спирта, предложенную в подарок, взял.

— Что там было! Казачки и офицеры огрузились добром! — хвастливо рассказывал Семак. — Я и в Балашове побывал. Взяли мы его и кинулись перво-наперво к железной дороге, там полностью составов, все путя были забитые. В одном вагоне — сахар, в другом — обмундирование, в третьем — разное имущество. Иные из казаков по сорок комплектов одежды взяли! А потом, как пошли жидов тресть, — смех! Из моей полусотни один ловкач по жидам восемнадцать штук карманных часов насобирали, из них десять золотых; навешал, сукин кот, на грудях, ну прямо самый что ни на есть богатейший купец! А перстней и колец у него оказалось — не счесть! На каждом пальце по два да по три...

Григорий указал на раздутые переметные сумки Семака, спросил:

— А у тебя что это?

— Так... Разная разность.

— Тоже награбил?

— Ну, ты уж скажешь — награбил... Не награбил, а добыл по закону. Наш командир полка так сказал: «Возьмете город — на двое суток он в вашем распоряжении!». Что же я — хуже других? Брал казенное, что под руку попадалось... Другие хуже делали.

— Хороши вояки! — Григорий с отвращением оглядел добычливого подхорунжего, сказал: — С такими подобными, как ты, на большой дороге, под мостами сидеть, а не воевать! Грабилровку из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое ремесло приобрели! А ты думаешь, за это когда-нибудь не спустят шкуры и с вас, и с вашего полковника?

— За что же это?

— За это самое!

— Кто же это может спустить?

— Кто чином повыше.

Семак насмешливо улыбнулся, сказал:

— Да они сами такие-то! Мы хучь в сумках везем да на повозках, а они цельными обозами отправляют.

— А ты видал?

— Скажешь тоже — видал! Сам сопровождал такой обоз до Ярыженской. Одной серебряной посуды, чашков, ложков был полный воз! Кое-какие из офицеров налетывали: «Чего везете? А ну, показывай!». Как скажу, что это — личное имущество генерала такого-то, так и отъедут ни с чем.

— Чей же это генерал? — шурясь и нервно перебирая поводья, спросил Григорий.

Семак хитро улыбнулся, ответил:

— Позабыл его фамилию... Чей же он, дай бог памяти? Нет, замстило, не вспомню! Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелевич! Истинная правда, все так делают! Я нишо промежду других, как ягнок супротив волка; я легочко брал, а другие телешили людей прямо середь улицы, жидовок сильничали прямо напрапалую! Я этими делами не занимался, у меня своя законная баба есть, да какая баба-то: прямо жеребец, а не баба! Нет-нет, это ты зря на меня сердце поймел. Погоди, куда же ты?

Григорий кивком головы холодно попрощался с Семаком, сказал Прохору:

— Трогай за мной! — и пустил коня рысью.

По пути все чаще попадались одиночками и группами ехавшие в отпуск казаки. Нередко встречались пароконные подводы. Груз на них был прикрыт брезентами или ряднами, заботливо увязан. Позади подвод, привстав на стременах, рысили казаки, одетые в новенькие летние гимнастерки, в красноармейские, защитного цвета, штаны. Запыленные, загорелые лица казаков были оживлены, веселы, но, встречаясь с Григорием, служивые старались поскорее разминуться, проезжали молча, как по команде поднося руки к козырькам фуражек, и заговаривали снова между собой, лишь отъехав на почтительное расстояние.

— Купцы едут! — насмешливо говорил Прохор, издали увидав конных, сопровождавших подводу с награбленным имуществом.

Впрочем, не все ехали на побывку, обремененные добычей. На одном из хуторов, остановившись возле колодезя, чтобы напоить коней, Григорий услышал доносившуюся из соседнего двора песню. Пели, судя по ребячески чистым, хорошим голосам, молодые казаки.

— Служивого, должно, провожают, — сказал Прохор, зачерпывая ведром воды. После выпитой накануне бутылки спирта он не прочь был похмелиться, поэтому, поспешно напив коней, посмеиваясь, предложил:

— А что, Пантелевич, не пойти ли нам туда? Может, на проводах и нам перепадет по стремянной? Курень хотя и камышом крытый, но, видно, богатый.

Григорий согласился пойти, взглянуть, как провожают «кугари»<sup>1</sup>. Привязав коней к плетню, они с Прохором вошли во двор. Под навесом сарая у круглых яслей стояли четыре оседланных лошади. Из амбара вышел подросток с железной мерой, доверху насыпанной овсом. Он мельком взглянул на Григория, пошел к заржавшим лошадам. За углом куреня разливалась пес-

<sup>1</sup> Молодой казак.

ня. Дрожащий, высокий тенорок выводил:

Как по той-то было по дороженьке  
Никто пеш не хаживал...

Густой, прокуренный бас, повторив последние слова, сомкнулся с тенором, потом вступили новые слаженные голоса, и песня потекла величаво, раздольно и грустно. Григорию не захотелось своим появлением прерывать песенников; он тронул Прохора за рукав, шепнул:

— Погоди, не показывайся, нехай доиграют.

— Это — не проводы. Еланские так играют. Это они так запеснячивают. А здорово, черти, тянут! — одобрительно отозвался Прохор и огорченно сплюнул: расчет на то, чтобы выпить, судя по вему, не оправдался.

Ласковый тенорок до конца рассказывал в песне про участь оплошавшего на войне казака:

Ни пешего, ни конного следа допрежь не было.  
Проходил по дороженьке казачий полк.  
За полком-то бежит душа — добрый конь.  
Он черкесское седельце на боку несет.  
А тесмянная уздечка на правом ухе висит,  
Шелковы поводьяца ноги путают.  
За ним гонит млад донской казак,  
Он кричит-то своему коню вериому:  
«Ты постой, погоди, душа — верный конь,  
Не покинь ты меня одиокого.  
Без тебя не уйтить от чеченцев злых...».

Очарованный пением, Григорий стоял, привалившись спиной к беленому фундаменту куреня, не слыша ни конского ржанья, ни скрипа проезжавшей по проулку арбы...

За углом кто-то из песенников, кончив песню, кашлянул, сказал:

— Не так играли, как оторвали! Ну, да ладно, как умеем, так можем. А вы бы, бабушки, служилым на дорогу ишо чего-нибудь дали. Поели мы хорошо, спаси христос, да вот на дорогу у нас с собой никаких харчишек нету...

Григорий очнулся от раздумья, вышел из-за угла. На нижней ступеньке крыльца сидели четверо молодых казаков; окружив их плотной толпой, стояли набежавшие из соседних дворов бабы, старухи, детишки. Слушательницы, всхлипывая и сморкаясь, вытирали слезы кончиками платков, одна из старух — вы-

сокая и черноглазая, со следами строгой иконописной красоты на увядшем лице — протяжно говорила, когда Григорий подходил к крыльцу:

— Милые вы мои! До чего же вы хорошо да жалостно поете! И, небось, у каждого из вас мать есть, и небось, как вспомнит про сына, что он на войне гибнет, так слезьми и обольется. — Блеснув на поздоровавшегося Григория желтыми белками, она вдруг злобно сказала: — И таких цветков ты, ваше благородие, на смерть водишь? На войне губишь?

— Нас самих, бабушка, губят, — хмуро ответил Григорий.

Казачьи, смущенные приходом незнакомого офицера, проворно поднялись, отодвигая ногами стоявшие на ступеньках тарелки с остатками пищи, оправляя гимнастерки, винтовочные погоны, портупей. Они пели, даже винтовки не скинув с плеч. Самому старшему из них на вид было не больше двадцати пяти лет.

— Откуда? — спросил Григорий, оглядывая молодые, свежие лица служивых.

— Из части... — нерешительно ответил один из них, курносый, со смешливыми глазами.

— Я спрашиваю — откуда родом, какой станицы? Не здешние?

— Еланские, едем в отпуск, ваше благородие.

По голосу Григорий узнал запева, улыбаясь, спросил:

— Ты заводил?

— Я.

— Ну, хорош у тебя голосок! А по какому же случаю вы распелись? С радости, что ли? По вас не видно, чтобы были подпитые.

Высокий, русский парень с лихо зачесанным, седым от пыли чубом, с густым румянцем на смуглых щеках, косясь на старух, смущенно улыбаясь, нехотя ответил:

— Какая там радость... Нужда за нас поет! Так, за здорово живешь, в этих краях не дюже кормют, дадут кусок хлеба — и все. Вот мы и приловчились песни играть. Как заиграем, понабегут бабы слушать; мы какую-нибудь жа-

лостную заведем, ну, они растрогаются и несут — какая кусок сала, какая корчажку молока или ишо чего из едового...

— Мы вроде попов, господин сотник, поем и пожертвования собираем! — сказал запевала, подмигивая товарищам, прижмуря в улыбке смешливые глаза.

Один из казаков вытащил из грудного кармана засаленную бумажку, протянул ее Григорию.

— Вот наше отпускное свидетельство.

— Зачем оно мне?

— Может, сомневаетесь, а мы не дезертиры...

— Это ты будешь показывать, когда с карательным отрядом повстречаетесь, — с досадой сказал Григорий, но перед тем, как уйти, посоветовал все же: — Езжайте ночами, а днем можно перестоять где-нибудь. Бумажка ваша ненадежная, как бы вы с ней не попались... Без печати она?

— У нас в сотне печати нету.

— Ну так, ежели не хотите калмыкам под шомпола ложиться, послушайте моего совета!

Верстах в трех от хутора, не доезжая сажен полтораста до небольшого леса, подступившего к самой дороге, Григорий снова увидел двух конных, ехавших ему навстречу. Они на минуту остановились, взглядываясь, а потом круто свернули в лес.

— Эти без бумажки едут, — рассудил Прохор. — Видал, как они крутнули в лес? И черти их несут днем!

Еще несколько человек, завидев Григория и Прохора, сворачивали с дороги, спешили скрыться. Один пожилой пехотинец-казак, тайком пробиравшийся домой, юркнул в подсолнухи, затаился, как заяц на меже. Проезжая мимо него, Прохор поднялся на стремянах, крикнул:

— Эй, земляк, плохо хоронишься! Голову схоронил, а ж... видно! — И с деланной свирепостью вдруг гаркнул: — А ну, вылазь! Показывай документы!

Когда казак вскочил и, пригибаясь, побежал по подсолнухам, Прохор захотел во все горло, тронул было коня, чтобы скакать вдогонку, но Григорий остановил его.

— Не дури! Ну его к чорту, он и так будет бечь, пока запалится. Как-раз ишо помрет со страху...

— Что ты! Его и с борзыми не догонишь! Он зараз верст на десять наметом пойдет. Видал, как он маханул по подсолнухам! Откуда при таких случаях и резвость у человека берется, даже удивительно мне.

Неодобрительно отзываясь вообще о дезертирах, Прохор говорил:

— Едут-то как, прямо валками. Как, скажи, их из мешка вытряхнули! Гляди, Пантелевич, как бы в скорости нам с тобой двоим не пришлось фронт держать...

Чем ближе под'езжал Григорий к фронту, тем шире открывалась перед его глазами отвратительная картина разложения Донской армии, разложения, начавшегося как-раз в тот момент, когда, пополненная повстанцами, армия достигла на Северном фронте наибольших успехов. Части ее уже в это время были не только не способны перейти в решительное наступление и сломить сопротивление противника, но и сами не смогли бы выдержать серьезного натиска.

В станицах и селах, где располагались ближние резервы, офицеры беспросыпно пьянствовали; обозы всех разрядов ломились от награбленного и еще не переправленного в тыл имущества; в частях оставалось не больше 60 процентов состава; в отпусках казаки уходили самовольно, и составленные из калмыков рыскавшие по степям карательные отряды не в силах были сдерживать волну массового дезертирства. В занятых селах Саратовской губернии казаки держали себя завоевателями на чужой территории: грабили население, насилывали женщин, уничтожали хлебные запасы, резали скот. В армию шли пополнения из зеленой молодежи и стариков пятидесятилетнего возраста. В маршевых сотнях открыто говорили о нежелании воевать, а в частях, которые перебрасывались на Воронежское направление, казаки оказывали прямое неповиновение офицерам. По слухам, участились случаи убийства офицеров на передовых позициях.

Неподалеку от Балашова уже в сумерках Григорий остановился в одной небольшой деревушке на ночевку. 4-я отдельная запасная сотня из казаков старших призывных возрастов и саперная рота Таганрогского полка заняли в деревушке все жилые помещения. Григорию пришлось долго искать места для ночлега. Можно было бы переночевать в поле, как они обычно делали, но к ночи находил дождь, да и Прохор тряся в очередном припадке малярии; требовалось провести ночь где-нибудь под кровлей. На выезде из деревни, около большого обсаженного тополями дома стоял испорченный снарядом броневтомобиль. Проезжая мимо, Григорий прочитал незакрашенную надпись на его зеленой стенке: «Смерть белой сволочи!», и — ниже: «Свирепый». Во дворе у коновязи фыркали лошади, слышались людские голоса; за домом в саду горел костер, над зелеными вершинами деревьев стлался дым; освещенные огнем, около костра двигались фигуры казаков. Ветер нес от костра запах горячей соломы и паленой свиной щетины.

Григорий спешился, пошел в дом.

— Кто тут хозяин? — спросил он, войдя в низкую, полную людьми комнату.

— Я. А вам чего? — Невысокий мужик, прислонившийся к печи, не меняя положения, оглянулся на Григория.

— Разрешите у вас заночевать? Нас двое.

— Нас тут и так, как семечек в арбузе, — недовольно буркнул лежавший на лавке пожилой казак.

— Я бы ничего, да больно густо у нас народу, — как бы оправдываясь, заговорил хозяин.

— Как-нибудь поместимся. Не под дождем же нам ночевать? — настаивал Григорий. — У меня ординарец больной.

Лежавший на лавке казак крикнул, опустил ноги и, всмотревшись в Григория, уже другим тоном сказал:

— Нас, ваше благородие, вместе с хозяевами четырнадцать душ в двух комнатухах, а третью занимает английский офицер с двомя своими ден-

щиками, да окромя ишо один наш офицер с ними.

— Может, у них как устроитесь? — доброжелательно сказал второй казак с густою проседью в бороде, с погонами старшего урядника.

— Нет, я уж лучше тут. Мне места немного надо, на полу ляжу, а вас не потесню. — Григорий снял шинель, ладонью пригладил волосы, сел к столу.

Прохор вышел к лошадям.

В соседней комнате, вероятно, слышали разговор. Минут пять спустя вошел маленький, щеголевато одетый поручик.

— Вы ищете ночлега? — обратился он к Григорию и, мельком глянув на его погоны, с любезной улыбкой предложил: — Переходите к нам, в нашу половину, сотник. Я и лейтенант английской армии господин Кэмпбелл просим вас, там вам будет удобнее. Моя фамилия — Щеглов. Ваша? — Он пожал руку Григория, спросил: — Вы с фронта? Ах, из отпуска! Пойдемте, пойдемте! Мы рады будем оказать вам гостеприимство. Вы, вероятно, голодны, а у нас есть чем угостить.

У поручика на френче из превосходного светлозеленого сукна болтался офицерский георгиевский, пробор на небольшой голове был безукоризнен, сапоги тщательно начищены, от матово-смуглого выбритого лица, от всей его статной фигуры веяло чистотой и устойчивым запахом какого-то цветочного одеколона. В сенях он предупредительно пропустил вперед Григория, сказал:

— Дверь налево. Осторожнее, здесь ящик, не стукнитесь.

Навстречу Григорию поднялся молодой, рослый и плотный лейтенант, с пушистыми черными усиками, прикрывавшими наискось рассеченную верхнюю губу, и близко поставленными серыми глазами. Поручик представил ему Григория, что-то сказал по-английски. Лейтенант потряс руку гостя и, глядя то на него, то на поручика, сказал несколько фраз, жестом пригласил сесть.

Посреди комнаты стояли в ряд четыре походных кровати, в углу громоздились какие-то ящики, дорожные мешки, кожаные чемоданы. На сундуке ле-

жали: ручной пулемет незнакомой Григорию системы, чехол от бинокля, патронные цинки, карабин с темной ложей и новеньким, непотертым, тускло-сизым стволом.

Лейтенант что-то говорил приятным, глухим баском, дружелюбно поглядывая на Григория. Григорий не понимал чужой, странно звучащей для его уха речи, — но, догадываясь, что говорят о нем, испытывал состояние некоторой неловкости. Поручик рылся в одном из чемоданов, улыбаясь, слушал, потом сказал:

— Мистер Кэмпбелл говорит, что очень уважает казаков, что, по его мнению, они отличные кавалеристы и воины. Вы, вероятно, хотите есть? Вы пьете? Он говорит, что опасность сближается... Э, чорт, всякую ерунду говорит! — Поручик извлек из чемодана несколько консервных банок, две бутылки коньяку и снова нагнулся над чемоданом, продолжая переводить: — По его словам, его очень любезно принимали казачьи офицеры в Усть-Медведицкой. Они выпили там огромную бочку донского вина, все были пьяны в лоск и пресвесело провели время с какими-то гимназистками. Ну, уж это как водится! Он считает для себя приятной обязанностью отплатить за оказанное ему гостеприимство не меньшим гостеприимством. И вы должны будете это перенести. Мне вас жаль... Вы пьете?

— Спасибо. Пью, — сказал Григорий, украдкой рассматривая свои грязные от поведьев и дорожной пыли руки.

Поручик поставил на стол банки, ловко вскрывая их ножом, со вздохом сказал:

— Знаете, сотник, он меня замучил, этот английский боров! Пьет с утра и до поздней ночи. Хлещет, ну бесподобно! Я сам, знаете ли, не прочь выпить, но в таких гомерических размерах не могу. А этот, — поручик, улыбаясь, глянул на лейтенанта, неожиданно для Григория матерно выругался, — льет и натошак, и всячески!

Лейтенант улыбался, кивал головой, ломаным русским языком говорил:

— Та, та!.. Хор'ошо... Нато вып'ит фаш здор'ов!

Григорий засмеялся, встряхнул волосами. Эти парни ему положительно нравились, а бессмысленно улыбающийся и уморительно говоривший по-русски лейтенант был прямо великолепен.

Вытирая стаканы, поручик говорил:

— Две недели я с ним валандаюсь, это каково? Он работает в качестве инструктора по вождению танков, приданных к нашему второму корпусу, а меня пристегнули к нему переводчиком. Я свободно говорю по-английски, это меня и погубило... У нас тоже пьют, но не так. А это — чорт знает что! Увидите, на что он способен! Ему одному в сутки надо не меньше четырех-пяти бутылок коньяку. С промежутками выпивает все, а пьяным не бывает, и даже после такой порции способен работать. Он меня уморил. Желудок у меня что-то начинает побаливать, настроение все эти дни ужасное, и весь я до того проспиртовался, что теперь даже около горящей лампы боюсь сидеть... Чорт знает что! — Говоря, он доверху наполнил коньяком два стакана, себе налил чуть-чуть.

Лейтенант, указывая глазами на стакан, смеясь, что-то начал оживленно говорить. Поручик, умоляюще положив руку на сердце, отвечал ему, сдержанно улыбаясь, и лишь изредка и на миг в черных добрых глазах его вспыхивали злые огоньки. Григорий взял стакан, чокнулся с радушными хозяевами, выпил залпом.

— О, — одобрительно сказал англичанин и, отхлебнув из своего стакана, презрительно посмотрел на поручика.

Большие, смуглые рабочие руки лейтенанта лежали на столе, на тыльной стороне ладоней в порах темнело машинное масло, пальцы шелушились от частого соприкосновения с бензином и пестрели застарелыми ссадинами, а лицо было холеное, упитанное, красное. Контраст между руками и лицом был так велик, что Григорию казалось иногда, будто лейтенант сидит в маске.

— Вы меня избавляете, — сказал поручик, наливая вровень с краями два стакана.

— А он один, что же, не пьет?

— В том-то и дело! С утра пьет один, а вечером не может. Ну, что ж, давайте выпьем.

— Крепкая штука... — Григорий отпил немного из стакана, но под удивленным взглядом лейтенанта вылил в рот остальное.

— Он говорит, что вы молодчина. Ему нравятся, как вы пьете.

— Я поменялся бы с вами должностями, — улыбаясь, сказал Григорий.

— Уверен, что после двух недель вы бы сбежали!

— От такого добра?

— Уж я-то, во всяком случае, от этого добра сбегу.

— На фронте хуже.

— Здесь — тоже фронт. Там от пули или осколка можно окачуриться, и то не наверняка, а здесь белая горячка мне обеспечена. Попробуйте вот эти консервированные фрукты. Ветчины не хотите?

— Спасибо, я ем.

— Англичане—мастера на эти штуки. Они свою армию не так кормят, как мы.

— А мы разве кормим? У нас армия — на подножном корму.

— К сожалению, это верно. Однако при таком методе обслуживания бойцов далеко не уедешь, особенно если разрешить этим бойцам безнаказанно грабить население...

Григорий внимательно посмотрел на поручика, спросил:

— А вы далеко собираетесь ехать?

— Нам же по пути, о чем вы спрашиваете? — Поручик не заметил, как лейтенант завладел бутылкой и налил ему полный стакан.

— Теперь уж придется вам выпить до донышка, — улыбнулся Григорий.

— Начинается! — глянув на стакан, простонал поручик. Щеки его зацвели сплошным тонким румянцем.

Все трое молча чокнулись, выпили.

— Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному... — снова заговорил Григорий, морщась и тщетно стараясь пой-

мать вилкой скользивший по тарелке абрикос. — Один ближе слезет, другой едет дальше, вроде как на поезде...

— Вы разве не до конечной станции собираетесь ехать?

Григорий чувствовал, что пьянеет, но хмель еще не осилил его; смеясь, он ответил:

— До конца у меня капитала на билет нехватит. А вы?

— Ну, у меня другое положение: если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца!

— Тогда счастливого пути вам! Давайте выпьем!

— Придется. Лиха беда начало...

Лейтенант чокался с Григорием и поручиком, пил молча, почти не закусывал. Лицо его стало кирпично-красным, глаза посветлели, в движениях появилась рассчитанная медлительность. Еще не допили второй бутылки, а он уж тяжело поднялся, уверенно прошел к чемоданам, достал и принес три бутылки коньяку. Ставя их на стол, улыбнулся краешками губ, что-то пробасил:

— Мистер Кэмпбелл говорит, что надо продлить удовольствие. Чорт бы его побрал, этого мистера! Вы как?

— Что ж, можно продлить, — согласился Григорий.

— Да, но каков размах! В этом английском теле — душа русского купца. Я, кажется, уже готов...

— По вас не видно, — лукавил Григорий.

— Кой чорт! Я слаб сейчас, как девица... Но еще могу соответствовать, да, да, могу соответствовать и даже вполне!

Поручик после выпитого стакана заметно осовел: черные глаза его замаслились и начали слегка косить, лицевые мускулы ослабли, губы почти перестали повиноваться, и под матовыми скулами ритмически задержались живчики. Выпитый коньяк действовал на него оглушающе. У поручика было такое выражение, как у быка, которого перед резом ахнули по лбу десятифунтовым молотом.

— Выпишо в полной форме. Впились, и он вам нипочем, — подтвердил Гри-

горий. Он тоже заметно охмелел, но чувствовал, что может выпить еще много.

— Серьезно? — Поручик повеселел. — Нет-нет, я несколько раскис вначале, а сейчас — пожалуйста, сколько угодно! Именно: сколько угодно! Вы мне нравитесь, сотник. В вас чувствуется, я бы сказал, сила и искренность. Это мне нравится. Давайте выпьем за родину этого дурака и пьяницы. Он, правда, скотоподобен, но родина его хороша. «Правь, Британия, морями!». Пьем? Только не по всей! За вашу гордую родину, мистер Кэмпбелл! — Поручик выпил, отчаянно зажмурившись, закусил ветчиной, сказал: — Я говорю об Англии с такой же завистью, с какой говорит уличный мальчишка, имеющий мать потаскуху с проломленным носом, о приличной барыне — матери своего случайного друга-барчука. Какая это страна, сотник! Вы не можете представить, а я жил там... Ну, выпьем!

— Какая бы ни была мать, а она родней чужой.

— Не будем спорить, выпьем!

— Выпьем. А вам не совестно так про свою родину говорить?

— Эту родину... Из этой родины надо гниль вытравлять железом и огнем, а мы бессильны. Оказалось так, что у нас вообще нет родины. Ну, и черт с ней! Кэмпбелл не верит, что мы справимся с красными.

— Не верит?

— Да, не верит. Он плохого мнения о нашей армии и с похвалой отзывается о красных.

— Он участвовал в боях?

— Еще бы! Его едва не сцапали красные. Проклятый коньяк!

— Крепок! Он такой же, как спирт?

— Немного слабее. Кэмпбелла выручила из беды кавалерия, а то бы его взяли. Это — под хутором Жуковым. Красные тогда отбили у нас один танк... Вид у вас грустный. В чем дело?

— У меня жена недавно померла.

— Это ужасно! Остались дети?

— Да.

— За здоровье ваших детей! У меня их нет, а может быть, и есть, но если и есть, то они где-нибудь, наверное, бегают продавцами газет... У Кэмпбелла в

Англии — невеста. Он ей аккуратно в неделю два раза пишет. И пишет, наверно, всякую ерунду. Я его почти ненавижу, что?

— Я ничего не говорю. А почему он красных уважает?

— Кто сказал — «уважает»?

— Вы сказали.

— Не может быть! Он не уважает их, не может уважать, вы ошибаетесь! А впрочем, я спрошу у него.

Кэмпбелл внимательно выслушал бледного и пьяного поручика, что-то долго говорил. Не дождаввшись, Григорий спросил:

— Чего он лопочет?

— Он видел, как они в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки. Этого достаточно? Он говорит, что народ нельзя победить. Дурак! Вы ему не верьте.

— Как не верить?

— Вообще.

— Ну, как?

— Он пьян и болтает ерунду. Что значит — нельзя победить народ? Часть его можно уничтожить, остальных привести в исполнение... Как я сказал? Нет, не в исполнение, а в повиновение. Это мы кончаем какую? — Поручик уронил голову на руки, опрокинул локтем банку с консервами и минут десять сидел, навалившись на стол грудью, чашто дыша.

За окнами стояла темная ночь. В ставни барабанил частый дождь. Где-то далеко погромыхивало, и Григорий не мог понять — гром это или орудийный гул. Кэмпбелл, окутанный синим облаком сигарного дыма, цедил коньяк. Григорий растолкал поручика, — нетвердо стоя на ногах, сказал:

— Слушай, спроси у него: почему это красные нас должны побить?

— К черту! — буркнул поручик.

— Нет, ты спроси.

— К черту! Пошел к черту!

— Спрашивай, тебе говорят!

Поручик с минуту ошалело смотрел на Григория, потом, заикаясь, что-то сказал внимательно выслушавшему Кэмпбеллу и снова уронил голову на сложенные ковшом ладони. Кэмпбелл с прене-

брежительно улыбкой посмотрел на поручика, тронул Григория за рукав, молча начал объяснять: подвинул на середину стола абрикосовую косточку, рядом с ней, как бы сопоставляя, ребром поставил свою большую ладонь и, щелкнув языком, прикрыл ладонью косточку.

— Тоже выдумал! Это я и без тебя понимаю... — раздумчиво пробормотал Григорий. Качнувшись, он обнял гостеприимного лейтенанта, широким движением показал на стол, поклонился. — Спасибо за угощение! Прощай. И знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. Это я тебе — от чистого сердца. Понятно? В наши дела незачем вам мешаться. Понял? Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!

Лейтенант встал, поклонился, оживленно заговорил, время от времени беспомощно поглядывая на уснувшего поручика, дружелюбно похлопывая Григория по спине.

Григорий с трудом нашел дверную щеколду, покачиваясь, вышел на крыльцо. Мелкий, косой дождь хлестнул его по лицу. Вспышка молнии озарила широкий двор, мокрое прясло, глянцево блестящую листву деревьев в саду. Сходя с крыльца, Григорий поскользнулся, упал и, когда стал подниматься, услышал голоса:

— Офицерики-то все пьют? — спрашивал кто-то, чиркая в сенах спичкой.

Глухой, простуженный голос со сдержанной угрозой отвечал:

— Они допьются... Они до своего допьются!

*(Продолжение следует)*

---

# СТРАНА ВЫБИРАЕТ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

(Из «Поэмы о братстве народов»).

## ДЖАМБУЛ

**Народный певец Казахстана, орденосец**

Я домбру беру в свои руки опять  
И знаю, что пальцев от струн не отнять,  
И вольно плывут, как весна, хороши,  
Песни от полной души.

Пою я про счастье и солнечный свет,  
Про двадцатилетье батырских побед,  
Про Сталинский мудрый и ясный закон  
Для всех возрожденных племен.

Про светлую дружбу народов пою,  
Сплоченных в труде и священном бою,  
Про крепость проверенных братских уз,  
Скрепивших Советский Союз.

На знамени — Ленин и Сталин у нас,  
На знамени — мудрость и правда у нас,  
На знамени — слава октябрьских ветров  
И павших товарищей кровь.

С сознанием силы, с цветами побед  
Страна выбирает Верховный Совет,  
И речи звучат в степях и горах  
На всех земных языках.

Казах и калмык, белорусс и грузин,  
Татарин и русский, узбек и лезгин  
Идут многоцветной и дружной семьей —  
На выборы, словно на той<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Той — праздник.

Мы все кандидатов достойных несем  
И в списке своем, и в сердце своем,  
Заветными песнями одаря  
Двенадцатое декабря.

Любимое имя у всех на устах,  
Любимое имя стучится в сердцах,  
Любимое имя горит на шелках,  
Любимое имя звенит в городах,  
В аулах, в станицах и в кишлаках  
На всех земных языках.

Сталин! —

Девиз всей страны это ты.

Сталин! —

Маяк Октября это ты.

Сталин! —

Душа всей поэзии ты.

Сталин! —

Дружба великих народов ты.

Сталин! —

Одиннадцать республик говорят —

Наш первый кандидат.

С казахского перевел К. АЛТАЙСКИЙ.

---

# Друзья

Рассказ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

**В**первые я встретился с ними в Ливадии. Лето было жаркое, солнечное, длинное. К осени, дней десять подряд, лили густые пахучие и тяжелые дожди. Затем опять установилось солнце, пламенно засияло море голубым и ближе к берегу — густосиним. В ливадийском парке, наполненные влагой и теплом, важно стояли в неподвижном и светлом воздухе темные деревья.

Я поднимался вверх от моря. На бледнозеленой скамейке сидели два крестьянина. Одеты были они, как и все отдыхающие этого огромного курорта, в пижамы. Носили они эти пижамы с большим достоинством, и если можно говорить об одежде по отношению к этим людям, — потому что одежда весьма мало всегда интересовала их, — то эти розовые и пухлые пижамы очень шли к ним. Старший из них, Андрей Емельянович Сотьев, был высок, широкоплеч, с длинным птичьим носом и огромной черной бородой. Приятель его, Константин Иванович Долгуша, был тоже широкоплеч и тоже массивен, но ростом был меньше на две головы, голосом тонок и немногоречив. Андрей Емельянович уважал жаркое солнце и потому сидел на краю скамейки, прямо в лучах, а Константин Иванович сидел в тени и еще обмахивался веткой.

Разговор начался со спичек, которых у приятелей не оказалось. Я присел на скамейку. Андрей Емельянович, видимо для того, чтобы я не подумал, что эти

пижамы для него одеяние новое и необычное, отчего он мог забыть в столовой спички, объяснил:

— В Ливадии, парень, бываю я каждый год. Аккуратно, как кончим уборку, так я получаю награждение.

Я спросил несколько неумело, больше для того, чтобы развязать разговор:

— Нравится вам здесь?

— Не то, чтоб нравилось, хотя, конечно, знали, где строить. Из каждого окна — картина. То тебе гора, то море гнется, то корабль по морю плывет. Рассказать есть о чем народу... А езжу я потому, что ранен был в гражданскую войну девять раз и все попадали мне в верхнюю половину. — Он ухмыльнулся, разделил на три части бороду и, перебирая ее легонько пальцами, говорил: — Все до головы добирались.

— Не пришлось, — тоненьким, ничтожным голоском вставил Константин Иванович. — Ихние головы мелки. Целят другим местом.

— Были и у них головы, — сказал Андрей Емельянович строго, вовсе не желая показать, что воевать ему приходилось со слабым противником, — были и у них головы, но, надо полагать, слабее работали, чем наши. Шли мы, парень, с отрядом Блюхера, полторы тысячи верст степями да горами. На патроны сильный неурожай у нас был, — нужно сказать — засуха. Вот теперь меня ребята и премируют отдыхом..

— Он у нас, Андрей-то Емельянович, ведет дело по-ладному. У нас хозяйство

направляется... Нонче мы зерно пустили в землю такое, что с палец. Это он весь сорт зерна по нашему селу переменял, — проговорил с огромным уважением Константин Иванович. Эта речь была для него, видимо, длинна, потому что, окончив ее, он глубоко вздохнул и стал усиленно обмахиваться веткой.

— Ишь ты, поет. Будто на мобилизацию собирает кого, — проговорил Андрей Емельянович, кося глазом на своего приятеля. Ему не понравилась эта хвалебная речь, и, чтобы рассеять ее, он рассказал мне, как они живут и что такое их село Михайлово на Южном Урале и как работает их колхоз «Красный пахарь». Разговор наш происходил тому лет восемь назад. Колхозное движение охватывало всю страну, сюда, в Ливадию, приезжали отдыхать наиболее выдающиеся деятели этого движения, и естественно, что разговор с каждым из них был весьма ценен, и нельзя было не радоваться, если рассказчик оказывался словоохотливым.

Село Михайлово лежит в большой долине, окруженной лесистыми горами. В одной части долины тяжелое, вековечное болото, в другой — отличные черноземные пашни. Населения в долине много, все хлебопашцы. В 1919 году проходил через деревню один из полков армии Блюхера в его знаменитом рейде. Вот тогда-то и записался в этот полк Андрей Сотьев. После того, как полк прошел, на село Михайлово наскочили белые и потребовали контрибуцию. Село ответило; как сказал кратко Константин Иванович, который сам присутствовал в этом деле, «ураганным огнем». Белые вернулись с двумя орудиями, разрушили и сожгли село, а кстати все остальные деревни долины. Мужики переселились в болото, на его немногие и гнилые островки.

Сразу же после гражданской войны, вернувшись домой, Андрей Емельянович организовал, как он говорил, «общее дело», назвав это хозяйство «Красный пахарь», потому что:

— Нам, парень, эти два слова дали тяжело. Мы и за то, что пахари работали, и за то, что красные пахари рабо-

тали вдвое. Нам теперь надо было держаться возле этого слова.

— Справедливо, — тонюсенько подтвердил Константин Иванович.

— Мы даже для защиты этого общего дела три пулемета с собой в село привезли, тайком. Однако пришлось нам те пулеметы сдать. Сдали мы по личному желанию, как к нам было такое печатное обращение, но заместо пулеметов выторговали для себя мы три плуга. Подумать только, какая начиналась жизнь в 21-м году. Три плуга на все хозяйство да шесть лошадей, да и лошади-то те помученные, вплоть до Иркутска ходили с отрядами, Колчака топить. А ко всему тому говорили нам вруны в городе, что теперь нэп, общему хозяйству против частного капитала не выдержать.

— А выдержали, — язвительно воскликнул Константин Иванович и даже кулаком стукнул по скамейке.

— Выдержали, — басом подтвердил Андрей Емельянович и улыбнулся огромной и сияющей улыбкой. Вообще он улыбался редко, он больше отделялся ухмылками, шевельнет кончиком рта, поднимет левую косматую бровь с несколькими длинными седыми волосками, и опять лицо у него внушительное, строгое и удивительно пронизательное. Но, когда он улыбался, становилось многое понятно в его жизни. Вот, например, дети. О детях он говорил редко, а было у него их семеро: пять сынков и две дочери. С первого взгляда могло показаться, что Андрей Емельянович не любит детей, и даже приятель его часто поддразнивал:

— Это он детей развел потому, что перед обществом отвечает. Какой человек без детей. А детей он не любит. Не любит.

Андрей Емельянович смотрел строго на своего друга, тот поднимал руки вверх и почти выкрикивал:

— Не любит он детей. Притворяется.

Разговор о детях у нас заходил часто, все потому, что Константин Иванович Долгуша испытывал к детям нежнейшее чувство. Сам он детей не имел, из-за стремления к скитаниям, а больше потому, что «растения мешали», то-есть

он большую часть своей жизни проводил в поле.

— Баба любит дом, — говорит он кратко, — баба, она растения в поле не признает, да и зерно. Остальное для нее — баловство. А без сидения возле бабы дети не получаются...

— Что же, по-твоему, выходит, я все время возле бабы сижу? — спрашивал Андрей Емельянович.

— Ты не сидишь, — смеялся Константин Иванович, — возле тебя баба сидит.

Но по рассказам выходило, что дети очень любили Андрея Емельяновича, даже, пожалуй, больше, чем его приятеля, который, наверно, раздражал детей излишней придирчивостью и тем, что он любил детей называть «травка». Надо полагать, что Андрей Емельянович умел находить в детях, вернее, заставлял их находить в себе, нечто ценное и важное. Дети у него учились очень хорошо, а старший сын уже был секретарем в сельсовете, хотя было ему лет восемнадцать.

Приятеля часто спорили из-за коней. Оба они себя считали коновалами. Константин Иванович даже пробовал учиться, было, на каких-то курсах, но фельдшер показался ему мало знающим и неверующим в «растительное лечение», то-есть в лечении скота травами. Андрей Емельянович сказал об этом фельдшеру более кратко: «Белогвардеец». Если мир казался приятелям очень новым, простым и доступным изучению, равно как и опытам, то в «конском деле» у них были весьма путаные понятия, часто противоречивые. И, признаться, мне не нравилось, когда они говорили о конях. Андрей Емельянович, например, настаивал, что конь не умеет хворать, а что вся хворость происходит от плохого с ним обращения. Константин Иванович полагал, наоборот, что конь есть существо преимущественно хворое, и лечить его надо особенной травой, но, какой особенной, он и сам не знал, считая, что надо «поездить и поискать». Вот и здесь, он ходил даже со мной на Яйлу, чтобы посмотреть на травы. Поднявшись на хребет, он разочаровался и даже плюнул:

— Такая же степь, как у нас за горами. Единственно, что море со степи видно.

В прошлом году я ехал в Казахстан. Миновали Оренбург. Бурые невысокие горы, покрытые ломкой и звонкой осенней травой, вышли нам навстречу. Осень, как и лето, была засушлива. В поезде толковали о жгучем ветре, который попалил и с'ел зерно. Этот ветер калетал на наш поезд обычно после полудня. Вагоны обнимала душная и едкая пыль. Вода становилась неприятной и какой-то сухой на вкус. Всем делалось тоскливо, разговоры умолкали, и еще гулче и металлическое был тогда надоедливый стук колес.

На одной из станций я увидел высокого человека, обвешенного седлами. Седла на нем было не менее десятка, — отовсюду торчали стремена. Коренастый спутник шел за ним следом, неся охапку уздечек и ворох потников. Сквозь всю эту бесчисленную сбрую, сквозь пыль, которая медленно оседала возле вагонов, я узнал Андрея Сотьева и Константина Долгушу. Андрей Емельянович был без бороды, и черные усы его теперь казались необыкновенно длинными, а улыбка чаще и как бы ближе. Константин Иванович изменился меньше, только разве голос у него стал еще звончей и тоньше. Приятеля сказали, что сдадут сейчас эти «причендалы» — они встряхнули седла и уздечки — в багаж и придут ко мне.

— О конях побеседуем, — сказал Андрей Емельянович. Из этого я понял, что его рассуждения о конях, бывшие мне когда-то неприятными, остались у него в памяти.

Они уселись против меня. Солнце было справа. Андрей Емельянович сел прямо в солнечные лучи, а Константин Иванович постарался спрятаться в тень. Но разговаривать начали сверх ожидания не о конях. Сначала Андрей Емельянович вспомнил Ливадию. Он похвалил расположение, дворец, виноградники и даже что-то хорошее в развалинах дворца, торчащих в Орланде.



**АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ АНДРЕЕВ**

**Секретарь Центрального Комитета ВКП(б).**

**Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Ашхабадскому избирательному округу (Туркменская ССР).**

*«Во главе с товарищем Сталиным Вы, Андрей Андреевич, немало положили усилий на то, чтобы сделать нашу социалистическую родину непобедимой и недоступной для внешних и внутренних врагов, а советский народ — самым счастливым и свободным во всем мире. Вот почему мы отдадим все, как один, свои голоса за Вашу кандидатуру в Совет Союза от Ашхабадского избирательного округа.»*

*(Из письма товарищу Андрееву от избирателей 3-го избирательного участка Ашхабадского избирательного округа).*



**АНАСТАС ИВАНОВИЧ МИКОЯН**

**Заместитель председателя Совнаркома Союза ССР,  
народный комиссар пищевой промышленности СССР.**

*Кандидат в депутаты Совета Национальностей, баллотируется  
по Ереванскому-Сталинскому избирательному округу (Армянская ССР).*

*«Мы безгранично счастливы и горды тем, что именно нам предоставлена честь голосовать за того, кто неустанно борется за победу коммунизма, за свободную, счастливую жизнь всех народов нашей прекрасной родины — за Анастаса Ивановича Микояна».*

*(Из резолюции общего собрания рабочих, инженеров, техников и служащих Ереванского завода им. Кирова).*

— Кто их знает, зачем цари не хотели дворец возобновлять,—сказал он.— Может, они чувствовали, что выстроишь, а тут либо крестьяне, либо рабочие поселятся. Нет, мол, давай причиним неприятность. Однако я рассчитываю, парень, что мы сами можем дворец возобновить на этом месте, да такой, что будет он раз в десять лучше.

— Попробуем каждый год ездить, Андрей Емельянович? — спросил я.

— Каждый год не приходится. Да и здоровье мое лучше стало.

— Здоровье у него куда веселей, — сказал Константин Иванович тонким и нежным своим голосом. — Как от детей он отошел, так и здоровье стало лучше. Да и травку я ему давал...

— Ты о травке-то брось, Константин Иванович, — строго сказал Андрей Емельянович, — травку твою я для настоя водки употреблял.

— А пил-то по рюмочке.

— Если в день пить по рюмке, то это будет лекарство. А если в месяц выпить сразу, махом, одну бутылку, это будет натурально.

Он посмотрел на меня и сказал:

— От детей я, верно, ушел. Дети у меня в полном порядке. Старший сын у меня в районе почтой заведует. Это, парень, большая штука. Раньше во всем нашем селе получали три газеты: поп, учительница, да еще в правление сельское приходила такая царская газетка «Сельский вестник». Более по всему району газет не чувствовалось. А теперь мой сын своими собственными руками выгруждает каждый день полторы тысячи газет. Вот оно какое дело. Раньше солдаты только писали домой, спрашивали о хозяйстве, да нельзя ли денег получить, да как детишки страдают. А теперь получаем мы в день триста двадцать, а когда и триста пятьдесят...

— Пишем действительно много. А как не писать, — воскликнул Константин Иванович, — как же не писать, когда все кругом, как травка весной, растет!

— Вот он, Константин этот самый Долгуша, раститель, небось, каждый день письма пишет. Ему профессора отвечают.

— Академики, академики! — воскликнул Константин Иванович.

— Профессора. Академики до тебя еще не дошли, — шуточно сказал Андрей Емельянович, — как дойдут, так за тобой на самолете явятся. Он у нас опытник. Пшеницу яровую выращивает...

— Пять гектар нонче засеяли? — яростно воскликнул Константин Иванович. — Ни тебе ни засуха не взяла, ни тебе ветры не с'ели. Вот какой колос.

И вдруг Константин Иванович вытащил из кармана толстый, длинный колос пшеницы. Он был завернут у него в синюю плотную бумагу. Для сравнения Константин Иванович положил рядом с колосом новенький неочиненный карандаш, из тех, которыми дети пишут в школе. И колос был длиннее этого карандаша и толще был раз в пять. Весь вагон собрался любоваться на этот колос. Приятели, видимо, были очень довольны. Когда Константин Иванович бережно убрал колос, Андрей Емельянович продолжал:

— Телеграмм раньше мужик не получал. Помню случай, что послали из нашей деревни телеграмму Ивану Кронштадтскому, чтобы помолился за припадочную бабу. Очень эту бабу мужик ее любил. Телушку зарезал, чтобы телеграмму этому кронштадтскому попу послать. И на ответ полтора целковых приложил. А из Кронштадта канцелярия чудотворца этого отвечает: «Молебен о здравии стоит двадцать пять рублей». Тут мужик и говорит: я, говорит, всего бога ценю в пять рублей. Напишется горя—и только. Теперь телеграммы в день получаем двадцать пять экземпляров. Да еще посылки получаем: граммофоны там, книги, али девка выпишет себе бархатный отрез из Москвы. Вот у какого богатства сидит мой сын. А еще есть у меня Егорша. Так тот в комбайновой уборке первый мастер. Рассказывать о нем не буду, потому что описан в газетах и присоединен к ордену. Дочь у меня заведует земельным отделом в районе. За столом сидит мало она. Это я ей так и сказал: если будешь сидеть за столом, подписывать постановления, быть тебе, Елена, через полгода возле

моего порога со слезами. Она по колхозам действует. Башковитая баба. А еще сын у меня в театре актером...

— Актером? — спросил я удивленно.

— Актером. И здорово изображает, — восхищенно сказал Андрей Емельянович, и мне показалось, что глаза его увлажнились. — В нашем колхозном михайловском театре изображает. Ноне, осенью, будет проводить «Овечий источник», это насчет древности. Испанцы там против своих борч воевали, по-другому, конечно, чем нонче, нонче они успешнее дерутся, а все-таки воевали. У нас, ведь, в древности тоже Пугачев, скажем, Уралом проходил...

— Нет, ты про коней, Андрей Емельянович, ему расскажи, — сказал Константин Иванович и медленно и восторженно покачал головой. — Ну и кони! И какой только травой они выкормлены, сказать прямо трудно.

Тут Константин Иванович произнес почти целую речь, если измерять слова, как он их понимал.

— Я у него отдых проводил. Я в его систему не верю. Ушел он из нашего колхоза: дескать, смена у меня вооружена, и пойду я к своей мечте. А его мечта — конь. И пошел он в горы, в конный совхоз служить. Я, признаться, думал, что ему возле костра посидеть хочется, в горах, понюхать, как травка ночью пахнет...

Он указал на бурые и сухие горы, мимо которых несся наш поезд.

— Совсем, как сказать, без одежды пасутся. Оттуда мы их ловим арканом и прямо в армию к Семену Михайловичу Буденному. От него приезжают такие специалисты. В руке у него слуховой аппарат, а в глазу — наука. Он этим глазом действует лучше всякого слухового аппарата. Подсаживается один такой возле меня и говорит: «Ты что, мол, отец, тоскливо на костер смотришь, может, влюбился?». Я ему говорю: «Люби ты свою жену, а я к тебе не присоединяюсь». Он захохотал. Тут мы начали разговаривать, и открыл он мне конскую науку, которую я нутром предчувствовал. Понравился он мне. Он в Оренбург. Я за ним. Он в Самару. Я за ним. Так я определен был им в училище. Раньше

бы, в стары годы, засмеяли бы. Вот, мол, старый дурак, тоже за парту лезет. А теперь приняли меня с полным почтением, признали, что мозгу надо неторопливо работать, и гнать меня с учением не гнали, а преподавали медленно и целиком аккуратно. После того поехал я на отдых в эти степи. Назначили меня табуном заведывать. А в табуне шестьсот конев...

— И каких конев! — умильно воскликнул Константин Иванович. — Кабы был бог, так я бы сказал, что шестьсот архистратигов перед тобой. Кожа — атлас серый, нога — песня, про глаза никаких слов не найдется высказать. Такой глаз, если его оседлать и к нему винтовку прибавить, такой глаз через любого врага пройдет. Никаких танков не потребуется.

Я спросил:

— А как же, Константин Иванович, колхоз без основателя живет?

— Основатель на отдых приезжает. А то вот я к нему на отдых приехал. Я ему все подробно рассказал: к первому мая 1937 года построили мы конюшни для колхозного скота. Андрей Емельянович чертеж утвердил. Полагаю, в этом деле он понимает. — Константин Иванович вынул сильно замасленный чертеж конюшни и развернул его на коленях. Тыча широким, узловатым пальцем в чертеж, он говорил: — Тут рядом с конюшней у нас телятник и гусятник, гусь у нас толстый, поповский, потому что рядом река и камыши. А тут вот, здесь, будет у нас к седьмому ноября 1937 года самая настоящая электростанция. Потому что возле гуся течет вода. Вода течет с гор, быстро. Зачем ей зря течь. А кроме того, купили мы за сорок пять тысяч в соседней деревне церковь, там ее чиновники в память трехсотлетия Романовых построили. Там, вишь ты, какой-то великий князь ночевал и сон плохой видел. Поломали мы эту церковь, везем к себе на клуб.

— А как же ваша-то церковь? — спросил я.

— А в нашей церкви устроили мы агрономическую школу.

И Константин Иванович засиял необыкновеннейше. Надо сказать, что рас-

сказ его я выслушал с громадным удивлением. Я все думал, что заставило так разговариваться Константина Ивановича. За всю, небось, свою жизнь он не сказал столько слов, сколько выговорил сейчас тоненьким и нежным своим голоском, который, казалось, вот-вот прервется от волнения. Но Константин Иванович благополучно довел рассказ до конца и когда проговорил «агрономическая школа», то вложил в эти слова такой пафос и радость, что больше уже никакого рассказа от него требовать было нельзя, да и он сам понимал, что ничего не расскажет, потому что достал коробочку «Норд» и сразу взял три папироски.

Несколько дней назад приятели были у меня в Москве. Андрей Емельянович приехал поговорить с каким-то высоким специалистом конского дела. Этот специалист был всюду, где есть редкие лошади, даже в Аравии жил полгода. Андрей Емельянович вел с ним давно уже переписку. Специалист был стар, немощен и из-за этого не мог посетить знаменитых табунов возле Оренбурга. Андрей Емельянович вынужден был сам приехать в Москву и словами, и фотографиями показать, что за кони разведены у них в горах:

— Да разве словами передашь конский бег? — спросил Андрей Емельянович, и горе чувствовалось в его голосе. — Тут надо самому увидеть и сказать, какая разница в беге у коня. Как, скажем, бежит по песку бедуинский конь, а как по газону английский. И что можно от ихнего бега привезти к нам в Оренбург. Понятно?

— Понятно, — сказал я, — все-таки он, специалист-то, сказал вам что-нибудь дельное?

— Андрею Емельяновичу да не скажет? — воскликнул Константин Иванович. И по этому восклицанию можно было понять, что все «конские споры» между друзьями прекратились. Константин Иванович признал несомненный авторитет Андрея Емельяновича, а тот в свою очередь бесконечно уважал Константина Ивановича. Уважение это чув-

ствовалось хотя бы в том жесте, каким он указал на книги, которые принес с собой Константин Иванович.

В связке книг были: «Жизнь моря» Росселя и Ионга, «Критический очерк основных понятий генетики», «Практическое руководство по биохимии растений», «Почвоведение», «Жизнь и деятельность растительных сообществ».

— И заметь, «не по складам читает».

— Такие книжки по складам читать трудно, — сказал я.

Приятели оставили у меня свои книжки, так как хотели зайти ко мне еще раз, когда посмотрят Третьяковскую галерею. Я пошел с ними. По дороге Константин Иванович рассказывал мне, как он ищет новый сорт хлопчатника, который можно было бы вырастить в его долине. Долина защищена ветрами, солнца много, воды достаточно, — как же не быть хлопчатнику. И такая замечательная уверенность звучала в его голосе, так сияли глаза, так его слова были убедительны, что мы в голос заявили, что хлопчатник, несомненно, будет расти в Михайловой долине.

Из картин Константину Ивановичу больше всего понравилась работа Перова, — где дети везут на себе бочку с водой. Детям холодно, резкий ветер пронизывает их, дышать тяжело, полозья скользят. Мученье изобразилось на лице Константина Ивановича. Он вспомнил, наверно, свое детство, мачеху, которая, узнав, что ребенок хочет поступить в пастушки, дабы находиться возле травы, отдала его в учение к сапожнику. Сапожник бил мальчишку, заставлял вот так же, как на этой картине, возить на салазках бочки с водой, темной ночью воровать в казенном лесу сухостой.

— Кривая жизнь ране была, — сказал Константин Иванович, отходя от картины. Андрей Емельянович молчал. Он шел, заложив руки за спину, степенной и задумчивой походкой. Он долго стоял против «Богатырей» и, отходя, как-то легонько пошевелил плечами, как бы примеривая мысленно на себе богатырскую броню. Но в глазах его светилось огромное удовольствие, и улыбка все время мелькала в его лице, та замечательная, глубокая, наполненная лаской

улыбка, увидав которую, вы никогда не могли бы ее забыть. Покинув галерею, он долго шел молча. Затем обернулся ко мне и сказал:

— Старики-то писали вроде почище молодых.

Улыбаясь пленительной и легкой своей улыбкой, он остановился. В руке он держал пачку открыток. Осень в этот год выдалась длинная и теплая, и сухая. Он стоял на тротуаре, в узком деревянном переулке возле бурого домика с белыми рамами. По переулку в галерею непрестанно шла молодежь, старики, дети. Друзья сошли с тротуара. Андрей Емельянович сказал:

— Кривая жисть была, точно. А выпрямили!

Он отделил от многих открыток — одну. Здесь по бело-голубому снежному полю отступала армия. Солдаты и офицеры закутаны в разнообразные и жалкие одежды. Многие без ружей, а те, которые с ружьями, несут их, словно палки, и чувствуется, что холод так сковал им руки, что даже раскаленное дуло ружья не согрело б их. Это отступает армия Наполеона.

Андрей Емельянович убрал открытку:

— Понятно?

— Чего ж непонятного, — сказали мы.

— И Колчак так отступал, и Врангель, и всякие другие вплоть до последнего времени. И каждой армии придется от нас таким манером отходить, так как жисть мы, парень, выпрямили. Денька через три будем мы у себя на земле. А земля у нас, как и в Москве, гудит, потому что готовимся, мы, парень, к выборам в Верховный...

Он слегка приподнял палец и оглянулся, как бы желая, чтоб побольше народа слушало его:

— В Верховный Совет, парень! И скажут мне: надо выдти тебе, Андрей Емельянов, на трибуну. Я и выйду. Чего мне не выйти? Чего мне стыдиться али сомневаться, али — мне сказать нечего? Жили мы неплохо, жили чисто, плотно, на нас только может враг пожаловаться, а мы этого и добивались. Выйду я и скажу: прямая наша жисть, и прямое наше слово — бились мы честно за Сталинску Конституцию, и сталинским сынам — слова даем, голоса даем, славу даем. Вот как, парень!

Он опять приподнял руку, улыбнулся и сказал:

— Сталину первое место даем!..

# ТЫ ВЫБЕРЕШЬ ЛУЧШЕГО ДРУГА СТРАНЫ

**В. ЗВЯГИНЦЕВА**

— Скажи, мое сердце, ты можешь сказать,  
Кого мне в Верховный Совет выбирать?

— Когда потемнеет небесная синь,  
На Красную площадь пойдя и спроси,

Спроси у высокой кремлевской звезды,  
Спроси у великой могильной гряды.

И, в небе пылая, ответит звезда:  
— Гляди, выбирая, кто честен всегда.

Услышишь ответ у кремлевской стены:  
— Ты выберешь лучшего друга страны.

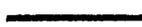
Услышишь ты, тихо войдя в мавзолей:  
— Того лишь, кто партии предан моей, —

Того изберешь ты в Верховный Совет.  
Я слушаю, Ленин, твой крепкий завет.

Я слушаю песни, что всюду поет  
О Сталине мудром великий народ.

Я знаю, я знаю, кого выбирать,  
Чье имя со всею страной повторять.

Я в светлый декабрьский серебряный день,  
Как счастьем письмо, опущу бюллетень.



## КРЕСТЬЯНСКИЙ ГОЛОС

Н. НЕЗЛОБИН

Мой прадед пал на Бородинском поле.  
Мой дед на Шипке снегом занесен.  
Отец мой умер в каторжной неволе,  
Зарытый в яму под кандалный звон.

Мы одевали камнем Петербурги.  
Мы брали Плевны, шли на Сахалин.  
На тощей кляче Сивке или Бурке  
Косой сохой пахали тощий клин.

На барина работали веками,  
На господ и всех его святых.  
Нас величали в сказках дураками,  
Ворами звали в песнях удалых.

Так жили мы семейством безымянным,  
А лица земли стираясь без следа.  
А коль назвать — то назовут Иваном,  
Иль просто так: «Эй, шапка, ты куда?».

И вот теперь я получаю имя.  
В великий список имя внесено.  
С героями, с вождами дорогими  
В одну графу записано оно.

Я прихожу на выборный участок.  
Беру перо, к бумаге подношу.  
И сердце бьется радостно и часто:  
Я депутатом — Сталина пишу.

## ДЕВУШКА ИЗ НАШЕГО КОЛХОЗА

Я в хорошей книге видела:  
нужно тайно выбирать.  
А выходит — тайну выдала,  
если вслух пришлось сказать.

Иль ошибка эта смолоду,  
иль от радости она?  
Шла я улицей по холоду,  
а на сердце, как весна!

Шла в снегу, а вспоминала я  
майский вечер, теплый дождь,  
как сидела-тосковала я,  
что намокнешь — не пройдешь.

У меня-то мать суровая,  
разгуляться б не дала.  
Да цвела сирень лиловая,  
и черемуха цвела.

Слышу, слышу с неба синего,  
будто кличет кто в трубу.  
Я платок скорей накинула  
и бегом за городьбу!

В небе птица, вроде сокола,  
не одна, а целых три.  
Выше облака высокого,  
выше розовой зари.

Это он, Василий Молоков,  
трехмоторную ведет.  
Это он, родное зблотко,  
прямо к полюсу идет.

Трепыхнулось сердце девичье,  
впору прыгнуть к кораблю.  
Я Василия Сергевича  
уважаю и люблю.

Хоть и много в нем суровости,  
как по карточке сужу,  
но и в ней — для нас не новости —  
только нежность нахожу.

Раньше было не присуще нам,  
в старину, как скажет мать,  
а теперь и я допущена  
Власть Верховную избрать.

Клуб колхозный в светлом инее.  
Я нарядна, как и все:  
боты белы, шуба синяя,  
лента алая в косе.

Я рукав закину по-локоть,  
чтоб в чернила не марать.  
Я тебя, товарищ Молоков,  
нынче буду выбирать.

Ноябрь 1937.





### **ВЛАС ЯКОВЛЕВИЧ ЧУБАРЬ**

**Заместитель председателя Совнаркома СССР, народный комиссар финансов СССР.**

*Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Харьковскому сельскому избирательному округу (Украинская ССР)*

*«Голосуя за соратника товарища Сталина — товарища Чубаря, мы одновременно голосуем за вождя трудящихся всего мира товарища Сталина. Призываем всех избирателей нашего избирательного округа отдать свои голоса сталинцу Власу Яковлевичу Чубарю — непоколебимому большевику, работающему на благо трудящихся нашей страны».*

*(Из обращения районного совещания колхозных агитаторов и доверенных лиц Липецкого района Харьковской области).*



**СТАНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ КОСИОР**

**Секретарь Центрального Комитета КП(б) Украины.**

*Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Ленинскому избирательному округу гор. Киева.*

*«Помощник нашего Сталина, рука об руку с ним борется за благо трудящихся товарищ Станислав Викентьевич Косиор... Под руководством товарища Сталина ведет Станислав Викентьевич Косиор украинский народ к счастливой, радостной жизни».*

*(Из речи тов. А. И. Курека, слесаря-монтажника киевского завода «Ленинская кузница», на цеховом митинге).*

# Случай в селе Грушевке

Рассказ

С. ДИКОВСКИЙ

**Д**ивный сон приснился отцу Ферапонту. Будто вышел он из царских врат служить обедню и не узнал бедного храма.

Гремел хор. На клиросах было темно от молящихся. Ввысь, в голубой дым, уходили резные киоты, перевитые лозами винограда. Жарко мерцали золоченые ризы, каких никогда не видела сельская церковь.

Все было прочно, надежно, богато. Вместо жалких луженых чаш и деревянной купели, которых так стыдился о. Ферапонт, светилось серебро новой утвари. Даже риза была новая парчевая, расписанная агницами и крестами,— совсем как в тот день, когда о. Ферапонт впервые служил обедню в селе Грушевке.

Всюду горели свечи, не самодельные, перетопленные из огарков, а старые, питерские, от Крестовникова, источающие тонкий, медовый запах. В печах гудело пламя — приятная теплота разливалась по храму. Причетник прохаживался с чайником, брызгал на плиты, норовя уложить струйку ровными полукружиями.

Среди яркого света странно помолодевшими казались святые: на щеках Николая-угодника полыхал кирпичный румянец, чуть приметно улыбалась волооккая богородица, зорко глядел из треугольника на куполе карий глаз Саваофа, а труба в руках курчавого архангела Гавриила блестела не хуже каски пожарного.

Непонятно было только, почему вместо святителя Симеона-столпника стоит в сандалиях и лазурных одеждах знакомый банщик Игошка. Отец Ферапонт боязливо покосился на образ, но Игошка успокоительно кивнул головой, точно хотел сказать: «Да, это мы-с, зачем сомневаться?». Длинный святительский посох и венчик над лысиной удивительно шли к его постному лику.

Но чудней всего была толпа односельчан, пришедших в церковь. От правого клироса, где стояли черные ширмы, она тянулась до самого входа. Были здесь первые противники господ-бога и о. Ферапонта.

Грозный, охваченный мстительной радостью, стоял о. Ферапонт над толпой. В самые сердца вонзал он безжалостные слова обличения. И святые, покачивая венчиками, одобрительно слушали его.

Все громче и громче звучал голос под сводами храма, но свечи уже постепенно гасли, лица расплывались, точно таяли в воздухе, и, наконец, сквозь далекое ангельское пение стал пробиваться знакомый голос жены:

— Феничка! Опомнись, Феничка... С кем ты болтаешь?

Он пытался сопротивляться, зарывшись в подушки, жмурил глаза и не мог досмотреть дивной картины. Уже наступал со всех сторон скучный комнатный мир: прорезались из сумерок листья фикуса, обозначилась труба граммофона, за стеной комариным голосом занял самовар...

Сквозь оконную кисею лился влажный осенний рассвет.

— Проснись, Феничка! — говорила жена. — Отец Никанор целый час тебя ожидает.

— Что же ты...

— Не велели будить.

Отец Ферапонт торопливо нырнул в полосатый подрясник и, фыркая, стал плескать в лицо холодную воду. Гость был редкий, из дальней Чугуевской епархии, и слыл авторитетнейшим в округе священником.

Отец Ферапонт вышел навстречу ему, не успев стряхнуть сна, — с растрепанной гривой и оплывшими щеками, хранившими следы кружевной наволоки.

Гость, маленький, горбоносый, похожий на грека, стоял у стены, разглядывая старую олеографию «Искушение Иосифа женою Пентефрия».

Он был из новых священников — носил щегольские, легкие сапоги, пиджачную пару с галстуком цвета фиесташки и тщательно выскабливал смуглые щеки. Ни обликом, ни порывистой манерой держаться он вовсе не походил на лицо духовного звания. В поездках его постоянно принимали за бухгалтера или снабженца, а бантики считали артистом. Да и фамилия была у него не солидная, слишком обидная для иерея, — Визжайкин.

Отец Ферапонт не понимал и боялся «новых» священников. Однако он тотчас изобразил приветственную улыбку и, обняв гостя, расцеловал его в холодные, пахнущие пудрой щеки.

— Забавный сюжет! — сказал гость вместо приветствия. — Не так ли искушает нас жизнь?

Отец Ферапонт покосился на жену Пентефрия и ничего не сказал. Но гость и не нуждался в ответе.

— Еду в город! — объявил он, щелкая крышкой пестренького портсигара. — Разрешите? Хочу оцинкованную купель заказать... Заодно и клапан сменю.

На стуле, увязанная в клеенку, лежала двухрядка. Отец Никанор считался одним из лучших гармонистов района, и злые языки поговаривали, что чар-

даш удастся чугуевскому попу лучше, чем «Верую, господи».

Они заговорили о будничных церковных делах — сокращенном требнике, отпечатанном на шапирографе в Харькове, сносе кладбища в Мятелицах и новой речи епископа Сергия, посвященной единению церковных течений. Отец Никанор любопытствовал, нет ли у о. Ферапонта олифы. Отец Ферапонт попросил фунта два сурика. Хозяин ждал, а гость не торопился, шагал по комнате, поворачиваясь на каблуках по-солдатски, и бессовестно чадил папирсой.

Зло усмехаясь, он рассказал последний анекдот о новочерниговском священнике, придурковатом о. Михаиле; который, прочитав в газете новую Конституцию, созвал народ благовестом.

— ...Отличился Мафусаил наш... Пожарные бочку выкатили... Бабы картошку копали, — со всех огородов сбегались. А Михаил слова не может сказать, стоит на паперти, тычет пальцем в газету. Прославился! На пленуме партийного комитета рассказывали... Смешно?

Он тихонько засмеялся, прижимая к лицу платок, точно чихая.

— Не смешно, а грустно, отец Никанор...

— Не зовите меня отцом, — попросил гость, строго глядя на о. Ферапонта.

— Как угодно. Ничего обидного, кажется, нет.

— Я не обижаюсь. Просто семинаризм несколько режет ухо.

— Что ж... мы — поповичи. В магистры не метим.

Отец Ферапонт весьма неуклюже намекал на «Академию богословия», в которой учился Визжайкин, но гость, точно не заметив ехидного замечания, продолжал:

— Семинаризм нас душит. Петр сбрил бороды боярам, пощадив попов... И напрасно... Посмотрите, какие чудеса католики и протестанты творят. Коглин, американец, миллион голосов собрал. В соборах пианолы, радиопроповеди... ки-

нокартины из жизни равноапостолов демонстрируют... А у нас пустосвяты, пещерники... Язычество с византийской подливой!

Даже за столом он продолжал выкрикивать обидные и колючие фразы, поблескивая цыганскими глазами. Отец Ферапонт глядел на него с раздражением и завистью. Смущала неприятная суетливость горбоносого, желчного человечка. Пальцы его, отмеченные редкими волосиками, шевелились беспрепятственно, трогая то солонку, то корку, то спички. «Иудейская манера!» — определил по старой семинарской привычке о. Ферапонт.

Разговор шел беспорядочный, но интересный. Никанор Борисович знал решительно все: где достать позолоту для врат, сколько стоит пластинка с проповедью харбинского епископа Николая, куда выслали бывшего прасола Игнатейко... Отцу Ферапонту он посоветовал заменять ладан можжевельным корнем, попадье поведал, как делать «мраморные» крашенки, а востроносенькой, курчавой, как ягненок, дочке Насте помог решить задачу на десятичные дроби.

— Какой класс? Пионерочка?

— Воздерживаемся, — ответила мать.

— Напрасно...

«Жох» — сообразил о. Ферапонт, тщетно пытаясь догадаться, что привело сюда чугуевского священника.

И только когда попадья вышла на кухню, о. Никанор придвинул стул и быстро спросил:

— Что вы думаете о последних событиях?

— Не уясню.

— Я о выборах говорю.

— Событие необ'ятное, — сказал неопределенно о. Ферапонт.

— Говорите прямо. Timeo danaos et dona ferentes!<sup>1</sup>

— Не знаю.

— Для народа это радость большая... Прямое и тайное из'явление сокровенных мечтаний... Выбор достойнейших...

Отец Ферапонт покосился на собеседника с недоумением и тоской. Не та-

ких слов ожидал он с глазу на глаз, но вслух сказал почти бодро:

— Богатейшая мысль!

Что-то похожее на насмешку проскользнуло в бархатных, греческих глазах о. Никанора. Он быстро прошелся по комнате, заглянул мимоходом в открытую дверь и спросил:

— Ну, а кого вы сочли бы достойнейшим?

Отец Ферапонт смутился. До сих пор выборы казались ему бесконечно далекими. Он всегда старался быть в стороне от больших дел и поэтому на вопрос ответил вопросом:

— А отец Преображенский?

— Это тот, что канавы копает... Глуп, как тихоновец! И упрям.

— Да есть ли надежда?

Но о. Никанор уже спрашивал быстро и требовательно.

— Подумайте... Ну, примерно... Сидор? Иван?

— Пожалуй, Белоненко, — сказал о. Ферапонт нерешительно.

— Кто он? Конюх? Неплохо... С батьками путался?

— Кажется, нет... То-есть у него в Турции сын.

— Не умно. Сказано вслух не однажды: ждем честнейших и лучших.

— Значит...

— Вот что, — сказал о. Никанор с коротким смешком, — гигиена любит рубахи без пятен. Политика тоже. Будем говорить прямо. Если борода в лапше... понимаете?

— Тогда — Лавр Игнатьевич... — предложил, подумав, о. Ферапонт.

— Это кружка церковная? Староста ваш? А в миру кто?

— Пасечник... Кабанчиков еще холостит... Никанор Борисович, вы всерьез?

— Толц'йте, — посоветовал гость, с треском вбивая ногу в калошу. — Женщины в вере особенно тверды.

И исчез... После него в комнате остался дым папиросы и странно-сладкий, напоминающий женщину, запах.

Отец Ферапонт долго смотрел, как зеленая таратайка чугуевского священника мелькает меж верб. Непривычные, пугающие своей значительностью мысли лезли в голову.

<sup>1</sup> Бойтесь данайцев, дары приносящих.



Вот уже лет пять, как о. Ферапонт неохотно покидал палисадник. Грушевка — село полукрестьянское, полурыбацкое — изменилась за последнее время неузнаваемо. Возле сада, где голубел прежде купол часовни, стояли теперь две силосные башни, вместо трактира Игнатенко тянулся длинный, как гусеница, скотный дворик. На току, напротив дома священника, поставили молотилку и локомобиль. Весь сентябрь в столовой дребезжали тарелки и доносилось отчетливое татаканье двигателя. По вечерам, отодвинув занавеску, о. Ферапонт наблюдал за машиной. Она стояла неподвижная, черная. Только сбоку качался ремень да вихрем вылетала на разостланый брезент пережеванная солома. Каждую ночь горели на току лампы и орала девчата.

Иногда по селу, занимая собою полулицы, проезжал комбайн — странное сооружение, точно слепленное из десятка машин. В таких случаях о. Ферапонт ни с того, ни с сего начинал ворчать на жену. Он терпеть не мог автомобилей, тракторов, самолетов, комбайнов — всего, что грохотало и шумело.

Всё окружающее вызывало у священника бессильную и тоскливую неприязнь. Но особенно обидным казалось равнодушные грушевских рыбаков. Представительную фигуру попа просто не замечали, и тяжелое равнодушие это еще больше подчеркивало дряхлость церкви и старость о. Ферапонта. Теперь не на что было даже пожаловаться, пойти в сельсовет, поговорить с людьми. Кузнец Детьиненко, огромный, чубастый, с розоватыми белками на закопченном лице, встретившись на узкой тропе, подчеркнуто вежливо уступал дорогу.

— Простю! — говорил он, растопырив ручки.

К боли душевной примешивалась и неприятность физическая. От раздражения или от старости на боках о. Ферапонта появлялась сыпь, зудящая, противная, заставлявшая во время богослужения глупо поешиваться. Это от

обиды, — пояснял о. Ферапонт самому себе.

На ночь в доме запирались все ставни, и хозяин, проведя засовы, старательно подпирает дверь березовым кругляшом.

Беседа с чугуевским священником сильно ободрила о. Ферапонта. Правда, он не придавал особого значения последним словам Никанора Борисовича, но все же почувствовал, что жизнь в Грушевке не так уж плоха. Переждав до вечера, он решил навестить Лавра Игнатьевича.

Полный тихого ожесточения, он вышел на улицу и сразу же столкнулся с председателем сельсовета Башмачниковым. Встреча была неприятная для обоих, но о. Ферапонт быстро приподнял широкую шляпу и, улыбаясь через силу, сказал:

— Радость какая!..

— Это почему? — спросил Башмачников подозрительно.

— А дарование гражданских свобод?

— Вот как..

Башмачников оглядел собеседника и вдруг сердито спросил:

— А церковь кто ремонтировать будет — вы или дух святой?

— Странно, однако..

— Если не под силу, — отдайте народу. А зачем же позорить пейзаж?

Отец Ферапонт вдруг озлился:

— Пока я жив, — сказал он, выпрямившись, — пристанище верующих будет неизбежно.

Башмачников негромко засмеялся и направился к сельсовету.

Неприятный разговор еще более ожесточил о. Ферапонта. Если герой Помяловского веселый Аксютка наплевал в кадку с капустой, то оскорбленному грушевскому пастырю захотелось плюнуть в кадку вселенскую.

... Вместе с Лавром Игнатьевичем, сухоньким старичком в синей венгерке, поднялся он на колокольню осмотреть обветшалые балки. Многие ступеньки выкрошились, всюду белел голубиный помет. Священник часто останавливался, Лавр Игнатьевич терпеливо ожидал его на верхней площадке.

Наконец, они добрались до самой вершины и ошупали балку. И точно: тропное плесенью дерево рушилось под ногами. Пять лет назад сняли колокола: до сих пор стояли здесь сколоченные наспех козлы и валялись обрывки веревок.

Церковь стояла посредине дуги, образованной Грушевкой. Прекрасно были видны отсюда оба края, сползавшие с крутояра прямо к воде, силосные башни за садом, длинный скотный двор под черепичной крышей.

Широко и радостно дышало Азовское море. Тявкая, точно собачонки, лезли на берег маленькие, крутолобые волны. Вдоль берега, по грязной дороге ехал грузовой автомобиль, полный курчавых капустных вилок.

Отец Ферапонт отвернулся. Он не любил новых пейзажей, с их резкой, бесцеремонной прямолинейностью. Все здесь напоминало о прошлом. На месте школы стояла когда-то мельница. Тропинки, прежде сбегавшиеся к церковной ограде со всех сторон, побледнели, заросли подорожником и метелками щавеля. Храм оживал только в двенадцатые праздники.

Он перевел взгляд на собственный дом. Здесь все было по-старому, как тридцать лет назад. Краснели голые прутья ветел, надутые ветром, как сачки, металась на веревках исподники, волоча крылья, топтались индюки, и вслед за ними, тоскливо свесив ухо, ходил сенбернар, выстриженный косыми рубцами. Верный это был пес. Каждый год его остригали догола и вязали из чудесной шерсти варежки и носки.

Обида и свежий воздух придали смелость о. Ферапонту.

— Лавр Игнатьевич! — сказал он торжественно. — Что вы скажете, если массы сочтут вас избранныком?

Против ожидания староста несколько не удивился. Он только еще больше надулся.

— Почему же именно меня? — спросил он, пожевываясь.

— А кого же еще?

— Ну, Безменова Анатолия, Остафьева... На худой конец — Галагана...

— Ненадежны, — сказал о. Ферапонт, покачав головой.

— А у меня, извините, дочь на втором курсе медтехникума.

— Опасаетесь?

Вместо ответа Лавр Игнатьевич снял картузик и указал на седые виски.

— Пятьдесят-с третий, — напомнил он тихо.

Они стали спорить. Отец Ферапонт решительно наступал, Лавр Игнатьевич осторожно оборонялся. Истопник Саввушка, живший в сторожке у самой ограды, долго слышал настойчивое жужжание священника и тихий металлический голосок церковного старосты.

Наконец, они спустились и вышли во двор. Отец Ферапонт был красен и радостен. Лавр Игнатьевич вяло жевал губами и смотрел в сторону.

— Вы же не девица, — сказал о. Ферапонт, — я ручаюсь, понимаете... Лично ручаюсь!

— Чем? — спросил Хрисанфов уныло.

Вместо ответа о. Ферапонт отрывисто засмеялся и провел ладонью по шее.



У о. Ферапонта была приличная библиотека. Сам он читал по слабости зрения мало, но охотно делился книгами с прихожанами. Библиотека позволяла чаще встречаться с людьми, поддерживать слабеющих в вере, а главное — постоянно быть в курсе событий.

По четвергам заходил за очередным томиком Мережковского Лавр Игнатьевич, просил что-нибудь историческое конюх Белоненко, рылся, бесцеремонно сломяв страницы, сын прасола Анатолий Безменов. Боали книги почтарь Филимоша, пожилые ловцы Гаврилюк, Загнедин, Остафьев и еще человек пять с хуторов.

Самые свежие новости сообщал о. Ферапонту истопник сельсовета и школы старичок Саввушка — тихий и ласковый. Постепенно вечерние беседы с

истопником стали привычкой. Каждый день, войдя в дом со стороны огородов, Саввушка дул в кулаки и говорил то-неньким голосом озябшего человека.

— А в степу ветер, отец Ферапонт.

Быстро и деловито, точно читая по бумажке, он рассказывал, зачем поехал в город Башмачников, с кем гуляет учительница, что привезли утром в сельпо и какими словами ругает священника кузнец Детыненко.

— Галаганиха Дарья опять требует церкву закрыть... А Башмачников купил пальто из синего драпу, неизвестно на какие средства, — бормотал посетитель, присев на край сундука. — А у Насти Зареченской снова рабеночек, наверно, от киномеханика... А крестить она не желает, вторые сутки с матерью спорится... Лучше, кричит, в прорубь брошу, чем стану позорить.

— Однако сплетник ты, Саввушка, — говорил кротко о. Ферапонт. — Быть тебе свахой.

— Как на духу.

— Иди-ка ты с миром...

И маленький человечек, завернув книжку в клеенку, уходил, ступая на цыпочках.

Отец Ферапонт гордился своей библиотекой. Книжки были солидные, переплетенные еще расстригой-дьячком в дермантин: Златовратский, Соловьев, Засодимский, Гусев-Оренбургский, Мордовцев, Мей, Боборыкин, Шмелев. Целую полочку занимали книжки-копейки Льва Толстого, которые о. Ферапонт пожалел выбрасывать после отлучения графа от церкви. Брошюры были неплохие, с цитатами от Луки и Матфея: «Где любовь, там и бог», «Вражье лепко, божье крепко», «Свечка», «Три старца», «Страдания господа нашего Иисуса Христа».

На особой полке, уступая времени и желанию Настеньки, о. Ферапонт держал несколько советских изданий. У новых сочинителей даже фамилии были какие-то странные: Фиш, Форш, Хацревин, Рахило.

Выдавал книги эти о. Ферапонт неохотно, вздыхая, хвалил кисло, и то

больше картинки, а Настасье говорил ядовито:

— Шурум-бурум... Скажите, как интересно?!

С тех пор, как о. Никанор побывал в Грушевке, библиотека получила усиленную нагрузку. Уже не только по четвергам, но и по вторникам, по средам и даже в субботу отворялся ореховый шкаф, и о. Ферапонт принимал алчущих пищи духовной. Иногда вместо книг раздавал он четвертушки бумаги с подходящими цитатами от Марка, Иоанна или Луки. Или, усадив какого-нибудь старика на сундук, перечитывал ему отрывок из «Учения двенадцати апостолов».

Отец Ферапонт купил на почте несколько тонких брошюрок и теперь просиживал над ними целые вечера, что-то бормоча и обводя параграфы красным карандашом. Иногда заходил Лавр Игнатьевич или сам Григорий Безменов — старик с тяжелым, невидящим взглядом ввалившихся глаз и злым, морозным румянцем на скулах. Тогда попадья слышала звенящий тенор Хрисанфова или поучающую воркотню о. Ферапонта. В кухню долетали только обрывки неслыханных в этом доме фраз: Статья 51 обязует... На основании статьи 136... Право выставления кандидатов... Прямое... Равное... Тайное... Только за исключением умалишенных...

По ночам, когда муж исписывал десятки мелких листков, Варвара Аркадьевна со страхом прислушивалась к скрипу пера. Однажды она даже не выдержала и расплакалась.

— Что это ты? — удивился о. Ферапонт.

— Настеньку пожалей.

Муж ничего не ответил, только перо еще быстрее забегало по бумаге.

Он похудел, потемнел лицом и стал грустен глазами. Однажды, придя с обедни, о. Ферапонт завел граммофон и трижды прослушал проповедь епископа Амвросия «О фарисеях и мытарях».

Варваре Аркадьевне он кратко сказал:

— Не язык, — меч разящий.

И горько вздохнул.

Шел ноябрь — месяц дождей, беспокойный и шумный. Через дорогу повесили большой стяг с призывом выбрать достойных. На избях, столбах, даже на байдах белели листовки, и о. Ферапонт ожесточился еще более.

Каждому человеку нужно было сказать слово, понятное и простое. Конюху Белоненко напомнил он о вездесущем оке творца... Филимоше передал десять конвертов для избранных. Саввушке, человеку недалекому и покорному, сказал просто: «Не зевай, поднимешь руку за мной». А бывшему прасолу, Петру Небогатову, посоветовал словами нагорной проповеди:

— Входите тесными вратами.

— Значит, статья 58, — сказал, поирачев, Небогатов.

Наступали самые трудные дни. Саввушка забегал с докладами по несколько раз в сутки.

— Завтра приедут агитаторы, — говорил он с порога. — Привезли бюллетени... Детененко сказал про вас: «Дождется пес длинногривый!».

Наконец, явившись ночью, он обрадованно шепнул в темноту:

— Четырнадцатого, в пять часов вечера... будем выбирать делегата на районное совещание.

— Поживем — поголосуем...

За три дня до собрания о. Ферапонт произнес краткую проповедь об искушении сына господня в пустыне.

Сильно и красочно описал он ручей, звенящий под корнями смоковниц, и плоды, свисающие с пышных деревьев, и ранящий сердце шопот искусителя-дьявола, и Иисуса-назаретянина, с устами, опаленными огненным зноем, «на песке сыпучем лежаща».

Отец Ферапонт был силен в риторике. Голос его то понижался до проникновенного шопота, то взлетал под своды храма, вспугивая голубей. Наконец, он сказал, понизив внушительный голос:

— Но есть среди нас чистые сердцем и твердые духом... Среди великих испытаний и горестей прилепите к ним, обвейте, аки плющ кедр ливанский.

При этих словах о. Ферапонт значительно взглянул на Лавра Игнатевича,

а вслед за ним посмотрели и другие. Лысый, сутулый, с большим, унылым носом и лиловыми подглазниками, Хрисанфов нисколько не походил на кедр ливанский. Однако это не портит впечатления, произведенного речью.

Народу в церкви было немного, но по тому, как переглядывались и перешептывались стоящие возле правого клироса, о. Ферапонт понял, что семена запали в сердца.

После проповеди, когда он, нахлобучив шапку, шагал навстречу косо летящей снежной пыли, его догнал и тронул за рукав встревоженный почтарь Филимоша.

— Так кому же радеть?

Отец Ферапонт остановился и, положив руки на покатые филимошины плечи, долго молчал.

— Выборы тайные, да господь-бог все видит, — сказал он загадочно.

\*\*\*

День собрания был неудачный, полный зловещих примет. На рассвете вдруг завыла собака. Петух заклевал любимого селезня. Настасья опрокинула на пол солонку. Попадья не угадала, в каком ухе звенит. А когда, смущенный темным предчувствием, о. Ферапонт вышел на улицу, по правую руку от него пробежала баба с порожним ведром.

Сразу захотелось вернуться и разорвать зажатые в кулаке тезисы будущей речи. Отец Ферапонт нерешительно затоптался на месте, но во-время вспомнил насмешливое лицо гостя из Чугуевки и поборол малодушие.

Да и отступать было поздно. Далеко в морозном воздухе разносились голоса. Стуча тяжелыми, коваными сапогами, шли рыбаки. Толкаясь, шурша юбками, спешили девчата. Одна из них, в резиновых, городских сапожках и лихо посаженной беретке, обознавшись, толкнула священника плечом и с визгом отпрянула в сторону.

— Гусыня, — уныло определил о. Ферапонт, погружая нос в воротник.

Чем ближе становились яркие окна клуба, тем сильнее нарастало томление. Не один, — два человека пробирались

вдоль тына, путаясь в шубе. Одному принадлежали голова и потный кулак, сжимавший листок из тетради, другой владел громко бьющимся сердцем и ослабевшими ногами. «Чего ты трусишь, тетеря, вахлак?» — говорил язвительно первый. «Остановись... Подумай... Вернись...» — шептал осторожно второй.

Мысль о. Ферапонта стремилась вперед, но калоши еле-еле скребли мерзлую землю.

Тихо, точно взбираясь на высокую гору, перешел он улицу и поднялся на крыльцо. «Молодец!» — сказал ум. «Ду-урак» — прошептала душа.

Отец Ферапонт вздохнул, приоткрыл дверь и боком протиснулся в помещение.

Все оказалось значительно проще, чем он ожидал. Никто из рыбаков не обратил внимания на вошедшего. В густом махорочном дыму сидело человек 200 ловцов и засольщиков. Пахло, как во всех хатах возле Азова: тютюном, смолой, мокрой кожей. То был дружный и крепкий народ, готовый в погоне за рыбой перемахнуть через море. Их черные байды бродили по всему побережью — от Керчи до самых лиманов.

Многие пришли в клуб прямо с моря, в несокрушимых сапогах, на которых еще сверкала чешуя, и ватниках, подпоясанных обрывками рыжих сетей.

У тех, кто сидел возле огня, на спине проступала изморозь соли.

Вскоре о. Ферапонт отыскал и телячью куртку Хрисанфова. Лавр Игнатьевич стоял у окна и, с достоинством оглядывая собравшихся, хмурил белесые брови. Вид у него был настолько значительный, что о. Ферапонт приободрился, отложил воротник и рискнул во всеуслышанье высморкаться.

Однако, когда он обернулся к президиуму, снова возникла какая-то странная неловкость. Казалось, вот-вот кто-нибудь встанет и попросит его удалиться. Даже сидел он неловко, спружинив ноги, на самой краешке скамьи. Никогда в своей жизни, даже, будучи семинаристом, на экзаменах по догматике, о. Ферапонт не переживал такого неприличного ощущения своей легковесности.

За столом, небрежно бросив кулаки на красную скатерть, сидел Детыненко. Возле него свалился на бумагу светлый чуб председателя. Шевеля толстыми губами, Башмачников что-то старательно записывал.

Шло обсуждение кандидатуры делегата на районное совещание представителей избирателей. Выступал народ упрямый, напористый, привыкший брать рыбу прямо за жабры. Реплики, кинутые из углов, приставали к противникам, точно репейник, и нередко оратор, бойкий вначале, сходил со ступенек под дружный хохот собравшихся.

Уже провалили нескольких кандидатов: конюха Бойченко — «за легковесность ума», счетовода Чертаковского — «за вредность», Остафьева — как замаранного спекуляцией с рыбой. А штопальщица сетей Фрося Цыбенко сама отказалась, сославшись на грудное дитя.

Спорили до хрипоты, дважды открывали окна и выходили во двор, а все не могли сговориться. Хотелось отыскать человека, правильного во всех отношениях: во-первых, без всякой щербинь, во-вторых, обязательно ловца, в-третьих, человека бывалого, чтобы мог от всех рыбаков сказать умное слово.

Видя единодушие, с каким собрание проваливало кандидатов, о. Ферапонт понял, что авторитет Башмачникова не слишком высок. Осмелев, он несколько раз проголосовал «против», поднимая, впрочем, руку не слишком высоко.

И вдруг о. Ферапонт увидел, что вокруг стало просторнее. Он хотел было устроиться поудобнее, но чей-то женский голос громко спросил:

— А разве попам тут можно присутствовать?

— Странно... Я на общих правах, — сказал о. Ферапонт, беспокойно задвигавшись.

Вокруг засмеялись, но Башмачников предостерегающе поднял ладонь.

— Даю разъяснение, — сказал он отчетливо. — Не только присутствовать, но даже голосовать.

— Ну, раз так, нехай голосует.

— За кого только?

— За Детыненко!..

— За Чепуренко! У Детыненко слова не вытягнешь.

— Так это и лучше.

— Пусть Детыненко сам скажет.

— Я малограмотный, — объявил, приподнявшись, кузнец.

— Это не возражение. Образование наше известное, голосую Детыненко.

— Тогда уж лучше Хрисанфова...

— Хрисанфова! — подтвердили разом два женских голоса. А вдова прасола, покосившись на о. Ферাপонта, поспешно высунула из салопачика похожую на корешок старушечью руку.

Хрисанфов встал и поклонился, шупая быстрыми взглядами окружающих.

— Я не возражаю, — объявил он поспешно. — Если желательно обществу...

— Не надо! Он церковью пропах... Богородичен стих каждый день читает.

Лавр Игнатъевич направил на крикуна холодно блеснувшие буравчики.

— И не только богородичен стих, — сказал он с достоинством, — но, смею вам доложить, еще «Отче наш» и «Достоинно есть»... Да-с... И вам, милейший, советую.

— Мы не паску святить посылаем.

Отец Ферапонт беспокойно завертел шеей, оглядывая сторонников Лавра. Все они были на месте. Сын старосты Антон Безменов равнодушно слюнявил цыгарку. Старый Саввушка шептался с Белоненко. Почтарь Филимоша что-то писал на бумажке. А старушенция продолжала тнать кверху руку, подпирая ее под локоть.

В углу возле молочницы Балабасенко стрекотали бабы.

— Разрешите обосновать, — попросил вдруг почтарь.

Он быстро оседлал нос очками, застегнул пиджак и стал читать по бумажке высоким голосом судебного писаря:

— ... Учтя высокое политическое устремление, социально-гражданскую стойкость, преданность задачам текущего дня, а равно и подходящий общеобразовательный ценз, поименованного ниже Хрисанфова Лавра Игнатъевича считать соответствующим Конституции и внутреннему долгу избирателя-гражданина.

— Правильно! — крикнула Балабасенко.

— Чего правильно? Непонятно...

— Надо слушать.

— Да кому соответствует?.. Церквиф!

— Это сюда не относится.

Постепенно шум стих. Все ожидали, что скажет Башмачников, но он только постучал карандашиком и объявил:

— Слово для отвода имеет Домна Васильевна.

Отец Ферапонт снисходительно улыбнулся. Он считал, что бабье слово легче куриного пуха. Кроме визга, ждать было нечего. Но, когда мимо него, шурша юбками, быстро прошла пожилая женщина с насмешливым ртом и властными, светлыми глазами, он невольно взглянул на Лавра Игнатъевича. Хрисанфов с иронической вежливостью посторонился, пропуская вперед рыбачку, и легонько зевнул, прикрыв рот рукою. Давно было известно, что Домна управляет байдой лучше, чем собственным языком.

— Что же, давайте пошлем Лавра Хрисанфова, — сказала почти добродушно рыбачка. — Он — человек грамотный, тихий... Офицерских погон не носил. Под судом не бывал. Жил себестоихо у господа-бога за пазухой.

— Кандидат чистый.

— Чистота тоже у кошек бывает, — ответила Домна, прищурясь. — Сделает тихую подлость, а где — неизвестно. Поди, поверти носом.

В зале засмеялись.

— Чорт знает, что такое, — сказал желчно Лавр Игнатъевич. — Прошу защитить меня от базарного острословия.

— Та я не про вас... Я про кошек. А насчет вас разве можно плохое сказать. Тропари да кондаки наизусть знаете. Сына в бане сечете, так рот тряпкой заматываете, чтобы дитя тишину не нарушило... Вы же — человек грамотный... Жеребцу своему, чтоб колхозникам не достался, сухожилья чисто подрезали.

— Клевета-с, — сказал тлеющим голосом Лавр Игнатъевич. — Установлено, что «Мамет» напоролся на косу по горячности.

— Ой ли! А кто в 1933 году судак-ом спекулировал? Кто запрещенных осетров на базар в детских одеяльцах возил? У кого на чердаке пулеметную ленту нашли?

— И в мачте бывают сучки, — вздохнул Белоненко.

— А на кой ляд мне такая мачта? Кто колхозную олифу на церковный купол извел? Кто за кулаков прошение подписывал? Не смотрите, что у него зубов нет. Гнилые корешки больнее кусают!

Чеканенное крупными оспинами лицо ее стало багровым. Подбоченясь, Домна подошла к самому краю сцены и громко сказала:

— Я думаю, дурных между нами нема. А кому нравится, тот пускай гадюку греет за гашником.

За спиной о. Феропонта дружно захохотали. Чей-то сиплый басок громко крикнул: «Ай Домна, спасибо!». Кто-то ударил ладонями, точно хлопущку разорвал. И сразу со всех сторон хлынул частый ливень, посыпались восклицания, грянул смех... Любили в Грушевке верное и крепкое слово.

Отец Феропонт оглянулся и не поверил глазам. Конюх Саввушка, не пропуская ни одной обедни, соблюдавший, кроме великого, петровский и успенский посты, раскуривая трубку, трясся от смеха...



Он вернулся домой поздно и с особенной тщательностью стал укреплять дверь березовым кругляшом. По тому,

как муж вздыхал и гремел крюками, Варвара Аркадьевна догадалась, что душа о. Феропонта об'ята печалью.

Не расспрашивая, она налила в кружку брусничного квасу и поставила перед мужем. Но о. Феропонт отстранил кружку рукой.

— Суета, — сказал он, нахмурясь.

Он тотчас разделся и лег, в надежде доглядеть дивный сон, виденный в день приезда о. Никанора. Но сон не шел. Во рту было сухо, на душе безрадостно. Даже с закрытыми глазами видел он крепкий, белый оскал молодого крикуна и сухие кулаки Детьиненко, лежавшие на красном сукне. Проплывали неприлично веселые лица соседей, слышался сипловатый, ядовито-вежливый голос Башмачникова, раз'яснявшего собранию гражданские права о. Феропонта. Часы, и те напоминали о недавнем позорище, злорадно восклицая: вот-так-так... вот-так-так...

— Чего ты смеешься? — спросил он вдруг яростно.

— Молчу, Феничка, — торопливо прошептала жена.

Она приподнялась и села на постели растрепанная, оплывшая, с плоскими желтыми руками и безвольно отвисшей челюстью. Отец Феропонт поглядел на нее и отвернулся:

— Банок! — сказал он в подушку.

Через полчаса он лежал на животе, усеянный выпуклыми, багровыми подтеками. Пахло спиртом и жженой ватой. Проворные, холодные руки переставляли на спине громко чмокающие банки.

Горечь стлегла, превратилась в знакомую ноющую боль в пояснице.



**АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖДАНОВ**

Секретарь ЦК ВКП(б) и секретарь Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б).

Кандидат в депутаты Совета Союза, баллотируется по Володарскому избирательному округу гор. Ленинграда.

*«Вас, товарищ Жданов, за безграничную преданность делу Ленина— Сталина, за беспощадную борьбу с врагами народа любит и ценит весь советский народ.*

*В исторический день 12 декабря, день выборов в Верховный Совет, отдавая свой голос за Вас, Андрей Александрович, мы проголосуем за наше советское правительство, за нашу партию, за нашего родного любимого Сталина».*

(Из письма Володарского районного предвыборного совещания товарищу Жданову).



# СЧАСТЬЕ

МИХ. РУДЕРМАН

Наши песни звонки, величавы,  
Ими в поле дышит тишина.  
В каждом переливе — наша слава,  
В каждом звуке ты — моя страна.

Сколько горя в старине печальной!  
Но народ в восстаньях и в боях  
Нес огонь мечты первоначальной  
О счастливых наших временах.

В старину и пана, и барона  
Били мы мечом, копьем, древком,  
А в двадцатом даже за кордоном  
Били их буденновским клинком.

Чтобы волчья стая не забыла,  
Что за люди в радостной стране,  
Что в воде не тонет наша сила,  
Наша правда не горит в огне.

Нам она в походном гуле пела  
И звездой сияла огневой,

На клинке Чапаева блестела,  
И вела, сияя, Щорса в бой.

Словно семя в почве плодородной,  
Проросла мечта, и сад цветет,  
И своих избранных свободно  
Выбирает в свой Совет народ.

Выбирает с песней хоровую.  
Сколько в песне голосов, не счесть.  
Оттого, что счастье трудовое —  
Счастье настоящее и есть.

И оно безмерно и глубоко!  
Как же нам не славить наши дни  
И неугасимые огни,  
Над Кремлем горящие высоко.

И того, кто каждый час и миг  
С нами всюду — в полевых просторах,  
В шахтах, в школах, в боевых дозорах,  
Кто нам, как отец любимый, дорог,  
Кто народной мудростью велик!

---

# Профессор Бурденко

Рассказ

ПАВЕЛ НИЛИН

Все это было очень давно. Зимы, лета, весны и осени перемешались в памяти, потеряли отчетливое различие, прошли. Но почему-то все-таки ярче всего вспоминаются зимы и весь облепленный снегом маленький домик на окраине Пензы, на Песках.

Из домика этого по утрам выходили дети: четыре брата и три сестры. Они были в стареньких шубках, в шапках, в валенках. За плечами у них болтались ученические сумки, в руках на веревочках они держали пузырьки с чернилами. Осторожно держали, чтобы не расплескать. И гурьбой шли в школу.

А через минуту или через две после ухода малышей на крыльце появлялся уже совсем маленький мальчик, лет пяти, в огромных отцовских валенках. В таких огромных, что он свободно мог бы обходиться без штанов.

Заплаканный, он минутку стоял на крыльце, деловито, кулаком вытирая слезы, потом смотрел в ту сторону, где, все уменьшаясь и уменьшаясь, чернели еще на снегу шубки братьев, и бежал за ними, охваченный волнением необыкновенным.

Вдруг братья пойдут скорее, и он потеряет их из виду...

Иногда валенки его, как на грех, застревают в глубоком снегу. Мальчик бился, как птичка, попавшая в силки, кричал. Валенки держали его. На счастье, встречался прохожий.

Всегда на свете на всякий случай существует такой прохожий. Он, смеясь добродушно, извлекал из снега сначала мальчика, потом, держа его подмышкой, вытаскивал валенки.

И мальчик снова бежал, задыхаясь. Учитель, старый человек в очках, встречал его у самых дверей школы.

— Это что же такое? — говорил учитель. — Ты опять пришел, Коля. Я ведь сказал тебе, что ты еще молод...

Но Коля, прижавшись к косяку двери, так убедительно сопел, собираясь заплакать, что учительское сердце смягчалось всякий раз.

Все это было очень давно. Но немолдому человеку, прожившему многотрудную жизнь, исколесившему добрую половину мира, снится иногда детство, зима в детстве, первые путешествия в школу. И он заново переживает во сне все горести этих первых путешествий и всю сладость первых открытий.

Человеку дано смотреть вперед и оглядываться назад, и жизнь, обидно короткая в документальном своем оформлении, кажется, порой, бесконечно длинной и необъятной. Она и в самом деле бесконечна, настоящая человеческая жизнь. И об этой бесконечной жизни хочется написать рассказ, достойный фактов, ее наполняющих.

Хочется все начать сначала.

Вначале появляется дедушка, бывший крепостной Карп Федорович Бур-



**Николай Ниллович Бурденко.**

денко. Он собирается умирать. Он живет еле-еле, кряхтя, часто кашляет. Но прежде, чем покинуть землю, он хочет изложить потомкам с исчерпывающей полнотой все свои взгляды на жизнь, поделиться мудростью, накопленной за долгие годы тяжкого крепостного труда. И часто он говорит философически.

— Поп, — говорит он, — как я понимаю, ежели глядеть по-настоящему, обязан быть честный, болезный за людей и еще, я скажу, смиренный. Попов теперьча таких мало. А Коля, он такой и есть.

И Колю, по совету дедушки отдали сначала в духовное училище, а потом в духовную семинарию. Благо, что туда

было легче попасть небогатому человеку, чем, допустим, в гимназию. В семинарии к тому же давали казенные харчи, одежду и место в общежитии. Все это радовало отца, мелкого конторщика, обремененного большой семьей. Дедушка говорил, хитро щурясь от собственных слов, как от солнца:

— А дело у попа не пыльно, но денежно. Это тоже надо понять.

И слова эти часто повторял внуку, как бы подбадривая молодого человека, когда тот приходил домой на побывку. Приходил он чаще под вечер часа на два, на три и часы эти постоянно проводил на дворе или в коровнике, помогая матери в хозяйстве. Молча носил он воду на коромысле, молча чистил коровник и так же молча, не поужинав, жалея отцовский хлеб, уходил к себе в общежитие.

— Молчит, — говорил про него дедушка. — Все молчит. Это, я вам скажу, примета очень хорошая. Попы, они всегда сурьезные обязаны быть.

Учился внук хорошо. Семинарию он окончил первым учеником и был послан на казенный счет в духовную академию в Санкт-Петербург. Ясно было, что теперь он наверняка станет священником. Дедушка, все время собиравшийся помирать, говорил теперь:

— Подожду... Мне не к спеху. Пусть меня свой поп отпоет. Это мне, старику, приятно. А как же...

Но осенью внук внезапно приехал из столицы и объявил, что учиться на священника не хочет. Оказывается, ему известно даже, что бога нет, а обманывать народ ему стыдно. Не хочет он обманывать народ. Не желает. Не интересуются.

— Я интересуюсь естествознанием, — сказал он.

Все были ошеломлены. А он продолжал объяснять дальше, почему ему хочется быть не священником, но естествоиспытателем. Оказывается, в духовном учебном заведении воспитанников готовили к борьбе против Дарвина. Для этого перед ними была развернута во всем своем пленительном многообразии могучая теория великого безбожника. И эта теория, к скандаль-

ному удивлению воспитателей, неожиданно увлекла молодого человека.

— Я должен изучать природу, — сказал он отцу. — Я поступлю в университет.

А в России было два университета, куда принимали семинаристов, — в Юрьеве и в Томске. Он решил ехать в Томск, в Сибирь.

— Ты бы подумал, Коля, — тихо посоветовал отец, сдерживая себя.

— Я уже подумал, — сказал сын.

И отец даже потемнел с лица.

— Как хочешь, — наконец, сказал он, не скрывая гнева и обиды своей. — Как хочешь. Но нет тебе отцовского моего благословения на такие дела. И денег у меня нет.

— Я знаю, — просто сказал сын. — До Томска я как-нибудь так доеду. А там увидим.

И разговор между отцом и сыном можно было считать оконченным. Но отец пожалел сына, отомкнул шкатулку, вынул оттуда марку почтовую и сказал:

— Положи ее в бумажник, храни. Если очень худо будет тебе, напишешь. Я подумаю.

Сын поблагодарил отца, спрятал марку в просторный бумажник и уехал в Томск.

Город этот, бревенчатый, тихий, поразила его прежде всего щемящей сердце скукой, пустынностью узких улиц и пылью, которая летела по улицам даже в безветренные дни. Пыль поднимали маленькие, мохнатые лошаденки, впряженные в грохочущие тарантасы. Казалось, что жители города никогда не ходят пешком, а только разезжают в тарантасах, и поэтому, может быть, город был лишен тротуаров.

Бурденко, однако, ходил пешком. Бурая легкая пыль вымокла под осенними дождями, превратилась в жидкую грязь. Бывший семинарист месил ее драными башмаками, шагая каждый день с утра до вечера то в университет, где учился он теперь на медицинском факультете, то к ученикам своим, которые жили, как нарочно, в разных концах длинного города.

А сам он жил в бане. Сердобольный купец, уважавший, как говорил он, науку и просвещение, сдавал заброшенную свою баню по недорогой цене студентам. Бурденко жил в предбаннике. И два других студента, обитавших в парном отделении, завидовали ему.

Завидовали они, однако, не только его привилегированному положению в предбаннике, но и неистощимой его трудоспособности и неистребимой жизнерадостности, постоянному оптимизму, который не могли потушить в нем ни нудные осенние дожди, ни вечное недоедание.

Был он какой-то неутомимый, непоседливый, всегда озабоченный делами своими, которых становилось все больше и больше. Успевал он как-то и ходить на уроки за пять верст к богатому ученику, и писать в газетах рецензии, и ходить регулярно в театр, и учиться в университете, как сказали бы теперь, на «отлично».

В городе, показавшемся ему в первые дни угрюмым и скучным, он обзавелся знакомыми и друзьями и освоился в новой обстановке так, как будто родился здесь и прожил безвыездно десяток лет. Все знали его. И он знал всех. Даже торговки на базаре, у которых покупал он зимой жареную печенку или рубленую брюшину, чтобы позавтракать или пообедать на-ходу, относились к этому вихрастому студенту в плохом дубленом полушубке с добродушием и приветливостью старых знакомых. И самая жадная торговка готова была уступить ему лишний пятак под удачную шутку, под веселое словцо, оброненное им на-ходу.

Это — особый талант ладить с людьми, дружить с ними, радовать их даже видом своим, веселым взглядом, улыбкой, острым словцом. И талант этот был у Бурденко. Люди, удивленные либо веселостью его, вдруг вспыхивающею в нем, либо необыкновенными его способностями к познанию наук, упорством редкостным, либо общительностью необычайной, шли за ним, собирались вокруг него.

Заклучивший в себе столько радостной энергии, он не мог пройти незамеченным среди людей.

Доктор Пирусский организовывал в тайге первую лесную школу-колонию. Дело это было трудное по тем временам. Доктор, затеявший это новое дело, был глубоко одинок. Он искал сотрудников, помощников или хотя бы просто сочувствующих. И он нашел студента Бурденко.

Бурденко взялся помогать доктору. Прежде, чем собрать детей беднейших родителей в лесную школу, надо было найти деньги, необходимые для их содержания. А денег никто не давал. Доктора Пирусского, человека благородного, труженика бескорыстного, мечтателя, в городе считали чуть ли не сумасшедшим, и отцы города откровенно смеялись над его безумной затеей. Разве, мол, улицу можно обогреть? Разве всех бедных призрешь?

Молодой студент был одним из немногих, кто поверил в безумную затею Пирусского. Вместе с ним он организовывал благотворительные концерты, собирал деньги, подбирал инвентарь для школы. Школа стояла в тайге, в дремучем лесу.

Бурденко изучал здесь естествознание, о котором мечтал в семинарии.

Наука эта требовала глубокого проникновения в жизнь человека, в самую сущность его бытия. И он изучал эту науку добросовестно, не только с помощью книг.

В анатомическом театре препарировали мертвецов, чтобы выяснить причину смерти, проследить изменения в организме в результате заболевания. Это грязная и тяжелая работа. Но интерес к человеку был сильнее естественного чувства брезгливости. И Бурденко взялся за эту работу.

Вскоре он стал помощником прозектора. Молодому студенту доверяли препарирование трупов. И он делал это с увлечением.

Это был ученый по самому складу своего характера.

Ученые, говорят, живут одиноко. Но Бурденко никогда не был одинок. В

институте начинались волнения. Студенты протестовали против режима. Безусый молодой человек, взобравшись на широкий подоконник в большой аудитории, кричал:

— Коллеги! Мы должны победить. Все министры и сенаторы за нас...

Это была наивная демонстрация. Но в основе студенческих волнений лежало справедливое возмущение грубыми порядками. И Бурденко, общественный человек, не мог не примкнуть к студенческому движению. Он примкнул. Он тоже взобрался на стол и кричал, что человек должен иметь права.

За это выступление через несколько дней его исключили из университета, и власти запретили ему проживать в пределах города Томска.

Бурденко выехал в неизвестность.

Бескрайная Сибирь расстилалась перед молодым человеком в почти первобытной своей нетронутости. Как оазисы, стояли на ее пространстве несколько некрупных городов, маленькие культурные центры. А за ними начинались тайга непроходимая, степи необятные, болота и реки, деревни и заимки, населенные негусто.

Бурденко поехал по этим заимкам и селам, по маленьким городам искать заработка. У него было образование в пределах трех курсов медицинского факультета. Можно было работать фельдшером. Хотя официальных прав на это у него не было.

Вскоре он пристроился фельдшером на железной дороге на станции Нижне-Удинск. И так же, как в Томске, он освоился здесь в несколько дней, приобрел друзей, обжился. Жить бы и жить здесь дальше. Деньги были. «Нет. Поеду».

Был еще на свете город Юрьев. И Бурденко поехал через всю страну в этот город, где принимали в университет семинаристов, как и в Томске. Молодой человек хотел быть доктором во что бы то ни стало.

Утром рано он вышел из вагона на тихий перрон Юрьевского вокзала.

Весь город походил на декорацию из

оперы «Фауст». Аккуратные маленькие домики под черепичными крышами были об'яты легкой утренней синевой.

Бурденко смотрел на них с удивлением.

Не отдохнув после дороги, он сейчас же отправился в университет. Долго бродил по его аудиториям и кабинетам, осматривал все тщательно, будто примериваясь к вещам.

Из университета он зашел в хирургическую клинику.

Здесь работал когда-то Пирогов. Бурденко почтительно и восхищенно смотрел на пожелтевшие страницы хирургического журнала, хранившие память о знаменитом русском хирурге. Потом отправился на квартиру.

День быстро подходил к концу. Начинались сумерки. Бурденко сидел у окна, подперев лицо ладонями. Под окном на ветке раскачивался бойкий воробей. Может быть, такие же воробьи прыгали сейчас на окраине Пензы, на Песках. Бурденко вспомнил отца, мать, сестер и братьев, дедушку Карпа Федоровича. Вспомнил и почтовую марку, с которой он уехал из дому, влекомый страстным желанием учиться. Вот уже сколько лет бродит он по необ'ятной стране. Из Пензы — в Томск, из Томска — в самую глушь Сибири, из Сибири — в Юрьев. А марка цела до сих пор.

Впрочем, испытания ведь еще не кончились.

Бурденко смотрел в окно. По плитам этим в вечерние часы проходил когда-то Пирогов со своим руководителем Мойером, учеником Скарпы. Может быть, на-ходу они продолжали ученый спор, начатый еще в клинике.

Неясная, беспричинная грусть волновала молодого человека.

Он долго смотрел в окно, как бы надеясь встретить в чужом, слишком чистом городе знакомое лицо. Но знакомых не было.

Вздыхнув, он ушел от окна, сел к столу и открыл принесенную из библиотеки книгу. Это были труды Вирхова по целлюлярной анатомии. Бурденко сел поудобнее, как привык сидеть в семинарии, как сидел на си-

бирских заимках и в предбаннике в Томске, — прочно, широко расставив локти.

Книга лежала перед ним заманчивая, как смысл жизни. И уже ничто — ни шаги за стеной, ни студенческая песня, доносившаяся издалека, — не могло оторвать его от чтения.

Легкий ветер, врываясь в окно, чуть шевелил страницы.

Бурденко читал. Игги ему никуда не хотелось. За окном был чужой город. Как-то он будет здесь жить...

Но прошло дней пять, и снова, как всегда, он почувствовал себя здесь подомашнему. Устроился, обжился, нашел друзей. Приглядываясь к людям, не русским, к немцам, к эстонцам, составлявшим большую часть городского населения, он заметил, что эстонцы лучше относятся к его соотечественникам, чем немцы. Из этого были сделаны практические выводы, необходимые для жизни. Эстонские лавочники охотно открывали кредит русским студентам. Небогатому человеку, считающему каждую копейку, это надо было учесть.

И Бурденко учел все возможности свои. В университете, поступив на четвертый курс, он быстро завоевал такую же широкую популярность, какой он пользовался в Томске. Но Юрьев нравился ему больше Томска. «Здесь жил когда-то Пирогов». Воспоминания об этом великом русском хирурге волновали Бурденко.

Целые поколения русских медиков волновал обаятельный образ этого чудесного доктора. И Бурденко, особенно в первые дни, часто думал о Пирогове. Здесь, в Юрьеве, профессор Пирогов сделал за год четыре операции (три случая аневризма), а потом написал диссертацию о перевязке aortae abdominalis. Бурденко читал с волнением и диссертацию эту, и записи в хирургическом журнале времен профессора Пирогова. Большое счастье учиться в университете, где был этот легендарный профессор, и жить в городе, где он жил.

В Юрьеве существовало до десятка разных студенческих обществ и объеди-

нений. Бурденко вскоре стал одним из участников организации нового общества. Это было общество студентов-медиков, несменяемым председателем которого стал Бурденко.

И опять он удивлял людей необыкновенной способностью своей заниматься многими делами сразу, не в ущерб, однако, каждому из дел. Он успевал ораторствовать на студенческих сходках, заседать в многочисленных обществах, писать, рисовать, зарабатывать себе на хлеб, рассказывать забавные истории и учиться.

Учился он попрежнему хорошо, возбуждая зависть своей отличной памятью, всесторонней осведомленностью и неутомимостью. Попрежнему он много часов проводил в анатомическом театре, ковырялся в трупах, доискиваясь до причин болезней человеческих.

Эта работа, казалось, захватывала его всего. Казалось, не остается у него больше ни сил, ни времени заниматься еще чем-нибудь посторонним. Но достаточно было легкой вспышки какого-нибудь студенческого волнения, и чрезвычайно занятый этот человек, погруженный в науку, вдруг оказывался во главе его.

Невысокую его, коренастую фигуру часто видели на сходках и на вечеринках. И она запомнилась не только студентам, но и жандармам, по-своему оценившим необычайную активность этого молодого человека.

Весной, однажды, в Юрьеве вспыхнула студенческая забастовка. Бурденко оказался в центре ее. И власти в первую очередь выслали его из Юрьева.

Опять начались вынужденные путешествия без рубля в кармане.

На этот раз он поехал в Херсонскую губернию. По Херсонской губернии шли эпидемии оспы, скарлатины и кори. Бурденко поселился в глухой деревушке. Прививал оспу, выписывал порошки от кашля. Но вдруг прибегает к нему взволнованный человек и просит помощи:

— У меня умирает жена после родов. Молодой фельдшер мог бы сказать,

что, во-первых, он еще не врач, а во-вторых, не гинеколог, что он не только не знает, как помогать после родов, но даже не видел никогда, как рожают.

Но разговаривать так можно было бы в селе, где есть еще хоть какие-нибудь лекаря. Здесь же Бурденко был единственным представителем медицины. Взволнованный, он побежал на квартиру роженицы.

Женщина корчилась в муках, стонала. Бурденко склонился над ней, осмотрел. Потом побежал домой заглянуть в учебник. В учебнике все было гладко, там были описаны разные случаи трудных родов. Но этот конкретный случай несколько не похож был на описанные.

Бурденко бросил учебник и снова побежал к роженице.

Она попрежнему мучилась. Муж плакал. Бурденко снова осмотрел женщину. Задумался. Неужели он так ничем и не поможет ей? Учился. Почти пять лет изучал медицину. Вскрывал трупы. Неужели ничем нельзя помочь? Не может быть. Студент напрягал память, вспоминал случаи болезней, хоть сколько-нибудь похожие на этот, волновался.

И вдохновение, особое докторское вдохновение, посетило его. Засучив рукава, вымыв руки, приняв внушительный докторский вид, он стал отдавать короткие приказания плачущему мужу:

— Вскипятите воду. Дайте чистое полотенце.

А сам опять склонился над роженицей и начал удалять задержавшийся послед.

Чего тут было больше: догадки, вдруг осенившей студента, или настоящих знаний, использованных в последний момент, — трудно сказать. Но только минут через десять женщина почувствовала себя легче.

Этот случай многому научил студента. Больше не было таких областей в медицине, которыми бы он не интересовался. Врач обязан знать хорошо, отлично какую-нибудь одну медицинскую отрасль, быть безукоризненным специалистом в этой отрасли, но это не освобождает его, однако, от необходимости знать и все смежные отрасли медицины и смежные науки.

Вернувшись после ссылки в университет, он с еще большей яростью взялся за изучение наук. Надо было кончать университет. Надо было спешить...

Но тут началась война с Японией. Шел тысяча девятьсот пятый год. Профессор Цеге фон-Мантейфель ехал на войну и пригласил с собой в качестве переводчика еще не окончившего университета Бурденко.

Жизнь, полная событий, всегда была способна увлечь этого молодого человека. Война была таким событием, мимо которого пройти было нельзя. И Бурденко поехал на фронт. «Это пойдет мне на пользу, — думал он. — Ведь даже великий Пирогов почитал своим долгом заниматься военно-полевой хирургией».

Поезд шел на войну почти полтора месяца. В Самаре санитарный отряд покупал необъезженных, диких лошадей. Здесь же объезжали их, умирляли. И ехали дальше.

Подъехали к Порт-Артуру, когда он был уже накануне падения. Поехали к Вафангоу. И здесь Бурденко впервые в жизни узнал, что такое навесный обстрел.

Профессор Цеге фон-Мантейфель не знал условий современного боя и поэтому расположил свой отряд почти в самом центре боевых операций, за пригорком, никак не защищенным, открытым для всех ветров. По его предположению, раненых на перевязочный пункт должны были доставлять из-за пригорка, с передних линий, где, как думалось вначале, и шли бои. Каково же было удивление профессора, когда раненых повезли из тыла, из спокойной зоны. Здесь, оказывается, тоже идет бой, и трудно понять, где же тыл. Может быть, тыла вовсе и не было. Огненное кольцо смыкалось вокруг санитарного отряда.

Дикие лошади, вывезенные из самарских степей, только нервно храпели и вздрагивали, пугаясь оружийного гула.

Был в отряде такой доктор, некий Бетхер. Высокий, тонкий, с тараканьими усами а ля кайзер Вильгельм. В университете его считали знаменитым брет-

тером, безумным храбрецом. За убийство на дуэли он сидел даже в Двинской крепости. Выпуклые его глаза, еще больше увеличенные в пенсне, надменно смотрели на людей.

Но здесь, под обстрелом, эти глаза вдруг выкатились из орбит и остеклялись, как у мертвой лошади. Доктор Бетхер в первый же день потерял со страху свое пенсне и, близорукий, ползал на карачках, как черепаха, стараясь укрыть свое жалкое тело в кустах.

Легенда о его храбрости померкла. Во второй день он заболел дизентерией и вскоре тихо умер. Умер он, вероятно, не от дизентерии, но от угнетенного состояния психики.

Эта смерть потрясла Бурденко. Она напугала его, но она же и пробудила в нем уважение к самому себе. Доктор Бетхер, прославленный храбрец, умер, задавленный ужасом войны, а я живу, я могу выносить раненых из-под обстрела. И Бурденко выносил раненых, делал им несложные операции, перевязывал. Наконец, ранили и его.

Началось отступление. По шестнадцать часов в сутки приходилось ехать верхом с перевязанной рукой. Лошадь шла шагом и переходила в галоп, и снова шла шагом. И когда она шла шагом, студент вынимал из походной сумки, пристегнутой к седлу, учебник хирургии и часами читал его и подчеркивал карандашом важные места.

Надо было готовиться к новым боям, к новым операциям.

Здесь, на войне, он выбрал окончательно хирургию как специальность свою и здесь же, не теряя времени, изучал ее.

Учебник, однако, мало помогал ему. Учила его теперь сама жизнь, ужасная эта практика.

И Бурденко учился.

Потрясающе-храбро дрались и спокойно умирали на его глазах русские солдаты.

Бурденко видел, как они брали Путиловскую сопку. Их вели на верную смерть под ураганным обстрелом. Иг-

рала музыка. Люди шли неуклонно единым строем. Потом рассыпались в цепи.

Пуля ранил бесшумно. И видно было, точно в немом кинематографе, как беззвучно падают люди, поднимаются и снова идут, обливаясь кровью, задыхаясь.

Земля дымилась под их ногами. Багровый дым боя окутывал людей. И, наконец, закрыл их совсем.

В лазарете лежали раненые, вывезенные с этой сопки.

Бурденко стоял перед раненым, которому через полчаса должны были отрезать простреленную ногу. На койке лежал огромный чернобородый патриарх. Нога его была слегка приподнята. Он смотрел на эту ногу в последний раз, прежде чем расстаться с ней. Грустно смотрел. Потом поднимал глаза и спрашивал Бурденко:

— Так что, господин доктор, куда не годится она? А?

— Не годится, — говорил Бурденко.

Чернобородый вздыхал и задумывался. Дома у него были жена, дети. Может быть, был конь, на котором он пахал землю. В хозяйстве своем этот человек знал место каждому пустяку, составляющему рабочий инвентарь. И на ногу свою он смотрел, как на часть инвентаря. Деловито и грустно смотрел. Потом спрашивал снова:

— Так что толку с нее не будет все, ежели ее оставить? А? Господин доктор...

— Не будет, — говорил Бурденко. — Я — студент.

Чернобородый опять вздыхал, задумывался.

— Ну, что ж, пусть, — наконец, говорил он. — С ногой было плохо и без ноги будет плохо. Кругом плохо, как ни гляди.

И, разговаривая, видимо, уже с самим собой, надеялся:

— А может, как-нибудь перебыюсь. Без ноги-то...

Эта неистребимая живучесть обыкновенного русского человека, необыкновенная его выносливость и никогда не потухающая надежда на выход из самого тяжкого положения не только трогали, но и учили, но и убеждали в чем-

то, и укрепляли характер будущего доктора.

Однажды ночью перед наступлением его послали к корпусному генералу. Бурденко пришел в генеральскую палатку и увидел десяток офицеров, сидящих на низких табуретках и сражающихся в карты.

Это зрелище огорчило Бурденко. Было жаль бесстрашного русского мужика, храброго и мужественного по самой природе своей, которого сегодня на рассвете поведут в бой такие легкомысленные командиры, такие пустые и дешевые люди.

Бурденко видел, как перевозили раненых в грязных товарных вагонах, как легко раненые заболели в нечистых и варварских условиях лазарета гангренной, столбняком и воспалением мозга, и думал о том, что вот скоро он станет доктором и посвятит себя изучению военно-полевой хирургии.

А война закончилась. Войска откатывались к Харбину. Нечего уже было делать на фронте. Бурденко уезжал в Юрьев.

В Юрьеве в разгаре были политические демонстрации. В яркий весенний день филер в коричневом полосатом пальто взбирался на телеграфный столб, чтобы переписать бунтующих студентов. Первым он увидел невысокого, коренастого студента в форменной фуражке, с'ехавшей на затылок. Студент размахивал руками, кричал что-то. Это был Бурденко. Он оглянулся и посмотрел на филера, обнявшего телеграфный столб. Глаза их встретились...

В это время раздался ружейный залп. Солдаты, чтобы усмирить бунтующих, выстрелили в воздух. Усердный филер, задетый пулей, сорвался со столба и упал замертво.

Жандармы, видимо, на это вовсе не рассчитывали.

А студенты продолжали бунтовать.

Бурденко снова выслали из Юрьева. Поехал в Ригу. В Риге работал в больнице, продолжал изучать хирургию. Потом — опять в Юрьев. Из Юрьева,

окончив университет, поехал в Петербург. Визит к академику Павлову.

Иван Петрович Павлов, знаменитый ученый, заинтересовался молодым доктором, нашел его талантливым, предложил ему тему для диссертации.

Бурденко, счастливый, снова приехал в Юрьев.

Цеге фон-Мантейфель давно уже пригласил его работать в хирургическую клинику. Днем Бурденко работал в клинике, а ночью писал диссертацию. Диссертация называлась: «Отвод крови от печени, соединение двух венозных систем в обход печени». Писать ее пришлось три года. По ночам.

И с той поры навсегда, на всю жизнь осталась привычка работать ночью.

Впоследствии эта привычка превратилась в бессонницу.

Из Петербурга от академика Павлова пришло письмо. Знаменитый академик приглашал в свою лабораторию доктора Бурденко. Бурденко собрался было ехать. Проблемы физиологии всегда волновали его. Но профессор Цеге фон-Мантейфель удержал Бурденко. И еще больше удерживало безденежье.

Бурденко не поехал к Павлову. Он решил остаться хирургом, но интерес к физиологическим наукам сохранил навсегда. И навсегда сохранилось грустное воспоминание о возможности, которая не была использована.

Наконец, диссертация дописана. Прошло три года напряженной круглосуточной работы. Бурденко устал. Вернее, он впервые почувствовал себя усталым. Молодой доктор решил позволить себе небольшое развлечение, просто говоря, решил отдохнуть.

Вот он уже собрался ехать в Петербург. Сложил вещи, купил билет, шляпу и новые ботинки. Вот он уже с чемоданом в руках спускается по лестнице. Ботинки его блестят. Поля шляпы по-модному загнуты чуть вверх. На чисто выбритом лице счастливая улыбка. До поезда осталось двадцать минут. «Успею». Вдруг...

— Что это такое?

— Мне плохо...

— Вы больны?

— Да. Я наткнулся на нож в анатомическом театре.

Бледный студент покачивается. Вот-вот упадет. Доктор Бурденко ставит на пол чемодан, обнимает студента за талию, ведет в комнату.

В области левого соска у студента ножевая рана. Молодой доктор усаживает его на стул, осматривает. Потом кладет на кушетку. Что такое? Студент потерял сознание. Пульса нет. Умер?

Приходит санитар.

— Носилки, — говорит доктор Бурденко. — В операционную.

До поезда остается двенадцать минут. Бурденко сбросил шляпу, пальто, развязывает галстук. Не развязывается, новый, шелковый, душит. Доктор рассердился, рванул. Пуговицы с ворота полетели, как брызги.

Доктор Бурденко пошел в операционную. Вот он уже в халате, моет руки. До поезда остается девять минут. Больной — на операционном столе. Свет!

До поезда остается... Этого никто не знает, сколько минут остается до поезда. Доктор Бурденко обнажает сердце больного. Доктор уверен, что у больного ранено сердце. В этом он твердо уверен. У него за плечами опыт японской войны. Он, конечно, — молодой доктор, но опытный. Этого никто не сможет отрицать.

И у него даже жесты опытного врача, спокойная уверенность. Обнажил сердце. Да, оно ракено. Наложить швы.

В те времена операция такая считалась редчайшей. Она могла бы прославить не только молодого доктора, но и старого опытного врача. Это была рискованная и трудная операция!

Впрочем, и в наши дни она считалась бы и трудной, и рискованной, и редкой.

Но молодой доктор начал делать ее, как рядовую, удивительно спокойно.

Наложил первый шов.

В операционную вошел профессор.

Доктору Бурденко выпала высокая честь наложить только один шов.

Остальные два наложил профессор.

Профессор закончил операцию и посмотрел на Бурденко. Видимо, профес-

сор что-то хотел ему сказать. Но подходящих слов не было. И он ничего не сказал. Молча вышел из операционной и ушел к себе. Профессор был умным человеком. Бурденко был достоин большей похвалы, чем та, которую можно было выразить банальными словами. И, уважая ученика своего, профессор сделал вид, что ничего особенного не произошло. Просто два настоящих доктора сделали настоящую операцию. А ведь всем известно, что настоящих докторов не так уж много на свете.

А поезд ушел. Ну, и черт с ним! Интересно другое. Интересно, как себя чувствует раненый? Дыхание нормальное? Пульс? Все в порядке. Как хорошо.

Доктор Бурденко больше не чувствует себя усталым.

Надо сейчас, пожалуй, подумать не об отдыхе, но о зарботке. Надо заработать немножко денег, чтобы поехать за границу. Это крайне необходимо.

И Бурденко уезжает в Сибирь.

Неспокойно тогда было на Сибирской железной дороге. Большие деньги, участвовавшие в строительстве, привлекали сотни жиганов. Около Тайшета почти каждый день происходили разбои и убийства. А доктору Бурденко надо было поселиться для работы в самом Тайшете. И он поселился у богатого мужика.

— Вы у меня будьте вполне благонадежны, доктор, — говорил ему хозяин. — Жарко вам? Пожалуйста, спите с открытыми окнами. Что вы, подрядчик, что ли? Вы — ученое лицо, как говорится, наученный работник. Никто вас пальцем не имеет полного права тронуть.

И доктора, действительно, никто не трогал. Жил он спокойно, ночью работал с открытыми окнами. Хозяин говорил:

— Я их сам, жуликов, не обожаю. У меня в дому, как в крепости. Но все-таки я вам скажу по совести, далеко от дому не отходите. Кто знает...

Доктор, однако, не мог постоянно сидеть дома, когда вокруг столько инте-

ресного. Около Тайшета был лепрозорий. Знакомый врач предложил посмотреть его.

— Все равно, — сказал он, — уедете и не посмотрите наших достопримечательностей. А есть смысл...

Бурденко, действительно, уже заканчивал свою работу и собирался уезжать.

— Ладно, — сказал он. — Давайте посмотрим.

И утром они поехали.

Извозчик доставил их в тихую лесистую местность, где стояло несколько бревенчатых бараков, обнесенных высоким тыном. Экипаж остановился перед высокими воротами с тяжелым запором и огромными висячими замками. Было грустно подумать, что люди, больные проказой, так жестоко отрезаны от мира. Полная изоляция! Но что же делать? Необходимо.

Врач лепрозория, пожилой человек, похожий на прасола, гостеприимно показывал необыкновенную свою больницу. Но больных в лепрозории было немного. И это радовало.

Удивила доктора Бурденко немного простота этого врача. Лишь слегка ополоснув руки после обхода больницы, он, этот врач, повел гостей своих обедать. Даже не обтер руки спиртом. Что это — нелепая храбрость, пренебрежение к опасности?

Из лепрозория шли через небольшой лесок. В леске какие-то странные люди, с львиными мордами, с всклокоченными волосами, собирали малину. Бурденко спросил:

— А это кто?

— Да это прокаженные и есть, — беспечно сказал врач из лепрозория. — Ведь скучно им взаперти-то сидеть. Вот и гуляют...

— А-а, — сказал Бурденко. И опасно покосился на врача из лепрозория. Но врач этот как будто и не замечал удивления.

За обедом он пил водку и рассказывал о рябчиках, какие водятся в этих местах.

— Вот, если хотите, пообедаем сейчас и поедем на охоту...

Надзирательница больницы прокаженных подавала гостям жирные щи. Но у Бурденко пропал аппетит. Он думал все об одном и том же, об этом странном докторе, который не жалеет себя, не боится заразы.

Вдруг блоха укусила его в руку. Это не на шутку испугало Бурденко. Блоха легко может привить заразу в таком месте, как лепрозорий. Бурденко слегка побледнел, сказал:

— Меня укусила блоха.

И голос его чуть дрогнул. Он был молодой человек, молодой врач. Заболеть от укуса «прокаженной» блохи было бы обидно.

— Э-э, — сказал гостеприимный хозяин. — Меня тут, батенька, двадцать лет кусают клопы и блохи. И ничего мне, как видите, не делается.

Бурденко промолчал. Сделал вид, что спокоен. Но за рябчиками итти отказался. Поехал домой.

Приехав, лег на койку и стал раздумывать о своей судьбе.

Вечером к нему в комнату зашел домовладелец, предложил купить револьвер. Доктор отказался. А может, лисью шубу купите? Не надо? Ну, тогда, может, золотые часики, дамские? Доктор отказался и от дамских часиков.

— Дорого вам, что ли? — спросил хозяин. — Могу уступить по дешевке. Как своему человеку. Просто хочу удовольствие доставить.

И вдруг оказалось с полной очевидностью, что домовладелец, охранявший доктора от бандитов, — сам бандит. Доктору стало не по себе. С одной стороны — проказа, с другой — бандиты, жиганы. Это, пожалуй, страшнее японской войны. Боязно жить.

Но это было минутное настроение, которое улетучилось так же внезапно, как и возникло, не оставив следа. Доктор ничего не боится. Не должен бояться.

Это правило, которому решил следовать до конца дней своих доктор Бурденко.

Вскоре он уехал из Сибири. Деньги теперь были у него. Он мог поехать за границу. И он поехал.

Около года он прожил в Берлине. Изучал физиологию. Потом поехал в Цюрих.

В Цюрихе жил знаменитый ученый, работавший в области нервной системы, профессор Монаков. Потомок русского эмигранта, он сохранил ширококостную внешность своих северных предков, их добродушную угловатость и некоторую мрачность. В длинной рубашке-косоворотке, в сапогах он выглядел бы, наверное, более внушительным, чем в визитке и в лаковых штиблетах.

Вся лаборатория его была размещена в обыкновенной квартире. В кухне помещался кабинет профессора. В столовой стояли клетки с морскими свинками. Здесь же работали лаборанты.

У Монакова Бурденко познакомился с одним доктором. Этот доктор жил здесь уже восьмой год, знал все достопримечательности и охотно взялся показать их русскому доктору. Вместе по воскресеньям они ходили на горные прогулки, вели ученые разговоры.

Однажды вечером они вместе пошли на лекцию профессора Монакова. Бурденко еще не бывал на этих лекциях. Доктор рассказывал ему о них весьма восторженно. Говорил, что это необыкновенные лекции. И Бурденко в тот же вечер убедился в этом.

В большой аудитории были расставлены препараты, микроскопы, развешаны многочисленные рисунки. Все готово было для обстоятельной лекции. Но студентов не было. На студенческих скамьях сидели Бурденко и его спутник. Однако профессор в черной визитке, со слегка потертыми локтями, поднялся на кафедру и начал лекцию. Бурденко удивился. Шопотом спросил у единственного своего соседа.

— А студенты-то где?

— Штюдентен? — так же шопотом, коверкая немецкие слова, сказал доктор. — Штюдентен ниht анкоммен.

Бурденко удивился.

— Ниht, ниht, — еще раз прошептал доктор. — Зо ист иммер.

Оказывается, знаменитый ученый почти всегда читает лекции свои в пустой аудитории. До Бурденко он читал их одному доктору. А теперь он, вероят-

но, доволен, что у него уже два слушателя. О большем количестве он и не мечтает. Он сам знает, что материал его лекций, глубочайший по содержанию, трудно усваивать даже очень подготовленным слушателям. Профессор делает анализ последних проблем науки.

Бурденко четыре месяца с наслаждением слушал эти лекции.

Позднее он узнал, что в такой же обстановке читает свои лекции и Ферстер. Говорят, что так же было и у знаменитого Вирхова. И Бурденко, узнав это, был поражен одиночеством крупных ученых.

В Германии и Швейцарии он осмотрел почти все хирургические клиники, в некоторых поработал. Но главным образом он занимался физиологией и невропатологией у крупнейших ученых.

Осенью он вернулся в Берлин.

Деньги его уже приходили к концу. Ждать помощи было не от кого. Многочисленные его братья и сестры, работавшие фельдшерами, учительницами и телеграфистами, не могли помочь ему. Он решил вернуться в Юрьев.

В Берлине у него была собака, которой он сделал фистулу. До операции это был красивый волф-шпиц. А после операции сок, выходящий наружу, обезобразил пса, пес облысел. Шерсть клочьями висела на голом его теле.

Но доктору он был попрежнему дорог. Доктор написал уже большую ученую работу об опытах над этой собакой, которую звали Афффе. И жалко было расставаться с этим добрым животным. Афффе поехал вместе с доктором в Юрьев.

В таможене появление безобразной этой собаки произвело сенсацию. Чиновники решили, что тут дело не спроста. Не запрятаны ли, любопытно знать, бриллианты или другие драгоценности в этой паршивой собаке? Чиновники, брезгливо морщась, ощупывали Афффе. Вынуждены были заглядывать ей в рот, под хвост. Проводник, зажмурившись от гадливости, держал ее на руках. Он выносил ее из собачьего отделения. А Бурденко тем временем выходил из купе.

— Афффе!

Собака узнала хозяина, вырвалась у проводника и понеслась по перрону. Доктор взял ее на руки и ласково потрепал по морде. Чиновников окончательно расстроила эта сцена. Зачем все-таки нужна поганая эта собака такому представительному молодому человеку в заграничной шляпе? Нет, тут дело не спроста.

И дело было действительно не спроста. Доктор продолжал работать над собакой.

В Юрьеве его выбрали приват-доцентом. А через несколько месяцев он получил звание профессора. Это было в тысяча девятьсот десятом году. Бурденко не было еще тридцати двух лет. Получить в этом возрасте кафедру — это значило одержать крупнейшую победу. Но, если б не гоняли его из университетов, если б не истощала его постоянная нужда, кафедру эту он получил бы, вероятно, и раньше.

У профессора Бурденко была теоретическая кафедра в Юрьевском университете. А чтобы заниматься практической хирургией, он ездил в Псков. Здесь в больнице он работал консультантом, делал операции и не только учил, но и непрерывно учился у рядовых опытных докторов. Профессорское самолюбие от этого нисколько не страдало.

Удивляли людей простота этого человека, работоспособность его необыкновенная.

Профессор попрежнему много работал. И денег ему нехватало попрежнему.

В Пензе, на Песках, на окраине, жили родственники его. Дедушка Карп Федорович не дожидаясь дней, когда внук его стал профессором. Дедушка умер, и отпел его чужой поп. Умер и отец Нил Карпович. Но живы были родственники, которые нуждались в помощи.

Профессор зарабатывал деньги и экономил каждый рубль. После напряженной работы зимой летом он уезжал за границу, чтобы работать так же напряженно, изучать новинки заграничной науки.

Учиться непрерывно, всегда, всю жизнь. Это правило, которому решил следовать до конца дней своих молодой

профессор Николай Нилович Бурденко.

В конце лета тысяча девятьсот сорок первого года он снова приехал в Германию. Встретился со старыми знакомыми, которые знали его доктором. У известного книгопродавца сделал заказ на книги, на 1.200 марок. И книгопродавец удивил его.

— Герр профессор, — сказал знакомый книгопродавец, не один раз открывавший кредит доктору Бурденко. — Я хотел бы получить все деньги вперед. Bar Geld!

И эта фраза поразила профессора, может быть, сильнее, чем все газетные статьи о надвигающейся войне.

Война не только приближалась. Она приблизилась уже. И германский книгопродавец извиняющимся тоном говорил:

— Mein Gott, mein Gott! Это большое несчастье...

В том же году профессор выехал на фронт. Ужасы японской войны все еще жили в его памяти. Но эта война обещала уже в самом начале превзойти и их.

И превзошла.

Профессор участвовал в походе в Восточную Пруссию. Видел гибель армии Самсонова. Пережил осаду Лодзи. Ходил по улицам, усыпанным битым стеклом, о которое в кровь, до живого мяса, расцарапывались ноги, обутые в толстые солдатские сапоги. Под Двинском наблюдал первую газовую атаку. В Риге вскрывал умерших от газа.

Холод, голод, неубранные трупы, бунты раненых. Все это пережил профессор Бурденко. И ни разу не струсил, не растерялся, не убежал с самых трудных, самых страшных участков.

Нет, он шел на эти участки. И опять, как в ранней молодости, как в прошедшую войну, пример простых, незаметных русских людей ободрял его, поддерживал, вел.

Из ста пятидесяти тысяч русских солдат восемьдесят тысяч было убито под Лодзью. Тридцать две тысячи ранено. И все-таки тридцать восемь тысяч, оставшихся в бою, не хотели отступать.

Профессор видел войну с двух точек: и как обыкновенный «штатский человек», и как хирург.

Война ужасала его страшными зрелищами, но она же пробуждала в нем гордость за свой народ, нестоимый, неунывающий, бессмертный.

Не даром Наполеон сказал, что русского солдата надо не только убить, но его еще толкнуть надо, чтобы он упал. Профессор видел на поле сражения упавших людей с развороченными снарядами грудными клетками, с раздробленными черепами, но никогда за всю войну ему не приходилось видеть раненых в спину.

Из-под Лодзи в ужасных условиях, под незатихающим обстрелом ему пришлось эвакуировать тридцать две тысячи раненых. И здесь же, около Лодзи, у костела, он видел два свеженасыпанных холма, с крестами, на одном из которых была прибита немецкая фуражка, а на втором — русская. Рядом с русской фуражкой, на чистенькой дощечке крупными немецкими буквами было написано: «В честь храброго русского противника».

Чтобы немцы сделали такую надпись при зверском режиме, царившем в их армии, надо было потрясти их воображение, показать чудеса храбрости. И русские солдаты показывали такие чудеса.

Было высокой честью помогать таким людям, лечить их, перевязывать им раны. Профессор под обстрелом бежал из одной санитарной палатки в другую, сам оперировал, сам перевязывал, сам переносил раненых.

У русских нехватало вооружения. Под Жирардовом из-за недостатка снарядов было отдано распоряжение больше шести раз не стрелять из пушки. Но недостаток снарядов восполнялся штыковыми атаками, когда это позволяли условия. Храбрость рядового солдата, неславянные образцы храбрости — вот что на всю жизнь запомнилось профессору Бурденко.

Под Жирардовом в лазарет приехал казак с разрубленной рукой. Лихо спрыгнул с лошади, привязал к ее столбу, вошел в лазарет.

— Эй, кто у вас тут дохтур будет? Вот, видишь, какая вещь. Руку мне попортили, такую их...

И зажмурился от боли, посинел.

— Эх, братец, — сказал профессор, осмотрев его руку. — Ведь придется нам ее отрезать. Где у тебя конь? Надо его отправить на сборный пункт.

— Это для чего же, — удивился казак, — коня тревожить?

И вдруг осердился:

— Ваше дело короткое, господин дохтур...

— Они — профессор, — заметил санитар-старичок.

— Ну, профессор. Все равно. Извиняюсь. Ваше дело короткое. Отрезал руку, и все тут. А насчет лошади, как ей быть, я сам распоряжусь. Я ей хозяин.

И, очнувшись от наркоза, безрукий казак, припугнув санитаря, быстро натянул свою амуницию, левой рукой поправил чуб, отвязал коня левой же рукой, залез на него и уехал, как сказал он, «к своим».

— До свиданья! — пропел он санитару-старичку. — Целоваться, сам видишь, некогда.

Профессор дал строгий нагоняй санитару, отпустившему раненого казака, а про себя подумал: «Вот это люди. Настоящие люди». И немножко, может быть, позавидовал казаку.

А большинство людей завидовало профессору, как завидовали когда-то студенту Бурденко. И когда он только спит, этот профессор?

Молоденький студент Лебеденко, прибывший в лазарет, работал тоже безотказно и все-таки удивлялся, глядя на профессора. Профессор день и ночь, обутый в драные сапоги, в распахнутом полушубке, в шапке, надвинутой на глаза, бродил по баракам, перешагивал через раненых, густо лежавших на соломе, наклонялся над ними, поправлял их повязки и ворчал на кого-то, сердитый.

Лебеденко сказал однажды:

— По-моему, Николай Нилыч, вы уже четвертые сутки не ложитесь спать...

— Арабская лошадь никогда не ложится, — сказал сердитый профессор.

— Но вы же...—запнулся Лебеденко.

— Все равно,—сказал, улыбнувшись, профессор. — Высокая порода, она всегда обнаружит себя.

Профессор успевал эвакуировать раненых, добывать для них шоколад, делать им операции. И спать ему, в самом деле, было некогда.

Но однажды он пропал на целых три часа. Никто не видел его ни в бараках, ни на улице.

В лазарете шла операция. Два доктора накладывали швы. И вдруг откуда-то, как будто из шкафа, раздался строгий голос:

— Как накладываешь швы?

Все обернулись, посмотрели на шкаф. Профессор, скорчившись, спал в шкафу. Это было единственное место, где он мог спокойно заснуть хотя бы на часок.

В походный лазарет непрерывно вносили десятки, сотни, тысячи раненых. Их негде было размещать. Их укладывали на пол, на солому. И они лежали, забрызганные грязью, окровавленные, с запекшимися губами.

Профессор не в силах был бороться с антисанитарией. Нехватало бинтов, медикаментов, носилок. И помощия ниоткуда не было. Военно-санитарная инспекция работала как бы в пользу неприятеля, в пользу Вильгельма.

Это приводило в ярость профессора. Он ругался, просил, умолял помочь. Никакого ответа от власть имущих. И вдруг на фронт приезжает главный руководитель военно-санитарного дела, главный виновник ужасающих безобразий, бездельник и чистоплюй, принц Ольденбургский.

Профессор Бурденко осматривал раненых в лазарете. Пришли, доложили, что его хочет видеть принц. Бурденко побагровел, сказал:

— Не могу я сейчас, занят. Пусть посидит там.

Принц Ольденбургский то сидел, то стоял.

Профессор не появлялся. Принц нервничал, грыз ногти. Наконец, профессор вышел из лазарета. Принц готов был наговорить ему грубостей. Но сдержался: у этого профессора — самый лучший лазарет на всем фронте. Принц

укротил свой гнев. Даже больше того. Принц заставил себя улынуться, протянул руку профессору. Но профессор не принял его руки, сказал:

— Я еще не успел вымыть руки.

Это уж было сверх терпения принца. Принц вскипел, бросил грубое слово и ушел, позвякивая саблей:

— Мужик!

Это Бурденко — мужик! Не мужик, но сын конторщика, разночинца, бедняка. Все равно, у него, у профессора, достаточно поводов презирать принца. И он не желает скрывать своего презрения: «Да, я презираю вас, принц Ольденбургский. Вас и весь род ваш потомственных дармоедов. Весь класс ваш. Вы затеяли эту войну. Но воюем-то мы. Мы испытываем весь ужас ее и тяготы. И мы презираем вас».

Профессор возвращается в лазарет.

В лазарете он работает часто как простой санитар. Но никогда не забывает, что он профессор. На войне он работает и как ученый, изучает вопросы шока, учится первичной обработке ран черепа по особому методу, разрабатывает новые проблемы, связанные с ранением центральной нервной системы.

Иногда он пишет в Юрьев. Даже часто пишет. И из Юрьева пишут ему на фронт. Профессор Бурденко интересуется последними проблемами науки. Из Юрьева ему присылают литературу. В Юрьеве живут люди, которые уважают и любят своего воспитанника — профессора Бурденко.

А бои уже начинаются в Прибалтике. Немцы оккупировали Юрьев. Но профессор Бурденко может не беспокоиться. Немецкое командование предлагает ему на выгодных условиях остаться профессором в реформируемом на немецкий лад университете. И профессор Цеге фон-Мантейфель, старый его учитель, уговаривает остаться профессора Бурденко. Все будет так же, как было. Будет спокойная, обеспеченная ученая жизнь. Но профессор Бурденко не дает себя уговорить.

— Нет, — говорит он. — Я еду домой.

— Но там революция...

— Именно поэтому и еду.

Удивительно прост был всегда и легок на подъем этот человек. Никогда у него не было ни тяжелого, громоздкого багажа, ни мрачного профессорского высокомерия, ничего, обременяющего человеческую жизнь, ничего, кроме единого направления в жизни, в правильности которого он был убежден до конца.

И, взяв чемодан, он поехал домой, в Россию.

В России, в годы гражданской войны, он работает по организации военно-санитарного дела и военно-полевой хирургии. Заново налаживает всю систему снабжения, открывает новые госпитали и руководит ими.

По сути дела, война для него и не прекращалась. В войну гражданскую он вступил, не отдохнув после войны империалистической. Но гражданская война вполне отвечает чувствам его и убеждениям. Это — необходимая война.

В то же время ему поручают работу по эвакуации Юрьевского университета. Университет этот переезжает в советский город Воронеж. И здесь профессор Бурденко работает попрежнему и как хирург, и как организатор, и как общественник.

В Воронежском университете не хватает профессоров. Часть профессоров, не пожелавшая работать с народом, пришедшим к власти, уехала за границу, другая часть осталась. И из оставшейся этой части большая группа ученых долго размышляла, принимать им советскую власть или не принимать, признавать или подождать, может быть, власть еще сменится.

А Бурденко, профессор хирургии, в это время вынужден был из-за недостатка профессоров читать лекции на семи кафедрах. И читал. В то же время, в те же дни успевал он делать операции раненым красноармейцам, добывать для них усиленное питание, стоять в очереди за воблой для себя, писать новые ученые труды и чинить самостоятельно, так сказать, хозяйственным способом, собственные латаные и перелатанные профессорские брюки.

Изредка он приезжал в Москву. Лебеденко, студент, сдружившийся с ним

еще на империалистической войне, ставший доктором впоследствии, помогал ему теперь в организации разных госпитальных и университетских дел, был ближайшим его ассистентом. Вместе они ходили по Москве.

Дел было много у них. Приходилось часто сидеть в разных приемных, ожидать ответов на разные заявления, ругаться с бюрократами, уговаривать, просить и даже угрожать. А кушать им, профессору и ассистенту, было, попросту говоря, нечего. Часто голодные бродили они по Москве.

И вдруг, на счастье их, сидит баба на тротуаре и держит на коленях кусок хлеба, ржаного и почему-то мокрого, граммов так, может быть, в триста. Лицо у нее строгое, чуть надменное, типично купеческое лицо.

— Это почем же у тебя хлеб, тетка? — спрашивает профессор.

Женщина, уверенная в силе привлекательности своей, накрывает ладонью кусок хлеба и пренебрежительно оглядывает покупателя. Стоит перед ней человек в стареньком, потертом пальто, в ботинках, рваных, стоптанных, и внимательно смотрит на хлеб.

— Вы на деньги, что ли, хотите? — спрашивает она.

— Ну, на деньги, хотя бы.

— А вещей у вас случайно нету ли каких-нибудь? Почтаников, допустим, мужских, бязевых, или же брюк?..

Профессор долго и умело рядится с бабой, шутит при этом, улыбается, показывая белые, ровные зубы свои, и сердце бабье, огрубевшее в отчаянной торговой деятельности, мякнет вдруг, добреет. Продает она свой хлеб на миллионы. Профессор здесь же разламывает купленный хлеб.

— Кушайте, доктор, — говорит он Лебеденко.

— Благодарю вас, — говорит галантно ассистент. — Я не очень и проголодался. Кушайте вы сами.

— Ну, куда мне такая масса хлеба, — говорит профессор. — Давайте вместе.

И, жуя сладчайший хлеб времен военного коммунизма, они шагают дальше — профессор и ассистент.

Но тут случается крупное несчастье.

У профессора отрывается подметка. Она давно уже собиралась оторваться. И вот оторвалась. Профессор кладет ее в карман и шагает по мокрому после дождя тротуару, немного грустный. Ботинок сидит на ноге, как футляр без дна. Продранный чулок немедленно промокает.

Но счастье всегда сопутствует этому человеку.

Напротив деревянная вывеска: «Принимаю пачинку, а также беру заказ на новые шиблеты и дамские тухли». Видимо, сапожник въехал в столицу в самое последнее время. Вывеска временная, свежая и неграмотная. Профессор и ассистент заходят к сапожнику. Худенький мужчина с проволочными усами пьет чай.

— Я ж, — говорит он, — человек большой. Я драгву сам не сучу. А мальчишка, который мне сучит, куда-то забегался. Да и инструмент у меня в подполье. Я туда сам лезть не могу.

— Давай я тебе достану его, — предлагает профессор. И лезет в подполье.

Ботинки, наконец, починены. Значит, все в порядке. Походив еще по учреждениям, уладив дела свои в столице, профессор и ассистент уезжают в Воронеж.

В Воронеже власть неустойчивая: то красные, то белые. Два раза в Воронеж входят Шкуро и Мамонтов. Деникин занимает Воронеж. Профессор Бурденко укрывает в госпитале коммунистов, которым угрожает расстрел.

Ночью он идет с ассистентом по темному городу. Их останавливают патрули. Допрос:

— Из какой вы армии?

— Мы врачи. Идем лечить.

— А кого? Белых или красных?

— Да это же Бурденко, — говорит один из патрулей. — Профессор. Помните, мы у него лежали?

Оказывается, это красные. Но могли быть и белые. Боязно ходить ночью по городу. Однако профессор ходит. Нельзя не ходить.

Наконец, жизнь в городе вошла в нормальную колею. В Воронеже утвердилась навечно советская власть. Про-

фессор Бурденко продолжает читать лекции, делать операции, консультировать.

Но за воблой ему теперь стоять не приходится. Воблу он теперь не ест. В стране налаживается постепенно настоящая торговля. Продовольственные затруднения кончились. Начинается восстановление разрушенного войной хозяйства.

Идет тысяча девятьсот двадцать третий год.

Профессора Бурденко вызывают в Москву. Но в Воронеже не хотят отпускать профессора Бурденко. Здесь все привыкли к нему, успели полюбить. И когда все-таки вопрос об отъезде профессора решается окончательно, студенты и население города несут его из университета в вагон поезда на руках.

Этакой чести удостаивались немногие за все существование города Воронежа. В Воронеже живут не очень сентиментальные люди. И не всякого они несут на руках. А профессора Бурденко несли.

В Москве он нисколько не изменился, профессор Бурденко. Попрежнему он много работает. Попрежнему он изучает не одну какую-нибудь узкую медицинскую отрасль, а все сразу. Вернее, работая в одной отрасли, он переносит в нее все достижения других смежных областей медицины. И теорию он попрежнему не отделяет от практики. Практика обогащает теорию так же, как теория практику. Ибо: «теория без практики — беспредметна, а практика без теории — слепа».

Важнейшие проблемы переливания крови, хирургии легких, лечения гнойных ран, операций на нервной системе и в области желудка, наркоза и многие другие не менее важные проблемы привлекают внимание профессора Бурденко. И он решает их с блеском, поистине завидным.

В Москве он организует знаменитый теперь Нейрохирургический институт, возглавляет его, и вскоре вся страна узнает о блестящих, до сих пор неслыханных и немислимых операциях в области мозга.

Из Америки, из Бельгии, из Франции, Турции, Испании и других стран пишут теперь профессору Бурденко.

Знаменитые ученые приезжают знакомиться с его работой. Американские профессора ходят по лабораториям организованного им института. И даже из Германии, из страны, задавленной фашизмом, пишут ему больные, прослышавшие о его замечательных операциях. «По отзывам американских профессоров, побывавших в вашем институте и проезжавших через нашу страну, вы совершаете чудеса. Не можете ли вы спасти мою дочь, господин профессор?» — пишет житель Берлина.

Безнадежно больных привозят к нему со всех концов необъятного нашего государства. И он возвращает им здоровье, трудоспособность и жизнерадостность.

Даже имя профессора этого, чья популярность среди больных все растет и растет, способно ободрить больного. «Мне Бурденко сказал, что я поправлюсь, — говорит жене тяжело больной печник, страдающий паркинсонизмом. — Поняла? Бурденко, профессор, сказал: мол, вы поправитесь. А ты плачешь...».

В Париже был съезд хирургов. Вскоре после съезда профессор Бурденко делал во французской хирургической академии доклад о бульботомии, об операциях, которые до него были невыполнимы и которые он делает теперь за просто, как делал и раньше, без шума, тихо и скромно.

Доклад этот произвел на знаменитых ученых огромное впечатление.

После доклада видный французский хирург подошел к профессору Бурденко:

— Я просил бы господина профессора оказать мне высокую честь демонстрацией одной из своих операций в моей клинике.

Профессор Бурденко дал согласие. Но оказалось, что во французских клиниках нет специального инструментария — бульботома, необходимого для подобных операций. Изобрел бульботом профессор Бурденко. Изготовлен инстру-

ментарий был на советских заводах. И, прежде чем приступить к показательной операции, пришлось изготовлять бульботом во Франции.

Наконец, все было приготовлено. Был назначен день операции. Профессор Бурденко явился в клинику в точно условленное время. В клинике его ждали лучшие хирурги Парижа.

В операционную вкатили больного. Профессор Бурденко попросил обнажить оперируемому мозг. Это сделал сам руководитель клиники, знаменитый хирург. Но во время всякой операции бывают внезапные кровотечения. И тут произошла такая внезапность. Кровь залила место операции, а место это не больше булавочной головки. Нелегко разыскать это место в самой ответственной области мозга и в нормальных условиях. Но особенно трудно делать это в момент кровотечения.

Операция при этом становится чрезвычайно рискованной.

Ни один хирург, даже самый храбрый, не рискнул бы, вероятно, принять на себя ответственность за операцию, в самом начале которой не им была допущена ошибка. Всякий хирург, вероятно, просто отказался бы продолжать операцию в таком случае, не желая рисковать своим добрым именем.

Руководитель клиники сказал профессору Бурденко:

— Если ваша операция будет неудачной, в этом буду виноват я.

Но профессор Бурденко даже виду не подал, что заметил ошибку знаменитого коллеги. Осмотрев вскрытый мозг, он приступил к операции.

Операция прошла благополучно.

Всех поразило спокойствие профессора Бурденко. Спокойствие это поразило опытных, бывалых хирургов. После операции его спросили:

— Неужели вы несколько не волнуетесь, профессор?

Профессору, только-что очаровавшему зрителей блестящей работой, следовало бы, может быть, заверить вопрошающих в абсолютной своей бестрепетности. Для того, чтобы удивлять людей, надо иногда скрывать свои чувства. Но профессор тут же разоблачил себя.

— Нет, — сказал он. — Я сильно волнуюсь. Ведь никогда нельзя забыть, что у больного есть жена, мать, дети, что совершаешь акт, сопряженный со страшной моральной и всяческой иной ответственностью. Я должен сознаться, что я волнуюсь каждый раз, но только перед операцией. Во время операции, вы сами понимаете, хирургу волноваться нельзя. Я бываю спокоен во время операции.

И скромность его, может быть, еще больше удивила людей.

А он действительно скромен. Всегда, во всем. Охотнее он говорит о достижениях своих учеников, чем о собственных. Вернее, о своих достижениях он никогда не говорит. Но ведь ученики — это тоже его достижение. В числе учеников его есть видные профессора, немало кандидатов наук, докторов, которых сам он воспитал и которым привил собственный стиль работы. Бурденковский стиль — неутомимость, упорство, постоянное совершенствование.

И сам он учится до сих пор.

— Ну, как это, Николай Нилович, вы не устаете? — спрашивают его. — И везде успеваете...

— Вот в том-то и беда моя, — говорит он, — что не успеваю.

И непонятно, шутит он или говорит серьезно. Вероятнее всего, он серьезно говорит. Успевая в течение одного дня сделать важную операцию в клинике, прочесть лекцию студентам, дать консультацию, побывать на заседании, написать статью в научный журнал и ночью позвонить в клинику — узнать, как чувствует себя после операции больной, — он не успевает решить еще какие-то серьезные вопросы, которые уже зреют в мозгу.

И, ложась спать, перед утром, он засыпает каждый раз с ощущением, что в клинике, в институте у него осталось еще много недоделанных дел. Не думает он о том, что многое уже сделано.

Подумав так, он перестанет жить.

В стране нашей его ценят очень высоко. Профессор Бурденко — член республиканского правительства, делегат

Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов и член редакционной комиссии съезда, член Моссовета, руководитель многочисленных общественных организаций и научных обществ, кандидат в депутаты Верховного Совета.

Правительство наградило его орденом Ленина.

Это был большой праздник. Из разных концов страны непрерывным потоком шли поздравления в его адрес. Писали разные общественные организации и частные лица.

Больше всего писали больные. И по письмам этим можно было проследить разные этапы жизненного пути профессора Николая Ниловича Бурденко.

«Из газеты нашей херсонской я узнала, что есть такой заслуженный деятель науки профессор Бурденко, которого наградили орденом Ленина. Не вы ли были тем студентом, который приезжал в нашу деревню тридцать лет назад и помогал мне после родов?».

«... Вы, наверное, забыли меня, Николай Нилович. Я — Гаврила Гринченко, старший санитар отряда Красного Креста в Манчжурии во время японской войны. Я вспоминаю вас и поздравляю и горжусь вами...».

«... Вспомните, Николай Нилович, фронт под Варшавой, местечко Жирардов, тульский лазарет и меня, сестру милосердия Колесникову, к которой вы так хорошо относились. Ваши бывшие сотрудники кричат вам привет и поздравление с Северного Кавказа...».

«... Я от души рад за вас, что за все ваши познания в хирургии, за старание и добродушие к больным партия и правительство наградило вас великой наградой. А я благодарю вас за гостеприимный мне совет, когда я был у вас, вы наверное не помните меня с сыном, у которого водянка мозга после менингита. За вас рада вся общественность. Живите и продолжайте борьбу с болезнями. А мы благодарим вас и еще раз поздравляем с наивысшей в мире наградой — орденом Ленина...».

«... Когда я вас увидел на страницах «Правды», я был очень рад за вас. Но не только за вас, а и за себя, потому что учился у вас. От всей души поздравляю

вас с награждением орденом. Остаюсь извинный вам когда-то Сережа или боец ОКДВА Сергей Пулков».

«... Здравствуйте, профессор Н. Н. Бурденко. Посылаю привет и поздравления с великой наградой. Я этот день, как узнал про вашу награду, проводил, как праздник. Я у вас работал санитаром самый трудный период с 1920 г. по 1923 г. Вы меня в жизни спасли. Я сейчас работаю пролетарскому отечеству очень честно. Прохоров...».

«... Мы часто с Марусей вспоминаем, как вы мне не позволили привезти Марусю к вам в сильный мороз и метель и приехали сами такой усталый, продрогший. Я никогда не забуду, как ласково и сердечно вы подошли к ребенку. В трагедии, которую мы переживали, воспоминания о вас являются светлым и теплым лучом...».

«... Поздравляю вас, профессор. Благодарю за все. Сообщаю, что я еще живой. Живу и радуюсь с вашей легкой руки. Большое спасибо. Живой свидетель вашего таланта. Петров».

Не перечислить всех этих писем. Много их, очень много. Написанные разными почерками, от каракул больницыного истопника, недавно овладевшего графитой, до каллиграфических завитушек конторщика из совхоза, — все они выражают единое чувство — радость и благодарность за труд профессорский, за его высоко добросовестное отношение к своему труду.

Но профессору надо когда-нибудь и отдохнуть. Давно уже он не был на отдыхе.

Жена Мария Эмильевна давно предлагает поехать на Кавказ. И Николай Нилович, наконец, дал согласие. Поздно вечером, как обычно, он приходит домой, говорит:

— Завтра едем. Все дела улажены как будто.

Часу в двенадцатом ночи начинаются сборы в дорогу. В первую очередь укладываются книги. «А без книг нельзя?» — спрашивает жена, видя, что большой чемодан уже верхом набит книгами. «Нельзя» — говорит муж. «Да ведь отдыхать едем» — напоминает же-

на. «Все равно, — говорит профессор. — Мне с книгами как-то спокойнее».

Около часа ночи все сборы закончены. Профессор выпивает чай и уходит к себе в кабинет. В этот час он обычно пишет. Все равно до трех часов ночи он не уснет. Не может уснуть. У него бессонница. Этой бессоннице уже больше тридцати лет. А профессору в этом году исполнится шестьдесят.

Пожилой человек, он спит не более четырех часов в сутки.

Ночью он много курит. Особенно много, когда пишет. Увлекаясь, он забывает о пепельнице. Веером ложатся вокруг него обезображенные трупики папирос. Это единственные следы его взволнованности. Профессор живет, волнуясь.

Около четырех часов утра сон, наконец, одолевает его. Здесь же, в кабинете, он засыпает на диване. Спит крепко. Не разбудить его теперь ни за что.

Но в восемь часов утра он уже на ногах. Выбрит, одет. Завтракает. А в половине девятого невысокую, коренастую фигуру его можно видеть на Девичьем поле. Легко, по-молодому шагая, профессор направляется в клинику.

Это последний день перед отпуском.

В первую очередь он должен посетит университетскую клинику, где он — директор, потом — Нейрохирургический институт, где он тоже директор. Впрочем, в институт он сегодня не пойдет: он вчера уже закончил там все дела перед отпуском. Он побывает сегодня только в клинике.

Это крайне необходимо.

Профессор идет в клинику. А дома у него в это время непрерывно звонит телефон. Какие-то люди удивляются, что профессор уже ушел на работу, как будто возмущаются даже, спрашивают:

— А как ему позвонить на работу?

И домработница популярно и с еле скрываемой гордостью разясняет им:

— Разве вы не знаете, что профессору нельзя звонить на работу? Что вы думаете, он сидит и ждет ваших звонков? Он стоит сейчас в операционной и режет человека. Понятно? Или же долбит ему череп...

Но домработница немного ошибается. Профессор еще никого не режет. Он только подходит к клинике.

Швейцар встречает его у дверей.  
— Доброе утро, Гриша, — говорит профессор.

— Доброе здоровьице, — говорит швейцар.

И оба улыбаются, как будто знают друг про друга такое, чего сегодня еще нельзя сказать, а можно будет завтра или через год.

Профессор поднимается по лестнице в свой кабинет.

В кабинете на стенах висят большие художественные портреты его предшественников, знаменитых ученых, бывших директоров этой клиники. Здесь Пирогов, Басов, Склифасовский, Иноземцев, Бобров, Спизарный. Они заняли все стены.

Уборщица смотрит на них и говорит:

— А вас, Николай Нилыч, где же пристроят, то-есть, ваш портрет, ежели в случае чего?

— Меня? — говорит профессор, и глаза его смеются. — Меня, если заслужу, можно будет вот тут над умывальником пристроить. Место, по-моему, тоже неплохое.

— Ну, что вы, — говорит уборщица. — Над умывальником...

В кабинет входит профессор Лебедеenko. Это тот Лебедеenko, что был студентом во время империалистической войны, потом доктором и теперь стал профессором. Вместе с профессором Бурденко он работает вот уже скоро двадцать пять лет.

Говорят, что Николай Нилевич любит его, высоко ценит. И это, вероятно, так и есть. Но внешне это почти никак не проявляется. В отношениях со старым своим учеником пожилой профессор так же суров, как и в отношениях с другими людьми, работающими с ним.

У него нет любимцев, особо приближенных, таких, которым бы он прощал грубые промахи.

Грубого промаха, впрочем, он не простил бы, наверное, и самому себе. Профессор Бурденко очень строг. Он может пощупать, похлопать по плечу, позвать к себе пить чай, но он же может вспы-

лить, заметив неряшливость, недобросовестное отношение к работе, лень.

У него прекрасная память, у профессора Бурденко. Память эта хранит и сложные формулы, и многие истории болезней. Больных он помнит по многу лет. А тех, что лежат у него в клинике со сложными заболеваниями, он вспоминает по нескольку раз в течение дня, хотя их бывает не один десяток.

Проходя по палате шестидневку назад, профессор мимоходом бросил какое-то указание: допустим, такому-то больному надо сделать такую-то процедуру. Через шестидневку он снова входит в эту палату. «Ну как, сделали?». «Ах, я забыл» — говорит доктор, ответственный за процедуру.

Этого лучше не говорить. Профессор Бурденко никогда не простит забывчивости. Будет скандал. Профессор никого не пожалеет. Это знают все. И профессор Лебедеenko это знает. Но однажды он что-то запомнил. Мелочь какую-то. Со всяким ведь может случиться такое. Исполнительный, всегда точный, трудолюбивый работник ошибся.

Профессор Бурденко, однако, вспыл. Профессор Лебедеenko обиделся.

Два этих человека, проработавшие вместе почти двадцать пять лет, должны были разойтись. Заговорило самолюбие. Все пути к примирению как будто были отрезаны. И оба профессора погрузнели.

В эти дни они впервые ощутили по-настоящему, как они дороги друг другу.

Примирение произошло неожиданно.

Профессор Лебедеenko здоровается с профессором Бурденко. Профессор Бурденко надевает белый халат и моет руки. Потом говорит:

— Ну, пойдёмте.

Профессор Лебедеenko выходит в коридор и говорит кому-то:

— Пригласите врачей.

Начинается профессорский обход больных. Профессор Бурденко идет впереди. Рядом с ним профессор Лебедеenko. За ними идут человек тридцать врачей в белых халатах, в белых шапочках.

Подходят к первому больному. У больного паралич лицевого нерва. Доктор, лечащий его, докладывает:

— Парез фациалиса.

— Какого? — спрашивает профессор. — Правого или левого?

— Левого, — быстро отвечает молодой доктор.

— А ну закройте, пожалуйста, глаза, — просит профессор больного. — Сильнее. Хорошо... Откройте.

И, взглянув в глаза больного, профессор говорит доктору:

— Как же вы заявляете: левого, если правый?

— Да, да, правый, — виновато говорит доктор.

Профессор осматривает больного.

Больные улыбаются ему, когда он входит в палату. Они знают его. Это Бурденко. «Он веселый, — рассказывает больной старик новичку. — Вот ты увидишь. А другой раз, как осерчает на доктора...».

Профессор ходит из палаты в палату. В одной палате лежит больной, которому будут оперировать грыжу. Профессор долго осматривает его, разговаривает с врачами. Потом вдруг спрашивает:

— Кто здесь сиделка?

— Я, — говорит тихая женщина, и видно, как она робеет. Может быть, профессор сделает ей нагоняй. Но профессор говорит:

— Первый раз вижу, что у больного ноги в таком идеальном порядке. Хорошая сиделка...

Сиделка расцветает. В этот момент ей завидуют и доктора. Профессор сегодня никого, кроме нее, не похвалил. Но зато и нагоняй никто не получил. Счастливый, в сущности, день. Впрочем, профессор все еще продолжает обход.

Наконец обход кончен. Двенадцатый час дня. Профессор пьет подогретый боржом у себя в кабинете. Старший ассистент докладывает ему об административных делах, просит кому-то не объявлять выговор.

— Вы — типичный мягкотелый интеллигент, — говорит профессор ассистенту, но не сердито, а шутя.

Звонит жена: не забыл ли Николай Нилович, что они сегодня уезжают? Нет, не забыл. Поезд уходит в шесть вечера. Да, он помнит.

Старший ассистент продолжает доклад.

Потом в кабинет входит доктор. У него письмо. Пишет один больной.

— Помните, этот паркинсоник? Курчавый такой.

И они вспоминают паркинсоника, который был доставлен в клинику в полумертвом состоянии. У него не действовали ни руки, ни ноги. Не было даже мимики на лице. Полная обездвиженность. Профессор Бурденко сделал ему операцию.

— Ну, что он пишет?

— Пишет, что поступил на работу, ездит в трамвае. И это письмо сам написал.

Входит еще один врач. Говорит, что привезли нового больного. Очень тяжелый случай. Два латинских термина. Придется делать операцию.

— Должно быть, я буду делать, — говорит этот врач.

Приходит секретарь редакции журнала, который редактирует профессор Бурденко. Почти получасовой разговор, просмотр свежих гранок, звонок в типографию. Потом профессор говорит:

— Я хочу все-таки посмотреть этого больного.

Идет смотреть его. Действительно, сложный случай. Но операцию сейчас делать нельзя. Впрочем, через час можно. Профессор говорит:

— Я сам буду делать операцию. Это необходимо.

И спрашивает:

— Маруся здесь?

Маруся — это заведующая операционной, молодая девушка. В клинику она поступила уборщицей. Была неграмотной, но отличалась удивительной добросовестностью в работе, любила чистоту. За эти качества профессор начал выдвигать ее на лучшую работу. Потом ее послали учиться на курсы сестер. Она успешно окончила эти курсы. И теперь, всякий раз приступая к операции, профессор прежде всего спрашивает:

— Маруся здесь?

Лучше ее никто не может угодить ему в операционной. Маруся здесь — значит все будет в идеальном порядке. О талантах Маруси известно и наркому. Недавно он обещал установить ей персональную ставку.

— Да, Маруся здесь.

Профессор идет подготовиться к операции. Ему приносят халат. И в это же время появляется в директорском кабинете швейцар Гриша:

— Николай Нилыч, вас там внизу ждет Мария Эмильевна.

Профессор говорит:

— Да, да. Сейчас.

Москва, осень 1937 года.

И, немного растерянный, он спускается по лестнице.

Мария Эмильевна уже сидит в автомобиле. Она обложена чемоданами, баулами, узлами.

— Ну, ты готов?—спрашивает она.— Пора уже ехать.

— Я не могу, — говорит муж, — Пока не могу.

— Ведь билет пропадет, имей в виду, — напоминает жена. — Поезд уходит в шесть пятнадцать. Что же теперь делать?

— Надо делать операцию, — говорит профессор.

И снова поднимается по лестнице.

# Дружба

Повесть

Л. НИКУЛИН

I

Когда слава приходит поздно, остается горькое чувство неудовлетворенности. На сорок восьмом году жизни Артемьев понял, что достиг славы. Только в последние годы жизни он начал ощущать какую-то перемену в атмосфере зрительного зала, когда выходил на сцену. Теплота, уважение и настороженное внимание тысячи пятисот человек волновали его. Он стоял на сцене в костюме испанского гранда и думал, что во весь рост, от кончика пера на шляпе и до четырехугольного носка туфли, его видят три тысячи глаз, и нет клочка кожи, и нет клочка материи на нем, которых не видели бы в зрительном зале. Создавался странный гипноз, который он ощущал всем телом, физически, вплоть до того, что у него начинало гореть лицо и кровь прилиwała к коже. Вместе с тем он чувствовал небывалую уверенность во всем, что делал, в каждом своем жесте, в повороте головы, в каждой интонации своего голоса. Сто разных людей видел он в самом себе; даже самый грим он старался менять, правда, чуть-чуть, незаметно, чтобы он сам только знал, что сегодня он другой. Ему казалось, что все это он делает для себя, что публика не замечает его усилий. Но один раз на адрес театра пришло письмо. Он нашел в нем две грамматические ошибки, оно отличалось грубостью и неуклюжестью оборотов, но он сохранил письмо и много раз его перечитывал.

«Я одиннадцать раз видел, как вы играете Позу, и скажу вам, что каждый раз немного другой, товарищ Артемьев. (Извиняюсь — не знаю имени и отчества.) Я даже не могу сказать, какой из одиннадцати маркизов лучше, но два или три раза это было на «отлично».

Так Артемьев узнал, что неизвестный зритель увидел его усилия, направленные к тому, чтобы не омертветь, не застыть в одной из прекрасных теней, которые он создал за тридцать шесть лет жизни в этом живом и странном мире театра.

Тридцать шесть лет он работал в театре и каждый раз перед выходом на сцену испытывал несколько стыдное чувство. Вот сорокавосьмилетний человек, отец взрослого сына, с измазанным краской лицом, в парике и с наклеенной бородой, в непривычном, неудобном костюме, истекая потом, выходит под лучи прожекторов и голосом, каким не говорят в жизни, читает стихи:

... И вы дерзнете  
Окончить то, что начали? Дерзнете  
Остановить перерожденье мира,  
Остановить всеобщую весну,  
Которая весь мир омолодит?  
Один, во всей Европе, вы хотите  
Рукою слабой, смертной задержать  
Бег колеса, водоворот событий?..  
Вам ничего не сделать...

Он иногда говорил молодым: я — актер по случайности. Если бы столько же сил и нервов я истратил в любой

другой области — я был бы большим человеком, вроде Менделеева или Пирогова, или Карабчевского.

Однако карьера адвоката не слишком увлекала его, потому что в этом роде деятельности было все же нечто от театра. Ему нравилась работа хирурга или инженера-строителя, и лишь одно поле деятельности устрашало его — труд политического деятеля. Ему приходилось встречаться с такими людьми. И ему всегда казалось, что они говорили с ним свысока, что они приходили в театр для отдыха и развлечения, чтобы на три часа уйти от донесений, заседаний, докладов и приемов. Он вежливо и по возможности кратко отвечал на их вежливые вопросы, молчал, улыбался и незаметно стушевывался, уступая место привычным театральным говорунам. Иногда ему передавали, что товарищ такой-то сказал о нем: «Артемьев — золотой фонд театра. Странно, почему его так долго не замечали», и что другой добавил: «Это потому, что Артемьев — порядочный человек, какие не часто встречаются». «Откуда он знает?» — раздраженно спросил Артемьев и отошел. Слово «порядочный» несколько удивило его. Он давно уже не слышал этого слова, и оно прозвучало особенно странно в устах политического деятеля, человека молодого и, следовательно, говорившего на другом языке.

«Порядочный человек»... Он вспомнил свою жизнь, детство, гимназическое отрочество, студенческую молодость и тридцать лет в театре. Было несколько скверных эпизодов, о которых он не любил вспоминать, но, в общем, он был доволен собой. Он не очень кривил душой, не оставлял без помощи надоевших любовниц, давал, сколько нужно было, денег на воспитание сына, даже заботился о нем, хотя та, от которой у него был сын, была вадорной и раздражительной женщиной. Он даже приехал на похороны, когда она умерла в том провинциальном университетском городе, где они встретились двадцать пять лет назад. Не за это ли его назвал порядочным почти неизвестный ему молодой человек — недавно выдвинув-

шийся политический деятель? Нет, конечно... Может быть, речь шла о чувстве товарищества, корректности в театре, но откуда он мог знать об этом? Он перебирал дурные качества человека. Зависть? Честолюбие? Конечно, он не был лишен этих чувств. Они появились недавно, когда он видел успех более молодых товарищей. Зависть некоторое время владела им, но потом являлось чувство стыда, и он проявлял даже некоторое излишество в похвалах сопернику. Он не любил актерское «ты» и уменьшительное «Коленька» и «Артюша». Ну, в конце-концов, он мирился со всем этим. Когда же он, наконец, достиг славы, то в первые годы ему отравляли жизнь лесть, поздравления, заискивающие улыбки и аффектированные поцелуи товарищей. Особенно тех, которые пренебрегали им раньше. Однажды он почувствовал уважение к своему старому врагу. Он увидел его случайно в боковой кулисе, когда играл в одной современной пьесе роль, принесшую ему неожиданную славу. Он сам не знал, почему у него получилась эта роль. Он играл вне текста, что-то высшее и значительное, он играл человеческий порыв, стремление к правде, к идее, которая была смыслом жизни героя.

Его соперник — грубый, часто пьяный человек — стоял в кулисе и слушал Артемьева. В какое-то мгновение Артемьев посмотрел в кулисы и увидел, что его враг растроган и плачет. Кончился акт, враг подошел к Артемьеву и с ненавистью, глядя прямо в глаза, сказал: «А ведь похабно ты играешь, Артюшка». И в этом было все: отчаянье, зависть, ненависть, гордость, — было бы во много раз хуже для Артемьева, если бы старый враг полез пожимать ему руку и целоваться.

В этом странном мире Артемьев научился ценить прямые чувства, открытую ненависть и тайную, сокровенную любовь.

Кончился зимний сезон. Это был четвертый удачный сезон в славном старом театре, пожалуй, самый удачный сезон Артемьева.

Он сыграл две пьесы: одну любимую роль — чеховского Иванова, дру-

гию — в одной современной пьесе; и в обеих ролях он чувствовал на сцене спокойствие, свободу и свежесть, точно он входил в прохладную морскую воду и плыл, и бесстрашно уплывал далеко, ощущая уверенность и прохладу, и не было конца этой уверенности в своих силах и бесстрашии. Только с этим можно было сравнить чувство, которое он испытывал, когда стоял перед тремя тысячами глаз, дышал, говорил и жил в созданном им одним мире. Он уходил со сцены, и запах грима снова бил ему в нос, и капельки пота, как сыпь, проступали у него сквозь краску на лбу.

Это был четвертый счастливый сезон, в который впервые рядом с его фамилией напечатали: «народный артист»... Народный артист, «народный» — это смущало его. Конечно, он играл для народа, в театре сидел народ... но называться «народным артистом» — это очень обижало. В конце-концов, он говорил чужие, написанные другими слова, он внушал людям чужие мысли и был только посредником. Он даже не был человеком из народа, как это понимали в его время, — сын либерального агронома, земского служащего. Он не открывал никому этих мыслей, потому что не мог точно выразить их, и, пожалуй, это могли считать за «унижение паче гордости», как любил говорить его отец. Но, в общем, он был доволен. Он играл последний раз в сезоне, и во втором антракте к нему пришел директор театра, болезненный, молчаливый человек. Просидев пять минут, он сказал:

— Николай Петрович, товарищи поручили мне спросить у вас: как вы думаете провести лето?

— А почему, собственно, это интересует товарищей? — спросил Артемьев.

— Не знаю, но мне задали этот вопрос, и я не мог на него ответить, — продолжал директор.

— Обычно я уезжаю на два месяца к сыну на Волгу. До войны я на лето уезжал за границу.

— Вот, — обрадовавшись, сказал ди-

ректор, — может быть, вам бы стоило и сейчас съездить, скажем, полечиться?

— Я здоров, — ответил Артемьев. Потом, подумав, добавил: — Но, может быть, в связи с одним планом...

Директор оживился. Ему трудно было работать в сложном и новом для него деле. Он очень уважал этих людей, так бесстрашно и свободно живущих на сцене.

— Я хотел бы поговорить с вами о том, что мне хочется сделать в будущем сезоне.

— Очень хорошо, — искренно обрадовался директор, но в это время зазвенел звонок и вошел театральный портной. Они решили продолжить беседу после спектакля.

И в ту же ночь Артемьев рассказал директору, что у него давняя мечта — поставить одну из трагедий Шекспира.

Артемьев бывал в Италии, но никогда не был в Риме, и потому летний отпуск хотел бы использовать для поездки в Европу. «Святые камни Европы» — сказал директор и понимающе улыбнулся. Таким образом, решилась поездка Артемьева в Рим.

Он ехал за границу с естественным волнением, через двадцать два года после своей поездки в Париж, которую тогда прервала война 1914 года. Он был почти спокоен, только старая грусть угнетала его, но он не давал ей воли, он решил все обдумать на досуге, в пути. Директор театра проводил его на вокзал, что несколько удивило Артемьева. Они никогда не были особенно близки. Ему показалось, что директор приехал на вокзал только для того, чтобы объяснить ему, как надо держаться за границу, и это его обидело. Но директор совсем не говорил об этом, он почему-то заговорил о театральной школе и ученике со странной фамилией Гвоздик.

— Я помню его, — рассеянно сказал Артемьев, — он, как будто, из рабочих, выдвигенец из кружка самодеятельности.

— Он — слесарь-арматурщик, — пояснил директор, — работал в Северном депо.

— У него хорошие данные, — вслух подумал Артемьев, — но нет культуры.

— Я бы хотел, — как бы нехотя сказал директор, — чтобы вы пригляделись к нему. Парень он с амбицией, но умница. Он, например, очень резко критикует наших признанных и маститых. Только об одном человеке он говорит с большим уважением — о вас.

— Благодарю, — улыбаясь, ответил Артемьев, — но неужели только в этом и сказывается его ум?

— О, нет, — тоже улыбаясь, продолжал директор, — конечно, не в этом дело, но я подумал о том, что при его способностях и уважении к вам вы могли бы сделать из него актера.

— Так сказать, передать опыт? — шутливо заметил Артемьев. — Сказать правду, я сам еще не знаю, где истина в нашем ремесле, — как же мне учить молодых?

— Это интереснейший парень, и вы для него настоящий учитель. Подумайте...

Они остановились у подножки вагона и пожалы друг другу руки.

— Пишите, а насчет постановки машина на полном ходу. Сергей Георгиевич ждет от вас писем, и, как приедете, будет готов план.

— Ладно, пусть готовятся.

Они еще раз обменялись рукопожатием через окно. И, как это бывает часто, расставшись, некоторое время думали друг о друге.

Директор думал: «Работать с людьми... Как это трудно, — вот попробуй работать с много видевшим и много знающим большим человеком. Попробуй работать с ним, когда он держит в руках тысячу пятьсот человек в зале театра и заставляет их одним звучанием голоса своего содрогаться, грустить и смеяться. И никогда нельзя угадать, о чем думает этот, чудесно сохранивший молодость, молчаливый и величественный человек».

Он вспомнил, что чуть ли не один Артемьев поддерживал его — первого директора-большевика, недавнего директора завода, холодно и почти враждебно встреченного когда-то в театре.

Артемьев думал: «Это чистый человек, порядочный человек, и ему трудно в театре. Он не распинается в любви к искусству, он как-то скромно скрывает ее. Добросовестность? Нет, не одно это. Неправда, что он точно так же будет работать, если его, скажем, назначат на колбасный завод. Он действительно чем-то близок театру. Вот, только, чем?».

Артемьеву нравилось то, как вежливо и твердо говорил Сафронов с капризными актрисами или с театральными рабочими, — это был особый тип рабочих, — или с театральными критиками. Ему нравился тон Сафронова на совещаниях и общих собраниях, неожиданно и всегда кстати проявляющиеся твердость и настойчивость.

Пока он размышлял о Сафронове, электрическое сияние Москвы постепенно исчезло. Поезд шел в темноте, и Артемьев, выйдя в коридор, внимательно рассматривал своих спутников. Два японца — в свежих пиджачках из чесучи. Очки в прозрачной оправе. Дипломат из Прибалтики с широко расставленными водянисто-голубыми глазами; он видел его где-то на большом приеме в посольстве. Два дипломатических курьера, общительные, веселые и вместе с тем связанные какой-то общей для обоих заботой. Нервная дама с сединой, почему-то отливающей зеленью. Это была, видимо, соотечественница, и при ней был самостоятельный и сердитый мальчик. Затем в вагоне был еще пожилой человек, одиноко сидевший в купе и читавший толстую книгу. Два раза он поднимал глаза, когда Артемьев проходил по коридору, и провожал его несколько удивленным взглядом.

Артемьева волновало путешествие. Он не мог усидеть на месте и немного походил по коридору. Затем вернулся в купе и опять стал раздумывать о разговоре с директором. Все складывалось превосходно: впереди два месяца путешествия и большая, давно задуманная работа, и, в общем, он счастлив. Откуда же берется это чувство неудовлетворенности и легкая щемящая грусть? В конце-концов он пришел к такому вы-

воду — слишком поздно пришло то, чего он добивался всю жизнь, слишком поздно пришли признание и слава. Пятьдесят лет — это закат жизни. Если бы он имел все это к тридцати годам (как это было у некоторых), он бы воспринял свою победу с чистой, ничем не омраченной радостью. Сейчас он уже по ту сторону горы и медленно спускается по ее склону... К пятидесяти годам он потерял всех близких. Одни умерли, других он потерял из виду. У него никого нет. Сын? Да, сын.

Забвение — жестокая мысль для актера. Что останется от артиста Артемьева? — тридцать страничек, написанных чужим для него человеком, несколько строк воспоминаний товарищей, портрет в роли Позы в театральном музее... В звуковом фильме, в кино, он видел недавно умершего любимого товарища и с замиранием сердца слушал его голос. Влажность появилась в глазах Артемьева, он попробовал думать о другом, пошевелился, поглядел в коридор. Человек, который читал толстую книгу, его сосед по купе, стоял у окна и, очевидно, уже долго смотрел на него.

— Разрешите познакомиться, — сказал он внезапно, погасив папироску, — я один из ваших зрителей. Насколько я понимаю, мы с вами попутчики. В газете написано, что вы едете в Италию.

— Да, в Рим.

— Если не возражаете, будем пить чай.

Они сели друг против друга в купе.

— Один мой друг говорил мне про вас, что вы не очень общительный человек. Однако я решил вас потревожить. Давно не были за границей?

— Двадцать два года.

— Двадцать два года, — задумчиво повторил спутник... Он помолчал немного и, глядя в лицо Артемьеву, продолжал: — Извините, что я глазею на вас, но вы мне стоили ночи раздумья. Это было после «Иванова»...

Так началось это дорожное знакомство, но, когда Артемьев вспоминал о

нем позже, он ощутил первый разговор наполненным особым значением.

— Вас провожал Сафронов?

— Вы его знаете?

— Знаю. Он работал со мной. Что ж, он еще рисует?

— Рисует? Он у нас директор, — улыбаясь, сказал Артемьев.

— Да, я понимаю.

Они помолчали.

— Меня, откровенно говоря, интересуют ваши первые впечатления, — опять заговорил спутник Артемьева. — Я не говорю о Польше, это нечто особое, но впечатления о настоящем Западе, который вы знали когда-то.

— Вержболово, — задумчиво произнес Артемьев, — жандармские вахмистры на перроне, русские офицеры в буфете первого класса, телячьи котлеты на тюрель, удельное вино... Все это как-то неотделимо друг от друга, и получается Россия 1912 года.

— В общем, это будет назидательное путешествие, но у вас есть и более определенная цель?

— Моя поездка связана с одной важной для меня работой. У нас пойдет в будущем сезоне Шекспир, — пояснил Артемьев и тут же удивился, почему он посвящает в свои планы незнакомого ему человека. Но наружность и повадки этого человека располагали к открытому и душевному разговору. Артемьев вспомнил, что его провожала стройная и красивая молодая женщина. Он даже обратил внимание на разницу их лет, когда увидел, как любовно и нежно они поцеловались, прощаясь...

— Шекспир, — повторил спутник. Он достал с полки и положил на стол перед Артемьевым книгу, которую читал раньше.

Это был Шекспир, английское издание, отпечатанное на тончайшей бумаге. Весь Шекспир в одной книге.

— Вот совпадение, — начал он, — я совсем уж собрался уезжать и вдруг вспомнил, что не захватил с собой книжки в дорогу. Жена положила мне в чемодан вот эту самую книгу.

. Артемьев перелистывал книгу, затем отложил и негромко прочел вслух:

...Пройдут века, и сколько раз еще  
Средь государств, которых нет на  
свете,

На языках, теперь нам не известных,  
В театрах эта сцена повторится.

— Какую уверенность, какое простодушие гения надо иметь, чтобы три с лишним века назад так уверенно писать о своем творении.

## II

Разговор длился до четырех часов утра. Два или три раза собеседник Артемьева поднимался с места, поднимался и Артемьев, но затем одно брошенное слово снова разжигало потухающую беседу. Во все время их разговора Артемьев пытался присмотреться к внешности своего собеседника.

Это было одно из тех лиц, значительность которых не может передать ни фотография, ни кисть художника. Слишком подвижным было это лицо для того, чтобы открыть себя в одном неподвижном, застывшем выражении. Впоследствии, когда Артемьев вглядывался в портрет своего нового знакомого, он не находил в нем ничего того, что так пленило его в этом слегка изможденном и необыкновенно подвижном лице. Он не видел изумлявшей его смены выражений, он не слышал чудесного смеха, когда вспыхивали крепкие, белые, ровные зубы и смех превращал на несколько минут маску воинствующего мыслителя в лицо простодушного деревенского парня. А порой в этом лице вдруг появлялась некая отчужденность, сознание своего достоинства, какое-то даже величие. Эта мгновенная смена выражений, а главное, то, как ясно и законченно отражались все чувства человека в его облике или, как говорят в театре, совершалась «чистая перемена» выражения лица, заставили Артемьева спросить:

— Вы никогда не были актером?

Он, повидимому, поставил втулик своего собеседника.

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Отчасти профессиональное любопытство. Обыкновенно я требую от своих учеников точного мимического выражения тех чувств, которые они должны изображать. У вас мимика всегда точно совпадает со смыслом тех слов, которые вы произносите.

Собеседник улыбнулся:

— А не полагаете ли вы, что это происходит, когда человек говорит, что думает? Иной раз приходится, например, говорить неприятные вещи собеседнику, — что поделаешь? Но если при этом мимика у вас не будет совпадать со смыслом слов, которые вы произносите, то наплевать собеседнику на ваши слова. Видите, вы заставили меня говорить почти по-актерски, хотя актером я никогда не был.

— Нет, я говорю о другом, я говорю о ясности выражения лица. Своё настроение вы передаете лицом удивительно ясно, не «мажете», как плохие актеры и плохие ученики.

— У вас есть ученики? — неожиданно перебил его собеседник.

— Сейчас нет. В прошлом—два или три актера и одна актриса. Вот и все.

— Актриса эта — Мария А\*\*\*, — и собеседник Артемьева назвал почти забытую сейчас театральную фамилию. Артемьев кивнул головой и нашел в себе мужество спросить:

— Откуда вы ее знаете?

— Я люблю театр и видел ее... Возможно было бы даже указать, что у нее от вас. Не сочтите за комплимент, но это лучшее, что у нее есть. Именно то, о чем мы с вами только-что говорили, — точность каждого выражаемого на сцене чувства. Простите за любопытство, она — ваша жена?

— Она была моей женой. Я удивился тому, что вы угадали мою ученицу: она получила известность раньше меня. Я был посредственным провинциальным актером, «мужем знаменитости».

— И случилось так, что вас считали ее учеником?

— Да, случалось.

— Она сейчас за границей. Она эмигрантка?

— Да, но она обрусевшая итальянка по происхождению.

— Вы встретитесь с ней?

— Мне бы не хотелось. Дело в том, что для меня наше прошлое связано со многими унижениями, горестями и обидами.

(Потом Артемьев долго раздумывал, почему он рассказывал свое тайное, выстраданное и личное человеку, которого он только-что узнал. И объяснял это редким качеством собеседника, — просто и хорошо говорить о важном и главном.)

— Так, — задумчиво сказал его спутник. — Все понятно. Лучшее она взяла у вас. Вы стали известным актером, когда еще были с ней?

— Нет, это было немного позже. Вообще, слава пришла ко мне поздно. Эта женщина присутствовала лишь при ее начале.

— Интересно. Представляю себе чувства этой женщины. Еще раз простите за грубость, она, попросту говоря, бросила вас?

— Попросту говоря, да. Десять лет назад я сыграл хорошую роль в одной исторической пьесе. Я не проснулся знаменитостью, как это бывает в романах, обо мне заговорили только через двадцать-тридцать спектаклей. Она была проездом в Москве. В бессонные ночи я мечтал об этой минуте возмездия, об этой встрече. Минута пришла, и — ничего... Вдруг стало пусто и неинтересно.

Артемьев почувствовал усталость и откинул голову в угол дивана, зажмурил веки, чтобы дать передохнуть глазам. Он устал смотреть против света в лицо своего собеседника.

— У вас была не легкая жизнь, — заметил тот. — Все-таки это было хорошо, после унижительной и, в общем, печальной жизни с ней. После «мужа знаменитости».

— Но ведь мы не всегда ощущаем сладость запоздалой мести.

— А другие ваши ученики?

— О них не стоит говорить. Сейчас Сафонов предлагает мне молодого человека из рабочих, со странной фамилией Гвоздик.

Они помолчали.

— Однако поздно. Пятый час. Когда мы будем на границе?

— Через час после Минска.

За спущенной шторой мелькнули огни станции. Разговор оборвался. Они пожелали друг другу доброй ночи.

Ночной разговор и особенно внезапное завершение его встревожили Артемьева.

Он принадлежал к тому типу людей, о которых говорят, что им не везет только в любви. У него было все, что должно было сделать его счастливым: мужественная и красивая внешность; талант и ум, но в любви у него не было удачи и в первом браке, от которого у него был сын, и во втором, когда он полюбил красивую и известную в свое время в России актрису.

Теперь он вспоминал то, что старался крепко забыть,—встречу тридцатилетнего почти неизвестного актера и премьерши большого провинциального театра, и связь, удивившую многих. Потом расцвет славы этой актрисы, приглашенной в столицу вместе с ним — незаметным, средним актером. Он вспоминал унижительные разговоры о себе театральных меценатов, критиков и болтавшихся за кулисами сожителей актрис. Он вспоминал, как его жена боялась, чтобы не узнали о том, кто помог ей сделать роль Маргариты Готье, чтобы не узнали, кем по-настоящему был для нее Артемьев. Поэтому она долго не позволяла ему пробовать себя как постановщика и режиссера. Не странно ли, что в эту ночь, когда каждая минута приближает его к Риму, к Европе, которую он не видел двадцать два года, он думает о прошлом, о грустных и горьких театральных историях. Он попробовал пересилить себя и заставил себя думать о другом, о своем спутнике, первом встречном, с которым он заговорил в первую же минуту так, как он никогда не говорил с близкими людьми. Он подумал, что это был дипломат или работник по внешней торговле; непонятной была только странная и очень широкая осведомленность этого человека и литературская любовь к Шекспиру, к театру, любовь знатока, а не простого читателя или зрителя.

Вдруг ему пришла в голову мысль, что письмо, в котором говорилось о том, как он играет Позу, написал Гвоздик. Он представлял себе большого, несколько нескладного парня, с квадратным подбородком и большими злыми глазами. Он чуть-чуть прихрамывает, «рельс упал на ногу», — так он объяснил на экзамене. Однако его взяли в школу потому, что он поразил всех осмысленным и страстным чтением. Может быть, действительно письмо написал Гвоздик? Что он читал на экзамене? Кажется, «Мцыри». Тут мысли Артемьева затуманились, и через несколько мгновений он уже спал.

Его спутник долго читал «Таймс», затем закурил трубку, а на остановке написал и отправил телеграмму в полпредство одной из пограничных стран. В телеграмме было сказано, что он остановится на сутки, а затем проведет оставшиеся дни отпуска в Риме. Потом он погасил свет и уснул мгновенно, легким и чутким сном человека, привыкшего к внезапным пробуждениям.

### III

Хотя Артемьев заснул очень поздно и спал беспокойно, он чувствовал себя очень бодрым и не слишком взволнованным, когда поезд подходил к Негорелому. Чувства беспокойства и тревоги, связанные с переездом границы, утратили остроту. Его развлекала деловая суета, происходившая вокруг. Он спросил своего спутника, будут ли осматривать его багаж поляки.

— Не думаю, — сказал спутник, — вы едете транзитом. У вас много вещей?

— Дело не в том, но я захватил с собой старые записи, книги...

— Ничего, сойдет.

В Негорелом пограничник посмотрел на Артемьева:

— Вы, значит, и есть товарищ Артемьев?

Сладостное чувство удовлетворенного честолюбия охватило Артемьева. «Откуда меня знают, — подумал он, — это ведь не Москва». В Москве он привык к тому, чтобы на улицах незнакомые люди называли вслух его имя.

Подошел таможенный досмотрщик и тоже с любопытством и видимым уважением поглядел на Артемьева.

— Я-то вас видел, — сказал пограничник, — в прошлом году, в отпуску, был в Москве; понятно, не узнал, но вот, наш полпред сказал... — он оглянулся на дверь. В дверях стоял ночной собеседник Артемьева.

— Готово? — спросил он.

Вещи Артемьева опять унесли в вагон, и Артемьев простился с пограничником и таможенным досмотрщиком. Теперь он сидел в вагоне рядом со своим спутником, мучимый желанием внимательно, по-другому его разглядеть.

— Простите, до сих пор не знаю вашего имени-отчества.

— Иван Данилович. Ну вот, через двадцать минут — Польша. Глядите, несут ваш паспорт.

Поезд двигался довольно медленно, и от этого движения еще быстрее забилося сердце у Артемьева. Он еще волновался, его растрогали внимание и уважение, оказанные ему там, дома, на границе. Поезд остановился, и Артемьев встал.

— Садитесь, — мягко сказал Иван Данилович, — это еще не то. Сошли наши пограничники. Теперь будет арка, знаменитая арка.

И в то же мгновение легкая деревянная арка, украшенная оставшимися от первого мая гирляндами и флагами, проплыла перед глазами Артемьева. Поезд снова остановился. Слева, у насыпи, стоял, согнувшись, солдат в стальном шлеме, синей шинели и глядел под вагоны. Рядом с солдатом стоял унтер, он глядел в окна вагонов и проводил Артемьева напряженным и немного враждебным взглядом.

— Ну вот вам и Польша, — сказал Иван Данилович.

— «Революция сотрет все границы», — тихо сказал Артемьев, — так, кажется, написано там, на знаменитой арке?

— Да, именно так.

В Столбцах, так называлась польская пограничная станция, все прошло, в общем, благополучно.

Впечатления рассеивались, латинский шрифт надписей, русская и польская речь, новые деньги, низкие поклоны носильщиков. Артемьев вернулся в буфет, там его ждал Иван Данилович. Артемьев внимательно поглядел на него и удивился перемене. Сначала ему показалось, что во всем облике этого человека появилась какая-то надменность. И без того рослый и складный, он стал как-то выше ростом. Моложавый блондин в длинном пальто и котелке стоял перед ним и, чуть наклонившись, говорил быстро и с легким акцентом:

— Если господин посол едет в Рим, то, к моему большому сожалению, я буду лишен удовольствия увидеть господина посла в ближайшие дни в столице.

— К сожалению, так, — сказал Иван Данилович, — но господин секретарь всегда может обратиться к моему преемнику. Вот... — продолжал он, совсем другим тоном обращаясь в сторону Артемьева, — вот и вы. Все благополучно, я надеюсь?—И, опять повернувшись к господину в котелке, добавил: — Это наш знаменитый артист Артемьев, он здесь проездом, едет в Рим и опасается, что таможенные власти причинят ему затруднения: он везет с собой книги и материалы для работы.

— О, нет, — сказал господин в котелке, — я надеюсь...

— Все благополучно, — сказал Артемьев.

Иван Данилович простился с молодым господином.

— Знакомый чиновник из министерства. Что-то зачастил на границу.

Теперь он был таким, как ночью в вагоне, и все же другим, но прежним он стал в купе, когда они снова, как под Смоленском, сидели друг против друга.

— Давайте снимем пиджаки, — предлагает солнце. Вы говорите, что вас удивляет внимание пограничника в Негорелом. Это естественно. Я думаю, что вы не хуже меня понимаете силу искусства.

— Если бы я понимал... Не примите это за «унижение паче гордости», как любил говорить мой отец.

— Что это значит: «если бы я понимал»?

— Как вам сказать, — нехотя начал Артемьев... и неожиданно для себя рассказал все, о чем много думал в последние дни и ночи, перед отъездом из Москвы.

Он рассказал об обреченности актера, об его горьком уделе — забвении, о том, что актер только посредник между автором и зрителем. Он говорил о трудности актерского ремесла, о том, что трудно правдиво жить в театре, потому что самое искусство актера заключается в подражании большим чувствам. Актер, писал когда-то Дидро, сам по себе должен оставаться холодным и спокойным в те минуты, когда он зажигает и потрясает других.

У Артемьева иногда получалось нескладно, он прерывал свою речь и затем продолжал, видя внимательный, понимающий взгляд собеседника.

Между тем за окном проносились покосившиеся черные хаты, бело-красные верстовые столбы, шлагбаумы, узкие и тощие полоски пашен и двухэтажные дома станций. Поезд не останавливался. На станционных платформах появлялись и исчезали босые крестьяне, сторбленные старые евреи в ермолках.

Один раз мелькнул у переезда желтый английский шарабан, запряженный кровными жеребцами, с кучером, подпоясанным широким ремнем, и усатым помещиком в брезентовом пыльнике и в фуражке с белым верхом.

— Получается так, что вы недовольны своим призванием. Странно мне все это слышать, — наконец перебил Артемьева Иван Данилович, — очень странно. Я где-то читал: однажды Нерон дал в Риме праздник в честь приехавшего понтийского царя. Два его лучших мима Вафил и Пилад разыгрывали пантомиму «Подвиги Геракла». «Отдай мне своих мимов, — сказал царь. — У меня есть воины-варвары, язык их никому не понятен, и трудно их научить нашему языку. Эти актеры

своими жестами смогут им объяснить, чего я от них хочу».

— «Отдай мне своих мимов», — оживившись, повторил Артемьев, — прекрасно!

Несколько мгновений он сидел молча, улыбаясь, затем спросил:

— А вы не слышали ничего о судьбе моей бывшей жены?

— Как же, я видел ее в Риме. Она играет по-итальянски.

— Это хорошо?

— Среди общего упадка искусства здесь это, все-таки, явление.

— Но позвольте, Дузе и Тина ди Лоренцо, Сальвини, Росси и замечательный сицилиец де Грассо — и вдруг Мария Петровна. Вот уж, действительно: «отдай мне своих мимов».

— Пусть берут, да только не Вафилов и Пиладов. Вафилы и Пилады самим нужны.

— Что же она играет?

— Я видел «Даму с камелиями».

— Это именно то, чему я ее учил, — с удивлением и горечью сказал Артемьев и опять стал глядеть в окно.

— В Риме мне советовали отель «Мажестик», piazza Барберини.

— Не надо, — сказал Иван Данилович, — мы с вами остановимся в маленьком отеле «Альберто ди Савойя», возле виа Аппиа. Это в двух шагах от площади, которая называется «Vossa della Verita» — «Уста истины». Я жил там в годы эмиграции. У вас есть знакомые в Риме?

— Нет, ни души.

— А в Варшаве?

— Тоже нет... Впрочем, есть один старый знакомый. Вы давно не были в Италии?

— Года четыре назад.

— Уже при фашизме. А у меня в памяти моя Италия, тоже голодная, но веселая, довоенная, поющая Италия. «O, sole mio» — «O, мое солнце» — тогда пела вся страна. Любят итальянцы красивые слова.

— Как же, любят... Есть там песня, которая в переводе звучит так: «Юность, юность, расцвет красоты...», а припев у нее такой: «Бейте палками крепче».

Лицо у Артемьева потемнело. В одном смысле его жизнь сложилась счастливо — ему не пришлось своими глазами видеть жестокости и насилия. Погромы и войны прошли мимо него, и потому он с волнением слушал Ивана Даниловича.

— Вот этого я боюсь больше всего, — содрогаясь, сказал Артемьев.

— Бойтесь? Зачем же бояться?

Он оглянулся на Ивана Даниловича. Тот сидел, подперев кулаком подбородок, — суровый профиль в светлом четырехугольнике окна, как рельефный портрет в темной раме.

#### IV.

Профессиональная привычка заставляла Артемьева с особым чувством присматриваться к окружающему. Теперь он с раздражением ловил себя на мысли, что почти все вокруг он воспринимает как театральное положение. Женщина, поправляющая прическу и улыбающаяся своим мыслям, офицер, следящий за отражением в зеркальном стекле, мелькнувший за окном тополь с полуобнаженным стволом и остроугольная крыша фольварка, и бедная хибарка среди поля. Он глядел на розового юнца в офицерской форме, на его вздернутый нос и вывороченные губы, воротник, подпирающий пухлый девичий подбородок, и запоминал капризное подергивание брови; затем он заинтересовался старым господином в высоком крахмальном воротничке, с пушистыми ниспадающими усами.

— Иван Данилович, — сказал он негромко, — мне кажется, что в самой внешности людей есть разница там и здесь. У нас только для кино умеют находить представительных генералов, пухленьких барчуков и матерых бородачей. Вы можете месяцами ходить по улицам Москвы и не встретить ничего похожего на старорусское лицо. Разве в театре, но это грим. И мне очень трудно показать моим молодым ученикам живого пристава или, скажем, помещика Орловской губернии, обжору и грубияна...

Он не договорил, однако, главного. По старой привычке он, со вчерашнего вечера, зорко присматривался к Ивану Даниловичу. Ему и его товарищам приходилось играть на сцене большевиков, и он очень страдал от того, что многие авторы современных пьес располагали скудными запасами сценических приемов. Он видел на сцене вместо большевиков бездушные восковые фигуры, проносящие выдержки из сегодняшней газеты. Размышляя над этим явлением, он постепенно уверился в том, что привычка к обобщению, привычка думать о множественном, общественном, а не о личном, превращает политика в педанта и аскета. В жизни он встречал большевиков вроде Сафронова, они совсем не походили на тех, которых изображали в театре, — и все же Артемьев с большим трудом знал настоящих большевиков для того, чтобы изменить свое суждение о них. В старое время он очень страдал от пренебрежения, с каким относились к актерам не только чиновники — представители власти, но даже и интеллигенты, ученые, литераторы, адвокаты. Он понимал стремление артистов Московского Художественного театра не походить на людей своей профессии.

«Если интеллигенты прежнего времени чуждались актеров, — рассуждал Артемьев, — то что думают о нас партийные люди, что думают они о нашей самовлюбленности, мелочности, узости нашего кругозора?..».

— Политика, все же, честнее искусства.

Он произнес вслух эту фразу и увидел улыбающееся лицо Ивана Даниловича.

— Хорошо же вы думаете об искусстве, — сказал тот, допивая кофе.

Разговор не вязался. Вагон-ресторан в варшавском экспрессе к этому не располагал.

«Да, именно так, — думал Артемьев. — Когда меня знакомили с Мечниковым, он почему-то сказал: «Никогда не думал, чтоб актер мог быть интересным собеседником». Другие удивлялись, когда встречали меня на симфонических концертах, в собраниях научных об-

ществ, на вечерах футуристов. Отсюда и возникала беспомощность актеров, когда им приходилось играть большевиков. Если текст роли был бледен и сер, они не могли поднять его и переосмыслить, потому что не знали тех, кого должны были изображать. Куда проще сыграть вихрастого братишку в матросском бушлате». Оставшись один в своем купе, Артемьев решил на досуге, что встреча с Иваном Даниловичем для него знаменательная встреча.

Усталость взяла верх. Он немного подремал и, проснувшись, увидел ржавые высокие фабричные трубы Белостока. Когда стемнело, пришел Иван Данилович и предложил ему остановиться на один день в Варшаве с тем, чтобы дальше вместе ехать в Рим. Артемьев, разумеется, согласился.

Иван Данилович сидел в купе с расстегнутым воротом сорочки и расстепанными волосами, то напевал волжскую песню, то прерывающимся от волнения голосом читал монолог Отелло перед сенатом. Но как сразу менялся этот человек, когда в застегнутом на все пуговицы пиджаке он проходил в вагон-ресторан, с каким достоинством он садился на свое место. Врожденный демократизм, простота обращения.

Вместе с тем Артемьев удивлялся особому чувству достоинства: я представляю великую страну, мою родину, родину моих братьев — рабочих и крестьян, так будьте же любезны, господа, оказывать должное уважение мне, бывшему нижнему чину, пролетарию-большевику, забайкальскому казаку, представляющему Советскую страну.

Это чувство достоинства проявлялось и в мелочах, в случайной обстановке путешествия, и позже, когда Артемьев увидел Ивана Даниловича на официальном приеме в присутствии министров и послов Старого и Нового света.

Вечером, в одиннадцатом часу, они подезжали к вокзалу в предместьях Варшавы. Ивана Даниловича встретил худощавый, высокий человек. Ни модная шляпа, ни английский дождевик ничего не могли поделать с его скуластым ли-

цом, утиным носом и косо поставленными глазами. «Федотыч» — назвал его Иван Данилович, и они трое прошли по пустынной платформе к машине. Несколькo ошеломленный Артемьев ехал по скудно освещенным улицам рабочего предместья, затем они очутились у длинного моста.

— Мост Понятовского, — сказал через плечо Иван Данилович, — внизу — Висла.

Огни поблескивали в черно-синей широкой реке, затем черное небо прочертили рубиновые и лиловые нити рекламы. Машина шла вверх по широкой, обсаженной деревьями улице.

— Иерусалимские аллеи, — опять через плечо сказал Иван Данилович.

Он сам вел машину и тихо разговаривал с Федотычем. Трамвай, похожий на обычный трамвай довоенных русских губернских городов, пересекал улицу. Полицейский, в фуражке с длинным, окованным медью козырьком и лакированным ремешком под подбородком, на мгновение задержал машину. Через улицу шли разряженные дамы, офицеры в мундирах с желтыми петлицами, евреи с всклокоченными бородами и пейсами, выбивающимися из-под бархатных картузов. Некоторая растерянность охватила Артемьева. Двенадцать часов назад, то-есть утром этого же дня, он стоял на перроне в Негорелом, и все вокруг было близко и знакомо. Паровоз с пятиконечной звездой на стальном конусе впереди, мальчик в красном галстуке в окошке станционного дома... Так близко и вместе с тем так уже далеко.

— Здесь ваша гостиница. Федотыч устроит вас. Завтра в три пожалуйста обедать ко мне.

Федотыч, действительно, сразу и без лишних слов взял ключ у портье, указал прислуге на чемодан, Артемьеву на клетку лифта и, опять молча, одним взглядом остановил лифт на четвертом этаже. Горничная в наколке, кланяясь и беззвучно шевеля губами, открыла дверь номера.

— Утром заеду. Спите.

Это было все, что он сказал Артемьеву с момента их встречи, затем потряс его руку и ушел. Артемьев остался один в неуютном, щедро освещенном номере гостиницы.

А Иван Данилович, никого не будя в здании полпредства, поднялся в свои принявшие уже нежилой вид комнаты. На столе, на видном месте, лежала записка его преемника: «И. Д. Зайдите в любое время». Иван Данилович позвонил по внутреннему телефону, поздоровался со своим преемником и, усмехаясь, спросил: «Как себя чувствуешь?». «Ох» — комически вздохнул преемник. Иван Данилович посмеялся: «Пополошусь и приду». Пока он полоскался в ванне, пришел Федотыч и мрачно крикнул из другой комнаты:

— Устроил старика.

— Хорош «старик». Дай бог тебе в его годы. Ну, как тут жили без меня?

— Лучше всех.

Они говорили друг с другом привычным, слегка ироническим, грубовато-шутливым тоном.

Иван Данилович, почти одетый, вышел из ванной и сел к столу. Впервые, при ярком свете он дружелюбно посмотрел на Федотыча, на его утиный нос и тонкие, поджатые губы. Семнадцать лет дружбы связывали этих людей. Федотыч пришел на фронт гражданской войны фабричным парнем-красногвардейцем. Через два года он командовал полком, потом демобилизовался, ушел в дипкурьеры и вернулся к Березину секретарем. Опять ушел на учебу и вернулся вице-консулом одного из городов в Азии. Теперь они встретились снова, чтобы не расставаться. Федотыч был назначен к Березину в штат только что сформированного полномочного представительства в государстве Святого Града.

— Подарки твои отдал в Москве.

— Рады?

— Не очень.

— Скажите, птичьего молока им надо. Как твоя Александра Степановна?

— Приказано тебя поцеловать. Хочешь, поцелую?

— Через посредника не принимаю.

Зазвонил телефон. Преемнику Ивана Даниловича не терпелось. Он звал его к себе. Федотыч собрал на столе бумаги, запер их в несгораемый шкаф, погасил свет и тоже ушел, после того, как запер своим ключом квартиру. Он застал Ивана Даниловича на лестнице толкующим с дежурным.

— Данилыч, — спросил, спускаясь за ним по лестнице Федотыч, — что же, стало быть, когда ее ждать?

— Кого?

— Александру Степановну.

— Она не придет. Кончает Промакадемию. Может, осенью...

И они расстались. Преемник Ивана Даниловича, не стареющий, жизнерадостный блондин, встретил его на пороге. Они прошли в столовую. Сначала разговор шел о Москве и московских новостях. Преемник пожаловался на работу. Он привык работать в спокойных скандинавских странах, — здесь было тревожно, страну лихорадило, часто менялась ситуация, и можно было ошибиться в оценке положения.

— Давай меняться, — улыбаясь, сказал Иван Данилович, — не прогадаешь.

Его собеседник усмехнулся. Разговор зашел о Цехановиче, секретаре, назначенном к Ивану Даниловичу, о том, что трудно ему будет на новом месте, затем о стране, только-что установившей дипломатические сношения с Советским Союзом, стране, где монарх и министры открыто покровительствуют белогвардейцам, устраивающим военные парады в поселках, называемых станицами и управляемых бывшими генералами и войсковыми атаманами.

Именно в эту страну, две недели назад, был назначен полномочным представителем Иван Данилович Березин.

## V

В десятом часу утра Артемьева разбудил телефонный звонок. Федотыч сказал, что заедет за ним через час.

Разговор на этом прервался. Артемьев еще некоторое время лежал и думал о том, что он в Варшаве и что в этом городе жил его старый друг Казимир Франк. В общем, он был уверен, что ему доведется встретиться за границей с Казимиром Франком. Они были добрыми знакомыми, даже друзьями в военные годы, когда известный на Западе артист очутился в Москве на положении беженца. И Артемьев уговорил директора театра дать Франку постановку в русском театре. Он чувствовал уважение к нему как к мастеру. Одни говорят: Франк стал еще лучше через двадцать лет, другие, что он отяжелел, поблек, стал чем-то вроде диктатора в искусстве, что у него крепкие связи с католиками.

Артемьев встал, раздвинул шторы и рассеянно поглядел в окно. Серенький день, серое провинциальное здание вокзала, пустырь, огороженный забором. Все главное, наполнявшее его жизнь, было непривычно далеко от Артемьева, — Москва, театр, товарищи, сын, который искренно опечалился, когда узнал, что этим легом отец не придет к нему на Волгу. Надо написать сыну.

Артемьев был уже одет, когда позвонил по телефону из вестибюля Федотыч. Он попросил Федотыча подняться к нему в комнату, — сию минуту он кончит письмо. Только-что вошел Федотыч, опять позвонил телефон.

Сначала женский голос попросил господина Артемьева. «Господин Артемьев» — непривычно прозвучало в ушах. Он сказал, что он и есть Артемьев, затем он услышал знакомый, мягко произносящий русское «л», низкий голос.

— Николай? Здесь, у телефона, Франк, Казимир Франк. Я прочел в газетах, что ты здесь.

— Здравствуй, здравствуй, — запинаясь, сказал Артемьев, — я очень рад.

— И я также рад, дорогой друг. Когда я буду тебя видеть? Прошу тебя ко мне, — нетвердо выговаривая русские слова, произнес знакомый, прерывающийся трудным дыханием голос. — Двадцать лет, боже, сколько времени... Прошу тебя ко мне, на обед, сегодня.

— Спасибо, очень жаль, Казимир, сегодня я никак не смогу. Сегодня я у наших.

Короткое, но все же неловкое молчание.

— Николай, — запинаясь, продолжал Франк, — я имею желание предупредить тебя, — голос сделался тверже и прозвучал отдаленнее, — я имею предупредить тебя... По моим взглядам, я не поддерживаю отношений с официальными людьми вашей страны, это есть мой убеждения. Мой секретарь позвонил туда только для того, чтобы справиться, где ты...

— Не понимаю, — сказал Артемьев.

— Я хотел сказать тебе, Николай, что я принимаю тебя у себя как частное лицо, потому что ты есть частное лицо, мой старый друг, но не как официального гостя... Ты меня понял, не правда ли? Понял?

Теперь немного помолчал Артемьев.

— Казимир, — наконец, сказал он, — должен ли я понять так, что ты хочешь меня видеть только как старого знакомого, то-есть ради прошлого?

— Да, — ответил обрадованный голос, — именно так.

— Но я, но я, — с внезапной злостью заговорил Артемьев, — где бы я ни был, я, прежде всего, представитель искусства нашей страны, я—народный артист. Ты понимаешь? Я не официальный представитель нашей страны, но я ее гражданин, ты меня понимаешь?

— Понимаю, — ответил глухнувший, как бы удаляющийся голос.

— И не хочу поддерживать отношений, — уже дрожа от злости, продолжал Артемьев, — и не хочу поддерживать никаких отношений с человеком... с врагом моей страны, — тихо, но со своей замечательной дикцией и выразительностью кончил Артемьев.

Он положил трубку и несколько мгновений молча сидел за столом, подперев голову. «Чепуха» — наконец сказал он вслух, поднял голову и даже вздрогнул от неожиданности. Он увидел Федотыча. Федотыч ждал, пока он допишет письмо. Но Артемьев отложил письмо в сторону.

— Едем, — сказал он.

Артемьев сел рядом с Федотычем. Немного подумав, куда именно везти его, Федотыч, не слишком быстро, поехал по бойкой торговой улице. Они обгоняли извозчики пролетки, в пролетках ехали щеголеватые молодые люди. Закинув ногу за ногу, они ехали, не торопясь, вдоль тротуара, разглядывая знакомых и незнакомых. Улица была наполнена странным движением, толпа двигалась как бы без определенной цели. Люди стояли на тротуарах перед входом в кафе и тоже без цели глядели на прохожих и проезжих. Артемьев рассматривал город, который тщетно старались превратить в современную европейскую столицу. Он уже начал терять интерес к этому городу в ту минуту, когда они выехали на большую площадь. Над колоннадой прозрачными зеленоватыми облаками клубилась листва Саксонского сада.

Артемьев старался забыть неожиданный разговор с Казимиром Франком. Он никак не мог себе представить, что дружба двух людей, когда-то проводивших ночи в спорах о театре, может кончиться таким образом. Однако все вышло органически, — так решил Артемьев. Он верил в то, что его первые побуждения всегда самые правильные, и никогда не раскаивался в решениях, которые принимал по первому впечатлению. Поэтому он скоро забыл о разговоре с Казимиром Франком. В ту минуту, когда они остановились у колоннады и он поглядел на слегка дымящееся пламя треножников у могилы неизвестного солдата, как это ни странно, он думал опять не о том, что сейчас видел. Он подумал о сыне и почувствовал угрызения совести. Жаль, что он все же не дописал письма. В это время он увидел написанные латинскими буквами на мраморе названия каких-то деревень и городов: «Бородянка», «Бровары», наконец, «Киев». Он высказал Федотычу свое удивление по поводу того, что эти села и города почему-то считаются местами побед польского оружия. И опять подумал о том, что в письмах сына появилась какая-то невеселая шутливость. Сын писал: «В общем, на душе паршиво, завод шестой месяц не выполняет

плана, одолели неприятности». Артемьев уважал сына, потому что в юности мечтал о такой карьере для себя. Сын был тружеником, инженером, спокойным и задумчивым молодым человеком. Артемьев не очень доверял этому спокойствию, потому что помнил истеричность матери и опасался дурной наследственности. Вместе с тем он сам никогда не умел с ним поговорить, что называется, по душам, слишком большое различие интересов было между отцом и сыном.

Позднее Федотыч повез его мимо дворца тюремной архитектуры. Они обогнули конного полицейского, поехали по узкой и довольно грязной улице и очутились на четырехугольной площади, образуемой высокими и узкими домами с острыми кровлями. И тут Артемьев отдался волнующему его чувству художника. Он как бы стоял на сцене, среди только-что поставленных чудесных декораций, созданных жизнерадостным гением художника-архитектора.

Старо Место — называлась эта площадь. Он глядел на расписные фасады домов, узенькие оконца и островерхие кровли и ясно представлял себе, что здесь можно играть «Фауста», сцену возвращения Валентина из похода, или сцену из «Эгмонта», когда Клерхен призывает граждан к восстанию.

Сытые, жирные голуби медленно и важно ходили за Артемьевым, пока он, закинув голову, разглядывал старые черепичатые крыши и частокол дымовых труб. Он запоминал пропорции площади, масштабы, придающие ей уют небольшого зала, где плафоном было не написанное красками, а подлинное небо, белесоватое, прозрачное и глубокое, как бывает только на Западе. Театральные и литературные сопоставления, как всегда, преследовали его. Теперь он думал о трагической и страшной сцене казни Остапа Бульбы. Он уже располагал толпу на площади, он видел шляхтичей и паненок, представлял себе, как надо группировать пятна костюмов, одежды уличных зевак, гайдуков, солдат и палачей, он видел место, где была расположена плаха, и где именно надо поставить Тараса Бульбу с его рубцами на

лице, начерченными бровями и усами, в шитой золотом одежде чужеземного графа.

«Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости».

«Но, когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала поддаваться его сила.

— Батько? Где ты? Слышишь ли ты все это?

— Слышу, — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народу в одно время вздрогнул».

Артемьев оглянулся на своего молчаливого спутника, ему хотелось бы рассказать о переполнявших его чувствах; он увидел Федотыча, облокотившегося на дверцу машины, и вдруг содрогнулся в восторге. Сумрачное лицо спутника, его ясные и холодные глаза и крепко сжатые губы вдруг поразили Артемьева. «Остап мой, — чуть не воскликнул он вслух, — да, если и станут перебивать ему кости на руках и на ногах, то и тогда не проронит ни слова и не издаст ни стопа».

Внезапно открылся ему образ иного человека, может быть, насмерть бившегося с панями и шляхтой под той же Бородянкой, солдата революции, неизвестного бйца, большевика. Опять мысль Артемьева работала в двух планах, и от чистого восхищения архитектурными прелестями старой Варшавы он пришел к изумлению перед силой идеи, дающей человеку бесстрашие на пороге мучительной смерти. «Вера в коммунизм, — подумал он, — избавляет от страха смерти. Мне пятьдесят лет, и, правда, стоит подумать об этом». Затем он устыдился, его смутило то личное, что вдруг вмешалось в его чистые мысли. Он молча сел в машину, еще раз взглянул на своего спутника и, не сразу решившись, спросил:

— Вы давно работаете с Иваном Даниловичем?

— Семнадцать лет, — кратко ответил Федотыч и включил мотор.

— И в армии?

— Да, и в армии.

Они снова свернули в одну из узеньких, грязных улиц и выехали в оживлен-

ную и грязную часть города. Здесь улицы назывались: Низкая, Дикая и Грязная. Так они назывались и во времена Тараса Бульбы. Продолжая литературные сопоставления, Артемьев решил, что именно по этой грязной, щербатой мостовой ехал воз, и в том возу еврей Янкель вез спрятанного под кирпичами Тараса Бульбу. Он очень жалел, что они ехали, а не шли пешком по этой ужасной, зловонной улице, и слишком быстро возникали перед ним и исчезали библейские старцы с серебряными бородами и дрожащими от старости или голода восковыми руками. У лавок стояли румяные, упитанные бородачи, в длиннополох сюртуках и бархатных картузах с крохотными козырьками. Но более всего он удивился белым, как мел, еврейским юношам в ермолках и капотах. Черные завитки пейсов подчеркивали эту нечеловеческую бледность; невозможно было понять, как двигались и как стояли на ногах эти чахоточные юноши с узкой и впалой грудью. Он увидел еще страшные подобию людей: рано состарившихся женщин, молодых старух, которые стояли у края тротуара и держали на клочках картона жалкий товар — луковицу, два огурца. Рахитичные, покрытые коростой и грязью дети тянулись скорченными, черными пальцами к этому жалкому товару.

— Это Налевки, — сказал Федотыч, и лицо его как будто не выражало ничего, кроме желания осторожно развернуться в черном и грязном тупике улицы, куда их завлекло любопытство Артемьева. Затем, точно желая рассеять это жестокое впечатление, Федотыч, обехав почти половину города, привез его к мосту Понятовского. Внизу были купальни, речные пристани, трубы заводов. Синяя, глубокая, полноводная Висла. От нее веяло холодом. Они поехали быстрее, и Артемьев узнал Иерусалимские аллеи, потом они выехали в аллею Уяздовские. Здесь не было ничего похожего на то, что он видел раньше. Свежая майская листва, барские особняки с флашштоками посольств и старые, седоусые извозчики, с униженно болтающимися на спине номерками, правительственные автомобили, потрепанные так-

сомоторы, называемые пренебрежительно «таксувки». Артемьев узнал знакомый по фотографиям памятник Шопену — иву, напоминающую задуваемый ветром факел, и Шопена под этой ивой.

— Лазенки, — сказал Федотыч, покосившись на зеленый ковер лужайки, парочки на скамьях, детские колясочки.

Был третий час дня, прогулка приближалась к концу, когда их задержало уличное событие, смысл которого не сразу понял Артемьев. Он услышал пронзительный звон подков и ляг сабель в металлических ножнах, и по трамвайным путям проскакали всадники на превосходных, раскормленных белых конях. Немного отставая от них, повел машину Федотыч. Впереди, постепенно запрудив всю улицу, двигалась толпа. Вожатый трамвая отчаянно позвонил и затих. Над притихшей улицей с особенным, струистым звоном зазвенело разбитое стекло. Машина остановилась. Прямо на Артемьева шел человек, прижимая ко рту что-то показавшееся Артемьеву красным платком. Это был старый человек, он шел, тяжело поднимая ноги в грубых, порыжевших сапогах. Артемьев увидел, что у него рассечены губы и по бороде течет кровь. Лоб и щеки были вымазаны грязью. Шея искривлена катаlepsической судорогой. Ни горечи, ни гнева в глазах, — окаменелое и страшное в своей неподвижности лицо. Продащица из цветочного магазина, возбужденно дыша, раскрыв жадно рот, глядела в ту сторону, где все еще звенели разбиваемые стекла.

— Что то ест, проше пани? — спросил Федотыч.

— Жидзей бион, — сверкая глазами, ответила девушка.

Толпа вдруг раздалась, и в образовавшемся широком проходе появились еще какие-то люди. Это были юноши с палками в руках, в широких спортивных штанах и сорочках с расстегнутыми воротами. Они шли, не торопясь, громко, вызывающе переговариваясь. Прижимаясь спиной к стене, еврей исчез за поворотом. Федотыч посмотрел на Артемьева. Расширенными, помутившимися

глазами тот смотрел на молодых людей. Губы и руки Артемьева дрожали. Не говоря ни слова, Федотыч дал задний ход машине и повернул на площадь Пилсудского.

## VI

Третий день Артемьев и Березин жили в маленькой, скромной гостинице, вблизи площади Бокка делла Верита. Третий день Артемьев просыпался с чувством молодости и радости, полного и безграничного счастья, не омраченного ни одной грустной мыслью. Ночью, устав от прогулок и ненасытного любования городом, он засыпал почти мгновенно на широкой, нескладной железной кровати. И засыпал с чувством благодарности своему спутнику.

Даже в выборе места, где они жили, проявилась редкая способность этого человека отбрасывать мелкое, преходящее и незначительное и жить в самом главном. Он помогал художнику в деле, которое, чуть пронизывая над упрощением, называл «овладением новыми высотами в искусстве». Он смотрел на это дело серьезно, как на «нагрузку» в хорошем смысле слова, и бродил с Артемьевым по Риму, с увлечением и страстью, не теряя, однако, своей обычной рассудительности. Так они жили в маленькой, двухэтажной гостинице «fuori le mura», за городской стеной, среди садов, развалин и гробниц, вблизи мутнорыжих вод Тибра. Ранним утром Артемьева будил тонкий, горячий, проникающий в щель ставней луч. Он опускал ноги на прохладный мраморный пол и более сильным, чем нужно, движением распахивал двери. Тотчас, как в театре, перед ним открывались кирпичная баллюстрада, дикие розы, оплетающие столбы, лавр и цветущий миндаль.

Быстрые шаги и посвистывание Ивана Даниловича уже раздавались рядом. Он появлялся в костюме из серой фланели, в расстегнутой сорочке и в туфлях-сандалиях, только-что выбритый, свежий и неутомимый.

— Будете ругать меня за то, что нет проточной воды? И за то, что кофе дрянной и кровать жесткая? Не буде-

те ругать? Удивительно. Я жил здесь в девятьсот девятом... Никаких перемен.

И Артемьев был благодарен судьбе за то, что этот простой, спокойный и милый человек помог ему узнать Рим, Рим, о котором писал Стендаль: «Нужно долго любить и узнавать Рим. Молодой человек, не знавший горя, не поймет этих чувств». Стендаль писал еще о чувстве печали, охватывающем человека в этом городе. Временами Артемьеву казалось, что чувство печали подступает к нему, что его охватывает расслабляющая, сладостная тоска об ушедшей молодости.

— Что это вас понесло ночью на виа Аппиа — гробницы и пустырь при луне? — мимоходом говорил Иван Данилович. — Мировая скорбь? — И тут же он менял тон, чтобы не осталось у собеседника впечатления бодрчества и того упрощения чувств, которые часто подмечал у самоуверенных людей Артемьев.

История трех тысячелетий была в эту минуту перед глазами наших путешественников. Каким-то сверхъестественным совпадением на этой рыночной площади, лоб в лоб, столкнулись четыре эпохи истории человечества — античный храм Римской республики, средневековая церковь, фонтан барокко и, наконец, макаронная фабрика, которую не забыл отметить в этом музее трех тысячелетий Березин.

Узнать Рим помог Артемьеву его спутник.

Он умел быть неназойливым и понимал, что Артемьеву есть, в конце концов, о чем думать. Он понимал, что этот приятный в обращении, вежливый и спокойный человек видел много горя и пришел к пятидесяти годам, усталый от удач и неудач.

Он мало говорил о прошлом. Мимоходом и всегда кстати Березин вспоминал о своей молодости в эмиграции, об отце, забайкальском казаке, о каких-то вагонетках, которые он катал на Путиловском заводе, о каторжном центральном, о кавдивизии и странствиях по рекам Китая. Артемьева радовало чувство такта, умение не навязывать своих мыслей собеседнику. Даже в голосе тишайшего

Сафронова Артемьев улавливал какие-то снисходительно-поучительные нотки, и это заставляло Артемьева настаивать. Удивляло то, что Иван Данилович ничего не забывал из их разговоров и один раз, во-время и к месту, напомнил Артемьеву случайно оброненные им слова: «Политика все же честнее искусства».

— Иными словами, вы говорите, что политика, вообще, не чистое дело? А искусство, в котором вы работаете, и того хуже? От вас зависит в конце-концов сделать это искусство честным и чистым. То-есть заставить его служить человечеству, а не тщеславию Петрова или Сидорова. Что же вы думаете, вас не поддержат государственные люди, партия, наконец ваши зрители, которые решают и более сложные вещи? Значит, во многом тут ваша вина...

Этот разговор происходил над миской дымящихся макарон, за стаканом дешевого «кианти», в остерии, рядом с гаражом, среди шоферов, газетчиков, метельщиков улиц, солдат фашистской милиции и тех субъектов в штатском, которые, по долгу своей мерзкой службы, вертелись вокруг наших собеседников. Надо сказать, что в конце-концов даже эти типы привыкли к тому, что два пожилых, прилично одетых русских приходили в часы завтрака в живописный, простонародный ресторанчик.

Артемьева поражали общительность и непринужденность его нового друга. Непринужденно он заговаривал с народом, и ему отвечали так же дружелюбно, непринужденно и просто. Впрочем, Березин как-то особенно любил итальянский народ, простодушный и благородный, внимательный к чужестранцам. «Веселый народ, и надо же, чтобы именно такой народ...» — тут он остановился и, не говоря ни слова, посмотрел в сторону горающего военные марши рупора радио.

Долго Артемьев не мог забыть эти прогулки по Риму. Это было не бесцельное блуждание туристов, не педантичное и бездушное изучение обломков и развалин в долине между Палатинским, Капитолийским и Квиринальским холмами.

В первый день приезда, когда они спустились в низину под Капитолием и Артемьев остановился в растерянности среди беспорядочно разбросанных обломков колонн и камней, обвитых плетшем, остатков стен, утонувших в кладбищенской зелени, он с радостью увидел, что Иван Данилович нисколько не терялся в лабиринте развалин на кладбище древностей, которое называется форумом.

Именно Иван Данилович Березин, забайкальский казак, человек, не окончивший даже народную школы, показал Артемьеву два Рима — Рим императорский и Рим республиканский. Он показывал Артемьеву, где был комициум — место народных собраний, курия — место заседаний сената, Грекостасис — посольский квартал в республиканском Риме, и табуларий — архив.

Артемьев говорил шутя, что Иван Данилович победил в нем отвращение к латинским древностям, которое он, Артемьев, приобрел много лет назад в классической гимназии.

Он не совсем понимал, откуда берутся знания этого человека. Указывая на арку Септимия Севера, памятник императорского Рима, Березин говорил о Риме республиканском, лежавшем глубоко под этой аркой. Постепенно перед Артемьевым восставал из праха похороненный под развалинами императорского Рима суровый и скрмный республиканский Рим с его строгими четырехугольными храмами, окруженными колоннадой, административными и торговыми зданиями строго делового значения. Этот кирпичный Рим противостоял Риму мраморному, алчному, властвующему, задыхающемуся от обжорства императорскому Риму.

Солнце высоко стояло над форумом. Была нестерпимая жара. Только два человека бродили среди раскаленных осколков мрамора на этом кладбище древностей. Английские старые девы — самые неугомонные туристы — отсиживались на террасах кафе, глотая мороженое и ледяной лимонад.

Артемьев и Иван Данилович остановились у арки Септимия Севера.

— Обратите внимание, — сказал Иван Данилович, — на уровень почвы, заметьте, как глубоко ушел в землю океанский Рим Цезарей, точно дело было не только в том, чтобы разбить и разрушить его, а надо было еще глубоко зарыть его в землю, чтобы изгладить самую память о нем. Интересно, что во времена Гете здесь было Кастро Васцино — коровье поле, и Гете даже не упомянул о форуме. Может быть, к лучшему, что земля покрыла форум, иначе он стал бы только каменоломней для папского, католического Рима.

Они бродили уже четыре часа, вспотевшие и задыхающиеся от жары и усталости. Переплет шекспировского тома в руках Артемьева прилипал к пальцам. В отдалении взвизгивали автомобильные рожки, и серебристый дирижабль плыл в воздухе над Капитолием.

Записная книжка Артемьева осталась нетронутой. Впрочем, там была одна запись:

«Катон предлагал вымостить острым булыжником форум, чтобы на нем не задерживались болтуны и бездельники. В императорском Риме над площадью натягивали гигантский холст, чтобы защитить от солнечных лучей этих болтунов и бездельников».

Следующий день они опять отдали форуму. Но сначала, не торопясь, прошлись по Корсо Виктора Эммануила. Артемьев не совсем понимал, зачем они пришли сюда. Вокруг был современный Рим — магазины, дома, тротуары, автомобили. Большое золотистое тело, блистающее никелем и эмалью, Изото-Фраскини, угрожающе зарычало на них. За зеркальным стеклом они увидели изможденного человека со впалыми, синими от бритья щеками. Черная кисть фашистской шапочки свисала на желтый лоб, черная рубашка оттеняла болезненную желтизну лица. Он глядел невидящими глазами в спину шофера, затем, с некоторой досадой, отклонился влево и посмотрел на переднюю машину, задержавшую его. И тут его крупные агатовые зрачки остановились на двух людях, переходящих через улицу. Агатовые зрачки остановились на лице Ивана Даниловича и выразили подобие вежливо-

го изумления. Рука в белой перчатке поднялась к седеющему виску. Иван Данилович, молча, приподнял шляпу. Золотистая машина сдвинулась и исчезла.

— Цезарь, — сказал Артемьев, — Цезарь, — и рассмеялся.

Иван Данилович назвал звучную и длинную фамилию и пояснил:

— Генерал. Вероятно, вы о нем читали, отличился в африканскую войну. — И, точно забыв о существовании этого человека, он продолжал: — Я обещал зайти за нашими москвичами. Это недалеко, за углом, в отеле «Титус». Вас не затруднит?

Отель был действительно совсем близко, и два москвича, заложив руки за спину, терпеливо стояли у входа в отель, поджидая Березина.

Они с силой пожали руку Артемьева. После смуглых южных лиц Артемьев с удовольствием поглядел на светлые, выгоревшие на солнце брови, на красноватый загар, на широкие их плечи и непринужденную повадку. Один был выше и потемнее, другой — совсем светлый блондин, низенький, но с атлетическим сложением, придававшим ему форуму почти куба.

— Как спали? — осведомился Березин.

— Знаменито, — басом сказал высокий.

Они шли с бодрым и деловым видом, стараясь не показать, что легли только на заре.

— Это наша знаменитость, — улыбаясь, сказал Березин, — наш советский «асс», летчик Бочаров. — Он указал пальцем на молодого, высокого и добавил: — А это авиаконструктор Степанов.

О Бочарове Артемьев, конечно, слышал. Впрочем, если бы это и не был знаменитый Бочаров, он был бы доволен этой встречей, и, в особенности, на чужбине. Два уверенных москвича, в мешковатых лондонских пиджаках, привели его в хорошее настроение. Ему нравилось, что эти люди так непринужденно и независимо шагают по тысячелетней земле Рима. Ему нравилось то, что оба они выглядели такими особенными, русскими в этом чужом и старинном городе.

Степанов был словоохотливый собеседник. Он рассказал, что они третий месяц в Европе, приехали сюда на авиационную выставку, отсюда едут в Геную и затем на пароходе «Жан Жорес» — домой.

Бочаров шел впереди с Березиным. Они говорили о телеграмме, напечатанной в утренней газете, о вызывающей речи главы фашистского правительства.

— Костя, — сказал Степанов, — ты потише, голос у тебя больно громкий.

Бочаров оглянулся и, весело блеснув глазами, заметил:

— Тут наш голубчик?

И, не поворачивая головы, продолжал:

— Таскаем за собой хвост. Весь мокрый, бедняга, и с утра не жравши. Мы жу ему на кофий решили собрать.

Артемьев понял, что они говорили о сычике, который шел позади.

— Поганая служба, — сказал Степанов и тут же замолчал, потому что Березин остановился и взял об руку Артемьева:

— Мы находимся на Корсо Виктора Эммануила. Приблизительно здесь находилось в древности Марсово поле. Поблизости отсюда, в портике Помпея, заседал сенат. Последний путь Цезаря лежал от Регины, где он жил в те дни, до портика Помпея. Но стоит ли вам изучать подробно местность, может быть, это вам ни к чему?

— Нет, нет, — поторопился сказать Артемьев. Его охватило волнение при мысли, что они как бы живут в идах марта, то-есть почти две тысячи лет назад. А вокруг бегают таксомоторы, и газетчики мелодичными голосами выкрикивают названия газет, и скрежещут электрические сверла в руках рабочих на стройке дома.

— Церковь Сен Андре делла Валле, святой Андрей в долине. Именно здесь был портик Помпея, где заседал сенат.

Опустив глаза, Артемьев смотрел на мостовую, сложенную из больших, гладких, стертых плит. Под этой каменной броней была почва Рима, римская земля, одна она не изменилась за две тысячи лет, и вот Артемьев стоит на ней. Горячая волна пробежала к вискам, и он глубоко вздохнул.

Потом оглянулся на Бочарова и Степанова. К его удивлению, Бочаров не сводил глаз с обломков и развалин. Степанов даже достал очки, чтобы яснее оглядеть окружающее.

Затем они сели в таксомотор и поехали по направлению к Колизею и форуму.

— Завидую, — сказал Бочаров, — завидую тебе, Иван Данилович: ты в полном смысле культурный человек, прямо профессор. Про себя скажу, что пока я еще на низкой ступени. Признаю с большевистской прямоотой. Вот Федя Степанов, — тот куда выше. Древнюю историю я, однако, читал — как-раз были с Натой в Сочи — и кое-что знаю..

— Сколько вам лет? — спросил Артемьев.

— Тридцать восемь.

Артемьев удивился его молодости и даже вздохнул.

— Я это к тому говорю, — продолжал Бочаров, — что ты, Иван Данилович, для нас пример. Свой же, одну кашу ели, а смотрите — почти профессор.

Тут Артемьев подумал об отношениях между этими тремя людьми. Он не уловил в этих отношениях тени фамильярности или, наоборот, заискивания ниже стоящего перед высшим. Это касалось не только отношений Березина и Бочарова, — как-никак Бочаров был известный в стране летчик и заслуживал особого внимания советского посла. Но оба они с какой-то подкупающей простотой относились к еще ничем не проявившему себя молодому авиаконструктору. Пока они ехали, разговор снова зашел об утренних известиях и вызывающей речи фашиста. Все сошлись на том, что в этой речи был откровенный призыв к войне и нападению на Советскую страну.

— Я дипломат, — сказал Березин, — и делаю все, чтобы сохранить мир, но напрасно вы думаете, что я штатский человек. Нечего говорить о том, что я прошел славную школу гражданской войны и, если придется драться, буду драться, как под Царицыном.

Тут оживился Степанов:

— Энгельс считает стратегию Наполеона совершенством именно в строго

оборонительных кампаниях. Когда Франция подверглась нашествию, в 1814-м и 15-м году, Наполеон атаковал своих противников, как говорится у Энгельса, во всех пунктах и при всяком удобном случае и «всегда побеждал в данном пункте атаки». Что же из этого следует? Из этого следует, что обороняющийся должен нападать и атаковать, и это лучший метод обороны.

— Наполеон был побежден, — добавил Иван Данилович, — потому что он исчерпал резервы и, главное, подавил революционный дух французского народа.

— Верно говорит Федя, — неожиданно вмешался Бочаров, — Климентий Ефремович говорил в Киеве, на маневрах, я сам слышал: бить врага на той территории, откуда он пришел.

Разговор оборвался, потому что таксомотор остановился у Коллизея. Сначала Бочаров и Степанов молча глядели на почерневший от времени каменный полукруг, громаду, сложенную из древних тесаных глыб. Можно было угадать в их глазах уважение к человеческому труду, человеческой воле, создавшим эту громаду.

— Ну как? — спросил Артемьев.

— А мы еще вчера ночью сюда ездили. Сооружение, я вам скажу.

— Работа, — подтвердил Бочаров, — я все думаю, как они без кранов, без лебедок громоздили такую махину. Вчера часа два ходил кругом и все прикидывал.

— А вы говорите: «знаменито спали», — Березин лукаво усмехнулся.

По правде говоря, Артемьев испытал некоторое неудовольствие в ту минуту, когда Березин предложил ему зайти за «двумя москвичами». Он предпочитал бродить по форуму вдвоем с Березиным, — так, ему казалось, легче «настроиться», «сделаться чувствительным к материалу». Присутствие незнакомых людей могло ему помешать. Но сейчас он не ощущал этого присутствия. Бочаров и Степанов глядели и слушали с жадным, именно жадным, вниманием.

Между кирпичным и мраморным форумом, у храма Фаустины, они увидели развалины небольшого кирпичного дома,

даже не развалины, а скорее каменный фундамент, образующий трапецию. Это была Регия. Здесь жил верховный жрец. Вероятно, это был скромный одноэтажный дом.

— Толстые стены, — задумчиво сказал Иван Данилович, — здесь было приятно в жаркие дни...

Артемьев увидел, что Бочаров неторопливо записывает в книжечку названия памятников и даты. Не сдержав любопытства, он спросил у него, зачем он записывает.

— Отчитываться придется. Как приеду, предложат сделать доклад, на память не надеюсь. И Наташе придется порассказать.

Степанов молча слушал, не сводя глаз с Березина.

Они еще долго рассуждали о столкновении двух эпох, о том, как перед театрами, портиками, термами императоров отступали и разрушались в прах скромные темные кубы республиканских зданий, как исчез комициум, площадь для народных собраний, и, вытесненный из форума, народ только издали, как зритель, мог любоваться нагромождением статуй, колонн и обелисков форума императоров. Потом пришла катастрофа, и через две тысячи лет развалины императорского Рима сделались надгробной плитой Рима республиканского. И можно только догадываться о том, каким был город Катона и братьев Гракхов...

— Следовательно, великий Рим был Римом кирпичным. Смерть Цезаря — граница между старым и новым Римом, — произнес Артемьев.

Он как будто почувствовал облегчение. Он расставался с навязчивым, лживым представлением о внешности древнего Рима. Нет декоративной пышности, «праздника для глаз», есть суровый, бедный и сильный республиканский Рим, Рим братьев Гракхов.

К часу дня, когда жара сделалась невыносимой, все четверо отправились завтракать в маленький ресторан, рядом с гаражом. Они с удовольствием ели макаронны «спагетти», пили горьковатое, легкое вино из круглых, оплетенных соломой бутылок, пили вдоволь и вдоволь смеялись. В ресторане было прохладно

и пустынно. Глиняные плитки пола были обильно политы водой. За дверями, в солнечном блеске, лежала улица, гудели автомобильные рожки, шуршали шаги прохожих. Это было одно из тех чудесных мгновений, которые навсегда остаются в памяти пожилых людей. Весенний, знойный день, застольная товарищеская беседа, смех, прекрасное ощущение собственной силы и товарищества не могло даже омрачить присутствие назойливого человека в пестром галстуке и коротеньком пиджаке, сыщика, который прислушивался к беседе четырех русских.

Как радостно было потом вспоминать эти полуденные часы! Артемьев вспоминал этот день в Риме и думал о том, что именно сблизило четырех людей — большевика-дипломата, большевиков — летчика и конструктора — и артиста. Что именно сблизило его, пожилого человека старой культуры, с этими его новыми друзьями? Чувство родины, — наконец решил он, — радостное и гордое чувство, объединяющее четырех людей из Советской страны на чужой земле.

Весь этот день, полный мыслей, больших и малых открытий художника, показался слишком коротким Артемьеву. Когда он очутился в своей, выделенной известью, скромной комнате, он успел только записать в своей книжке: «Очарование форума — незаконченность, поэзия обломков (колоннада Сатурна). Впечатление незавершенных, чудесных декоративных этюдов. Что может случиться, если это завершить и закончить?».

Он попробовал привести в стройный порядок свои мысли, но не смог. Попробовал объяснить эту неудачу усталостью, но устыдился и записал: «Рим кирпичный и Рим мраморный. Странно, все здесь внутри, но выразить не могу». Только тогда он уснул спокойно.

В разговорах о древностях и прогулках по Риму Артемьев сначала как-то забывал о том, что его окружало. Правда, он давно почувствовал перемену, которая произошла в знакомой ему стране. Двадцать два года назад он воспринимал перья берсальеров и треуголки карабинеров как оригинальную де-

таль, как национальные костюмы у танцующих тарантеллу неаполитанок. Даже черные сутаны монахов среди сияющих фонтанов и лестниц он воспринимал как резкую, подчеркивающую контраст, тень. Танцующий шаг марширующих берсальеров, средневековые колеты папской стражи в Ватикане для него были одним и тем же театральным эффектом, невинным и наивным. Но теперь, через двадцать два года, он уже не ощущал в Риме прежней беззаботности и протостудушной любви к военному блеску.

Он не мог избавиться от гнетущего чувства тревоги и беспокойства, — так для него изменился Рим. И это не было следствием бесед с Иваном Даниловичем. Он ценил в своем спутнике способность не навязывать своих взглядов. Однако это не означало, что Березин скрывал свое отношение к окружающему. В усмешку или в неопределенное восклицание, или в значительное «м-да» он вкладывал многое такое, что сразу определяло его чувство. Но ни разу от него не слышал Артемьев напыщенной, громкой и мнимо-революционной фразы или неумной насмешки над врагом.

Они жили в Европе в трудное и жестокое время. Рим давно изменил свое лицо. Фашистская военщина заполняла улицы и площади, пассажи и театры.

Те, у кого не было военных медалей, носили в петлице значок — ликторский топор и связку прутьев. Самая внешность лица и прически изменились. Стало модным подчеркивать грубость, люди оттопыривали губы, морщили лбы, угрожающе сверкали белками глаз, — все для того, чтобы походить на древние мраморные статуи патрициев и всадников. Они театрально приветствовали друг друга поднятием руки, придавали мелодичной итальянской речи несвойственную ей грубость, чтобы тембром своим она напоминала латынь, и говорили хриплыми, как бы привычными к команде голосами. Победа в колониальной войне, одержанная над бедным, безоружным пастушеским народом, придавала им дерзость и самоуверенность. Стало модой с загадочной усмешкой говорить о Карфагене, о том, что Карфаген должен быть разрушен, — этим на-

мекали на одну морскую колониальную державу.

Африканские «победы» гипнотизировали глупцов, они старались не видеть нищеты и разорения своей страны, их ослепляло то, что в потрясенной мировой войной, кризисом и социальными бурями Европе Италия вела политику «мировой державы».

Так, из своей могилы, обратившийся в страх, ушедший глубоко в землю императорский Рим повелевал ничтожным и жалким Римом наших дней и толкал Италию в ту могилу, куда рухнул он сам.

Суровое время было в Европе. На севере опять возникла «гадкая, запачканная и закопченная табачищем Германия» (какой ее видел Гоголь). Артемьев старался не думать о Германии, но не потому, что страшился звериной, оскаленной морды врага. У него были старые дружеские связи в Южной Германии, он не забывал мейнингенцев и Рейнгарда, сделавших много для искусства, наконец, он трепетал перед именами великих музыкантов и дирижеров.

Гадкая, запачканная, закопченная табачищем, затоптанная солдатскими сапогами Германия! Он отодвигал от себя прочитанные газеты и думал о судьбе Франции, потерявшей миллионы людей на полях битвы, об Англии, двойственность которой может приблизить несчастье, о Балканах, которые были для него загадкой, о мучениках и героях испанской свободы, о парижских блузниках и русских шахтерах.

Страшная сцена на улице Варшавы, тюремный автомобиль у фабричного здания, вблизи площади Бокка делла Верита...

И в этом котле страстей, в путанице противоречий должен был разбираться, все понимать, предвидеть и все постигать простой на вид, спокойный человек. Именно этот человек должен представить великую, рожденную Октябрьской революцией страну, разноязычные народы этой страны, и стоять лицом к лицу с хитроумнейшими, хладнокровно-бесстыдными политиками дру-

гого мира. Как это трудно, как это сложно...

Ничем не выдавал своих забот и раздумья человек, с которым он не расставался шесть дней, но Артемьев все же понимал, что ему предстоит трудное испытание. Иван Данилович готовился к отъезду в одну из балканских стран, где впервые будет развеяться флаг страны, возникшей на развалинах прежней царской империи. Он готовился к отъезду в страну, только-что восстановившую дипломатические сношения с Союзом Советских Республик. Вокруг трона монарха этой страны происходила бесстыдная борьба за власть, временщики старались впутать в гвардейские интриги послов иностранных держав, и были такие послы, которые поддерживали того или иного временщика для того, чтобы влиять на внешнюю политику государства Святого Града.

И, наконец, нельзя было забыть о том, что враги Советской страны, самые жестокие и подлые слуги романовской России, нашли убежище именно в той стране, куда отправлялся в качестве советского посла Иван Данилович Березин.

Однако не они были опасны. Это был только взрывчатый материал, который мог использовать другой, более сильный враг.

Утром, еще в постели, Иван Данилович писал, положив блокнот на колени:

«Не могу сказать, как ты обрадовала меня. Человек моих лет редко мечтает о такой радости. Правду сказать, я и не мечтал об этом. Мудрая природа подумала, оказывается, обо мне, когда я уже бесповоротно решил, что мною и кончится казацкий род Березиных. Понимаю твою тревогу — как будет с твоим учением и сколько будет непривычных хлопот. Ничего, учись мужеству у твоей мамы, которая родила тебя в чистом поле на сенокосе. Не знаю, доживу ли до тех дней, когда смогу потолковать с сыном (или дочкой), как товарищ с товарищем. Крепко надеюсь на это. Пока держи носик кверху, будущая мать. Чуть не написал «ура».

Ты просишь писать тебе, как я живу. Живу я еще в Риме, накануне отъезда в Святой Град, где готовится мне неважная встреча. Наши бывшие соотечественники жужжат, как шершни, по поводу моего приезда, исходят пеной по поводу того, что на царском старом посольстве поднимают наш красивый с серпом и молотом флаг. Цеханович был там, уже успел приехать и сделать мне доклад. Федот Нетотыч тоже там. Купил духовое ружье и упражняется в стрельбе. Я пока отдыхаю перед большой работой и подружился с хорошим и знаменитым человеком, нашим артистом Артемьевым (мы его видели еще недавно в «Иванове»). Славный человек, но до утомления вежлив. И часто грустит. Всего, кажется, сверх меры дано человеку, а грустит. Личная жизнь? Вряд ли. Человек, видишь ли, сделал уже в своей жизни что-то большое, и вдруг на него напал страх, и он страшится новой работы. И все, что он делает, кажется ему мелким и недостойным. Это огромное напряжение в работе, которая раньше, когда человек не чувствовал себя настолько ответственным, давалась ему легко. И вот ему кажется, что он себя исчерпал.

Ну, вот доклад о моей римской жизни. Люблю я тебя крепко и по-товарищески, по-человечески, по-мужски страдаю, что тебя со мной нет. Учись хорошо, и осенью, до великого события, я жду тебя к себе, и будешь ты, недолго, правда, светской дамой в дипкорпусе. Все надо в жизни уметь... Пора мне вставать, потому на этом кончу. Пиши мне чаще, с оказией, конечно. Ну, крепко целую...».

На седьмой день жизни в Риме Иван Данилович сказал Артемьеву, что вечер до полуночи у него занят. Он посоветовал Артемьеву побывать в театре: «Если скучно, я дам вам одного товарища из моего штата, он приехал ко мне по делам. Хотя он вас замучает разговорами. Походите один, — воображаю, как я вам надоел».

И он оставил Артемьева в одиночестве.

Из Москвы пришли письма. Туманное письмо режиссера, в котором были

и «данности», и «ткань действия», и «разрешение в насыщенно-эмоциональном плане», и большая цитата из Энгельса. И, наконец, настойчивый вопрос: что же будет ставить Артемьев?

Еще одно письмо из Москвы заинтересовало Артемьева — письмо, подписанное чудной фамилией Гвоздик. В этом письме не было никаких скрытых или явных комплиментов, ни того, что называется метким нашим словечком «подхалимаж». В. Гвоздик писал, что Сафронов передал ему согласие Артемьева заняться с ним, с Гвоздиком. В пяти строчках этого письма Артемьев уловил чувство собственного достоинства. Теперь он ясно вспомнил своего будущего ученика и особенно голос его — волнующий, глубокий тембр. Хорошие, спокойные движения и злой взгляд. Все это запомнилось как-то мимоходом, — привычная, постоянная работа мысли, отмечавшей в памяти все, что относилось к делу, ради которого жил Артемьев. Ему вспомнились вопрос Ивана Даниловича об учениках, письмо Гвоздика о маркизе Позе, и Артемьев отправил в театр телеграмму: «Просьба внимательно читать Юлия Цезаря».

Телеграмма была адресована никому не известному ученику театральной школы Гвоздику и произвела в театре сенсацию.

## VII

Вечером произошло важное событие в жизни Артемьева. Именно в этот вечер в Риме играла труппа известной итальянской актрисы Марии Арди, выступавшей едва ли не в сотый раз перед римской публикой в «Даме с камелиями». Артемьев послал за билетом на этот спектакль, в восемь часов вечера приехал в театр и бродил по театральному фойе среди необычной для него, незнакомой ему публики. Ему было странно, что он не знает никого в этом театре и никто не знает его в привычной для него обстановке театрального здания. Ему нравился старенький театр с запыленным малиновым бархатом

лож, потускневшим золотом плафона, тусклыми бронзовыми люстрами и не выветрившимся запахом румян, пудры и плесени. Он воспринимал все это как картинку прошлого века, картинку восьмидесятых годов, которые он знал по воспоминаниям старых актеров. Два карабинера у входа в партер, какие-то старенькие господа в сюртуках и шумные южные семьи в ложах, коробки шоколада на барьере, влюбленные, занятые собой парочки в райке. Публики было немного; его несколько смущало то обстоятельство, что посыльный взял ему билет во втором ряду. Он полагал, что его будет видно актерам со сцены. Это не устраивало Артемьева потому, что актриса Мария Арди, игравшая Маргариту Готье, была русской актрисой и женой Артемьева в прошлом.

Он давно выработал в себе привычку не замечать на сцене того, что было плохо и могло раздражать строгого судью и мастера. Так, он не заметил всю первую сцену барона Варвиля и Нишетты и все остальное, вплоть до появления Маргариты.

С момента же ее выхода он потерял ощущение времени и места, где происходил спектакль. Театральный зал и публика для него перестали существовать, он видел только женщину, с которой был близок десять лет, женщину, которую он знал лучше, чем себя, у которой умел читать самые сокровенные ее мысли.

И в ненависти, и в любви к этой женщине он умел, однако, быть справедливым. Он не отказывал ей в известной доле таланта. Не всегда она была дурной и ничтожной, иногда эта женщина была добра и сентиментальна, она огорчалась, плакала у постели больного товарища, она могла выручить из беды подругу, и, наконец, она мучительно любила Артемьева и в театре не предавала его завистникам и врагам. Но она устраивала ему сцены ревности, она агала, подслушивала, вскрывала чужие письма, доходила до виртуозности в театральных сплетнях, клеветала на своих соперниц, запутывала окружающих в самые грязные интриги. Невозможно было понять, чем эта, иногда некраси-

вая, женщина привлекала людей, каким образом среди ее близких оказывались то такой человек, как Артемьев, то спекулянт с кабаньей мордой, то молоденький морской офицер, то кокаинист и шулер — театральный репортер из бульварной газеты.

Одно в ней ценил Артемьев — добросовестность в работе и работоспособность. После страшных ссор, после сцен, о которых с отвращением вспоминал Артемьев, она вдруг менялась, какое-то просветление находило на нее, и она убегала в театр, на репетицию. Из темноты зрительного зала Артемьев следил за ней. Он видел: все то, чему он учил ее, было для нее ненарушимым и непреложным, что, издеваясь над ним, мучая, оскорбляя его в жизни, она считала его единственным мастером и судьей в искусстве.

И теперь, в театральном зале в Риме, спустя много лет после разрыва, он следил за ее игрой и видел, что в ее игре нет ни одного нового жеста, ни одной новой интонации, все было так, как ее учил и показывал ей когда-то Артемьев. Она играла на чужом языке, способность перенимать и передразнивать помогла ей научиться играть по-итальянски так, что ни один итальянец не подумал бы, что она не говорила на этом языке с детства. И это дало ей возможность получить известность в чужой стране.

Все это понимал Артемьев и глядел на сцену со смешанным чувством удивления и равнодушия. Он не ощущал ни малейшего удовлетворения от того, что она жила теми приемами и тем искусством, которые он дал ей пятнадцать лет назад. Наоборот, сейчас это вызывало в нем презрение к этой женщине. Как, — думал он, — и это все?.. И это все, что она могла показать после стольких лет? Ничего своего, ничего нового. Все же он чувствовал к ней уважение как к человеку своей профессии. Однажды, после дикой сцены в ее уборной, в гастрольной поездке, в дверь постучали, ее звали на сцену. Она вырвалась из его рук, поправила волосы и сказала: «Пустите, надо играть спектакль». Это чувство профессии, понимание своего назначения в жизни, трогало его. Можно

сказать — он отдавал ей должное как художнику.

Сейчас он глядел сцену об'яснения с Жоржем Дюваль и ее уход. «О, чорт, — чуть не вскрикнул Артемьев, — да сделай же ты что-нибудь свое! И даже цветы, цветы». Он вспомнил, как он ей показывал сцену с цветами перед уходом. Но ведь раньше она же вносила что-то свое, раньше она была искреннее и вдохновеннее. Годы? Да, годы.

В антрактах он торопился уходить в фойе: он не хотел быть замеченным. В сущности, он мог уйти после сцены в игорном доме, ничего нового он не ожидал от сцены смерти, но здесь произошло то, чего он боялся.

До поднятия занавеса капельдинер подошел и молча подал ему карточку. Артемьев прочел: «Неужели ты уйдешь, не повидавшись?».

Холод прошел по рукам и телу Артемьева. Если он не пойдет, она скажет: «из трусости». Надо идти. Но, может быть, это «трус» — просто оправдание тайного желания увидеть ее? Он уже не смотрел на сцену и плохо понимал, что там происходит. Вдруг он подумал об Иване Даниловиче и сам удивился, почему, в эту минуту, он думает именно о нем. Судья его поступков? Все-таки, что сказал бы Иван Данилович? И он представил себе быстрый взгляд исподлобья: «А что ж, если вам интересно — идите».

Когда упал занавес (традиционный занавес с нарисованными на нем портьерами и золотыми шнурами), он встал и попросил капельдинера проводить его за кулисы. В его ушах еще раздавался не слишком громкий гул рукоплесканий. Он вошел в заставленную шкапами и сундуками уборную, оглянулся, не сразу нашел еще одну дверь, завешенную драпировкой, и переступил порог.

— Здравствуй, — сказал он, как мог, спокойно, — ну, здравствуй, Маша.

Она не ответила, она смотрела на него молча, держа руки у горла. На ней был еще театральный костюм Маргариты Готье из последнего акта. Вдруг она заплакала и сказала: «И ты мог уйти, не сказав мне «здравствуй».

Ему стало неприятно от искусственного тона, но слезы ему показались искренними. Она легко плакала, но легко успокаивалась, и сразу высыхали глаза, точно она и не плакала. Так было и теперь.

Артемьев сел, она молчала; он видел, что это было неподдельное волнение.

— Я очень постарела? — спросила она.

Артемьеву стало легче, и он засмеялся. Он мог бы сказать ей «да», но вежливость помешала ему сделать это.

— Ты стал знаменитостью, так же, как я... Ничего, я сниму грим? — Она отвернулась к зеркалу. — Меня еще помнят в Москве?

Он опять промолчал из вежливости.

— В наших газетах я читала — ты ставишь для себя Шекспира, кажется, «Цезаря». — Она чуть подчеркнула «наших». — Что же молчишь? — Она отняла руки от похудевшего и блестящего под гримом лица. — Почему ты смеешься?

— «Для себя», — повторил Артемьев и спросил: — Ты очень счастлива?

Она тряхнула головой и сказала:

— Не так, как с тобой.

И он опять рассмеялся, потому что вспомнил их страшную жизнь.

— Нет, серьезно, и ты постарел, — сказала она вскользь.

В дверь слабо постучали.

— Prego! — крикнула она. Вошел лысый человечек с острокопечной бородкой и моноклем. Он посмотрел на Артемьева, отступил назад и кивнул головой. Она смутилась.

— Илларион, — сказала она по-русски, — мы тут вспоминаем старое. Вы, конечно, знакомы?

Лысый человечек наклонил голову и сел в стороне.

— Бросьте эти глупости, — вдруг закричала она. — Я итальянка, и чорт с ней, с вашей политикой. Поздоровайтесь.

— Мари, — страдальческим голосом сказал человечек. — Вы знаете, как мне тяжело.

— Тогда уходите, — закричала она, и человечек, церемонно кивнув Артемьеву, вышел.

— Кто этот дурак? — спросил Артемьев, но тут же вспомнил этого человека. Он был театральным критиком в большой, основанной биржевыми жуликами, газете, и однажды молоденькая актриса ударила его по лицу в театре, на глазах у публики, в антракте.

— Почему ему тяжело? — спросил Артемьев.

— Он знает, кто ты для меня, и потому он человек от туда. У него есть принципы.

Это показалось Артемьеву очень смешным. Он посмеялся, несмотря на то, что был рассержен.

— У него? Принципы?

— Я итальянка, — сказала она, — и мне все равно.

Он посидел еще пять минут, — пришел красивый, молодой актер, он играл Армана Дюваль, поклонился, и, по тому, как он посмотрел на Артемьева, было видно, что он знает все о нем и Марии Арди и что он здесь хозяин.

— Мой импрессарио хотел тебя видеть, он слышал о тебе от нашего посла.

Она не спросила его о том, понравилось ли ему, как она играла: она попрежнему была уверена в себе. Внесли корзину с цветами, ее подали на сцену в конце пьесы. Атмосфера старого театра, похоронный запах цветов и затхлый запах старых декораций, шопот, шорохи, закулисная мышь вонзая вдруг охватили его, он почувствовал странное оцепенение.

Но тут же стряхнул с себя это оцепенение. Он вспомнил кулисы его родного театра, в Москве, горячие споры, молодые голоса, молодость, жизнь, борьбу, и его потянуло домой. «Да ведь это склеп, — подумал он, — надо скорее к живым людям, где солнце, зелень и свет».

Между тем она сняла парик, грим и очень быстро и ловко загримировалась для жизни. Однако он успел увидеть поблекшую, высохшую кожу, желтую шею и сухие, перегоревшие от краски волосы.

— Я пойду, — сказал он.

— Жаль, я хотела тебя повидать. Может быть, ты зайдешь? Я в «Маже-

стике». Мы будем в Риме еще четыре спектакля. Я хочу, чтобы ты посмотрел меня в «Норе». Помнишь, мы играли?..

Она торопилась, она хотела успеть сказать ему все, прежде чем он уйдет навсегда.

— Здесь у меня нет постоянного театра, мы все время ездим. Мой импрессарио — Рест, импрессарио Шаляпина, у нас контракт на два года, но труппу я возьму другую. Они очень плохи, правда, кроме Джузеппе Танти, Армана, он великолепен, не правда ли?

Артемьев встал.

— Может быть, мы поужинаем хоть сегодня?

— Никак нельзя. Я назначил встречу другу в кафе.

— Жаль. Ну, прощай.

Она смотрела на него с грустью и показалась ему жалкой.

— Прощай.

Он вышел, наклонившись, чтобы не задеть головой драпировки.

«Так вот все то, что я любил...».

Иван Данилович пришел в кафе на пять минут раньше срока. Он читал вечернюю газету и отложил ее, как только пришел Артемьев.

— Знаете, я видел ее в «Даме с камелиями».

— Я так и думал, — спокойно сказал Иван Данилович. — Ну?..

— Это было бы не так плохо... для того времени.

— Вы говорили с ней?

— Да.

Иван Данилович поглядел на Артемьева, тот молча смотрел на кончик своей трости. Тогда Березин, тоже молча, передал ему конверт. Это был приглашенный билет. Артемьева звали на прием в полномочное представительство.

Артемьев спрятал билет в бумажник.

— Что же, пройдемся по Корсо?

— Нет, — сказал Артемьев, — мне трудно.

Иван Данилович наклонился и вдруг протянул ему через стол руку и улыбнулся своей обычной, ослепительной и все проясняющей улыбкой.

## VIII

Удивительно было, что Артемьев, опытный и блестящий актер, любимец зрителей, так свободно и уверенно державшийся на сцене, в жизни был застенчивым и стесняющимся человеком. Он не раз ловил себя на мысли, что, входя в собрание людей, чувствует себя хуже, чем в момент выхода на сцену, что ему приходится совершать некоторое усилие над собой, чтобы не потеряться. Так он досадовал на себя в ту минуту, когда поднимался по парадной лестнице старого дома, щурился от сверкания хрустальных люстр, золоченых рам, блеска мраморных стен. Ему стало легче, когда он заставил себя думать, что он на сцене.

Это было легко потому, что он двигался среди толпы дам в мехах и шляпах, мужчин в мундирах, лентах и орденах. Смущаясь, он выслушал приветствие хозяина и осторожно пробрался вдоль стен, стараясь не терять из виду Ивана Даниловича. Но Березина тут же остановила восклицаниями преувеличенной радости двое каких-то людей, и Артемьев был предоставлен самому себе.

Гул голосов наполнял высокий, увеличенный зеркалами зал, чей-то серебряный эполет заслонил общий план. Артемьев выпрямился и с высоты своего роста увидел множество черноволосых, седых и лысых голов.

— ... как опять траур?..

— ... не может выиграть у Боротра!

— ... Майорка — остров любви...

— ... у мексиканца — грипп.

— ... все еще увлекается бриджем.

В нестройном гуле голосов эти обрывки фраз показались Артемьеву лишены смысла. Может быть, это происходило от смешения языков. Ему почудилось, что люди повторяют бессмысленные фразы, как бы для практики в языке. Вдруг среди этих обрывков чужой речи он услышал свое имя и отчество. Обернувшись, он увидел незнакомого, улыбающегося ему человека.

— Иван Данилович просил вас найти. Я — Цеханович, разрешите не оставлять вас, чтобы вы не очень скучили.

Фраза, которую произнес этот человек, тоже показалась Артемьеву упражнением для перевода на какой-то другой язык. Человек улыбался, но глаза его оставались грустными.

— Разрешите быть вашим гидом, или чичероне, как говорят в Италии. Вот, например, человек, который уже дважды был премьером. Он чрезвычайный посол и назначен сюда. Не знаю — ступенька ли это для нового прыжка или ступенька в небытие. Герцогиня Д\*\*\*, у нее репутация самой неумной женщины на континенте. Вот скульптор, который делал монумент генералу\*\*\*. Ему, как известно, ставят монументы при жизни...

Цеханович говорил очень отчетливо и быстро, совершенно не глядя на Артемьева, и тот молча слушал его. Голос у Цехановича был какой-то деревянный: звуки, производимые его голосом, напоминали щелканье орехов.

— Вам не скучно? — одним тоном, не останавливаясь, продолжал Цеханович. — Конечно, Иван Данилович рассказал бы это колоритнее, не правда ли? — Розовые, пухлые губы Цехановича улыбались, но в глазах были грусть и какой-то алчный блеск.

«Честолюбец» — подумал Артемьев.

— Я два дня как из Святого Града. Там с нетерпением ждут Ивана Даниловича... Первый советский посол... Иван Данилович с его темпераментом — это точно камень в стоячую воду.

Артемьеву показалось что-то не совсем ясным в словах: «с его темпераментом».

— Я слышал, что вы с головой ушли в древности. Меня немного поражают люди, преданные только древним... Тацит, Тит Ливий, весь этот благородный педантизм, как сказал кто-то... Разве средневековые, ренессанс или барокко менее достойны внимания? Бернини, Браманте, Виньола, Борромини — зодчие, наконец, мастера кисти Рафаэль, Боттичелли и Микель Анджело. Я слишком подвижен и непоседлив, чтобы любить древний Рим... В живописи не Рафаэль (не правда ли?), он сладок для нас с вами, но Микель Анджело Буонаротти

с его взлетом... одну минуту, — и, кивнув головой, Цеханович отошел в сторону и заговорил с человеком, который дважды был министром. Артемьев снова услышал его деревянный, не заглушаемый общим шумом голос, — теперь он говорил об английском серебре, хранившемся в Эрмитаже.

«В конце-концов, может быть, так и нужно, — подумал Артемьев; он вспомнил тревожные сообщения утренних газет. Центральная держава нарушила условия договора, подписанного пятью странами, и глава правительства океанской страны сказал, что, хотя он не теряет своего обычного оптимизма, но никогда еще катастрофа не казалась ему настолько близкой. Вокруг никто не говорил о том, что было в утренних газетах. Поэтому Артемьева несколько обидел разговор с Цехановичем. Цеханович был соотечественник, товарищ по работе Ивана Даниловича, советский работник и, видимо, партизнец, и он говорил с Артемьевым на том «птичьем», бесплотном языке, который слышал вокруг себя Артемьев. «Пусть так, — думал он, — здесь не место для серьезного разговора» (хотя Иван Данилович никогда не бежал от серьезной беседы), и опять ему показалось, что Цеханович говорил с ним так потому, что он, Артемьев, — актер и, следовательно, неполноценный собеседник.

Артемьев собрался уходить — любопытство, которое вызвало в нем собрание множества невиданных людей, прошло. Он медленно пробирался к выходу и в последний раз оглядел зал, чтобы увидеть Ивана Даниловича. Он нашел его в глубине зала, в оконной нише, там, где было сравнительно немного народу. Наклонившись, чтобы не заставлять собеседника закидывать голову, Березин слушал худого, со впалой грудью и лентой через плечо, военного. Что-то знакомое почудилось Артемьеву в синеве бритых щек и желтом, восковом лице, в седине плотно прижатых к вискам волос. Тут же он вспомнил Корсо Виктора Эммануила, длинное, сияющее тело автомобиля, и этот человек за стеклом, точно в стеклянной, выложенной замшей коробке.

Это был тот самый генерал, которому при жизни ставили памятники. Поглядев в его сторону, Артемьев двинулся к выходу, но тут опять перед ним возник Цеханович. Он взял Артемьева об руку и со значительным лицом, выражающим испуг и изумление, сказал:

— Еле вас нашел. Иван Данилович просит вас подойти.

Он проводил Артемьева в зал и с видимым удовлетворением скрылся. Иван Данилович и генерал авиации все еще стояли на прежнем месте в оконной нише. На известном расстоянии от них стояли любопытные, — они делали вид, что случайно здесь очутились.

— Генерал понимает по-русски, он хотел бы познакомиться с вами. Разрешите считать знакомство состоявшимся.

Движением ресниц генерал как бы подтвердил эти слова.

— Я просил, — сказал генерал носовым голосом, точно у него в небе была металлическая пластинка (так оно и было), — я просил господина посла помочь нашему знакомству.

Он говорил, запинаясь, но довольно чисто по-русски.

— Я давно имею интерес к вашему искусству, вы—его знаменитый представитель.

Артемьев молчал.

— Я имею в виду ту пропаганду, которую вы делаете посредством вашего искусства. Мы это пробуем, но это еще не совсем удастся, в особенности фильмовое искусство.

— Это удастся, когда люди искусства идут вместе с народом, когда искусство служит народу.

Артемьев искал других слов, но вдруг понял, что в этом случае эти тысячу раз повторенные слова яснее и прямее всего выражают его мысль.

— Мы же говорим: «Империя элегантности и красоты». Красота — это искусство. Искусство должно повелевать, а не служить. Повелевать благороднее, чем повиноваться.

Ощущение театра снова овладело Артемьевым. Люди, обстановка, окружающее—все располагало к тому, чтобы он воспринял этот разговор как диалог пьесы:

Генерал. Господин посол сказал мне, что вы хотели бы играть Юлия Цезаря...

Не правда ли, нужно иметь смелость и гений, чтобы играть великого человека? (Помолчав.) Для того, чтобы играть Цезаря, нужно понимать, что такое власть.

Артемьев (негромко и как бы про себя).

Среди людей я знаю одного,  
Которого ничто не поколеблет,  
Который недоступен, как твердыня,  
И это — Цезарь...

(Веки генерала вздрагивали, в его лице и откинутой голове появляется что-то от истомы хищника, который испытывает удовольствие от щекотки.)

Генерал. ... и это Цезарь.

На земле нет ничего благороднее  
власти.

(Легкое движение возникает вокруг трех людей. Любопытные стараются незаметно приблизиться. Заложив руки за спину, Иван Данилович с нескрываемым интересом глядит на Артемьева и генерала.)

Артемьев. Если человек берет власть для того, чтобы сделать всех счастливыми. (Он чувствует внимание окружающих, но это уже не смущает его.)

Генерал. Что значит «сделать всех счастливыми»? Счастье Цезаря — это счастье всех.

Артемьев. Но Цезаря окружала ненависть. Брут хотел другого, — он по-своему думал о счастье народа и по-своему был счастлив.

(Березин одобрительно кивает головой. Этот диспут генерала и артиста доставляет ему видимое удовольствие, но пока он предпочитает быть молчаливым свидетелем поединка.)

Генерал. Счастье Цезаря — это счастье всех.

(Артемьев смотрит на генерала, генерал говорит, как прорицатель. Сухое и злое лицо повернуто в профиль, что-то маниакальное в отрывистых, как бы выталкиваемых из горла, фразах. Артемьеву кажется, что все это с ним уже когда-то

было, — сияние хрусталя, золотые эполеты, даже этот надменный, гортанный голос. Какие-то давние воспоминания, мгновенное оцепенение сбывающегося наяву сна охватывают его.)

Артемьев. Цезарь похитил власть у народа. Для чего? Для того, чтобы угнетать человечество. И Цезарь погиб.

Генерал поднял ресницы. Его лицо выражало безразличие. Оно стало как бы фарфоровой неподвижной маской с остекляевшим взглядом.

Может быть, он повторял то выражение лица, с каким посылал в воздух, через нейтральную территорию, эскадрилью тяжелых бомбардировщиков для того, чтобы громить земляные норы бедных пастухов.

Генерал. Nous, soldats, nous ne sommes pas forts en art, ainsi qu'en politique du reste<sup>1</sup>.

(Он перешел на французский язык. Любопытствующие приближаются, теперь они понимают, о чем идет речь.)

Березин. Mais, d'après d'art militaire, la guerre c'est une continuation de la politique, mais par des moyens différents<sup>2</sup>.

Генерал. Je pourrais dire que la guerre c'est la fin de l'ancienne politique et le commencement d'une politique nouvelle. D'après les dépêches d'aujourd'hui, le dénouement est proche. Mais vous êtes diplomate, monsieur, et vous êtes naturellement pour la paix<sup>3</sup>.

Березин. Mon général, je suis naturellement pour la paix<sup>4</sup>.

Генерал. Crainte de risque ou faute de courage<sup>5</sup>?

Березин. Qu'est ce que c'est que le courage? Le serpent est le premier à attaquer le passant. Est-ce du courage? И

<sup>1</sup> Мы, солдаты, мало понимаем в искусстве. Так же, впрочем, как и в политике.

<sup>2</sup> Но война есть продолжение политики другими средствами, — говорит военная наука.

<sup>3</sup> Я бы сказал: война — это конец старой и начало новой политики. Сегодняшние новости приближают нас к развязке. Но, как дипломат, вы, конечно, за мир, господин полномочный министр?

<sup>4</sup> Я, конечно, за мир, господин генерал.

<sup>5</sup> Страх риска? Недостаток храбрости?

aperçoit un bâton à la main du passant et il lui semble que l'homme va le frapper<sup>1</sup>.

Генерал. C'est une idée originale<sup>2</sup>.

Березин. Oh non. C'est la sagesse des anciens. Elle date de près de mille ans. Ce sont des vers de Saadi<sup>3</sup>.

(Когда генерал заговорил о недостатке храбрости, сердце Артемьева сжалось. Ему показалось, что Березин уклонится от прямого ответа. Березин, действительно, ответил притчей. Артемьев хотел бы более прямого ответа. Но, оглянувшись, он увидел улыбки на лицах окружающих и понял, что знаменитый генерал, которому при жизни ставили памятники, допустил мальчишескую выходку и оказался в смешном положении. Таким образом, в первом туре этого словесного поединка победил Березин.)

Генерал. En tout cas je préfère être le serpent<sup>4</sup>.

Березин. Cela dépend des goûts. Moi je préfère être l'homme, avoir le bâton sous la main, et pour suivre ma route<sup>5</sup>.

Генерал. Au plaisir de vous revoir, excellence<sup>6</sup>.

Березин. Mon général je serai enchanté<sup>7</sup>.

На этом кончился разговор.

Зал уже начал пустеть, когда Березин и Артемьев направились к выходу. Ивана Даниловича интересовали впечатления Артемьева. Артемьев сказал вскользь:

— Он довольно хорошо говорит по-русски.

— Конечно. Он провел с военной миссией в России всю мировую войну.

<sup>1</sup> Что такое храбрость? Змея первая бросается на путника. Разве это храбрость? Она видит в руке путника палку, и ей кажется, что человек ее ударит.

<sup>2</sup> Оригинальная мысль.

<sup>3</sup> О, нет. Это старинная мудрость, ей почти тысяча лет. Это стихи Саади.

<sup>4</sup> Во всяком случае я предпочитаю быть змеей.

<sup>5</sup> Это зависит от вкуса. Предпочитаю быть человеком, иметь под рукой палку и идти своей дорогой.

<sup>6</sup> В ожидании приятного свидания, господин полномочный министр.

<sup>7</sup> Господин генерал, буду счастлив.

Постепенно пустел зал. Гул голосов затихал. Люди перешли на площадку лестницы и толпились у выхода. Было еще светло.

## X

Иван Данилович стоял над раскрытыми чемоданами и отбирал все, что должен был взять с собой, и то, что отправлялось в Москву.

Артемьев сидел на складном стуле и с беспокойством поглядывал на часы. Его огорчал близкий отъезд друга. С грустью он следил за тем, как убирались книги и фотографии, которые он привык видеть на столе у Ивана Даниловича.

Березин держал в руках увеличенную фотографию. Это была фотография молодой женщины.

— Жена, — сказал он и протянул фотографию Артемьеву.

— Хорошее лицо.

— Я думаю! — с шутливой угрозой сказал Иван Данилович и опять рассмеялся. — Не знаю, от римской весны у меня настроение влюбленности или потому, что я жду сына... или дочь.

— Это большое счастье.

В эту минуту Березин взял со стола знакомый, отпечатанный на тончайшей бумаге томик, в мягком сафьяновом переплете.

— Это вам. Шекспир. Я сделал английскую надпись. Перевести ее можно так: «Мой глаз и мое сердце в смертельной вражде», — это будет почти дословный перевод, а более точно: «Смертельная вражда между тем, что я вижу, и тем, что я чувствую...». Это из сонетов Шекспира.

— И это относится ко мне? Странно, что вы так много говорите о чувствах.

— А вы полагаете, что сильные чувства не к лицу большевику? Разве великие политические деятели, учителя наши, не действовали и под влиянием чувства? Разве сердце Ленина не содрогалось при виде страданий человечества? Отсюда и явилась мысль, как сделать так, чтобы помочь людям. Раз-

ве сердце Маркса не сжималось, когда Галифе расстреливал коммунаров?

— Пусть не покажется вам странным, — сказал, помолчав, Артемьев, — но, кажется, я напрасно ездил в Рим. Правда, здесь мне пришла в голову мысль о «Цезаре». Если бы я ставил «Цезаря» «для себя», как говорит Мария Арди, все было бы очень просто. Но не для себя мне это нужно. В общем, — пока еще ни одной мысли. Хаос.

— В чем хаос?

— Я думал противопоставить Рим республиканский Риму цезарей. Но мне пишет режиссер, что Римская республика не была прогрессивным явлением. В Москве я буду читать Энгельса «Происхождение семьи и собственности». В «Коммунистическом манифесте» тоже есть о пролетариате Рима. Может быть, здесь решение задачи?

— Читайте, конечно, читайте. Но смотрите, как бы вы не растерялись. Не так трудно упростить, вульгаризировать, придумать нечто марксopodobное. Как это говорится: «воспроизвести картину эпохи, показать регрессирующее хозяйство, классовую борьбу в эпоху цезарей, противоречие интересов римлян и провинциалов». Но для этого надо писать новую пьесу. Что же, будет лучше Шекспира? Не думаю. Шекспир читал Плутарха. Но Рим Шекспира — это не совсем Рим Плутарха. Цезарь, Брут и Антоний — это не исторический Рим. Это Рим Шекспира.

— Как же быть?

— Покажите моральную ценность шекспировских характеров. Конечно, при этом будут возникать сопоставления, можно их подчеркнуть, но это уже второе дело...

— Если Рим Шекспира не Рим Цезаря, тогда зачем я сижу здесь? — с досадой воскликнул Артемьев.

— Вы думаете, что мы даром бродили под солнцем среди «святых камней»? Вы думаете, что «торжественный воздух Рима», как писал Гоголь, вам ничего не даст? «Бесперывные внезапности и неожиданности, поражающие в Риме» — это ничего не даст художни-

ку? А вдохновенье? Художественная интуиция, помогающая ему понять идею, зерно его труда? Конечно, кроме сердца, у человека есть глаз. Глаз и сердце мастера, которые не должны враждовать. Это умение видеть и чувствовать поможет вам понять Брута и Антония. Антоний, — разве это только «развратник разгульный», как говорит о нем Брут?.. Не знаю, интересуют ли вас мои рассуждения...

— Всегда интересуют.

— Пока Брут был силен, Антоний трепетал перед ним. Сначала он убежал, потом вернулся, чтобы обманом добиться победы. Политик он превосходный. Пропагандист замечательный, — речь его перед народом над трупом Цезаря — образец ораторского искусства. Ему позволили восхвалять Цезаря — и он восхваляет его заслуги. Ему запретили поносить Брута и Кассия, — он подчинился. В общем, он выполнил все условия Брута. Посмотрите, как составлена его речь. Этот лейтмотив: «Но Брут, бесспорно, честный человек». Три или четыре раза он повторяет эту фразу. И всюду ей сопутствует «но», от которого Бруту непоздоровится. Можете себе представить, с какой досадой наш зритель будет смотреть сцену, когда Брут наивно позволяет Антонию произнести надгробную речь над трупом Цезаря, или спор Кассия с Брутом о том, нужно ли щадить Антония Вообще, самое ценное в шекспировском «Юлии Цезаре» для политика (и не только для политика) — это противопоставление Брута Антония. Кассий говорит, что у Брута есть философия. Есть, бесспорно:

Если это

Ко благу клонится народа — пусть  
И честь, и смерть восстанут предо  
мною,

Я глаз своих не отвращу от них.

— Одно дело — философия, теория, а на практике Брут говорит: «Я не могу прибегнуть к мерам низким». Другое дело — Антоний. Помните, как он сначала задобрил народ милостями завешания Цезаря, а потом совещается с Октавием, что именно выбросить из

этого завещания. Подлый политик, но политик!

— «Судьба человеческая, судьба народная», — вспомнил Артемьев, — умница Пушкин! Что развивается в трагедии? Какая цель ее? «Человек и народ!». Судьба человеческая, судьба народная.

— Судьба народная... Народ Рима! Развращенный подкупами, обманутый политиками, ослепленный и несчастный народ. Это ничуть не противоречит тому, что писали о римском народе классики марксизма... Вечность трагедий Шекспира в том, что каждый найдет в них нечто волнующее его сейчас, сию минуту.

Между тем почти все, что лежало на столе, на стульях, на постели, было убрано и сложено в чемоданы. Березин держал в руках довольно плотную пачку мелко исписанных листов бумаги. Он положил рукопись в чемодан и со вздохом сказал:

— Хотел похвастаться перед вами своей работой. Но не пришлось.

Он продолжал, отвечая на вопросительный взгляд:

— Помните, в начале нашего знакомства я говорил вам, что и мне нужен «Цезарь»... Тут у меня нечто вроде статьи. Я пишу для одного нашего научного журнала. Задача моя — написать о корнях фашизма, об его природе. Для этого пришлось, между прочим, углубиться в прошлое и писать о борьбе классов в древности. Это необходимо и потому, что господин Муссолини довольно часто извлекает на свет труху императорского Рима. Ликторские топоры и прутья, римские орлы. Вы это, конечно, видели здесь на каждом шагу. Потому я немного занялся древностями и заодно Шекспиром. Через Шекспира можно постигнуть характеры и поступки людей. В так называемые спокойные времена, в годы затишья, люди позволяли себе пренебрежительно отмахиваться от Шекспира. Им, видите ли, претили грубость и жестокость шекспировских трагедий. Но подумайте, как светло и разумно писал человек три с лишним века назад.

— Иван Данилович, вчера я брал у вас русскую газету «Меч» или «Щит», что ли?

— «Меч».

— Там пишут про вас и с такой звериной ненавистью... Что это, опасно?

Иван Данилович ответил не сразу. Затем сказал просто и серьезно, с таким спокойствием, точно разговор шел не о нем:

— Конечно, не исключена попытка сумасшедшего жеста! Три года назад никто не принимал всерьез угрозы этих господ. За это время они нашли себе хозяина. И этот хозяин не разбегается в средствах. Белые всегда могут служить им в качестве материала.

Да (я отвечаю на ваш вопрос), мы живем в бурную эпоху... Каждый из нас может стать действующим лицом трагедии: и я, и вы. Поэтому нам особенно дорог и нужен Шекспир!

В тот же день они побывали у колыбели Рима, на Палатинском холме.

Холм этот был когда-то вулканом, но давно потухший кратер его исчез под нагроможденными здесь развалинами. Изумляла человеческая дерзость — тесен и мал показался холм для воздвигаемых зданий, и люди искусственно увеличивали Палатинский холм. Чудовищные кирпичные ребра, точно ребра скелета доисторического животного, подпирали холм с южной стороны. Это был фундамент дворца Септимия Севера. Бархатно-черные кипарисы поднимались среди развалин. Плющ и кустарник ползли по кирпичу и камням, которые дожди и ветры тысячелетий обратили в монолит, придав им цвет неизвестного на земле минерала. Это были точно осколки гигантского болида.

«И потом, во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, об'ятые каким-то фосфорическим светом».

Они проходили по тропинкам и упирались в самые развалины, но вдруг им преграждала путь искусно спрятанная решетка или влюбленная пара, вспугнутая шагами и стремительно вставшая со скамьи. Долго они стояли на

обрыве и в последний раз смотрели на Рим и Апиеву дорогу, вблизи которой жили. Пинии издали напоминали черные открытые зонты.

«Солнце спускалось ниже к земле, ярнее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе: еще живее и ближе сделался город; еще темней зачернели пинии, голубей и фосфорней горы; еще торжественней и лучше, готовый погаснуть, небесный воздух...».

— Торжественный воздух Рима, — как смело, правда? «Торжественный воздух...» — так мог сказать только Гоголь.

Иван Данилович молчал. Опираясь обеими руками на трость, он глядел на розово-синие, переходящие уже в лиловое, отливы горы и на город, лежащий внизу, глядел расширенными глазами, не мигая, точно не хотел ни на мгновение потерять что-нибудь из этих умирающих красоты и величия. Он вспомнил о том, что двенадцать дней назад, на рассвете, из окна большого дома у Каменного моста он смотрел на розовеющей на рассвете Кремль, на узкую ленту реки и хрустальный воздух, разрезаемый остриями башен. Саша спала, разбросав руки. Он долго глядел на высокий берег реки, на просыпающийся город, на день, занимающийся за раздвоенными зубцами башен. И на алый, с золотым отблеском, веющий над Кремлем флаг. Это было утро. Это была жизнь.

Совсем стемнело. Развалины стали еще бесформеннее, острия кипарисов вонзались в небо, как бы раздвигая вспыхнувшие звезды. Запоздалые путешественники спускались с холма. Было нестерпимо душно. Из-за поворота почти бесшумно проносились автомобили. Звуки военного марша приближались из-за Колизея.

Качались языки факелов. По мостовой быстрым военным шагом шли вооруженные молодые люди. Они шагали по-солдатски и, пристукивая в такт каблуками, пели еще не огрубевшими голосами:

Франция — свинья!  
Мы отберем Ниццу и Савойю!

## XI

Комната, заменявшая Ивану Даниловичу кабинет, оказалась мрачной, темноватой и непривлекательной. Одну стену комнаты занимала почерневшая картина, изображающая морскую баталию у Чесмы. Пылающие фрегаты, красноватый отблеск в кипящих морских волнах, андреевские и турецкие флаги на мачтах давно потускнели, но Иван Данилович любил такие картины за обстоятельность. Однако эта картина отвлекала его от работы, когда он взглядывал на нее, отрываясь от доклада, который надо было закончить к отъезду курьеров в Москву.

Была еще причина, по которой Березин не влюбил официальный кабинет бывшего посла Российской империи. Он бы еще примирился с позолоченной мебелью и органоподобным камином, но из окна кабинета была видна посольская церковь в саду. Церковь была построена в том пряничном, васнецовском стиле, который был в моде в начале последнего царствования. Церковь была, разумеется, запечатана, — это вызвало приступ бешенства у белых эмигрантов, и газета «Меч» опубликовала письмо православных христиан, утверждавших, что «чаша христианского долготерпения переполнилась» и придется кое-кому «дать ответ».

Около месяца жил Иван Данилович в столице Святого Града. Скорее, чем ожидал Березин, он был принят главой государства. В тот момент, когда мимо усатых гвардейцев, выстроенных на ступенях парадной лестницы, его провели в дворцовую залу, Березин подумал, что мертвящая скука, праздность и пустота дворцового быта заставили монарха поторопиться с приемом. С первых слов Березин понял, что монарх по своему развитию приближается к давно исчезнувшему типу русского кавалерийского офицера (не даром высокая особа некогда обучалась в пажеском корпусе). Березин угадал в этом сравнительно не старом человеке неудержимое властолюбие и понял, что этот человек не имеет никакого желания уступать реальную власть министрам или дикта-

тору. Высокая особа не пожелала быть коронованной куклой. Монарх Святого Града понял, что он может сам и за свой страх вести фашистскую политику, он не имел никакой нужды в опереточной партии и пока обходился с помощью офицерского корпуса и гвардии.

Как ни был краток и мало содержателен первый разговор с высокой особой, Иван Данилович все же попробовал несколько затронуть тайные чувства гвардейского офицера. От разговора о красотах пейзажа, открывающегося на северной границе Святого Града, они перешли к мыслям о том, что эта гряда гор является естественной преградой для нападающих с севера. Потом они заговорили об особом характере горной войны и превосходных боевых качествах горцев Святого Града. Ивану Даниловичу доставило тайное удовольствие выражение лица министра иностранных дел, присутствовавшего на приеме. Министр не мог предполагать, что на официальном приеме, при вручении верительных грамот, его монарх будет так откровенно говорить о предполагаемом и наиболее вероятном враге государства. Он представил себе мясистый нос и выцветшие глаза посла одной северной державы и подумал, что сегодня же вечером этот посол будет знать, о чем именно говорил монарх послу-большевику.

Березин и министр иностранных дел спускались с лестницы. Отраженные в большом зеркале, они как бы шли себе навстречу, и министр поглядел на отраженную высокую, несколько худощавую фигуру Ивана Даниловича. Фрак и белоснежная грудь не успокаивали министра. Сколько министр ни старался успокоить себя, он не мог забыть тех сведений, которые он получил о Березине. Он видел рядом с собой опасного и сильного противника, человека из другого лагеря, революционера, полномочного посла необъятного и сильного государства, построенного на совсем иных началах, чем его родина. Что же касается самого Березина, то он превосходно знал, что сопровождающий его дородный и вежливый господин крепко связан с иностранным фашистским пра-

вительством и двумя промышленными магнатами, поддерживающими влияние этого правительства в государстве Святого Града.

Они простились у выхода. Иван Данилович сел в автомобиль рядом с Цехановичем. По другую сторону площади, оцепленной конной стражей, с утра собралась толпа. Автомобиль не слишком быстро двигался по кругу, несколько человек в толпе приподняли шляпы. Федотыч, сидевший рядом с шофером, увидел, что это были бедно одетые люди, неизвестно откуда взявшиеся в центральной части города. Иван Данилович приподнял цилиндр и проехал, внимательно оглядев приветствовавших его людей.

---

Жизнь в Святом Граде могла бы показаться скучной Ивану Даниловичу, если бы не его умение находить себе дело даже в этой обстановке. В архиве старого царского посольства Иван Данилович нашел копии донесений его предшественников. Он пришел в веселое настроение, перечитывая письма посла к министру иностранных дел бывшей царской империи. Кстати, он сказал Цехановичу:

— В начале прошлого века русские вельможи не имели соперников в знании французского языка. Когда в Париже издали «Телемака» Фенелона, издатель известил, что он платит по сто червонцев за каждую найденную читателем опечатку. В Париже не нашли ни одной опечатки, и только в Москве граф Бутурлин откопал целых пять...

Но какую пустоту и убожество представляли собой донесения бывшего царского посла министру! Цеханович прочел подробное описание новогоднего приема в королевском дворце, узнал из доклада, в каком порядке были рассажены гости за ужином и какие именно марши исполнял оркестр гвардейского пехотного полка во время ужина, и кому именно благосклонно улыбался монарх.

Тот же Цеханович видел, как день и ночь работает Иван Данилович над своим первым докладом из Святого

Града. Его поразила груда карт, справочников, специальных журналов на рабочем столе Березина. Артемьев угадал — Цеханович был недружелюбно настроен в отношении своего, как он выражался, «хозяина». Он считал его резким, упрямым и не терпящим возражений и все же не мог не сознаться, что Иван Данилович работал, как ученый, как экономист и политик, и что его первый доклад из Святого Града полностью показал особенности этой страны — духовную нищету, невежество придворной клики, продажность чиновников, развращенных иностранными промышленниками, и своеобразные гордость и мужество бедного и независимого народа.

Были жаркие дни. Глубоководная река, разрезавшая надвое город, покрылась речными яхтами, моторными лодками. Ивана Даниловича потянуло на реку за город. За городской чертой река текла мимо зеленых, еще не выжженных солнцем холмов. Этот пейзаж чем-то напоминал Березину знакомые края. А тихие, молчаливые крестьяне, провожающие внимательным взглядом автомобиль с красным флажком, напоминали всем своим обликом, грустно падающими на лоб прядями волос, украинских крестьян старого времени. У Березина щемило сердце, когда он проезжал мимо бедных пригородных деревень, мимо скудных крестьянских нив, узенькими полосками сбегающих к реке. Большие, горбатые белые камни белели среди невысоких тощих колосьев, — обломки скал, занесенные сюда ледниками в доисторические времена.

Не раз автомобиль советского посла видели в шестидесяти километрах от столицы, в горных ущельях, в горных лесах и, наконец, в узеньких, грязных улицах пригородов. Как язычок пламени, вился на флагштоке машины маленький красный флажок и точно подраживал подозрительных, щегольски одетых молодых людей, бродивших бесцельно у витрин ювелирных магазинов и у подъездов отелей главной улицы.

Обыкновенно Иван Данилович отправлялся на прогулку один. Он сидел рядом с шофером Колей, комсомольцем,

имевшим слабость к фотографическим аппаратам и машинам американских марок. Иван Данилович давно приметил, что каждый раз, как только он собирался на прогулку, тут же, как бы случайно, оказывался Федотыч. Почему-то именно в эту минуту у Федотыча тоже возникала необходимость ехать по нестложному делу в город. Иван Данилович скоро разгадал эту хитрость, потому что Федотыч по рассеянности покупал с озабоченным видом одну и ту же книжку — карманный русско-сербский словарь. Березин не мешал ему. Поглядывая в зеркальце у руля машины, он видел его сосредоточенное лицо, особенно в те мгновения, когда к их машине слишком близко приближались любопытствующие. Должно быть, тот же Федотыч дал соответствующие инструкции Коле, потому что и Коля внимательно поглядывал на людей, подходивших слишком близко, когда Иван Данилович выходил из автомобиля.

Березин полюбил пустынные места набережной у железнодорожного моста. Здесь он обычно оставлял автомобиль и медленно прохаживался вдоль чугунной решетки, поглядывая на речную суету катеров, на речные переходы и тяжелую барку, настоящий плывучий дом с цветником на палубе и с собакой на цепи, лающей на пароходы и автомобили. Однажды, прогуливаясь в задумчивости по набережной, он заметил двух мужчин и женщину. Они глядели на него в упор и остановились так, что ему пришлось идти прямо на них. Ему послышались произнесенные порусски слова: «Конечно, он». Опираясь на трость, Березин шел прямо на них, внимательно следя за их движениями. Фронтальная жизнь выработала в нем чувство опытного фронтального бойца, умение остро ощущать настоящую, а не мнимую опасность. Здесь не было этого ощущения, — он видел некоторую неуверенность в действиях этих людей. И тут же он услышал позади себя шипение шин и сдержанное дыхание мотора. Он понял, что Федотыч тоже заметил этих людей. Мужчина, стоявший на краю тротуара, отодвинулся. Березин рассмотрел русские голубые на вы-

кате глаза, курносый, обветренный нос и русую, раздвоенную бородку.

Там, где кончалась набережная, Березин повернул. Он застал Федотыча на обычном месте неторопливо раскуривающим трубку. Руки Коли лежали на руле. Березину показалось, что эти руки слегка дрожали.

«Наши бывшие соотечественники», как выражался Цеханович, пока еще не проявляли признаков деятельности. Впрочем, это было не совсем верно. Передняя дома, где помещался консульский отдел, была полна бородами, молчаливыми русскими людьми. Вкривь и вкось, с ятями и твердыми знаками, они писали просьбы в ЦИК, просили разрешения вернуться на родину. Их принимал Федотыч. С двух слов он научился различать, кто перед ним стоит — опустившийся белоручка, агент-провокатор или мобилизованный белыми труженик Киевщины или Кубани.

На время работы над первым докладом из Святого Града Иван Данилович прервал прогулку вокруг столицы. Особенно много работал он накануне отъезда курьеров. Цеханович однажды застал его в тот час, когда Березин диктовал довольно пространное письмо. С удивлением он прислушался к словам Ивана Даниловича:

«Спасибо вам еще раз, дорогие земляки, — диктовал Березин, — спасибо вам за память обо мне. Пожелания ваши постараюсь выполнить. Особенно рад тому, что наша родная станица, колхоз «Новый путь», процветает. Слишком хорошо помню я печальную старину и радуюсь вместе с вами вашей хорошей жизни...».

Цеханович дослушал до конца. Он воспринимал это письмо скорее как некий акт вежливости. Ему показалось странным волнение, которое он уловил в голосе Березина. Когда ушла машинистка, Цеханович не скрыл этих мыслей от Березина, и вдруг пропали теплота и мягкость в голосе Ивана Даниловича:

— Вот что, Цеханович. Я, может быть, сам виноват, что раньше об этом не говорил с тобой как товарищ с товарищем. Придется нам с тобой здесь ра-

ботать не месяц и не два. Не в моем характере разводиться склоку и ругать тебя за глаза. Угодно тебе слушать?

— Угодно, — ответил Цеханович, отводя глаза и поджимая губы.

— Вот я сейчас диктовал письмо моим землякам. Ты вошел, слушал с видом авгура и даже усомнился в моей искренности. Что же, ты считаешь меня демагогом, который ищет популярности у своих земляков?

— Нет, — возразил Цеханович.

— А если нет, — тогда что же? Ну, к этому мы вернемся. Давай говорить о тебе. Неужели все, что делается ради коммунизма, тебе представляется так: «die erste Kolonne marchiert, die zweite Kolonne marchiert», как говорил австрийский командующий, в «Войне и мире»? Колонны, действительно, идут вперед, но ведь в этих колоннах люди, и какие люди! А людей ты не чувствуешь, не ценишь, не любишь. Не понимаешь, что то, что делает наша партия, наше правительство, все это делается для человека, для того, чтобы люди жили счастливо, весело и умно. Мы строим коммунизм для живых людей, а не для абстракции, для схемы. Когда я думаю о том, что детям моей станицы живется лучше, чем жилось мне, я ощущаю гордость и радость. Я хорошо помню мое невеселое детство. И я стараюсь сохранить связь с родными местами, слежу за колхозом «Новый путь» и за тем заводом, где я был каталом. И вижу, как в зеркале, всю страну. И радуюсь. Вот ты уже не молодой человек, а, кроме себя, никого не любишь. Ненавидеть наших общих врагов ты умеешь. А любить товарищей и друзей, весь наш народ ты как будто стесняешься. Боишься сентиментальности? Чудак! Будто нельзя сочетать ненависть к врагу с любовью к товарищу и брату. Вот где главный твой недостаток.

— Дальше? — негромко сказал Цеханович.

— Дальше: тебе доверили новое дело. Ты представляешь нашу страну в международных ее сношениях. Талейран говорил, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать мысли. Дипломатам вроде Талейрана язык был дан

именно для этой цели. Но ведь в те времена не было дипломатов-большевиков. А ты—дипломат-большевик. И не к лицу тебе трещать на птичьем языке, скрывая свои мысли. Мысли твои здесь известны. Они прекрасно знают, что ты не чиновник на дипломатической службе, они знают, что по убеждениям ты коммунист и марксист. Сколько бы ты ни трещал о пустяках, они знают, кто ты и что ты. Следовательно, дело не в том, чтобы постоянно играть роль светского собеседника. А дело в том, чтобы привести им такой несокрушимый довод, против которого нечего возразить. Вот если ты докажешь им, как дважды два, что бессмысленно уступать фашистам, что эти уступки — гибель, когда им податься некуда будет от твоих доводов, тогда ты будешь дипломат в нашем смысле слова. А для этого надо уметь мир, людей, человеческие отношения, экономику, историю, быт, психологию людей, вообще, целой жизни хватить на эту учебу... Так-то, дорогой товарищ. Который час?

— Без четверти пять.

— Надо ехать к американцам.

Дипломатический корпус — «коллектив» Ивана Даниловича — по-разному приняли его в Святом Граде. С некоторыми Березин встречался в других столицах Европы, они рассказали о нем другим, и то, что было сказано о Березине, сослужило ему хорошую службу. Ему не приходилось, как он выражался, говорить на «птичьем языке». Ему не приходилось выслушивать вежливых колкостей, здесь уже знали, как он умеет на них отвечать. Все оценили прямо и ясно ответы Березина на вопросы, от которых «настоящие» дипломаты старались отделяться увертками. Они знали биографию этого человека и удивлялись его такту и вместе с тем чувствительности даже к мелочам в тех случаях, когда это касалось достоинства страны, которую он представлял. Этого не мог не видеть Цеханович, который с каждым днем все больше и больше привязывался к этому человеку.

— «Дипломат», «дипломатия», в са-

мом этом слове содержится уже понятие двойственности. Но разве то, что мы, советские дипломаты, говорим на заседаниях конференций, на сессии Лиги наций, мы не можем повторить на любом рабочем собрании, в рабочем клубе, или в заводских цехах?

Цеханович соглашался, но его несколько пугало то, что он считал «резкостью» и «эмоциональностью» в характере Ивана Даниловича. Он вспоминал, как похолодел от изумления и испуга, когда Иван Данилович ответил на глупую и наглую выходку посла фашистской страны тем, что повернулся к нему спиной на глазах сотни свидетелей. Впрочем, немного позже он понял, что этот красноречивый жест был единственным правильным выходом из положения.

Среди членов дипломатического корпуса в Святом Граде был один старый знакомый Ивана Даниловича, несметно богатый и потому независимый титулованный старик. Он был послом государства, не слишком заинтересованного в политике Святого Града. Иван Данилович ценил в нем остроту ума, своеобразные чудачества и юмор. Трудно сказать, что именно понравилось этому много видевшему старику в Березине, но знакомство, которое началось десять лет назад в Париже, поддерживалось и здесь. Они виделись довольно часто, Ивану Даниловичу было интересно слушать язвительные речи старика. Кроме того, этот человек был обладателем большого собрания редчайших книг. Однажды он сказал с некоторой грустью:

— Меня, вероятно, скоро отзовут из Святого Града. Уверю вас, что это сделают по моей собственной просьбе. У меня болезнь сердца, я состарился, события требуют того, чтобы на моем месте сидел человек с крепкими нервами.

— Жалко, если вы уедете.

— Трудное время, — задумчиво продолжал собеседник Березина, — суровое и опасное время. Вы немного знаете меня. Мог ли я подумать двадцать лет назад, что людям моего круга и воспитания я предпочту человека, который

желает установить власть пролетариев во всем мире? Между тем это так. Из всех моих знакомых в Святом Граде вы — самый приятный для меня собеседник.

— Я пережил три войны, — продолжал он, — последняя война окончательно отбила у меня охоту пережить четвертую. Мое отечество потеряло слишком много крови, и потому у нас нет ни малейшей охоты ввязываться в драку. Но есть на земле кровожадные идиоты, которым ничего не остается делать, как воевать. Им хочется воевать вне своей страны, потому что иначе придется очень скоро воевать с собственным народом, который теряет терпение. Я много думал над этим и вижу в целом мире одну только страну, которая искренно не желает войны и всеми силами старается устранить опасность неслыханного кровопролития. Я уважаю этого сильного и мудрого союзника. Я говорю о вашей родине, господин посол.

Березин молча кивнул головой.

— Возвращаюсь к тому, о чем я говорил вам раньше. Вы сделали самым приятным для меня человеком, потому что вы здесь, в Святом Граде, с большим талантом и умом разоблачаете поджигателей войны. Я не сомневаюсь в том, что вы поступаете здесь, как патриот и гражданин своего отечества, но мне приходят в голову некоторые тревожные мысли. — Он помолчал и продолжал, отвечая на вопросительный взгляд Ивана Даниловича: Вы, конечно, знаете, что довели до остервенения ваших врагов.

— Врагов моей родины?

— Врагов вашей родины.

— Я действую так, как должен действовать посол великой страны, как патриот и гражданин своего отечества... Мне кажется, что в этом случае дело не во мне, будь на моем месте другой, все было бы точно так же. Они готовят себе позиции будущей войны здесь, в этой стране. Я им мешаю. Вот и все.

— Еще раз скажу — вы делаете это прекрасно. Со дня вашего приезда число их сторонников уменьшается с каждым днем. Они предпочитают иметь

здесь менее способного и сильного противника.

— Благодарю вас за лестный отзыв.

Старый и умный человек наклонился к Ивану Даниловичу и посмотрел ему в глаза. Этот взгляд говорил: «Не заставляйте меня говорить более определенно, я и так сказал много».

— Я очень признателен вам, — сказал Иван Данилович, — на моем столе можно видеть десятки ругательных и угрожающих писем. Одно письмо прямо говорит о том, что однажды они упустили возможность, но в следующий раз они ее не упустят. Я получаю и другие письма от честных и близких. Мне по духу людей... Наконец, допустим, что белым удастся сделать то, чего они хотят. Я не преувеличиваю своего значения, но мне кажется, это даст обратный эффект.

— Мне нравится в вас то, что вы избегаете излишней аффектации, — заметил собеседник Березина, — и все же, было бы очень грустно... — Он вздохнул, и они заговорили о другом.

Березин вернулся домой к вечеру. Его встретили Федотыч и встревоженный Цеханович. Оказалось, что в саду посольства был задержан вооруженный человек.

За исключением этого случая, ничто не нарушало спокойного течения жизни маленькой советской колонии в столице государства Святого Града.

## XII

Артемьев провел еще пять недель за границей.

Рим много потерял для него после того, как уехал Иван Данилович. Он написал ему об этом из Экс-ле-Бэн:

«... вы, кажется, не любите таких слов, дорогой, но, право, мне много дала дружба, которой вы дарили меня. Я вам говорил об актерах, что необходимость изображать дурных и хороших людей на сцене, в известной степени, меняет отношение актера к этим понятиям. Все становится относительным. Потому в старое время, люди были правы, когда не принимали всерьез жизненные взгляды актера. И мне бы-

до особенно дорого ваше отношение ко мне. И ваши слова на прощанье, что я актер иного, то-есть нашего, времени. Если это так, то во многом это сделала наша встреча. Вблизи вас, рядом с вами в наших прогулках и беседах исчезло то «актерское», с чем я тщетно боролся в себе...».

«...С «Цезарем» все еще не совсем ладится. Вы обнадежили меня, когда сказали: «Что же из того, что «Цезарь» никогда не имел успеха? Иной провал лучше всякого успеха, если это ключ к победам. У Петра после Нарвы была Полтава».

Ученик, о котором я вам говорил, сообщил мне несколько ценных мыслей о будущем спектакле. Я был очень одинок в то время, когда мы встретились. Сейчас мне кажется, что я нашел не только себя, но и чудесных товарищей.

Я думаю все больше и больше о том, что вместо Цезаря возьму роль Брута. Я многому научился в этом путешествии (конечно, мне надо было съездить в Рим).

Мне кажется, очень важно показать людям, как ужасно быть только мечтателем в революции. Помните речь Брута на Форуме: «Римляне, сограждане, друзья...». По свойствам моим у меня это получится хорошо. А Цезарем будет мой старый враг Сольский, он угнетен неудачами, груб, но у него есть талант, и он честный человек в искусстве. Это не так часто встречается в театре. Наконец — Антоний: чем я больше думаю о нем, тем более я уверен, что эту роль надо дать ученику с чудной фамилией, о котором я вам говорил. У него прекрасные данные, а главное, он умеет мыслить».

Дальше Артемьев писал:

«Не могу усидеть в Экс-ле-Бэн, надо кончить курс, но очень тянет в Москву. «Ессо Рома», помните, как сказал нам шофер и показал на блистающий, уменьшающийся по мере приближения купол Петра в дымке утреннего тумана, — вот так и я скажу себе, когда увижу наши милые леса стальных мачт и бетонных коробок: «Ессо Москва!». Вот Москва, жизнь и работа...»

Помните, в Риме вы говорили о серд-

це и разуме, о мудрости Антония и сердце Брута... Не льщу вам, но скажу — я счастлив, что на склоне лет встретил человека, в котором

... стихии так

Соединились, что природа может,  
Восстав, сказать пред целым миром:  
«То был человек...».

В конце письма были две коротких приписки:

«Жаль, что не скоро увидимся. Помните, как в «Цезаре»:

Увидимся опять—так улыбнемся,  
А нет — так мы как следует  
простились...»

Впрочем, у меня есть план возвращаться на родину через Святой Град.

Передайте от меня привет вашей милой жене, которую я знаю только по фотографии. Затем будьте осторожны в Святом Граде. От этих сумасшедших дураков можно всего ожидать».

Три дня спустя Артемьев получил телеграмму: «Возвращайтесь домой через Святой Град не беспокойтесь формальностях виза консульстве Вене. Телеграфируйте выезд встречу».

Артемьев ответил согласием, несмотря на то, что помыслил он был уже в Москве.

В июньское дождливое утро Артемьев оставял Экс-ле-Бэн. Между мокрыми стволами платановой аллеи, в последний раз, мелькнули фасады гостиниц и вилл. В тот же день он из окна вагона увидел голубые воды Лемана, чистое дно озера и камешки, мерцающие на дне.

Зеленые склоны гор, туннели, смена света и мрака, плотный, прохладный, настоенный на горных травах воздух Тироля. Ночь он провел в Вене.

В консульстве государства Святого Града его принял вежливый старичок и с удивленным видом поставил ему визу. Артемьев поспел на восточный экспресс и целый день ехал по незнакомым землям, где часто и резко менялись язык, внешность и тип людей.

Затем пошли земли, где тембр речи, ее звучание напоминали русскую речь. Иногда совсем чисто звучало русское

слово, но оно означало совсем не то, что значило у нас, и говорившие на этом языке были горбоносые, смуглые, черноусые люди. Чем дальше он ехал на юго-восток, тем больше дивились они русскому советскому паспорту, а на границе государства Святого Града собралось шесть человек в форме, напоминавшей царских драгун, и с ними трое штатских. Они передавали из рук в руки паспорт Артемьева, тихо пощелкивали языком и с любопытством и некоторым испугом смотрели на путешественника. Это доставило некоторое удовольствие Артемьеву, он был один из первых советских граждан, посетивших эту страну.

Он был доволен, несмотря на то, что сразу обратил на себя внимание молчаливых, но тем не менее наглых молодых людей, негромко говоривших по-немецки. Опытный глаз актера подметил, что для них штатские пиджаки были непривычной одеждой. Они показали Артемьеву переодетыми военными. Впрочем, они скоро оставили вагон на узловой станции, только один из них ехал до Святого Града. Он был соседом Артемьева по купе.

До Святого Града оставалось шесть часов пути. На большой узловой станции толпа окружила продавца газет: он выкрикивал что-то уже охрипшим от крика голосом. Артемьеву показалось, что он уловил слово: «советский». Он тоже протянул руку за газетой, но в эту минуту увидел скуластого человека в кавказском бешмете и папахе, с разрубленной верхней губой, обнажавшей мелкие зубы. Человек в бешмете развернул газету и вдруг засмеялся, сверкая зеленоватыми, злобными глазками. На языке, похожем на церковно-славянский, он заговорил с соседом по купе. Какой-то скверный холод, предчувствие несчастья охватило Артемьева. Он даже не пробовал отогнать это чувство и растерянно и безмолвно глядел вокруг. Против него сидел человек с сигарой и сонно глядел на облака, низко клубившиеся над горами.

— Простите, вы знаете здешний язык? — спросил по-французски Артемьев.

— Говорю по-немецки, — сердито ответил человек с сигарой.

— Что, собственно, произошло? — по-немецки спросил Артемьев и показал на газету.

— В Святом Граде убили советского посла.

Поезд пришел в Святой Град после заката солнца. В каком-то тупом оцепенении Артемьев сидел в купе и глядел, как проводник передавал через окно его багаж носильщику на перроне. Наконец, он встал и вышел из вагона. Куда же, собственно, ехать? В полпредство? Там не до него.

— Товарищ Артемьев!

Он обернулся и увидел Федотыча.

Дальше они ехали по улицам, которых сначала даже не замечал Артемьев. Потом появились освещенные террасы кафе, люди переходили от столика к столику, люди толпились на мостовой — стоял тревожный и необычный уличный шум. Артемьев все еще не мог заговорить о том, что случилось. Судорога сводила ему горло, дрожали сухие веки. Федотыч тоже молчал.

— Вот, — наконец произнес Артемьев, глядя вверх. Федотыч увидел, что он глядит на флагшток и алый спущенный флаг.

— Когда же это случилось?

— Вчера, в одиннадцать вечера, возле сената.

Артемьев хотел спросить «кто?». Нет, это лишнее.

Они прошли в вестибюль. Сладкий запах цветов что-то перевернул внутри Артемьева. Он вытер невысыхающие слезы и прошел мимо венков. На лестнице его встретил Цеханович и крепко и значительно пожал ему руку.

— Александра Степановна прилетит в четвертом часу, — почему-то сказал он Артемьеву. Артемьев не сразу понял, кто это Александра Степановна.

— А в Моск... ве сейчас... — глухо сказал Федотыч.

И вдруг Артемьев всем сердцем, всем существом своим понял то, что сейчас в Москве.

Он увидел Москву, точно она лежала тут за окном, — грозное, почти бесшум-

ное движение неисчислимых народных масс, склоненные траурные знамена, и, как подземный гул землетрясения, гром миллионов шагов.

Однажды он видел Москву потрясенной и гневной, в летний день 1923 года, в день ультиматума лорда Керзона. Этот день совпал с убийством советского посла в Женеве, и двойная ярость охватила сердца людей. Это было несколько лет назад, теперь это повторилось.

Артемьев как бы слышал наполняющий небо рев задыхающихся от ярости истребителей, громовое сотрясающее землю дыхание многих тысяч танков. «Вот Москва» — подумал, содрогаясь от горя и гнева, Артемьев.

Его провели в несколько мрачную комнату с диваном, большим рабочим столом и картиной, изображающей морское сражение. На этом столе, над не вскрытыми письмами и газетами, над пушкинским томиком, раскрытым на «Моцарте и Сальери», стоял маленький портрет молодой женщины, который он видел в Риме, в руках у Ивана Даниловича. Затем он увидел свою телеграмму, она лежала на видном месте, прижатая уральским камнем.

«Восточный экспресс. Рад буду вас видеть Артемьев».

— Рад буду видеть... рад видеть...

Слезы обожгли ему веки.

«Увидимся опять — так улыбнемся. А нет — так мы как следует простились».

В полдень следующего дня открылись большие тяжелые двери парадной залы посольства. Люди в мундирах и орденах, в сюртуках и с цилиндрами в руках медленно входили в зал.

Последним вошел старик в сюртуке со звездой. Следом за ним внесли великолепный венок из темных тюльпанов. На серебряной ленте Артемьев прочитал: «...память... уважение... скорбь...» и титул старика со звездой. Старик низко поклонился мертвому и ушел, не отводя от него глаз.

Черно-красные ткани обвивали колонны, большое красное знамя с траурной повязкой склонилось над гробом, где лежал человек с боевым орденом на

груди. Непокорная прядь вилась над мертвым лбом, точно живая. У изголовья стояла молодая, стройная и красивая женщина. Слегка повернув голову, она, не отрываясь, глядела на мертвого.

По другую сторону стоял высокий, седоволосый человек с молодым и загорелым лицом.

Весь этот день, вместе с горестными мыслями об умершем, в сердце его как бы стучались строфы Шекспира, грозный и поэтический фон их встречи:

...я побежден.

Но этот день злосчастный принесет  
Мне больше славы, чем врагам моим  
Их жалкая победа.

По парадной лестнице, стараясь не стучать грубой обувью, шли люди в рваных фуфайках, в закопченных блузах. Они проходили мимо гроба. Сильные, покрытые шрамами и порезами от тяжелой работы руки сжимались в кулаки, они поднимали кулаки над головой. Их было множество во дворе и в саду и во всех прилегавших к дому улицах, солдаты не трогали их, в этот день не решались прогнать рабочих, пришедших проститься с послом Советской страны.

Артемьева сменил Федотыч. Он стоял, точно в полном вооружении при полной выкладке, как боец на линейке, у знамени. Артемьев с любовью и печалью глядел на него.

Вдруг он почувствовал горячую руку в своей руке. Александра Степановна смотрела на него синими, широко раскрытыми глазами. «Пойдем». Они вышли куда-то в темную комнату, позади зала. Здесь пахло листьями и сырой хвоей.

— Ну... — сказала она, и оба заплакали.

Но более всего трогало Артемьева то, что она как-то сдерживала себя в своей горе, точно не забывала и заботилась о той новой жизни, которая родилась внутри нее, той, которая должна была быть достойной чудесной любви и жизни товарища, друга и мужа — Ивана Даниловича Березина.

# Витязь в тигровой шкуре

ШОТА РУСТАВЕЛИ

(Отрывки из поэмы)

Перевел и обработал Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

Сказание четырнадцатое

**О том, как Автандил разыскал витязя во второй раз**

Как цветок в разлуке с солнцем понемногу увядает,  
Так, уехав от любимой, бедный витязь унывает.  
Гонит он коня лихого, едет ночью, едет днем,  
Унося прекрасный образ в сердце горестном своем.

— О, любимая царица! — восклицает он уныло. —  
Ты ресницами скитальца, словно копьями, пронзила,  
Благовонными устами и агагами очей  
Ты мое сразила сердце, слез исторгнула ручей.

Солнце, ты, по слову мудрых, нам являешь образ бога,  
Ты над звездами владыка, в небесах твоя дорога,  
Сжался, солнце, надо мною! Бедный пленник, я молю —  
Дай увидеть мне царицу незабвенную мою.

Длинный день к концу подходит, в небеса луна восходит,  
Едет витязь по тропинкам и с луною речь заводит:  
— Ты, луна, недуг влюбленных исцелить умеешь в миг,  
Дай увидеть мне царицу, чей с тобою сходен лик.

Ночь несла ему отраду, днем, от зноя изнывая,  
Под'езжал к реке он часто и смотрел в нее, рыдая.  
Из очей струился в воду слез сияющий поток...  
Ни один еще влюбленный так не плакал, одинок.

Наконец, добрался витязь до пещеры Тариэла.  
Перед ней Асма-рабыня одинокая сидела.  
Дева бросилась навстречу, Автандил сошел с коня.  
— Где мой друг? — спросил он деву. — Ожидает ли меня?

Дева горько зарыдала и ответила герою:  
— Лишь уехал ты отсюда, попрощался он со мною  
И пропал в лесах далеких, одиночеством томим.  
Ни один не знает смертный, что теперь случилось с ним.

Прямо в сердце пораженный, витязь вымолвил: — Сестрица,  
Тариэлу в день отъезда обещал я возвратиться,  
Обещанье я исполнил, он же клятвой пренебрег,  
Не дождался и уехал, горя вытерпеть не мог.

— Витязь, — девушка сказала, — мудрено судить его нам,  
Человек, лишенный сердца, по своим живет законам,  
Сердце в муках умирает, вслед за сердцем гаснет ум,  
Человек, ума лишенный, своеволен и угрюм.

Описать его мученья невозможно без труда мне,  
Увидав его безумным, вопиют в пустыне камни,  
Слез его довольно б было, чтоб составился ручей,  
Звери мечутся лесные, слыша звук его речей.

Провожая Тариэла, я, несчастная, спросила:  
— Что теперь должна я делать, коль увижу Автандила?  
— Передай ему, — ответил бедный витязь, — что опять  
Буду я в полях скитаться и героя ожидать.

Этих мест я не покину, приютит меня округа.  
Если витязь мой придет, он найти сумеет друга.  
Если ж я умру до срока, неземным огнем сожжен,  
Пусть мой прах осиротелый похоронит с честью он.

Автандил к реке спустился, проскакал через равнину,  
Ветер жег ему лакиты, цветом равные рубину.  
Витязь кликал Тариэла, звал его среди лесов,  
Но, увы, скиталец бедный не откликнулся на зов.

Так прошло два дня, две ночи. Автандил на холм поднялся,  
С высоты, залитый солнцем, дол прекрасный открывался.  
На опушке дальней рощи конь разнузданный стоял.  
— Это он! — воскликнул витязь и к опушке поскакал.

И когда, достигнув рощи, он увидел Тариэла,  
Сердце в нем остановилось, и душа оцепенела:  
Тариэл лежал, как мертвый, запрокинув к небу лик,  
Ворот был его разодран, взор беспомощен и дик.

Справа, возле Тариэла, лев лежал, мечом сраженный,  
Слева — тигр, убитый насмерть, алой кровью обгаренный,  
Меч отброшен был далеко, Тариэл едва дышал...  
Витязь слез с коня и друга, наклонясь, поцеловал.

Вздвогнул друг, повел очами, прояснилось в нем сознание.  
— Милый брат, — сказал он тихо, — я исполнил обещанье,  
Дожил я до нашей встречи, но, увы, истратив силы,  
Ныне я прошу у бога лишь забвенья и могилы.

— О, — воскликнул бедный витязь, обнимая Тариэла, —  
Головой тебе клянусь я, злое ты задумал дело!  
Знай, тебя смущает дьявол — вечный враг людского рода, —  
Жизнь свою пресечь до срока запрещает нам природа.

Если мудр ты и желаешь быть, как прежде, добрым мужем,  
Знай, что мужеством единым мы любви великой служим.  
Если ж в слабости сердечной ты весь мир возненавидишь, —  
Разве ты найдешь царевну? Разве ты ее увидишь?

О, послушайся совета, кони нас зовут в дорогу,  
Сядем вместе и поедем, — горе стихнет понемногу.  
Не достойно полководца поддаваться искушенью,  
Время горести минует, час настанет утешенью.

Тариэл ответил: — Витязь, я тебе едва внимаю,  
Страшен мир для человека, срок пришел — я умираю.  
Верю я: в краю далеком, за пределами земного,  
Разлученные при жизни, с нею встретимся мы снова.

Кинусь я к моей любимой, и она пойдет навстречу,  
Горько милая заплачет — я стенанием отвечу.  
Нет, оставь меня, мой витязь. Уж недолго мне томиться,  
К сонму духов бестелесных дух мой немощный стремится.

— Вижу я, — ответил витязь, — распалил свою ты рану,  
Больше грубыми словами докучать тебе не стану.  
Если сам ты хочешь смерти, больше нет тебе спасенья,  
Лишь одну исполни просьбу, лишь одно услышь моленья.

Та, чьи длинные ресницы, словно копья из агата,  
Окружают лик кристальный и чернеют, как ограда,  
Та, чьей гордой красотой сердце брошено в горнило, —  
Возлюбив тебя, как брата, в путь меня благословила.

Одолол я путь тяжелый, разыскал тебя в пустыне, —  
Ты меня отсюда гонишь, приготовившись к кончине.  
На прощание, молю я, пересиль свое упорство,  
Дай твою увидеть силу и коня узнать проворство.

И, поднявши Тариэла, витязь кликнул ворбного,  
Конь приблизился послушный. Не сказав в ответ ни слова,  
Тариэл с глубоким вздохом сел на верного коня  
И поехал по долине, низко голову склоня.

И затих в нем понемногу сердца жар невыносимый,  
Оживился лик кристальный, загорелся взор орлиный.  
Был наездник он отважный, и, ездю развлечен,  
Постепенно возвращался к многотрудной жизни он.

Автандил догнал героя, преисполненный участия.  
— Витязь, — он сказал, — я знаю, ты хранишь свое запястье,  
На груди его ты носишь, плачешь, сетуешь над ним...  
Неужели дар царевны так тебе необходим?

— Этот дар, — ответил витязь, — дар единственный на свете,  
Смысл моей несчастной жизни в драгоценном том предмете.  
Мне дороже всех сокровищ этот дивный талисман,  
Мира целого дороже, рек его, морей и стран.

Авандил сказал: — Однако, у чеканщика он куплен,  
Он безжизнен, бессловесен, безучастен, неразумен,  
Ты расстаться с ним не можешь, но Асмат, сестру свою,  
Покидаешь, неразумный, в этом горестном краю.

Знаю я, Асмат-рабыню ты нарек своей сестрою,  
О тебе она тоскует, делит горести с тобою,  
Помнишь, как она служила и царевне, и тебе?  
Неужели позабыл ты о лихой ее судьбе?

— Я хотел уйти от мира, — витязь вымолвил тоскливо, —  
Но сестра моя несчастна — рассудил ты справедливо.  
Едем к ней, она зовет нас и вздыхает тяжело,  
Расскажу я по дороге, что в лесу произошло.

### Сказание пятнадцатое

#### О том, как Тарнэл убил льва и тигра

— В'ехал я на холм высокий, чтоб убить на ужин птицу.  
Вижу — в зарослях окрестных лев преследует тигрицу.  
Я помчался вслед за ними. Лев догнал свою подругу,  
Звери начали бороться и реветь на всю округу.

Так они играли долго, но, беззлобные вначале,  
Нападая друг на друга, вдруг от злобы зарычали.  
Лев вонзил в тигрицу когти, та отпрянула, робея.  
Лев, почуяв запах крови, грозно кинулся за нею.

Рассердился я на зверя и метнул копьё стальное.  
Лев упал, копьем пронзенный, и пополз, протяжно воя,  
Я мечом его ударил, — рухнул мертвый зверь на камни.  
В час сраженья и охоты сила страшная дана мне.

Меч отбросил я далеко и прекрасную тигрицу  
Обхватил двумя руками, словно царь свою царицу.  
Грозно хищница рычала и рвала когтями кожу.  
Распалился я от гнева и ее прикончил тоже.

— Вот, мой брат, — закончил витязь, — дал мне бог судьбу какую.  
Днк я, зол и бессердечен, если плачу и тоскую,  
Не могу я жить на свете, смерть одна моя отрада.  
Кроме смерти и забвенья, ничего мне здесь не надо.

Долго длился путь печальный, но окончилась дорога,  
И Асмат, друзей встречая, появилась у порога.  
Слезы радости струились из ее больших очей.  
Тарнэл сошел на землю и заплакал вместе с ней.

Так вошли они в пещеру и на шкуры опустились.  
Подавала рабыня ужин, оба друга подкрепились



Битва Тариэла со львом и тигром

И заснули сном глубоким, истомленные тоской,  
И Асмаг у изголовья охраняла их покой.

И едва на темном небе появился луч рассвета,  
Тариэл сказал герою: — Бог воздаст тебе за это, —  
Жизнь мою спасти сумел ты, но огонь моей души  
Потушить никто не может в этой горестной глуши.

Был разумным я доселе, ныне час пришел безумья,  
Оттого в моей пустыне своеволен и угрюм я,

Исцелить меня не в силах ни единый человек, —  
Возвратись ты в край родимый и покинь меня навек.

Автандил вздохнул глубоко и сказал такое слово:  
— Отпросившись у царицы, я к тебе приехал снова.  
Я сказал ей: «Мне без друга не прожить теперь и дня,  
Отпусти меня, царица, не удерживай меня».

И сказала мне царица: «Ты решил, как должно другу,  
Помогая Тариэлу, мне окажешь ты услугу».  
Если я тебя покину, что сказать я должен ей?  
Трус я буду и предатель, забывающий друзей.

Нет, не нужно этих споров! Делай, как тебе угодно —  
Коль не хочешь быть разумным, плачь, неистовствуй бесплодно, —  
Об одном тебя молю я: посреди своих невзгод  
Собери остаток силы и скрепи себя на год.

Через год, когда минуют снегопады и морозы,  
Через год, когда повсюду расцветут обильно розы,  
Жди меня. Об'ехав землю, я вернусь к тебе опять.  
Может быть, следы царевны мне удастся отыскать.

Тариэл ответил: — Витязь, глух ты стал к моим советам.  
Нелегко найти царевну, убедишься сам ты в этом.  
Я твою исполню просьбу, подчинюсь моей судьбе,  
Лишь бы смерть — отрада слабых — не взяла меня к себе.

Снова витязи простились с опечаленной девицей,  
Покраснели их ланиты и сравнялись с багрянницей,  
На очах сверкнули слезы, и Асмат, обнявши их,  
Снова горестных рыданий не могла сдержать своих.

В этот день два верных друга путешествовали вместе,  
Трудно было им расстаться, каждый думал о невесте.  
Наконец на берег моря вывел их печальный путь,  
Время было подкрепиться и с дороги отдохнуть.

Автандил промолвил: — Витязь, здесь проститься суждено нам.  
Отчего, скажи, расстался ты с охотником Фридоном?  
Весть о девушке пропавшей получил ты от него.  
Ныне еду я к Фридону. Как, скажи, найти его?

Тариэл, под'ехав к морю, показал ему дорогу.  
— Вдоль по берегу морскому направаляйся ты к Востоку.  
Если встретишь ты Фридона, передай ему привет,  
Он тебя, как брата, примет и полезный даст совет.

Подстрелив козленка в роще, сели витязи за ужин.  
Не богат был пир походный, но зато по-братски дружен.  
На заре они проснулись, повели коней к ручью  
И раз'ехались, рыдая, — каждый в сторону свою.

## Сказание шестнадцатое

## Моление Автандила планетам

О, печальный мир, скажи мне, в чем твоя сокрыта тайна?  
 Что ты гонишь человека и гнетешь необычайно?  
 Ты ведешь его откуда и смешаешь где с землею?  
 Только бог один заступник всем отвергнутым тобою!

Разлученный с Тариэлом Автандил в дороге плачет:  
 — Горе мне! В тоске и муке снова путь далекий начат.  
 И разлука, и свиданье в небесах — одно и то же,  
 Не равны друг другу люди, и душа с душой не схожи.

Звери вокруг него толпились, слезы горестные пили,  
 Душу, полную печали, он сжигал в своем горниле.  
 Образ нежный Тинатины вспоминал он, полон муки,  
 Розы губ полукрытых были скорбны от разлуки.

Вяла роза, увядала ветвь прекрасного алоэ,  
 Потемнел кристалл точеный, и рубин померкнул вдвое,  
 Но шептал он сам с собою, чтобы сердце укрепилось:  
 — Что дивисься, сердце, мраку, если солнце закатилось?

И воззвал тогда он к солнцу: — Солнце! Образ Тинатины!  
 Оба вы с моей царицей освещаете долины.  
 Я, безумный и влюбленный, упиваюсь вашим светом.  
 Ах, зачем мое вы сердце оттолкнули несогретым!

Если солнце угасает, людям холодно зимою.  
 Не одно, но два светила ныне гаснут надо мною.  
 Как же мне в беде не плакать? Лишь утес не знает боли.  
 Нож—плохой больному лекарь: ранит тело поневоле.

И опять, взглянув на солнце, витязь жалобился, бедный:  
 — Солнце, солнце! В дальнем небе ты свершаешь путь победный,  
 Ты смиренных возвышаешь, счастье им даешь и силу.  
 Возврати меня к царице, будь защитой Автандилу!

О, Зуал<sup>1</sup>, планета скорби, ты умножь мои стенанья,  
 Положи на сердце траур, тьмой окутай мирозданья,  
 Бремя тяжкое унынья возложи ты мне на плечи,  
 Но скажи ей: «Твой любимый о тебе грустит далече».

О, Муштари!<sup>2</sup> Над землею ты судья благочестивый,  
 Вот пришли на суд два сердца, рассуди их, справедливый!  
 Не губи души, владыка, бессердечным приговором, —  
 Прав я, прав! Но ранен в сердце и пронзен прекрасным взором.

О, Марих<sup>3</sup>, звезда сражений, бей меня копьем могучим,  
 Грудь мою без сожаленья обagri потоком жгучим,

<sup>1</sup> Зуал — Сатурн, планета смерти и страданья (по средневековому представлению).

<sup>2</sup> Муштари — Юпитер, планета правосудья.

<sup>3</sup> Марих — Марс, планета войны.

Но, молю тебя, царице о моих скажи страданьях, —  
Видишь, как томлюсь я ныне, обезумевший в скитаньях!

Аспироз<sup>1</sup>, звезда любви, на мои склонись моления,  
Помоги мне, я сгораю от любовного томленья!  
Украшаешь ты красавиц беспримерной красотой,  
Я красавицей погублен, сжался, сжался надо мною!

Отарид<sup>2</sup>, с твоей судьбою я судьбу свою равняю:  
Солнце властвует тобою, от него и я сгораю.  
Опиши мои мученья! Вот из слез моих чернила,  
Пусть пером тебе послужит стан иссохший Автандила.

О луна, твой лик прекрасный то в ущербе, то в расцвете,  
Так и я, по воле солнца, то сильнее всех на свете,  
То слабее самых слабых. Не покинь меня, молю я,  
Расскажи моей царице, как скитаюсь я, тоскуя.

Вот свидетельствуют звезды, наклонясь надо мною,  
Солнце, Отарид, Муштари и Зуал, полны тоскою,  
Аспироз, Марих с Луною на мои взирают муки, —  
Не покинь меня, царица, в день печали и разлуки!

И опять сказал он сердцу: — Сердце, полно убиваться.  
Дьявол нас подстерегает, чтоб над нами надругаться.  
Над челом моей царицы реют вороновы крылья.  
Чтобы радость к нам вернулась, собери свои усилья.

Если я в живых останусь, если мужественным буду,  
Может быть, увижу солнце и о муках позабуду.  
Сладко пел прекрасный витязь, слез поток струился, дробен,  
Соловей пред Автандилом был сове лесной подобен.

Слыша пенье Автандила, звери плакали лесные,  
Из реки на берег камни выходили, как живые,  
И внимали, и дивились, и напев его печальный  
Заставлял их горько плакать над душой многострадальной.

### Сказание семнадцатое

#### О том, как Автандил прибыл в Мультгазанзар

Долго длился путь унылый, лишь на день семидесятый  
Автандил заметил в море тень ладьи продолговатой.  
Моряки пристали к суше. И спросил у них герой:  
— Чье, скажите, это царство? Есть ли город тут какой?

И сказали мореходы: — Здесь турецкая граница,  
Там — рубеж Мультгазанзара. Недалеко и столица.  
Правит этим славным царством витязь доблестный Фридон,  
Муж воинственный и щедрый, всех царей сильнее он.

<sup>1</sup> Аспироз — Венера, планета любви.

<sup>2</sup> Отарид — Меркурий, планета путешествия и торговли.

Автандил коня пришпорил и помчался по дороге.  
В отдалении показались белоснежные чертоги.  
Сотни воинов отважных окружали цепью луг,  
Стрелы в воздухе носились, звери падали вокруг.

Вдруг над самою охотой молодой орел поднялся.  
Автандил за лук схватился и за птицею погнался.  
Метким выстрелом сраженный, пал орел. И Автандил,  
Летуну подрезав крылья, снова к войску поспешил.

Расступился круг широкий, и Фридон с холма крутого  
Увидал перед собою чужестранца молодого.  
Вот раба послал он к гостю и велел ему узнать,  
Кто осмелился без спросу цепь облавы разорвать.

Раб под'ехал к Автандилу, но, взглянув на лик прекрасный,  
Словно столб, остановился, восхищенный и безгласный.  
Витязь молвил: — Возвращайся к господину твоему.  
Брат названный Тариэла прибыл, посланный к нему.

И когда Фридон услышал имя друга Тариэла,  
Сердце громко в нем забилося и душа повеселела.  
Быстро он с холма спустился и воскликнул поражен:  
— Этот витязь равен солнцу. Коль не солнце, кто же он?

Слезли витязи на землю, крепко обняли друг друга,  
Сотни воинов сбежались из охотничьего круга,  
Все смотрели на пришельца, все дивились. Наконец  
На коней герои сели и помчались во дворец.

И сказал Фридону витязь: — Чтоб мое узнал ты дело —  
Кто я, еду я откуда, где узнал я Тариэла, —  
Расскажу тебе всю повесть, весь печальный мой рассказ.  
Тариэл, мой брат названный, вспоминает нынче нас.

И поведал он Фридону все от самого начала —  
Как любимая царица в дальний путь его послала,  
Как увидел он героя, побратался как он с ним,  
Как живет в пещере витязь, одиночеством томим.

Услыхав рассказ печальный, царь заплакал с Автандиллом,  
Вся окрестность огласилась причитанием унылым,  
Слез поток неудержимый был ресницами запружен,  
И катились по ланитам только несколько жемчужин.

И вослед царю Фридону стража громко зарыдала —  
Те себя по лицам били, те швыряли покрывала,  
Автандил очнулся первый, он скрепил себя и скоро  
Потолком ресниц тяжелых черных глаз прикрыл озеро.

Так вошли герои в город. Посреди высоких башен  
Там стоял дворец Фридона, и велик, и разукрашен,  
Слуги в платьях драгоценных красовались длинным строем,  
И вельможи шли навстречу, восхищенные героем.

Вот за стол друзья уселись. Время трапезы приспело.  
Сто вельмож в одеждах пышных по бокам от них сидело.  
Утварь чудная явилась, все вокруг засуетилось,  
И вино в высоких кубках зашипело, заклубилось.

Пир до ночи продолжался. Но рабы пришли толпою  
И, омыв герою тело благовонною водою,  
Облекли его в одежды, коих не было дороже,  
Препоясали атласом и устроили на ложе.

Так в весельи и в забавах дни за днями проходили,  
Царь Фридон души не чаял в благородном Автандиле.  
Наконец взмолился витязь: — О, Фридон, не обессудь,  
Должен я тебя покинуть и пуститься в дальний путь.

Царь Фридон ответил: — Знаю, спорить мне не подобает,  
Ты спешешь, огнем великим сердце витязя пылает.  
Но, чтоб в горестных скитаньях не забыл ты про меня,  
Дам тебе рабов я верных и послушного коня.

Четырех рабов он кликнул и герою для сраженья  
Боевые вынес латы и прислал вооруженье.  
Меру золота отвесил, иноходца подарил, —  
Статный конь в богатой сбруе всех коней прекрасней был.

Вышли витязи за город, поднялись на холм высокий.  
— Здесь, — сказал Фридон, — пристала лодка девы черноокой.  
Два раба везли царевну, я хотел ее отнять,  
Но рабы, заслышав топот, в море бросились опять.

Автандил с царем Фридоном крепко обняли друг друга,  
Войско выстроилось цепью посреди большого луга.  
Автандил простился с войском, шлем надвинул боевой  
И помчался по дороге в край неведомо какой.

## Сказание восемнадцатое

### Битва Автандила с пиратами

День за днем — сто дней проходят. Солнце всходит и садится,  
Вдоль по берегу морскому Автандил с рабами мчится.  
Вот блеснул в заливе парус. Показались верблюды.  
На песке лежали кучей дорогих товаров груды

Караванчики стояли, призадумавшись, над морем.  
Лица были их печальны, и сердца об'яты горем.  
Автандил под'ехал ближе, произнес слова привета  
И спросил их: — Кто вы, люди? Из какой вы части света?

И сказал Усам премудрый, предводитель каравана:  
— Мы торговцы из Багдада, исповедники корана.  
Люди веры Магомета, мы не пьем вина хмельного.  
Ныне едем мы с товаром в славный град царя морского.



Битва Таризэла с хатайцами

Здесь какого-то беднягу полумертвого нашли мы,  
Вел корабль он из Египта, но, к купцам неумолимы,  
Кровожадные пираты на него в пути напали,  
Все разграбили товары и людей поубивали.

Лишь один бедняга этот избежал огня и пыток...  
Как нам быть? Обратнo ехать — понесем в делах убыток,  
Выйти в море тоже страшно — может больше быть потеря:  
Трудно справиться с врагами, силам собственным не веря.

— Не горюйте, — молвил витязь, — что напрасно вам томиться!  
Предназначенное богом пусть над нами совершится.  
Буду вашей я защитой и залогом вашей крови,  
Пусть приблизятся пираты — меч держу я наготове.

— Этот витязь крепок сердцем, — так Усам промолвил людям, —  
Под его защитой храброй в безопасности мы будем.  
Все со старцем согласились и, товары погрузив,  
На корабль спокойно сели и покинули залив.

Солнце яркое светило, ветер выдался попутный,  
Путешественникам выпал путь приятный и нетрудный.  
Вдруг вдали корабль пиратов показался с длинным флагом,  
Был таран на нем поставлен, приготовленный к атакам.

Завывая громко в трубы, шли грабители навстречу,  
Грозным голосом кричали, вызывая всех на сечу.  
Корабельщики в испуге побелели, точно мел.  
Только витязь был спокоен, только он не оробел.

— Вы, купцы, — сказал он, — трусы, на войну вы не ходили.  
Чтобы стрелами пираты в битве вас не перебили,  
Уходите вы отсюда, дверь прикройте за собой,  
Я один злодеев встречу и приму смертельный бой.

И когда, крича и воя, к ним приблизились пираты,  
Взял он палицу большую, неспеша оделся в латы,  
Шлем на голову надвинул и поднялся на корму.  
И корабль, грозя тараном, повернул свой нос к нему.

Вот таран взметнул навстречу наконецник свой лемешный.  
Автандил, вооруженный крепкой палицей железной,  
По бревну ударил страшно, и, разломлен пополам,  
Полетел таран в пучину и понесся по волнам.

Взвыли бедные пираты, но бежать уж было поздно,  
Прыгнул к ним бесстрашный витязь и оружие поднял грозно.  
Он иных кидал в пучину, друг о друга бил других,  
Восьмерых схватив за ноги, ударял в девятерых.

И в ужасной этой битве нелегко пришлось пиратам...  
Одержав победу, витязь корабли сцепил канатом  
И позвал купцов трусливых... Увидав, что кончен бой,  
Те пришли в себя и мигом появились всей толпой.

И когда корабль пиратов мореходы осмотрели,  
Столько там нашли сокровищ, сколь не видели доселе.  
Перечли они добычу и к себе перенесли,  
И корабль, разбитый в щепки, покидая, подожгли.

И сказал Усам премудрый, мореходов предводитель:  
— Витязь, ты защита наша, ты наш храбрый избавитель,  
Спас ты нас от верной смерти, не щадил себя в борьбе, —  
Ныне все товары наши мы приносим в дар тебе.

Автандил ответил: — Братя, если б я искал наживы,  
Все, что лучшего есть в мире, все в казне б моей нашли вы.  
Что сокровища мне ваши? Не обидел бог меня —  
Самого себя имею и отважного коня.

Об одном прошу вас, братя: собираясь у амбаров,  
Про меня вы говорите: «Вот хозяин всех товаров».  
Я купцом переоденусь и, пока не минул срок,  
Буду жить среди торговцев, нелюдим и одинок.

Услыхав такое слово, корабельщики сказали:  
— Видим мы, отважный витязь, — ты в заботе и печали,  
Все, о чем ты ни попросишь, каждый сделает из нас,  
Жизнь свою не пожалеет и сокровища отдаст.

День кончался беспокойный. Солнце тихо заходило,  
Моряки втащили якорь и поставили ветрило.  
Море вдруг заволновалось, ветер в мачтах зашумел,  
И корабль к царю морскому, словно птица, полетел.

---

# Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

(Продолжение <sup>1</sup>).

XI

Ночные тени

1

Мягкая, бесшумная машина, сверкая фарами, понеслась по шоссе, вниз к старому поселку. Вскоре она блеснула огнями на склоне холма и скрылась на повороте к железнодорожному мосту.

Шалнин сидел вместе с шофером и молчал. Мрачно молчал и Корытин. Он так и не понял, почему его сняли с дежурства и повезли в город. Всегда замкнутый, тяжелый характером, он был сейчас особенно угрюм. Братцева сменила его охотно и даже попросила не беспокоиться. Дело не в том, что его сняли с работы в неурочный час (это и раньше бывало), а в том, что на плотине идет монтаж «мухи» — новой конструкции передаточных блоков на стреле крана. «Муха» эта вызвала большое волнение среди бетонщиков и в отделе механизации. Он, Корытин, из осторожности и по свойственной ему недоверчивости ко всяким нововведениям эту «муху» встретил хмуро. Еще с юности и со студенческих времен он с благоговением относился ко всяким механизмам. Он принимал их, как абсо-

лютные, раз навсегда данные, конструкции. Они подавляли и пленяли его своим совершенством, законченностью, строгой целесообразностью и математически стройной связью деталей. Если эти механизмы часто портились или работали с перебоями, Корытин объяснял это только тем, что люди не знают машин, не умеют с ними обращаться, не преданы им до конца. Машина — идеальна, — думал он, — а человек — порочен. Поэтому он ненавидел всех рационализаторов и изобретателей, считал их выскочками и доморощенными Эдисонами. По его мнению, их просто надо было гнать со строительства, как вредных людей. Какой-то рабочий, какая-то мастеровщина только изуродует инструмент или машину, — пристроит какую-нибудь скобу, шишку, болванку на расейский манер, — а потом сгоришь со стыда перед иностранцами. И, когда профсоюзники в отчетах с особым ударением говорили о росте массового движения изобретателей и приводили цифры реализованных предложений, он испытывал странный внутренний протест и озлобление.

И вот на-днях, в часы его дежурства, на под'емнике, который обслуживал бригаду бетонщиц Катюши Бычковой — этой девицы, утопившей на-днях комсомольца при спуске бадьи, —

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. кн. 6 — 8 и 10 с. г.

и начали испытывать «муху». Глупее всего было то, что изобретение «мухи» приписывалось той же Катюше. В довершение всего на испытание пришел сам Шлиппе вместе с Кряжичем и Шепелем. Они, кажется, были искренно заинтересованы этой чепухой. Шепель исследовал собственными руками грубый металлический треугольник, несколько раз приказывал вирать и майнать бадью и очень глубокомысленно, с обычной неподвижностью в лице, повторял:

— Прекрасно. Очень хорошо. Единственная на свете муха, которая полезна для человека.

И уже совсем не ждал от него того поступка, который он совершил на глазах у всех. Он подошел к Катюше, обезумевшей от счастья, и поцеловал ее в обе щеки:

— Умница, умница! У меня, видите ли, тоже есть дочка ваших лет — Анечка. К сожалению, больна... калечка... туберкулез ног...

Катя даже покраснеть забыла от восторга:

— Спасибо вам, товарищ Шепель... И главное, за то, что одобрили нашу комсомольскую «муху». А я и не знала, дура такая, что у вас — дочка... Мы бы к ней всей бригадой нагрянули.

— К сожалению, опоздали: она отправлена в Москву — в диспансер, а оттуда, вероятно, ее увезут куда-нибудь на юг, в туберкулезник.

И он сразу же отвернулся и пошел к крану.

А сегодня эта «муха» монтировалась на всех под'емниках.

Обиженный и злой, он сидел рядом с Самородовым и бесился: этот жизне-радостный валет был невыносим своей болтовней и вертлявостью.

Самородов сидел секретарем в приемной Балеева и Глеба Чумалова и присосался к этому месту очень цепко и надежно. Это был веселый, легкий человек и в своей приемной, за письменным столом, перед целой батареей телефонов, чувствовал себя на высоте власти. Весь коричневый, — и волосы коричневые, парикмахерски прилизанные, и лицо, густо забрызганное вес-

нушками, и коричневый костюм, старательно вычищенный и выглаженный, со свежим рубчиком на брюках, и коричневые ботинки, — Самородов упивался своей ролью поверенного в делах начстра и первого заместителя. Он как будто был создан для этой ад'ютантской должности: доступный, общительный в приемной для всех, — от начотделов до рабочих, — он умел тонко, незаметно, лукаво показать свою неограниченную власть над всеми этими людьми и сортировать их по рангам и по положению, какое занимал каждый в производстве. С рабочими он обычно говорил как будто по-свойски, с грубоватой простотой, но небрежно, не глядя на них, с неясной улыбкой в глазах, скрытой коричневыми ресницами. Он обрывал свои слова внезапно, точно забывал о том, с кем говорил, и обращался к другому или брал одну из трубок телефона и забывал обо всех. С инженерами у него был тоже разговор на особый лад: вежливый, сдержанный, но снисходительно-панибратский. Все чувствовали его власть и знали, что только он один волен решать, для кого можно открыть двери в кабинеты Балеева и Чумалова. Он мог держать людей в приемной часами и мог разрешить войти в строгие комнаты вне очереди. Упивался он главным образом робостью и подхалимской вкрадчивостью инженеров. Они заискивали перед ним, льстили, почтительно называли его «дорогим товарищем Самородовым» или — по имени-отчеству.

Инженер, с почтенной сединой, с большим стажем, заслуженный специалист, умоляюще ловил его взгляд:

— Я вас прошу, дорогой товарищ Самородов, доложить Викентию Михайловичу...

Самородов фамильярно хлопал его по плечу:

— Викентий Михайлович не может вас принять. Как же вы — без предупреждения?

— Я, видите ли, не мог дозвониться...

— Извиняюсь, — насмешливо улыбнулся Самородов и оглядывал толпу ожидающих: смотрите, мол, на этого

чудака и оцените его по достоинству.— Извиняюсь... Как это не могли дозвониться?.. Что за чепуха?

И живо обращался к другому, не менее заслуженному инженеру. А первый сконфуженно и грустно мялся около стола и отходил, обессиленный и изумленный. Рабочие входили к Самородову, по обыкновению, независимо и уверенно:

— Чумалов у себя?

Самородов, не отвечая, брал трубку и дул в блестящий диск микрофона. С присущей ему благосклонной улыбкой, он приветственно тряс рукой и оставлял рабочего беспомощно топтаться на месте. Потом порывисто поднимался и, не обращая внимания на людей, заботливо и торопливо, с бумажками в руках, шел к двери Балеева или Чумалова и скрывался там. Посетители терпеливо ждали, переговариваясь и переругиваясь шопотом, или, скучая, слонялись по комнате.

Кто-нибудь из рабочих пытался поднять бурю, когда появлялся с сияющей улыбкой Самородов:

— Слушай, Самородов: долго ты будешь парить в своей бане?

— А в чем дело? — не угашая улыбки, недоумевал он.

— Как это в чем дело? Прошло полчаса, а мне опять приходится начинать от печки. Я спрашивал у тебя: здесь Чумалов?

— Ну, здесь, у себя. Занят — не принимает.

— Да ты понимаешь, какое у меня дело?.. Дышать нельзя...

— А ты не дыши, если нельзя...

— Да чем он занят?

Самородов обрывал рабочего смехом:

— Он мух ловит, как ты.

— Как это — мух? Чего ты зубы скалишь, скажи, пожалуйста...

Рабочий выкатывал от ярости глаза и серел от гнева. Он пыхтел и направлялся к двери кабинета Чумалова.

Но не успевал сделать двух-трех шагов, как гибкая рука Самородова брала его подмышку:

— Порядочек, дорогой мой, порядочек... Посиди, потерпи... Полезно...

Рабочий злобно махал рукой и уходил с ругательствами. А Самородов смотрел ему вслед, играя зелеными глазами и напевая чувствительным тенорком: «У самовара я и моя Маша...».

Уютно развалившись в машине, он и сейчас напевал этот фокстротец, а Корытин пыхтел и с ненавистью слушал сипловатый его голосок. Неслись за стеклами лимузина последние бело-стенные бараки строительства, ярко освещенные электричеством,плыли далекие россыпи огней на комбинатах и в соцгороде. Впереди бездонной тьмой чернела ночь. В освещенной дымной полосе летела навстречу мостовая шоссе.

— Чего сопишь, Корытин? Отчего ты всегда такой мрачный, товарищ прораб?

— Мне грустно оттого, что весело тебе... — с злой иронией прогудел Корытин.

— В первый раз слышу от тебя остроумное слово, да и то краденое.

— Умей украсть так, чтобы уворованное пустить в дело с коэффициентом полезного действия.

— Мудро, товарищ прораб, но скучно. А скучный ты оттого, что завистлив и бездарен. Тебе надо создать любовь... страсть к какой-нибудь девочке... ну, скажем, вроде Бочки...

Шалнин заикался от смеха, но ничего не сказал. А Самородов балагурил с серьезностью и глубокомыслием скомо-роха:

— Любовь дает зарядку, дорогой мой. От страсти люди твоего темперамента начинают реветь быками. А это уж что-нибудь да значит. Говорят, от любви к такой Бочке даже Юпитер превратился в быка и в припадке сладострастия уволок на рогах целую Европу. А что тебе стоит в любовном экстазе перевернуть только Бочку?.. Живешь ты с нею в одной квартире, бок о бок, стена в стену, и неужели не чувствуешь ее девственной прелести? Будь мужественным — отними ее от Ватагина.

— Чего-о?.. — пораженный, обернулся Шалнин. — Позволь... ведь ты же врешь, как крокодил...

— Крокодилы умеют только кушать людей, которые врут, а сами лишены этого дара. Надо знать зоологию, Шалнин, тогда ты не будешь сплетничать перед человечеством.

Шалнин обиделся и отвернулся.

Корытин уважал Бочку, хотя и мало общался с нею: и по партработе, и по личному ее поведению он видел ее всегда чистой, строгой женщиной. Люди мало его интересовали: он к ним не испытывал никакого любопытства и привязанности, но ценил в человеке честность, ум и добропорядочность. Ватагина он ставил высоко и чувствовал его силу как руководителя партийной организации и как человека. Хотя он. Корытин, был уничтожен им на памятном собрании актива, но уважения к нему не потерял. Правда, его постановили исключить из партии как бывшего троцкиста за грубое нарушение партдисциплины и за враждебную вылазку, но тот же Ватагин вызвал его и сказал:

— Я пока задержу дело. Посмотрю и проверю тебя... очень крепко проверю, Корытин...

Конечно, он, Корытин, по существу, не выносит Ватагина и даже ненавидит его, но, объективно рассуждая, Ватагин — принципиальный человек и в своем поведении может служить образцом для всех.

— Ты бы лучше помолчал, Самородов: ты мизинца Ватагина не стоишь, а туда же лезешь со своим копытом.

И, покачав головой, показал пальцем на шофера.

— Да об этом же все воробьи чрикают, рыцарь печального образа...

— Да, такие воробьи, как ты...

— Нет, это же замечательно!.. — опять обернулся Шалнин. Лицо его, сухое, скопческое, ликовало и блаженно улыбалось.

Самородов, довольный тем, что привел в смятение даже такого наушника, как Шалнин, лукаво и загадочно ухмылялся. Он хорошо знал, что, если внезапно ошарашить человека неожиданной новостью, — неважно, будет ли это созданная им ложь, или подслушанная сплетня, или досужая догадка, — чело-

век сразу теряет самообладание. Но Самородов сам приходил в раж, когда такие скептики, как Корытин, не верили ему и давили его своей угрюмой трезвостью. Тогда он, закусив удила, несся во весь опор и сочинял одну нелепость за другой. Чувствовалось, что в этой головокружительной брехне есть какая-то преднамеренность, какая-то непонятная цель — своего рода продуманная программа.

— Да, кстати, Корытин: вот девочка... Братцева Танечка...

И он поцеловал кончики своих пальцев:

— Я бы из-за нее с удовольствием поменялся с тобой местами...

— Не трогай Братцеву, Самородов...

— Дорогой мой, — с грустным убеждением пропел Самородов: — эта великолепная женщина, к моему прискорбию, — дезертир с уголовщиной. Вот что-с... Некий человек пред'явил мне сегодня документик... ох, печальный... криминальный... и скандальный... — закончил он речитативом куплетиста.

На Шалнина это не произвело никакого впечатления: он сидел неподвижно и безучастно. Но Корытин рванулся к Самородову и возмущенно крикнул:

— Этого не может быть! Ерунда! Колоколь своим языком, но знай меру.

— Что с тобой, достойнейший прораб?

— Ты брешешь нагло, Самородов. Татьяна Ивановна — не из тех, которые безнаказанно спускают всякие мерзости. При мне о Братцевой — ни слова, знай это.

Самородов презрительно выпятил губы и, со смехом в глазах, оглядел Корытина:

— Пожалуйста, не укуси.

— Ты сообщил ей об этом?..

— Зачем же волновать девочку? Я прежде всего — джентльмен.

— Ты — прохвост, а не джентльмен.

Самородов вынул из внутреннего кармашка пиджака зеркальце и протянул Корытину.

— Погляди в стеклышко: очень помогает от нервов — успокаивает.

Корытин отшвырнул от себя руку Самородова и вцепился в плечо шофера: — Давай обратно!

Шофер затормозил машину, но Самородов и Шалнин возмутились и наперебой закричали:

— Езжай дальше!.. Что за дурацкие капризы!.. Мы должны быть в городе во-время...

— Тогда остановитесь: я пойду пешком.

Шалнин повернулся к Корытину, и желтое лицо его исказилось испугом и злобой. Машина понеслась дальше.

Корытин тяжело откинулся назад и мрачно онемел.

«У самовара я и моя Маша...».

«О, сволочь поганая! и от таких гадин зависит человеческая судьба...».

## 2

Машина остановилась у райкома партии. В этом трехэтажном здании помещался также и райисполком. Огней на улице не было — она освещалась надворными нумерованными фонарями и светом из окон домов. На здании райкома хрипло и нечленораздельно рычал громкоговоритель, который, кажется, был слышен по всему городу.

Было по-осеннему холодно и сыро. Дул ветер и начал моросить дождь.

Шалнин приказал шоферу поставить машину в гараж горсовета и никуда не отлучаться.

Все трое подождали на тротуаре, когда отъедет машина, и пожаловались на ненастную погоду. Шалнин был в кожаном глянцево пальто, в кожаном картузе и крагах, а Корытин — в своем обычном рабочем костюме — теплая куртка, сапоги, теплая старая кепка.

Когда машина скрылась за углом, они пошли не в райком, а по улице — вверх по пологому подъему.

Было около восьми часов, когда они постучали в дверь к Ситному. Сквозь щели ставней виден был огонь в комнате. Дверь открыл сам Ситный и недружелюбно прогудел, пропуская их в тесную прихожую:

— Раздевайтесь и проходите. За точность одобряю.

Он указал на вешалку, на которой рыхло обвисали два пальто, фуражка и очень добротная кепка с широкой тульей.

«Заграничная...» — с завистью подумал Шалнин.

— Дождь начинается... — почему-то некстати усмехнулся он. — Холодно. Настоящая осень.

— К жвачным животным относятся: верблюд и Шалнин... — в тон ему сказал Самородов.

Плоское, скуластое лицо Ситного сильно смахивало на лицо китайца.

Корытин чувствовал себя нехорошо: мучила тревога оттого, что поехал сюда вместе с людьми, которых он не уважал. Для чего нужно было итти на квартиру к Ситному, который был во враждебных отношениях с партруководями строительства? Если тут были партийные дела, то почему эти дела не обсудить в райкоме? Что за конспирация? Почему нельзя было под'ехать на машине прямо к квартире Ситного?

Прошли в комнату — просторную и пустую. А оттого, что на столе тускло горела лампа под полотняным желтым абажуром, комната казалась грязной и душной. На стене перед кроватью висел старенький, дешевый ковер и на нем — охотничье ружье, ягдташ, револьвер в желтой кобуре и кавказский пояс с кинжалом.

По комнате задумчиво ходил, заложив руки за спину, маленький, толстенький человек в дорогом сером костюме, в свежем воротничке с шелковым фиолетовым галстуком. Волосы на голове — полуседы, коротко остриженные, полное лицо чисто выбрито. Он повернулся к вошедшим и блеснул выпуклыми внимательными глазами, а вздернутый рыхлый нос с широкими ноздрями чутко понюхал их издали.

— Познакомьтесь... — нехотя промямлил Ситный: — Это — товарищ Забодаев... Надеюсь, знаете...

Да, Забодаева, конечно, они знали, хотя никогда не видели его в натуре. Вот он какой, этот Забодаев! Внушительного мало. Они представляли его себе высоким, мускулистым, а он, оказывается, коротконогий уродец, с пяточком

вместо носа. Этот Забодаев когда-то был одним из лидеров троцкистской оппозиции. При разгроме троцкистско-зиновьевского блока он был исключен из партии, а потом покаялся, напечатал в газете истерическую исповедь. В этой исповеди он громил контрреволюционный блок и расправлялся с собою беспощадно, проклиная те дни, когда он стал на преступный путь борьбы с генеральной линией партии. Этой исповедью он вбивал осиновый кол в свое антипартийное прошлое, заявлял, что навсегда покончил с своим позором, давал клятву быть верным партии и самоотверженно бороться за сталинскую линию Центрального комитета. После этого о нем не было слышно года два. Говорили, что он работает не то в Госплане, не то в Тяжпроме.

Эта встреча была неожиданной для всех. Шалнин сразу же с подобострастной улыбочкой подошел к Забодаеву и обеими руками схватил его руку:

— Очень, очень счастлив, что увидел... что имею удовольствие позжать вашу замечательную руку...

— Чем же она замечательна? — польщенный, спросил насмешливо Забодаев и, не ожидая ответа, протянул руку Корытину:

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь, товарищи!.. Знаменитые люди... Гиганты строите... социализм в одной стране...

Потом сразу же повернулся к Ситному и крикнул высоким, надтреснутым тенорком:

— Итак, товарищ Ситный?.. До поезда осталось три часа... Утром я должен быть на рудниках... Ну-с?.. Время дорого...

Забодаев сел отдельно, сбоку стола, Шалнин и Корытин — по другую сторону, а Ситный с Самородовым — между ними. Забодаев испытующе прищурил глаза и оглядел всех молча и пронизательно. Все увидели, что из ноздрей у него торчали волосы. Потом он сразу нахмурился, оперся локтями о стол и погладил обеими руками волосы на голове. Затем вынул из кармана пенсне и втиснул его в переносье. Лицо его стало свиным.

— Надеюсь, что здесь все люди...

Он вопросительно поглядел поверх пенсне на Ситного.

— Да! — с холодной злобой подтвердил Ситный.

Корытин сидел за столом, мрачно вглядываясь в свои смуглые руки. Ему было нудно на душе. Обида, унижение, которые пережил он за эти дни, мучили его постоянно. Эту боль он не мог забыть даже в часы напряженной работы на плотине. Как самолюбивый человек, он остро чувствовал отчужденность от партийцев своего участка: они относились к нему настороженно. А когда встречались, то старались пройти мимо. Гудим вообще не замечал его, а Ватагин в тот час, когда погиб комсомолец Максюк, подошел к нему и с убийственным спокойствием сказал:

— Тебе нужно освежиться, Корытин. Ты ничего не имеешь против командировки на Север?

— Мне все равно, товарищ Ватагин, где работать: если я больше буду полезен на Севере, можно и туда.

— Прежде всего, это будет более полезно для тебя лично: там воспитывают и выправляют людей неплохо.

Впервые в тот миг Корытин испытал потрясающее чувство мстительной вражды к этому человеку. Она отравляла его кровь и не давала ему покоя. Часто во время сна его душили кошмары. Он просыпался от собственных стонов, с ощущением гнетущей обреченности. Свою ненависть он перенес и на Гудима, и на Бочку, и на Цезаря, и на партийцев плотины. Но вместе с этой ненавистью он никак не мог побороть в себе уважения к Мирону и, помимо воли, готов был защищать его от всяких оскорбительных против него наговоров и нападок.

«Он честный и прямой» — думал Корытин и обидно чувствовал, что, хотя он тоже честен в себе, но бессильно ничтожен перед ним.

Шалнин только и пережевывает свои бесконечные обиды. Он все время жалуется, что его преследуют, помыкают им на каждом шагу и нарочно маринуют в такой дыре, как отдел экономики труда. Самородов же просто не может жить без авантюры. Ситный — другое дело. Это — старый, опытный партработник.

Против Ватагина в продолжение этих двух лет он вел неустанную, затяжную борьбу. Он действовал всеми мерами и средствами, чтобы дискредитировать партруководство стройки: снимал ценных работников-партийцев, посылал штрафных, опороченных, пьяниц, бездарных и нечистых на руку людей. Во время прорыва он сумел поставить на бюро райкома вопрос о неспособности Ватагина руководить парторганизацией. Правда, тогда на бюро райкома он не добился решения о снятии Ватагина, но Ватагин был бит и опорочен достаточно. Самое же главное в том, что создан антагонизм между районным руководством и руководством объединенного строительства. Этот антагонизм углубляется и ширится. Дубяга уже не может равнодушно слышать фамилии Ватагина, потому что Ватагин однажды пытался разоблачить его при людях в правом уклоне. После этой стычки Дубяга уже не стеснялся открыто заявлять, что сплошная коллективизация ведет деревню к разрушению, что план хлебосдачи и осеннего сева в тех размерах, какие предписаны краем, невыполним. Приезжал к Дубяге Гудим, и у них произошел резкий разговор. Впрочем, бурно держал себя только Дубяга, а Гудим невозмутимо задавал вопросы и информировал его о фактах нетерпимого зажима и прямо враждебного отношения к строительским товарищам на селе.

— Значит, загнули, наглушили ребята... — обозленно оборвал его Дубяга. — Не зная броду, сунулись в воду... Очевидно, провоцировали колхозников...

— Ты так думаешь? — рассеянно спросил его Гудим.

— А как же иначе?

Гудим поднялся, не сказал ни слова и вышел из кабинета Дубяги.

Ситный коротко информировал об этом Забодаева, с усмешкой, себе на уме.

— А теперь нам нужно отталкиваться только от этого котла, — сказал он с злым убеждением. — Ватагин, не смотря на прежнюю лихорадку, поль-

зуется огромным авторитетом. Это надо отметить как объективный факт.

Ситный оскалил желтые зубы и схлебнул слюну. Забодаев с опаской покосился на него:

— Но армия не вся горит энтузиазмом. Кое-где идет брожение... На бетонировке едва ли возможно дать свыше шестидесяти под'емов, а по сверхплану число под'емов за смену должно быть не менее ста двадцати. Так, кажется, Коротин?

— Было так, — угрюмо отозвался Коротин: — Но очень возможно, что сейчас не только сто двадцать пять, но и сто пятьдесят будут реальны.

Ситный подозрительно повернулся к Коротину.

— Тем хуже для фактов... — глухо проворчал он. — Но всякая бешеная цифра построена на катастрофе... Пока это — закон.

— Работать будем без аварий... — упрямо подчеркнул Коротин.

Забодаев опять надел пенсне и шевельнул длинной верхней губой.

— Положение, друзья, очень сложное... — сказал он раздраженным тенорком. — Не надо закрывать глаз на то, что успехи строительства — несомненны. Бурный рост коллективизации — факт бесспорный. Авторитет партии и правительства растет и укрепляется. Другой вопрос: будет ли построен социализм в одной стране? Индустриальная база уже создана, этого нельзя отрицать. Деревня механизмируется. Мы разгромлены, как внутрипартийная оппозиция. Опровергать все это — разговор для бедных. Сталинская политика победила во всех областях жизни...

Он умолк, снял пенсне и угрожающе взглянул по очереди на каждого. Все молчали. Ситный кряхтел от нетерпения:

— Так что же остается делать? Слагать оружие, капитулировать?

Забодаев встал, взял Ситного под локоть, отвел в сторону и зашептал ему что-то на ухо. Они стояли спинами к остальным, но видно было, что Забодаев сурово и жестко внушал что-

то Ситному. Потом он громко закончил:

— Это имейте в виду. Отвечаете головой.

Ситный с досадой огрызнулся:

— Какой же может быть разговор?.. Это же ясно, как божий день.

Они сделали вид, что разговор у них был невинный, даже улыбка мерцала на лицах, загадочная и удовлетворенная. Забодаев благодушно, но безапелляционно, обращаясь только к Ситному, продолжал:

— При таких обстоятельствах, создавшихся в стране, меняются тактика и стратегия борьбы. При всех условиях надо заявлять о своей преданности. Надо проникать во все участки народного хозяйства, а главное — в партийный аппарат, на руководящие посты. Надо организовать вокруг себя все недовольные элементы и применять все методы борьбы, спланировать вокруг себя всех антисоветски настроенных людей — инженеров, сезонников и так далее...

— Одним словом, охотников за черепами... — встрепнулся Самородов. — У нас их достаточно... Есть даже бывшие белогвардейцы-офицеры... на подрывных работах...

Корытин сидел неподвижно и поводил глазами оглушенного быка. А Забодаев быстро сорвал с носа пенсне и с сердитым недоумением уставился на Самородова.

— Помолчи ты... не пляши, плясун!.. — пробурчал Шалнин и даже приложил ладонь к уху, чтобы уловить каждое слово Забодаева, хотя и не был глух.

— Что ж, мы не должны гнушаться белогвардейцами... — с явным удовольствием, как показалось Корытину, сказал Забодаев. — Мало этого: есть иностранцы, часть которых, несомненно, послана сюда для известной работы. Отсюда вытекает и программа действий. Создать острое недовольство масс против существующего порядка. Действовать наверняка. Разумеется, необходимо и устранение наиболее опасных и популярных фигур. Не забывать, что такая фигура ведет за собою десятки и сотни тысяч. Следовательно, устранение

ее вызывает растерянность и дезорганизацию. Чтобы возглавить массы, надо их сначала обезглавить. Надо помнить, что страна — в грознейшем окружении: война приближается скорее, чем думают многие. Наша задача — ускорить развязку.

Забодаев поиграл пенсне и спрятал его в кармашек. Он был доволен собою, говорил так просто, четко и сильно, что подавил всех до невменяемости. Шалнин сидел, серый от ужаса — мертвец-мертвецом.

— Вот это — да!.. — смешливо пропел Самородов.

Его не потрясли слова Забодаева, как Шалнина или этого угрюмого Корытина. Наоборот, он слушал Забодаева очарованно, точно тот рассказывал увлекательную детективную или фантастическую новеллу.

— Всю ответственность я возлагаю на товарища Ситного, — строго, но с улыбкой сказал Забодаев. — Никаких колебаний. Директивы даны.

Верхняя, чисто выбритая губа его вытянулась хоботком, и под нею блеснули золотые зубы.

— Ну-с?.. План и практическое его осуществление — сообразно с местными условиями.

### 3

Забодаев заторопился. Видно было, что он озабочен. В гостинице скучала его любовница — из «бывших». Она капризна, любит одеваться и шикарно жить. Она требует много денег, радостей, преданности и жертв с его стороны. Вот сейчас она сидит одна и скучает, бедняжка. И когда он придет к ней, она положит на его плечи свои душистые, нежные руки и скажет с милым упреком:

— Ах, как я безумно скучала без тебя!.. Ты меня убиваешь...

К удивлению всех, подошел к нему тяжелым шагом Корытин. Уткнув лицо в пол и влипая белками в башмаки Забодаева, он с непонятным гневом спросил его в упор:

— Скажите, Забодаев: раз вы заявили, что троцкизм давно вышел из

рамок внутривластной оппозиции, значит дело идет о контрреволюции?

Изучая шею Кобытина и его неуклюжую фигуру в теплой куртке, Забодаев насмешливо проворчал:

— А вас пугает это слово? Всякая эпоха диктует свои поправки к теории и практике борьбы.

— Это — не то и не так... — с угрюмым упрямством крутил головою Кобытин. — Это — натяжка и чушь. Вы притягиваете за волосы вещи, которые имеют совсем другой смысл.

Забодаев раздраженно засмеялся и сделал отталкивающий жест в сторону Кобытина:

— Вы наступаете мне на ноги — пощадите. К вашему сведению, эти вопросы уже решены и не такими головами, как наши. Теперь от вас только требуется оперативная работа.

Он хотел направиться к двери, но Кобытин не пустил его и даже заставил отступить назад:

— А теперь вы мне, Забодаев, скажите; какая у вас программа? что вы противопоставляете линии ЦК?

— Программа одна — беспощадная борьба всеми возможными средствами и — только... Разрешите пройти...

Забодаев засопел и обозленно оглядел Кобытина.

— Но во имя чего? — Кобытин упрямо стоял у него на дороге.

— Всякая платформа претерпевает те или иные изменения в соответствии с изменением политической ситуации.

— Вы не ответили мне прямо на мой вопрос.

Ситный сжал его локоть и потянул в сторону.

— Поговорим об этом после. Чучело!

— Подожди, Ситный, — мрачно зарычал на него Кобытин: — Я хочу услышать мудрое слово из уст самого Забодаева. Тут ставится на карту жизнь. Во имя какого политического идеала?

Даже Ситный был обескуражен поведением Кобытина: этот угрюмый тюлень, который, как он знал, ненавидел всех, начиная с Ватагина, и который не скрывал своих троцкистских взглядов, теперь неожиданно и непонятно встал на

дыбы. Чорт его знает, на что он способен в эту минуту. Эти двое остолопов — Шалнин и Самородов — прожужжали ему уши насчет троцкистской непримиримости Кобытина. Сглупил: недостаточно прошула дурака.

Самородов схватил под руку Кобытина и потащил его за собою:

— Ну, иди, иди... Цицерон! Доколе ты, Катилина?..

Кобытин вырвал руку и нечаянно ударил его локтем в челюсть. Самородов с немим изумлением схватился за лицо и отвернулся.

— Я должен знать, — хрипел Кобытин: — Пусть мне объяснит Забодаев: что значит его резко покаянная статья, которой он ставил крест над своим прошлым? Эта статья жива в моей памяти...

— Я удивляюсь вопросу Кобытина...

Забодаев с улыбкой взглянул на Ситного и быстро отвернулся.

Ситный взял за шиворот Кобытина и дернул назад.

Кобытин испугался, сразу обмяк, робко огляделся, будто не узнавая ни людей, ни места, где он находился, и грузно пошел к двери.

В комнате возбужденно зашептались и несдержанно забормотали все разом, а потом опять замолчали.

Все вышли в прихожую, чтобы проводить Забодаева. Никто не взглянул на Кобытина.

— Машину бы лучше вызвать, товарищ Забодаев... — угодливо залепетал Шалнин.

— Ни в коем случае...

Он вдруг улыбнулся Кобытину и потрепал его по плечу, но глаза его были холодны и злы.

— А вы мне нравитесь, Кобытин. Крепкий, принципиальный человек. Вы требуете твердой базы. И вы правы. На обратном пути, дней через десять, мы поговорим с вами по-настоящему. А до того времени рекомендую потолковать с Ситным.

В широком заграничном пальто, в широкой теплой кепке, Забодаев легко выпорхнул в дождливую темь улицы. В открытую дверь видно было, как

на пальто сыпались огненные капли дождя.

Ситный навалился на Корытина и, молча обхватив его рукою за плечи, настойчиво повел в комнату. Самородов и Шалнин затолкались сзади. Самородов смешливо хмыкал и сипленько бормотал:

— Конечно, Корытин, ты — великий человек, но зачем же салазки ломать...

Шалнин напяливал на себя свою вышителюю кожу и липко шелестел ею.

— Впечатлительный человек... — изумлялся Самородов. — В таком трансе он способен на большие дела.

— Ну-с, Корытин... — ухмыльнулся Ситный. — Перед отъездом, как говорится, надо присесть.

Но никто не сел. Ситный опять навалился грудью на Корытина и с тягостными любопытством изучал его китайскими глазами. Руки он засунул в карманы брюк. Самородов, лукаво улыбаясь, топтался поодаль: он как будто опасался подходить к Корытину. А Корытин был уже попрежнему безучастно мрачен и сосредоточен в себе. Он вспомнил о Братцевой и мучительно решал вопрос, как бы предупредить ее и помочь ей избежать несчастья.

И он решил: как только они возвратятся на строительство, сейчас же пойдет на плотину и сменит ее. Он посоветует пойти... к кому бы пойти?.. К Гудиму? Нет. К Осокину? Осокин — пешка и, по своей излишней сердечности, только испортит дело. Да, к Бочке — вот к кому.

— Ну-с, Корытин, — глухо окал в лицо ему Ситный. — Ну-с, так вот. Ты слишком много рассуждаешь, друг. Время дискуссий миновало: об этом забудь навсегда. Ты знаешь, как действуют фашисты?

— Но ведь мы — не фашисты...

— Не все плохо и у фашистов. Мы не боимся страшных слов: мы — люди без предрассудков. Я тебя, Корытин, понял так, что ты еще не освободился от привычки потрепаться во всяких там дискуссионных неясностях. Ты — старый троцкист, а я официально троцкистом не числюсь. Я в глазах партии правовверен и безупречен. Но я все же

зрелее и опытнее тебя, потому что проводил сложнейшую и ответственнейшую работу ряд лет. Я выполнял большие задания, которые непосредственно поручались мне большими людьми. Так вот: никаких шатаний, Корытин... никакого отступления... Если будет отмечено хотя бы малейший шаг к устранению от нашей борьбы... ну, назовем это изменой (он в улыбке опять показал огромные верхние зубы)... мы поможем тебе найти выход из затруднения.

Корытин отпрянул от Ситного и стал ловить какую-то опору вокруг себя. И в этот миг ему почудилось, что Самородов заикался от смеха и опять сипленько запел сквозь зубы свой пошленький мотивчик: «У самовара я и моя Маша...».

— Я — не бандит... не заговорщик...

Корытин тяжело дышал и медленно пятился от Ситного. А Ситный так же медленно наступал на него, и Корытин чувствовал, что сейчас упадет, что за ним — пропасть и гибель. И эта простая комната, и эти люди, которых он привык встречать такими обыкновенными и незначительными, вдруг превратились в холодных злодеев, и эти злодеи имеют над ним чудовищную власть.

— Поздно, Корытин... — спокойно, почти равнодушно сказал Ситный. — Поздно...

Ситный был страшен в своем спокойствии. Он улыбался и душил Корытина дружеским голосом и неотразимым добродушием. И Корытин впервые в жизни испытал смертельный холод во внутренних частях. Эта минута ему показалась до ужаса безнадежной.

— Я не желаю... Понимаешь?.. — с злобным отчаянием прохрипел он. — Это — обман... бандитизм...

Самородов пропадал и опять появлялся мутной тенью перед Корытиным. Ситный неотвратимо заполнял собою всю комнату. На мгновение Корытин ясно услышал шум дождя за окном и взвизги ветра. Слово по крутой дуге Ситный обошел его и мгновенно очутился с другой стороны вместе с трупно-синим Шалниным и веселым Самородовым.

— Вы, друзья, можете ехать, а мы с Корытиным останемся. Нам нужно с ним поговорить по душам. Он ночует у меня.

В эти короткие мгновения Корытин понял, что его прямой, открытый бунт против этой шайки нелеп, что он глуп в своей благородной искренности. Он — не трус, он никогда не теряет головы, и у него есть характер и упрямая выдержка, чтобы сохранять трезвость мысли и то напряженное хладнокровие в бурные минуты, которые превращают волю в туго натянутую струну. А здесь он изменил себе: доверчиво пошел на удочку. Здесь, в этой обманчивой домашней обстановке, с привычными людьми, которых он, оказывается, совсем не знал, распахнул душу и добровольно отдал себя в плен.

— Спасибо за гостеприимство... — иронически сказал он с гримасой, похожей на улыбку. — Ночевать мне у тебя — не с руки: я должен вступить на дежурство да и особого удовольствия не имею.

— Ну? А я думал, что ты не прочь подискутировать...

— Зачем? Мы с тобой люди дела и практических целей. Мы с тобой действуем уверенно и наверняка только тогда, когда под ногами твердая почва.

— Правильно. Ноги должны ходить, руки — действовать, а голова — направлять. Все просто без дискуссий. Значит, дело — в шляпе?

Корытин с яростной усмешкой ответил похабным словом.

Самородов захохотал в восторге:

— Значит, договорились. Кажется, все просто и ясно без дискуссий?

— Чего проще. Ясно, как чертеж.

— Ну, так вот, Корытин. Хоть ты парень с головой, но на одну свою голову не полагайся. Кроме того, есть неизвестные вам головы, которые однако привешены всюду, как фонари на вашей стройке.

Он потух и утомленно промямлил:

— Каждый из вас дает информацию о результатах своих действий отдельно, строго конспиративно и непосредственно мне, чтобы координировать

эти действия для большего эффекта и скорейшего достижения успеха. Корытин имеет дело с Кряжичем и Симполовичем. Так? Кажется, понятно. Мы толкуем отдельно. Я приеду на-днях. Кстати, ты меня познакомишь с работой под'емников.

Шалнин ожил и официально отрапортовал Ситному, с бессмысленно мутными глазами:

— Я свое задание выполняю точно, товарищ Ситный.

— Знаю. Ты слишком уж маленькие камешки бросаешь в воду: круги расходятся слабо. Вот Самородов держит себя весело. Приеду полюбоваться на взрывы электротоком. Говорят, внушительно...

## 4

Обратно всю дорогу ехали молча. Корытин хотел сесть впереди, вместе с шофером, но его грубо оттолкнул Шалнин. Самородов отмахнул дверцу и сел только тогда, когда Корытин завалился в угол лимузина..

За окнами бездонно чернел дождливый мрак. Окна плакали, и сползающие по стеклу капли искрились от матового плафончика наверху.

Впереди туманно пылилось на холмистом горизонте зарево строительства. По крыше лимузина хлестал дождь, а сбоку Корытина повизгивал ветер. Иногда машина врезалась в лужу и расхлестывала воду по сторонам дороги.

Самородов, довольный и благодушный, уютно лежал в мягком углу и напевал сипленьким фальцетом какой-то фокстротик. Он закрывал глаза, наслаждаясь покоем. И Корытина почему-то тянуло наблюдать за ним. Он косился на него и видел, что этот сукин сын думает о чем-то, улыбаясь, — вероятно, вдохновленный и Ситным, и Забодаевым, — и аккомпанирует сердцепипательным фокстротцем своим, самородовским, мыслям. Этот обрызганный нечистоплотными веснушками человек воспринимал события, как анекдоты, и сам провоцировал людей на скандальные и нелепые столкновения. А потом рассказывал об этом в гостях и был доволен, когда все хохотали. Однажды он убедил

притти на вечер к Шалнину Мандрыгина, секретаря рабочкома, который вообще никогда не бывал у Шалнина. А Шалнину, лукаво подмигивая, дал понять, что Мандрыгин атакует его жену, такую же костлявую, длинноногую даму. Он намекнул ему, что в этот вечер Мандрыгин, зная об отсутствии Шалнина, ввалится в его квартиру в надежде добиться от мадам Шалниной любовной взаимности. Об этом он осведомлен из самых верных источников. Подозрительный, обидчивый и ревнивый, Шалнин бросил заседание в кабинете Шлиппе, где ему надлежало выступить с очередным докладом, и побежал домой. Ждал он Мандрыгина с час и приказал жене сидеть в его кабинете, испугав ее до немоты. Несколько раз звонил телефон, но он не подходил к аппарату. И, когда раздался стук в дверь, он в бешенстве распахнул ее и ткнул ногою в живот старуху-уборщицу, которую прислали за ним из управления. Она с ревом полетела со ступенек. Мандрыгин в эту минуту входил в калитку. Шалнин с грохотом захлопнул дверь. Из-за бегства Шалнина заседание было отменено. А когда он возвратился в управление, Шлиппе сделал ему строгий выговор и пригрозил об'явить этот выговор в приказе. Самородов же хохотал в лицо Шалнину и с наслаждением напевал: «У самовара я и моя Маша...».

Первому встречному инженеру он вдруг выпаливал:

— Поздравляю вас. Вы — кандидат в начальники стройки на Чирчике.

Тот глупел от неожиданности и недоверчиво лепетал что-то о сплетнях, о слухах.

Укачиваемый плавным и мягким дрожанием машины, Самородов рассеянно, как бы сквозь дремоту, сказал, не прерывая мелодии:

— Ватагин при от'езде заявил Чумалову... слышишь, Кобытин?.. что ты будешь отправлен на балахнинские торфа...

— Ты ослышался... — проворчал Кобытин: — Это он о тебе говорил. Мне это известно.

— Хо-хо, будь спокоен, прораб...

Кобытин привык не верить болтовне Самородова, но сейчас слова его показались правдоподобными. Ведь Ватагин сам сказал ему на плетине насчет Севера. Пусть это была простая угроза, но Кобытин почувствовал тогда суровое предупреждение. Впрочем, Самородов не так глуп и легкомыслен. В этот вечер нечистоплотное его лицо было сосредоточено и даже минутами вдумчиво-строго. Его не взволновал Забодаев, точно он, Самородов, давно уже был в курсе дела. Выходит будто так, что у Самородова есть поведении. Его брехливая пакотня — это своего рода защитная мимикрия, маскировка.

Кобытина давила тоска. Как он смел позволить себе попасть в эту компанию! Он легковерно подчинился бездушному голосу Шалнина, когда тот официально передал по телефону требование Ситного явиться сегодня в восемь часов в город. Впрочем, на такие вызовы он ведь и раньше ездил в райком. В данном случае он, как всегда, подчинился без возражений. Обычно этот вызов или сообщал ему секретарь ячейки, или звонили из парткома. Он не удивился, что Ситный как заворг вызывал его через Шалнина. Какие у него, Кобытина, могли быть сомнения? Правда, его обхаживал Шалнин: сочувствовал ему, осуждал Ватагина, поддерживал в нем недовольство и вражду к нему.

— Знаете, как родились слова — «жена» и «муж»? — оживился Самородов. — В экстазе девчонка торопит: на же, на же, на!.. А парень жмет ее и мычит: жму, жму, жму ж!..

Шалнин захохотал, но не нарушил своего окаменения. Свой хохот он оборвал внезапно и спросил:

— А дети?

— Ах, дети... Видишь ли... когда бабка-повитуха принимала ребенка, она подбадривала роженицу: и деть-идеть-идеть!..

Шалнин опять захохотал.

А Кобытину было противно. Этот гаденыш опять начинает валять дурака. Вот бы в чью конопатую морду всадить первую пулю...

Что же произошло? Может быть, это — бред? а может быть, он ни черта

не понял в этой дикой, ни с чем не сообразной сцене «свидания друзей»? При чем тут он? Эти двое подлецов, вероятно, следят за ним и торжествуют, что он тоже теперь связан с ними как заговорщик. Если бы вот сейчас разоблачили их, он, Корытин, тоже схвачен был бы вместе с ними. Как внезапно и ошеломительно это случилось! Влип, впутался, попал в капкан...

Он, Корытин, всегда честно и открыто выражал свои мысли. Так, например, было это и на последнем собрании актива. А столкновение его с Братцевой в кабинете Кряжича было только последовательным, откровенным его поступком, пусть скандальным, пусть возмутительным, с точки зрения той же Братцевой. Он считал более позорным лгать, скрывать свои настоящие убеждения. Он всегда говорил и делал так, как он думал, как приказывала ему его совесть. Если ему казалось, что люди — будь это Ватагин, Шепель, Братцева, будь это тысячи рабочих — ошибаются или забывают о самых простых, давно доказанных истинах, проверенных наукой и практикой, — он никогда не стеснялся доказывать, что эти истины не перестанут быть истинами, как бы ни старались опрокинуть их криком и напором целые армии энтузиастов. Истина не зависит от бурных чувств. Таблицу умножения и буквы алфавита не в силах истребить как объективный факт никакие миллионы. Таблицы же норм и производственных формул, которые общезначимы при данных конструкциях и системах механизмов, не могут быть иными — произвольными: иначе все полетело бы к черту, и инженерное искусство было бы нелепой ненужностью, как хвост на брюхе, как зубы на спине. Законы техники и механики — это абсолютные истины. Он прилежно изучал и зубрил их во втузе, он постиг их непреложность. С юношеских лет Корытин привык иметь дело с вещами и со строгими расчетами в производстве. Сначала он работал на железной дороге ремонтным рабочим, потом — на мостах десятником. Он тогда почувствовал что-то вроде благоговения перед инженерами и техниками, которые представлялись ему необыкновен-

ными людьми — могучими в своих знаниях, стоящими недостижимо высоко и властно над тысячами. Тогда у него одна была мечта — поступить в рабфак, потом — во втуз и приблизиться к ним, добиться обладания этими таинственными знаниями. Он и в рабфаке, и в гидротехническом институте был таким же чернорабочим и никак не мог освободиться от слепого подчинения авторитету этих мастеров инженерного дела. Все их суждения и навыки принимал на веру: эти люди не могли ошибаться. Обаяние перед старой технической интеллигенцией — профессорами, специалистами на стройке — осталось у него, как страх слабого перед сильным. В институте был усидчив, работоспособен, дорожил каждым часом времени, жил сурово, почти аскетически. Ненавидел тех, кто ходил с «хвостами», кто не прочь был пошататься по пивным, кто «донжуанил» с девчатами. С мрачной настойчивостью он требовал исключения их из института как людей, не достойных быть в среде студенчества. Особенно преследовал тех размашистых и самоуверенных парней, которые вступали в спор с преподавателями, стараясь вывести их на чистую воду как политически безграмотных людей и выявить их реакционные взгляды. А в те годы многие профессора авторитетно заявляли с кафедр, что наука — это область, свободная от политики, что «методы науки не совместимы с методами марксизма». И, когда поднимался между ними и студентами бурный спор в аудиториях и коридорах, взбешенные ученые бросали молодым диспутантам саркастические реплики:

— Вы вот яро ораторствуете, молодые люди, как социологи, а грамоту не освоили — мешаете тень и плетень... Вы бы лучше «хвосты» свои ликвидировали и зачеты бы сдавали хоть на приблизительный, но на настоящий «уд», без всякой скидки на недостаточное развитие...

— Учиться надо! — орал Корытин, наступая на юнцов: — Учиться, не щадя сил, а не зарываться. Развязали языки, благо, что плохо привязаны, а сами еще ни черта не смыслите ни в марксиз-

ме, ни в теоретической механике. А туда же разводите рацеи о классовости науки...

Студенты набрасывались на него с еще большей яростью, чем на профессоров, и однажды установили, что он — троцкист на практике. А во время борьбы партии с троцкистско-зиновьевским блоком Коротин прямо заявил, что, по его расчетам и трезвым размышлениям, социализм в одной стране построить невозможно. И пошел развивать троцкистско-зиновьевские «теории» и «доказательства». Неопишущая буря бушевала среди студенческого партактива.

Его тогда не исключили, а вынесли строгий выговор. Около него оказались единомышленники — несколько студентов, к которым он питал молчаливую симпатию за их работоспособность и успеваемость. Потом к ним затесался со стороны какой-то молодой, но седенький, постоянно улыбающийся коротышка, уводил их к себе на квартиру и, угощая пивом, разливался соловьем насчет абсурдности построения социализма в одной стране. Он угощал их до одурения цитатами из книг и брошюр, которые он ворошил на столе. Но больше всего ядовито похотывал, издеваясь над усилиями партии и правительства направить железнодорожный транспорт. Он приводил ошеломительные цифры провала погрузок, убийственные проценты разрушения паровозов, вагонов и путей. Планы угледобычи рисовались им в уродливо-смешном виде, потому что, по его словам, угледобыча падает катастрофически, и не ВСНХ регулирует добычу, а — сами шахтеры Донбасса. Он ораторствовал об утопичности осуществления широкой индустриализации страны, когда финансы трещат по всем швам. План индустриализации как фундамент для построения социализма — фикция: голыми руками построить этот фундамент нельзя. Не мы должны его строить, а иностранные капиталисты-концессионеры. И так далее и тому подобное.

Корытину все это казалось неопровержимым: что можно возразить против фактов и цифр, которыми орудовал се-

денький карлик? Но в душе он возненавидел этого пищаку, который с каким-то садическим наслаждением расправлялся с родной страной, и в голосе и во всей его повадке было презрение к рабочему классу и крестьянству и какая-то мстительная злоба к партии и правительству.

Корытин как-то спросил его:

— Значит, своими силами и ресурсами мы ничего сделать не можем?

— Какими силами, какими ресурсами? Где эти силы и ресурсы? Глупости.

— Как где? Совершили же мы Октябрьскую революцию?

— Напрасно совершали. Взять в руки власть еще не значит победить. При политике самоизоляции мы все равно будем раздавлены. А при отсутствии внутрипартийной демократии мы стремительно летим в пропасть.

— Значит, полная капитуляция?

Корытин почувствовал, что лично оскорблен, потому что он тоже сын рабочего класса, а не папы римского. Задыхаясь от ненависти к этому юркому человечку, он встал, натянул на глаза кепку и спросил:

— Вы — член партии?

— Ясно.

— Партбилет имеет?

— Что за вопрос?.. — почему-то иронически улыбался седенький.

— Ну, так вот... Извольте выложить свой партбилет и вручить его секретарю вашей парторганизации. Честно и открыто заявите ему: я, мол, враг партии, не признаю, мол, программы ВКП(б) и плюю на рабочий класс.

Студенты окружили их и с замиранием сердца ждали, чем кончится этот с виду спокойный скандал.

— Ну, положим, я этого не сделаю...

— Почему?

— Потому, что партбилет дает мне возможность бороться внутри партии за свою линию.

— То-есть, попросту, взрывать партию? Таких людей я называю изменниками.

Корытин повернулся и, не прощаясь, вышел из комнаты.

И в тот же вечер он написал заявление в бюро ячейки: сообщил о своих по-

сещениях вместе с другими студентами седенького человечка и заверил бюро, что он безоговорочно подчиняется генеральной линии, но просил помочь ему разобраться в некоторых неясных вопросах программы партии на данном этапе.

С тех пор он не примыкал к оппозиции, но свои «резвые» мысли высказывал не раз и всегда добавлял, что он — плохой мечтатель и не видит никакого смысла в том, чтобы ловить в небе журавлей будущего, а предпочитает крепко стоять на земле настоящего: достаточно ему того, чтобы выполнять ежедневную оперативную работу по специальности.

После собрания строительского актива, когда его прогнали с трибуны, а потом партгруппа исключила из партии как троцкиста, он понял, что с этого дня он потерял в глазах всех партийцев и даже, может быть, многих беспартийных всякое доверие. Если на него и не будут глядеть, как на врага, то он уже для них — чужой человек. И ему впервые стало страшно от внезапного своего одиночества. Вокруг него образовалась пустота, и каждый уже будет зорко следить за ним и подозрительно ловить всякое его слово. Такое отношение к себе он почувствовал уже на другой день: его стали сторониться и как будто не замечать, но в глазах каждого он видел вражду и настороженность. После короткого разговора с Ватагиным он убедился, что на него направлены тысячи настороженных, неуловимых глаз. Только Братцева и Бочка не изменили к нему своего отношения. Как и раньше, Братцева встречалась с ним на плотине, и в конторе Шепеля, и в гидротехническом отделе с обычной дружеской ясностью в глазах и говорила с ним подробно о состоянии работ на их участке. А Бочка иногда отворяла ему дверь квартиры с веселой шуткой и милой назойливостью. Пусть это была свойственная им деликатность, но она, эта их деликатность, трогала его, и он был благодарен им в душе. Несколько раз он порывался поговорить с Пашей, но не решался, да и мешало упрямое его самолюбие.

А теперь вот и эта возможность отрезана.

«Надо во что бы то ни стало предупредить Братцеву...».

Медленно и неслышно проехали мост в частых металлических переплетах по сторонам. С грохочущим гулом наступал их поезд — рельсовый путь шел наверху, на крыше моста. Слева, где сидел Корытин, за переплетами ферм, ослепительно рассыпались бесчисленные огни плотины, шлюзового канала и соцгорода. Река разливно сверкала игрой расплавленного огня — даже глазам было больно смотреть на эти вихри змей, всплесков, искр. Река горела до бездонных глубин. И на плотине, и на берегах, загроможденных строительными лесами, белостенными зданиями мастерских, контор, складов, заводов жидкого воздуха, целым лесом металлических стрел, — всюду клубились блистающие облака пара. Они разрывались ветром и расшвыривались в разные стороны. Направо, по другую сторону моста, была мгlistая тьма, и в этой тьме, откуда-то из непроглядной дали, мерцали одинокие капли огоньков. И Корытин внезапно обнаружил, что он любит эту громадину, что он врос в нее и связан с нею на всю жизнь.

Когда выехали из кружевного тоннеля моста, машина быстро понеслась к поселку на дне долины. Дождь брызгал в защитное стекло, и капли дрожали искрами и сбегали вниз. Улица поселка была ярко освещена; люди в мокрых плащах и в пальто с поднятыми воротниками торопливо шагали по тротуарам навстречу друг другу. По брусчатому мокрому шоссе взлетели на холм. Перед зданием управления Корытин попросил шофера остановиться, но Самородов звонко и весело крикнул:

— Ничего подобного. К квартире Шалнина...

Корытин озлился и хотел отмахнуть дверцу машины, но вдруг застыл от какой-то внезапной мысли. Он повернулся к Самородову и, оскалив зубы, спросил:

— Водка будет?..

Самородов задушевно пропел:

— Прелестный прораб! Все будет к твоим услугам: Шалнин поставит и водки, и хвост селедки... И даже утолит твой благородный эстетический голод — будет играть на гитаре...

Корытин скрипнул зубами и откинулся в угол машины.

## ХII

### Магнитное поле

#### 1

К Татьяне подошел человек в кожаной куртке, в кожаном шлеме с опущенными наушниками.

— Это вы — гражданка Братцева?

У Татьяны почему-то беспокойно дрогнуло сердце. Этого человека она никогда не встречала на плотине. а его лицо, грубоватое, квадратное, было непроницаемо. Он как будто даже похож был на проезжего партработника, который воспользовался свободным часом, чтобы бегло ознакомиться со стройкой.

— Это я — гражданка Братцева.

Он немного как будто растерялся, но сразу оправился, только широкие ноздри чуть-чуть раздулись и дрогнули.

— Извиняюсь... Неприятно, конечно... Но...

— В чем дело?

Он вынул из кармана книжечку и, озираясь, ткнул ей в лицо:

— За вами... Из угрозыска... Распоряжение — доставить...

— Вы ошибаетесь, товарищ. Вы приняли меня за кого-то другого.

— Окончательно извиняюсь. Я обязан не ошибаться. Вопрос согласован.

Около них с невинным видом стоял Алешка и с праздным любопытством оглядывал человека в кожаном шлеме. Татьяна заметила, что он нетерпеливо подмигивал ей и едва заметно кивал головой на кран.

— Что вам угодно, пионер? — строго обратился к нему человек в шлеме.

— Ничего. Смотрю, какие у вас длинные уши.

— Устранитесь подальше.

— Мне не тесно.

Алешка вызывающе засунул руки в карманы штанов и с надломом в голосе предупредил:

— Имей в виду: я сейчас всю плотину на ноги поставлю...

Татьяна подошла к нему и привлекла к себе:

— Что ты, милый!... Как это можно будоражить людей из-за пустяков?

— Я знаю, в чем дело... Есть и пустяки — серьезные...

Татьяна строго сказала:

— Прошу тебя, Алексей, не глупить. Пожалуйста, не нарушай порядка. Это — недоразумение. Будь уверен, я скоро всвращусь.

Алешка отшагнул в сторону.

— Это даром не пройдет... Пожалуйста..

Человек старался быть незаметным: он делал вид, что с любопытством наблюдает за работой крана.

— Я тебя, мальчоньш, должен захватить с собой.

— Да ну-у?.. — беззаботно пропел Алешка: — Ишь ты какой рыболов!.. Попробуй-ка!..

Бледный, с острой враждой в глазах, он попятился назад и долго следил за Татьяной и человеком в шлеме, пока они не скрылись за вагонами.

Всю дорогу Татьяна молчала и думала: почему она понадобилась угрозыску? Что за таинственное преступление совершено ею? Неужели еще ее преследуют призраки прошлого? Ведь с тех пор прошло одиннадцать лет — целая эпоха, за эти годы была босаячка и беспризорница умерла. А тут опять «шухер» и, может быть, — чорт их разберет! — запрут в домзак... Ведь раньше она тоже была за пределами закона — в некоем небытии или инобытии. Сейчас она — в реальном, в совершенно законном состоянии. Как смешно и загадочно — угрозыск!..

По дороге встретались ей люди — знакомые рабочие, техники, — кланялись ей, но не догадывались о ее беде: обычная прогулка с заезжим человеком, каких бывает уйма на всех участках работ. Если бы все эти люди узнали вдруг, что она арестована и идет под конвоем, все пришли бы в необычайное

волнение — вся плотина поднялась бы, как один человек. Впрочем, как знать... Может быть, наоборот: все сразу отшатнулись бы от нее, может быть, с ненавистью сказали бы: «Ага, притворялась другом народа, а оказалась мерзавкой...».

Шли они узкими проходами, среди вагонов, кранов, лесоматериалов и беспорядочных куч ржавой арматуры, досок, щитов, спускались по лестницам, пробирались в толпе рабочих, потом опять поднимались, карабкались по отвалам камней, мимо сверкающей огнями электростанции, оглушенные звоном и грохотом клепальных молотков на раковинах турбин. И Татьяне на мгновение казалось, что все это уже далеко от нее, что она вдруг стала чужой здесь. И ей нестерпимо хотелось скорее пройти всю эту залитую огнями и засыпанную людьми трудовую суматоху. Ей было стыдно и мучительно. Она вздрагивала от негодования, и острые брови стягивались к переносью. Но гнев таял, и это происшествие казалось ей забавным.

Здесь что-то не так. Не может быть, чтобы угрозыск легкомысленно, без всяких оснований мог сорвать ее с работы. Очевидно, есть какое-то серьезное дело. Но какое? Что-нибудь из забытого прошлого? Марья? Княжна? Невероятно. Может быть, какая-нибудь провокация?..

«Нечего зря нервничать... — вдруг успокоилась она. — Все будет ясно на месте. Через час я уже буду смеяться над этой нелепостью...».

Около управления стояло два автомобиля. Человек подошел к заднему и стукнул в окно шоферу, потом открыл дверцу и показал рукою в пустоту. Накрапывал дождь. Астры на клумбах мокро искрились и тяжело склонялись к земле.

— Куда же вы меня везете?

— Да уж не беспокойтесь: доставим, куда надежит...

Это уж совсем похоже на таинственное приключение. Главное, никто не будет знать, куда она исчезла. Выхватили, секретно посадили в автомобиль и повезли. Будет общее изумление, все бу-

дут поражены и взволнованы. Чорт знает, какая будет ералаш!.. И когда она возвратится, она уже будет не прежняя, не обычная Татьяна. За нею уже будут следовать шопот и сплетня.

## 2

«Вот и опять я — правонарушительница... — усмехнулась Татьяна. — Погонят под охраной... А там пока суть да дело — посижу в домзаке. В домзаке я еще никогда не сидела... И домзак надо пережить, хотя и с опозданием...».

Если бы узнал Вакир... Но откуда он узнает о ее напасти? На стройке так много людей и событий, что этот случай может взволновать только небольшой участок. Алешка мог сообщить только Катюше и отцу. А Катя беспомощна, Осокин позвонит Гудиму и Шлиппе, узнает и Кряжич. Но какой толк? Шлиппе не примет никаких мер: он осторожен и не решится вмешиваться в это щекотливое дело. Кряжич забунтует, но бунт его будет бурей в стакане воды. Как досадно, что нет ни Ватагина, ни Балеева...

Откуда все-таки свалилась на нее эта внезапная беда? Может быть, эту подлость учинили ей уважаемые ученые люди из исследовательского института? Правда, она презирала их, — среди них были авантюристы и политики, — но не допускала мысли, что они отважатся преследовать ее, а тем более мстить таким неслыханным образом. Достаточно того, что они травили ее целый год, порочили, клеветали и шантажировали. Они вынудили ее бросить институт и уехать сюда, на стройку. Она успела забыть об этих людях и отдохнуть от них в производственной работе. Неужели они и здесь нашли ее, чтобы окончательно с ней расправиться? Все может быть: от этих мерзавцев всего можно ожидать...

Года два назад, будучи аспиранткой одного из исследовательских институтов, Татьяна прилежно изучала на предприятиях новые формы социалистического труда. Она старательно собирала документальный материал, беседовала с рабочими, проводила долгие часы

в цехах, изучала многотиражки, заводские журналы, доклады, записки и составила целую библиотеку по вопросам организации труда. Тема ее диссертации была одобрена, и Татьяна с большим воодушевлением принялась за работу. Кроме профессора, тощего старичка с жиденькой бородкой, и седовласого экономиста-партийца, консультантами у нее были десятки сведущих людей и на заводах, и в Крайплане. О работе ее заговорили в институте. Впрочем профессор ворчливо предупредил ее, что диссертация едва ли будет удачной, потому что объект лишен научной базы: если, дескать, и можно допустить у нас элементы социалистического труда, все же они не могут служить серьезным основанием для теоретического исследования — из песка нельзя возвести крепкое здание. Какие нормы и какие законы можно здесь установить? Седой же экономист, живой и насмешливый, любивший уродовать чужие фамилии, трунил над нею, лихо развивал «теорию фаз», «теорию равновесия» и прочие бухаринские премудрости. Татьяна дерзко возражала ему и однажды заявила, что ей просто смешно слушать уважаемого ученого, который, очевидно, недостаточно твердо уяснил себе всю сокрушительную мощь ленинской и сталинской критики механистического пустословия бухаринских проповедников. Чтобы правильно развить свои тезисы, она, Татьяна, может стоять только на незыблемой почве марксистско-ленинской диалектики. Экономист сначала отвечал ей небрежно, потом — раздражительно и враждебно. Но к ней незаметно прилип один из молодых «теоретиков» — Скрыня, маленький, юркий человек, с быстрыми глазами и пулеметным языком. Он пламенно восхищался ее смелым подвигом, рассыпался в комплиментах, часто при всех называл ее «будущим светилом», вовлекал ее в подробное обсуждение содержания ее книги, давал советы, вносил коррективы. Несколько раз он неожиданно заходил к ней в общежитие, неустанно льстил ей, с энтузиазмом говорил о ее талантливости. К ее изумлению, среди товарищей утвердилось

мнение, что Скрыня — соавтор ее книги. А на одном из собраний он размашисто заявил, что работа Братцевой — типичный пример нового метода научного творчества — бригадного сотрудничества. Первоначальная ее концепция была будто бы неясной, противоречивой, неубедительной. Только, дескать, благодаря его активному участию книга, надо полагать, будет полноценным вкладом в политико-экономическую науку. Татьяна возмутилась, запротестовала и назвала его самозванцем. Он круто повернул фронт: пулеметно обрушился на нее, авторитетно обвинил ее в невежестве и авторство ее свел к пропаганде политически вредных и антинаучных положений. После этого вокруг ее имени создалась тяжелая атмосфера. Скрыня сколотил около себя тесный комplot таких же крикливых и притяких молодых людей. Они травили ее, третировали, шельмовали, сплетничали о ее плагиате, не стеснялись говорить о краже, о присвоении чужого труда и даже намекали о необходимости какого-то суда. Она обратилась за помощью к профессору, но он уклонился от беседы с нею, а веселый экономист посмеивался, покачивая головой и изумлялся: «Как же это вы, а?.. Ловко это у вас...». Он не слушал ее разъяснений и лихо вскрикивал: «Ну, что вы мне говорите... Я же лучше вас знаю Скрыню: очень знающий, талантливый ученый... Это — мой самый замечательный ученик». Так как работа ее вчерне была уже закончена, публика беспокоилась еще сильнее. Был поставлен вопрос так, что рукопись она обязана сдать в институт, где она должна храниться впредь до разрешения ее конфликта со Скрыней и до окончательного установления ее авторства. Затравленная, она не сумела найти себе поддержки и, больная, не общая никому, внезапно уехала на стройку, вызванная Феней.

И вот прожила она здесь год, — работала сначала техником, а потом — сменным прорабом. Она наблюдала, изучала все большие и малые явления, собирала материалы, участвовала во всех событиях жизни стройки, переживала вместе с массами и горе, и радости

борьбы. Она уже оставила мысль о возвращении в аспирантуру. Здесь она по-новому увидела то, что оформляла в тезисах своей диссертации: нормы и показатели не даются готовыми, а создаются людьми; не одни голые механизмы решают дело и определяют человеческий труд, а организованная целеустремленность и вдохновение людей. Она чувствовала это на себе, не говоря уже о Кряжиче, Балееве, Агаше, Сыче, Катюше с девочками и бесчисленном множестве других.

За этот год она накопила большой опыт, узнала много такого, чего не слышала от профессоров и не вычитала из книг. И она поняла, что только непосредственная работа в производстве, свой личный труд, требующий находчивости, распорядительности, творческой предприимчивости, и та масса непредвиденных мелочей и неожиданностей дает годливное, глубокое знание дела.

Татьяна заново перерабатывала рукопись, перечеркивала, уничтожала целые параграфы и главы и развивала новые тезисы. Потом бросала рукопись в стол, рылась в архиве управления, выписывала целые вороха цифр и таблиц, работала в лаборатории Игнатия Игнатьевича Шагаева и долго вела с ним беседы. Его-то впервые она и познакомила со своей рукописью. Он пришел в восторг от ее темы и попытку оформить ее в новую, оригинальную книгу, но сказал, не стесняясь, со свойственной ему тонкой насмешечкой, что до гениальности ей еще очень далеко, что прежде, чем сделать простую и полезную научную работку, надо ей самой пройти от аза до ижицы все виды труда и помочь своими молодыми силами и просвещенным умом осуществлять новые методы, неразрывно связанные с техникой безопасности. Балеев же и Кряжич, занятые оперативной работой, не торопились изучить ее рукопись: очевидно, они посмотрели на нее как на ученическое упражнение. Впрочем, Балеев как будто начал посматривать на Татьяну с любопытством, которое заставляло ее краснеть. Он даже заметил ей однажды летом, что ее работа заинтересовала его. Но с тех пор он ни разу больше

с ней не разговаривал. Она не думала скоро братья за рукопись: наступили огромные дни боев за новый план, за новые показатели и нормы. Ей предстояли новые подвиги, и перед нею открывались новые горизонты.

И вот как-раз в этот момент она так глупо и возмутительно очутилась перед обрывом.

Не то от волнения, не то от однообразного хода машины Татьяна ослабела. Мысли вспыхивали и угасали. Обрывы прошлого наплывали на впечатления этих дней, путались, исчезали и опять появлялись. Если бы узнал Вакир... В последнее свидание он ушел от нее с ненавистью в глазах. Он злобно кричал, когда она сообщила ему, что Мирон говорил о нем в день отъезда в Москву: «Я знаю его проблемочку... Экспериментиками с ним занимаетесь... Зачем меня подсунула ему?.. Да, у его парнишки дергается голова... Но мне до этого нет дела, и я вовсе не обязан по этому признаку быть его сыном...». — «Вакир, ведь это понятно... Он очень много страдал и пережил...». — «Ишь ты, какая гуманница...». Странно, почему «гуманница», что за смешное слово?.. Он кричал в бешенстве: «А мы не страдали?.. Мы не переживали?.. Мы не умирали от голода, холода и бесприютности?.. Мы не ходили по мукам, как отверженцы?.. Мы были не дети, а рабы своей преступной свободы. Пусть он, этот бедный Ватагин, прольет хоть одну такую слезу, какими исходили мы в бездонные ночи...». Почему он враждебно избегает Мирона? и почему у него опять воскресло то лицо, которое угасло в год их совместной жизни в колонии?.. «Ты первая надела на меня маску...» — мстительно сказал он ей в этот последний вечер и скрылся, дергая головой. Но эта жгучая вспышка должна была произойти: она ждала ее, потому что он чувствовал около нее Кряжича...

Что сейчас с Кряжичем? Он, должно быть, мечется, как безумный...

Что бы сказал ей в эту минуту Шастик? Это его глаза — золотые, веселые, знающие... Он сказал бы: «Самое неотразимое оружие у нас — это правда.

Правда никогда не обороняется, а только нападает».

Вероятно, это так. Ведь преднамеренная правда — уже не правда, а фальшь. Правда ее слов на активе вдохновила массы. «Вы выступали хорошо, строго, крепко...» — сказал ей Ватагин, и в глазах его она увидела душевную взволнованность, которая не забывается. Кряжич тоже сказал тогда правду, и у Вакира дрожали слезы на глазах...

## 3

А в это время Алешка уже нажимал все пружины. Он дождался, когда Катюша сдала свой блок сменной бригаде, и отозвал девчат в сторону. Катюша сначала и ухом не повела на его таинственные знаки. Она искала глазами Татьяну и досадовала:

— Где же, наконец, Братцева? И табельщика нет... Что за безобразие!..

Алешка подхватил ее под руку и зажал ей рот:

— Заткни сирену и слушай!..

— Пошел ты к черту, Алешка! Мне нужны данные...

Девчата валились с ног: они не интересовались ни данными, ни Алешкой. Чего треплется здесь этот бездельник?

— Данные твои — не крысы: не разбегутся. А искать Татьяну Ивановну я тебе запрещаю.

— Это уж — верх нахальства, Алешка...

Алешка злыми глазами смотрел на Катюшу:

— Ты меня будешь слушать или нет?

— Можешь говорить... пожалуйста...

— Ну, так вот... Татьяну Ивановну сперли у вас из-под носа — арестовали...

— Как? Да ты ошалел, Алексей?..

Но похудевшее, строгое лицо Алешки ошеломило ее.

Она онемела от ужаса, а потом робко улыbnулась: ей еще чудилось, что Алешка провоцирует ее по обыкновению.

Девчата испуганно окружили их:

— Что такое?.. Да не может быть... Это же неслыханно...

— А ну, прекратите свой звон, кастрюли!.. — прикрикнул на них Алешка. — Сейчас же, Катерина, — к Бочке... Живо... А я к себе — на берег... Папку возьму за бока...

Катюша была так поражена, так разволновалась, что даже не в силах была спорить с Алешкой и расспросить его о подробностях. Этот проныра всегда знает, где его место, всегда является вовремя и своими зоркими глазами видит то, что самой Кате бывает невдомек.

Скосив голову к плечу, Алешка широко и решительно зашагал по доскам настила. Скрывшись в тени крана, он через минутку вынырнул на свет за ярусами щитов. Засунув руки в карманы, он шел легко и бойко.

Катя побежала на берег, в соцгород. Усталости она уже не чувствовала.

В чем же дело? Что за головокружительная нелепость?.. Как это понять?.. Разве можно допустить, чтобы Татьяна могла совершить какое-то преступление?..

Навстречу ей шли рабочие и работники, наполовину ярко освещенные электричеством, наполовину — черные. Они поглядывали с удивлением на Катюшу, которая неслась со всех ног, бухая резиновыми сапогами. Волосы у нее выбивались из-под кепки, и лицо было красное и встревоженное. Кто-то из идущих людей крикнул ей:

— Ты чего это, Катюха, взбулгачилась?.. Куда это мчишься?.. Или авария какая?..

...Как же она не догадалась, дура такая?.. Ведь Танечка расплачивается за ту катастрофу... Она не позволяла Катюше братья не за свое дело, но они с Максюком захватили бадью самоуправно. Тут виновата только она одна — Катюша. Почему же ее оставили в покое — устранили от ответственности, а за нее должна отвечать Татьяна? Почему-то и Корытина сняли сегодня с работы в середине его дежурства. Он — тоже в городе. Значит, привлекают их обоих. Будет следствие, за Катюшу тоже, конечно, возьмутся всерьез. И работа «мухи», и кладка бетона в самый разгар соцсоревнования будут проходить помимо нее. Ах, черт бы побрал ее,

идиотку проклятую! Все это произошло только потому, что она была сумасшедшая: с одной стороны — затормозили «муху», с другой стороны — катастрофически падала кладка бетона... Потом эта постоянная травля ребят... мучительные заметки в газете... Назло хотела тогда показать свое геройство. Вот и показала, дуреха безумная!.. А теперь за нее должны отвечать и Корытин, и Тачечка.

— Сволочь!..

И застонала от отчаяния и ненависти к себе.

Может быть, Паша более в курсе дела, чем кто-либо другой? Может быть, она сейчас скажет ей такое слово, которое изменит всю катину жизнь?.. Паша — такая сильная и боевая, что всю стройку и весь город поставит на дыбы. В ней, в Паше, есть что-то материнское и проникновенное, чего нет даже у ее, катюшиной, матери.

Она бежала по дорожке среди отвалов земли и камней, карабкалась по лестницам, пролетала мостики через канал, через железнодорожные выемки, натыкалась на людей, которые огрызались ей вслед, утопала в густых облаках пара (пробегали поезда внизу) и очухалась только среди простора широкой улицы. Хрюкая, пронеслись мимо автомобили. Оглушительно грохотали молоты на трамвайных путях. В грифельном здании общественных организаций кое-где горели огни. До боли в глазах пронзительно сияют лампы в окнах редакции газеты. Там, вероятно, уже строчат статьи и заметки насчет ее «мухи». Сегодня эту «муху» снимали фотографы с разных сторон и в разных положениях, а репортеры ловили Катюшу и в блоке, и у парапета. Они интервьюировали и Татьяну, и Шепеля, и такелажника, и машиниста, и Гнедова. Строчат... Пусть попробуют сейчас поиздеваться над нею, над ее бригадой! Они уже улыбаются ей дружески и обхаживали ее со всех сторон. Они строчат там за окнами, на втором этаже... Пусть строчат... Но как они застрочат завтра, когда узнают об аресте Татьяны и Корытина? Может быть, завтра, после восторженных статей о ее «мухе», об исключительных по ре-

кордам цифрах под'емов, они опять поднимут кампанию против нее как прямой виновницы гибели несчастного Махсюка...

Нервная, живая, восприимчивая, Катюша больно переживала всякие большие и маленькие невзгоды. Она падала духом и опять бунтовала, билась, как птица в клетке, и опять уверенно и вызывающе поднимала голову. Теперь, когда она бежала по улице, растрепанная, в грязном комбинезоне, она вся дрожала от страха. Ей казалось, что выхода никакого нет и никуда нельзя убежать — да и мерзко, позорно бежать. Главное, все для нее погубило на плотине, и единственное место, которое ожидает ее, — это тюрьма. А потом — суд, и, вероятно, показательный... И на скамью подсудимых она потянула и Татьяну, и Корытина. Уже не видела она ни улицы, ни огней и не слышала ни грома молотов, ни рева автомашин. Кто-то схватил ее за плечо. Она очнулась и испугалась: грудь в грудь стоял перед нею милиционер в серой каске и держал у рта «сверчок». Стояли они оба как-раз посредине перекрестка. На углах пылали витринами магазины, и переливались радужными лучами стекла красивых киосков.

— Почему вы, гражданка, идете посредине улицы? Отчего тротуар игнорируете? Я даю свистки, а вы — ноль внимания.

— Товарищ милиционер!.. честное слово...

— Что значит — честное слово?

— Я сейчас — сумасшедшая, товарищ милиционер. Видите, я прямо с блока... Катастрофа там, и я несусь без памяти к Паше Бочке...

— Это не влияет на правила уличного движения.

Вдруг он насторожился, выпрямился и, повернувшись спиной к Катюше, замаршировал руками. Требовательно гудели машины. Катюша рванулась и побежала обратно к вереницам людей, которые пересекали улицу. Она услышала позади себя свисток, но не оглянулась. И, когда обгоняла пешеходов и повернулась к милиционеру, увидела, что милиционер смеялся и грозил ей белым

пальцем перчатки. И тут она нечаянно обнаружила, что щеки ее залиты слезами, и слезы щекочут нос и подбородок. А может быть, это — капли дождя?

Дом, в котором жила Паша, остался позади. Вот как она расстроилась!..

В чем дело, в конце-концов? Ведь еще ничего не известно, ничего не ясно. Из-за чего, собственно, она распустила юни? Насочинила, нагромоздила себе всякого вздору, и — на тебе! — залихорадило... Да ведь она же не одна, — ведь у ней — сильное окружение: Паша, отец, Осокин, Васяй, Шепель и — сомнения нет — Гудим. Надо только драться... надо только вызволить Татьяну и Корытина... Если вся эта суматоха — из-за Максюка, то она готова и дальше страдать за него, но она не уйдет из блока, хотя бы это стоило ей жизни. Никто не знает, как она пережила гибель Максюка: она не спала ночей и рвала на себе волосы, у ней ужас что делалось в душе... Не даром она стала такая нервная... Вот этот ее только-что пережитый припадок — явное следствие тяжелого потрясения. Но она настолько была выдержана, что никому — даже матери — виду не показала, что она сходит с ума. Хорошо, что природа не отказала ей в уме и характере: она перенесла эти муки, потому что в таком гигантском деле, как всесоюзная стройка, нельзя обойтись без жертв.

Катюша поднялась по лестнице и позвонила в квартиру Паши. Не успела она отнять руки от кнопки, как дверь распахнулась, и на площадку вышла Софья Абрамовна — бледная, маленькая брюнеточка — врач из поликлиники.

— Вы, дорогая моя, так и созданы для счастья... — задушевно восхищалась она. — Я искренно завидую вам...

Через плечо Софьи Абрамовны Катюша встретила с глазами Паши. Паша удивленно подняла брови и сверкнула очками. Софья Абрамовна быстро обернулась и отступила в сторону:

— Это — к вам, Паша, медвежонок? Ух, какие плотинные запахи!.. Ну, так я зайду на-днях...

И она легко, как девочка, побежала вниз по лестнице.

— Катька, что это ты?.. Вся-то в грязьще, непутевая... Заходи скорее!.. Каким это тебя ветром занесло?

Катя вошла в коридорчик и остановилась у двери:

— Паша, вынеси мне стул или табуретку. Умираю от усталости. Я не войду к тебе такая... Я — прямо из блока...

— Ну, нечего тебе тут стоять! В каком бы ты виде ни была, ты мне одинаково дорога.

И она подхватила ее под руку. На ходу чмокнула ее в щеку, забрызганную зелеными каплями цемента.

— Ручищи-то, матушки мои!.. Иди хоть умойся. Чаем напою, закусить дам.

— Ничего мне, Паша, не надо и умываться не буду.

— Ну, нечего, Катька, дурака валять! Я тебе — не девочка, чтобы ты со мной капризничала. Чего примчалась такая красивая? Что там стряслось у вас? На тебе лица нет...

Катя села на стул у стола и сняла кепку. Волосы у нее рассыпались золотом. Глаза лихорадочно блестели, лицо — в красных пятнах.

— Паша, сейчас Татьяну арестовали.

— Что-о?.. Отдышись хоть немного...

Бочка строго посмотрела на Катю.

— Арестовали... и я даже не знаю, кто... Это такое безобразие!.. Ты пойми, Паша: разве это возможно?..

— Чуть какая-то, Катюха. Ты чего-то плетешь ерунду...

У Кати вдруг задрожал подбородок:

— Да что ты, Паша, маленькая, что ли?.. Русским же я тебе языком говорю... Если это связано с той катастрофой... с Максюком... так я заявляю: Татьяна здесь не при чем... Если кто должен отвечать, так это я...

— Нет, это что-то другое: дело не в Максюке.

— Но и Корытина тоже вызвали в город — сегодня в семь часов...

— Кто вызвал Корытина? куда вызвали? Путаешь ты с больной головы. Дело идет не о Корытине, а о Татьяне.

— У меня в голове — масса мыслей, Паша...

— И ни одной умной... Надо уметь мыслить, а не ерундить.

— Так ты, Паша, уверена, что это не связано с Максюком?.. — обрадовалась Катя и с яркой надеждой устремила к Бочке.

— Да, дела... — раздумчиво пробасила Паша и некоторое время молча стояла, соображая что-то.

— Ну, ничего. Покушать тебе надо. Сейчас я дам тебе ветчинки и заварю чаю.

— Не надо мне ничего, Паша... — раздраженно крикнула Катя. — Мне и думать об этом противно.

— Не хочешь, капризничаешь — не надо. Тогда вот яблоко возьми. Что? Изобью, Катюха!..

И она поставила перед Катей тарелку с яблоками. Катя взяла яблоко и с треском вонзила в него зубы. И, как только ощутила терпкий его аромат и ядреную сочность, она сразу почувствовала и жажду, и голод:

— Паша!

— Ну, чего еще?

Паша прижала ее головку к груди и ласково пошлепала по щеке:

— Дуреха ты моя!..

— Паша, а «муха» сегодня дала под'ем в три с половиной минуты... Это значит, что за смену мы дадим сто двадцать, сто тридцать под'емов... В два раза больше старого максимума... И знаешь что?.. дай я тебя поцелую... Мне хочется сейчас сказать тебе, Пашенька, такое слово, чтоб — на всю жизнь...

Они поцеловались и посмотрели на огонь растроганными лицами.

В это время заскрежетал крючок в английском замке и крякнула дверь.

— Вот тебе и Кори́тин. Мы сейчас и его привлечем к делу.

Паша подошла к распахнутой своей двери и выглянула в приемную.

— Вы мне нужны, товарищ Кори́тин. Зайдите на минутку.

Кори́тин, к удивлению Пашы, сам устремился к ней. Он вошел в комнату молча, не здороваясь, и как будто совсем не заметил Катюши. Сел он как-то нетерпеливо, точно и вся цель-то его состояла в том, чтобы поскорее добраться

до стула. Он был мрачен, измучен, но возбужден до крайности. Кате сначала показалось, что Кори́тин — пьян, но потом почувствовала, что он — в смятении, почувствовала, вероятно, потому, что сама переживала то же самое.

— Мне не удалось своевременно предупредить вас, товарищ Бочка... — сказал он без всякого волнения, но, как всегда, угрюмо. — Братцеву я уже не застал на плотине...

Катя и Паша слушали его, затаив дыхание. Бочка очень осторожно взяла стул и села против него.

— Значит, вы, товарищ Кори́тин, не были арестованы? — не стерпела Катя.

— Подожди, Катюха! — отмахнулась Паша. — Вопросы — потом.

— По дороге в город я узнал об опасности, которая грозила Братцевой.

— Но она же арестована... — опять не сдержалась Катя и подошла к Кори́тину.

— Сядь ты, пожалуйста!.. — рассердилась Паша.

— Я знаю... Собственно, не знаю, а не застал ее... — Он сконфуженно улыбнулся.

— Но я же говорю вам... — не унималась Катя. — И это — головотяпство...

— С кем вы ездили, товарищ Кори́тин? — ласково спросила Паша. — Вы извините меня за любопытство, но это как-раз имеет прямое отношение к делу.

— Товарищ Бочка... товарищ Погадаева, я хотел поговорить с вами... Как вы знаете, я ячейкой исключен из партии... В связи с этим и по некоторым другим обстоятельствам я должен... Мне именно с вами хотелось поговорить... Но сейчас я — не в состоянии...

— Чтобы Танечка была преступницей — я никогда не поверю!.. — возмущенно крикнула Катюша. — Никогда в жизни... Это какая-то подлая авантюра...

— Зачем же вы в город-то ездили? Вас даже с работы сняли...

— Нас вызвал Ситный — меня, Шалнина и Самородова.

— А-а... в райком? — успокоилась Паша. — По какому же делу вызвал вас Ситный?

— Мы были в гостях у Ситного...

— Ну, что ж, это — вполне закономерно. Только какая же была необходимость снимать вас с дежурства?

Корытин страдал и с большим трудом выносил вопросы Паши. Голос его охрип, и во рту пересохло:

— Неожиданно приехал в город наш общий приятель. Время у него было только между поездами... Давно не виделись...

Паша не отрывала глаз от лица Корытина, но он избегал ее взгляда и мутно смотрел в сторону. А Паша с чутким любопытством следила за каждым его движением, за губами, за морганием век, за горбатым носом, за странными судорогами на шее.

— Я тоже люблю встречаться с бывшими соратниками. С ними связано много дорогих воспоминаний...

Корытин встал и, красный, растерянный, пошел к двери. Он остановился на пороге и смущенно взглянул на Катю.

— Ну, как с «мухой»?

— Хорошо, товарищ Корытин... — сдержанно ответила Катюша. — Во время испытания мы удвоили число под'емов.

— Я сейчас иду на дежурство... — Он улыбался мучительно, как больной. — Должен признаться, что я относился к этой вашей «мухе», как к детской игре... Вы меня опрокинули. Я многое передумал за эти часы...

Паша вышла вслед за ним в коридорчик и с необычной мягкостью сказала:

— Вы, товарищ Корытин, во всякое время располагайте мною. Дело о вашем исключении мы отложили. Верю, что обойдется и так.

Она медленно вошла в комнату и притворила дверь. Обе они изумленно посмотрели друг на друга.

— С парнем что-то стряслось... — прошептала Паша. — Эта поездка, по-видимому, стоила ему дорого.

— Он виляет... — враждебно отрезала Катя. — Он ни одного слова правды не сказал... Он — трус. Я ему ни капли не верю.

Паша озабоченно думала о чем-то.

— Я поеду с тобой, Паша.

— Куда это?

— Как куда? В город. За Танечкой.

— Не выдумывай. Ты должна сейчас же идти спать: измоталась вся.

— Я не могу сейчас спать. Пока Танечка не вызволена, я не найду места и глаз не сомкну.

— Я беру все на себя, Катюха. Иди домой. Я тебе все сообщу завтра утром. Я ручаюсь, что Татьяна будет уже на работе.

— Ты даешь мне слово, Паша?

— Что за вопрос? Я сама к тебе зайду.

В коридорчике раздался звонок.

Паша вышла и отворила дверь. Маленький человечек в кожаной куртке и кепке с шоферскими очками над козырьком, старообразный, но молодой, без подбородка (снесло на гражданской войне), радостно улыбнулся навстречу Паше:

— Товарищ Бочка, пожалуйста: вас просит товарищ Кряжич.

Это был шофер Кряжича.

— Что это значит?

— В город. Николай Николаевич говорит, что по делу Братцевой.

— Хорошо. Я — сейчас.

— Ах, как мне хочется поехать с вами!.. Пашенька, ну, я прошу тебя — возьми меня с собою...

— Это в комбинезоне-то? Ты — в уме?

— Ну, и что же?.. Я с шофером сяду...

— Хорошо, поедем. Только не пеняй потом... Заболеешь — что тогда будет?..

— Даю тебе честное слово — не заболею...

Паша засмеялась и толкнула ее к двери.

## 4

... В окне татьяниной комнаты огня не было. Значит, еще не пришла? Это было необычно. Вакир остановился у калитки в раздумьи. Потом решил удостовериться. Дверь в коридор была закрыта. Он позвонил.

— Кто это? — пугливо спросил женский голос.

— Татьяна Ивановна дома?

— А вы — кто?

— Ее товарищ — Вакир.

Вышла с тревожным лицом Елена Дмитриевна и с опаской взглянула на дверь в комнату Татьяны. Она приложила ладони к щекам и в страхе зашептала:

— Вы понимаете, товарищ Вакир... Пришел человек в коже, в шлеме и спрашивает: где гражданка Братцева? Я говорю: на плотине. А он так подозрительно посмотрел и на дверь, и на меня... Потом — вы подумайте... — взялся за ручку и начал дергать... Хотел было уйти, но подумал, закурил и заглянул в скважину. Я, знаете ли, стою, а он мне сердито так: уходите к себе в комнату, гражданка... Я скрылась, а потом минут через пять отворяю дверь, а его и след простыл...

Она зябко сторбилась и засунула ладони подмышки.

— Я убеждена, что это — не проста. Очень подозрительный человек. Право, товарищ Вакир, не грозит ли что Танечке?.. Вы бы предупредили ее...

Вакир в тревоге подошел к двери в комнату Татьяны и осмотрел ее внимательно и хмуро.

— Я звонила мужу, — словоохотливо говорила Елена Дмитриевна, — говорит, что Кряжич сам побежал на плотину.

Вакир приложил пальцы к кепке и быстро пошел к выходу.

Елена Дмитриевна выглянула из двери на дорожку сада и с удовольствием последила за Вакиром. Высокий, с широкой спиной, он шел, чуть-чуть загибая правым плечом, как сильный человек.

«Как это некстати вышло, — досадовала она, — на-днях — бал, а тут — такой казус...».

Вакир широкими, стремительными шагами пошел в управление: там он скорее добьется толку или у секретаря Самородова, или свяжется по телефону с Васяем. Но, не заходя в управление, он быстро пошагал на плотину. На виадуке стояло несколько человек молодых инженеров, которые теснились около Кряжича. Кряжич взволнованно говорил что-то и вскрикивал яростно: «Это — нетерпимое безобразие!».

Вакир остановился и прислушался. Как-то без рассуждений он решил, что разговор шел о Тибре.

— Я сейчас же еду в город... — задыхаясь от негодования, говорил Кряжич. — Сейчас мне звонил Осокин...

Вакир не стал больше слушать и повернул обратно. Надо идти к Емельяну. Только он может распутать этот узел. В голове — какая-то путаница, какой-то бред. Только сердце невыносимо билось и болело от предчувствия несчастья. Емельяна он встречал раза два на стройке, и он почему-то очень ему понравился. Однажды, проходя по электростанции, Емельян ни с того, ни с сего обнял его за плечи и спросил дружески:

— Физкультурить?

— Физкультуру и пилотирую.

— Ну? и пилотируешь? Дорогой мой, да мы здесь и аэроклуб сорганизуем. Где же это ты?

— В трудовой коммуне.

— Да, да, как же, знаю. Это — где? Ах, у Шастика? Добрый паренек... Мы с ним вместе под началом Феликса Эдмундовича были...

— Дядя Шастик — отец родной...

— В бане паришься?

— Бывало. У нас там баня своя.

— Как, бишь, тебя-то?.. Да, да, Вакир... как же!.. — обрадовался Емельян, точно он давно уже знал Вакира, только запмятовал его имя.

В баню пока-что они не ходили, но Вакир сразу почувствовал в нем душевного человека. Он немножко странный, внезапный какой-то, но в нем есть что-то теплое и емкое, как в Шастике.

Отделение Емельяна помещалось в двухэтажном каменном доме, за квартал от управления строительства. Перед фасадом нарядным ковром расстилались клумбы и рабатки с поблекшими цветами и очень сочной зеленой газона. Осень в этом году была теплая и приятная. Только деревья в парках и скверах уже блестели золотом и огнем. Сегодня был первый день холодного и слезливого ненастья.

Вакир ожидал, что ему придется долго добиваться свидания с Емельяном: думал, что «малины» будут подозри-

тельно выяснять его личность, недоверчиво обхаживать его и, может быть, даже не допустят до дверей Емельяна. Но красноармейцы встретили его даже охотно, доверчиво и протестки. Тот, который обычно ходил всюду с Емельяном, с готовностью сказал:

— А я товарищу Емельяну сейчас доложу. Так зовут-то Вакир, говоришь? Приметное имячко — для памяти удобное. Ты это — из татар, что ли?

— Вроде как бы...

— То-то и я замечаю... Что ж, это — здорово...

И пошел в кабинет Емельяна, поблескивая ремнями, кобурой и сапогами. В дежурке было чисто, опрятно, никто не курил, а прямо на стене — на бумажке — красивыми буквами старательно нарисовано: «Курить безусловно воспрещается».

Красноармеец вышел из кабинета и, не закрывая двери, широко улыбнулся:

— Шагай, братишка!..

Емельян медленно шел ему навстречу и приветливо улыбался. Он даже лукаво подмигнул и, не здороваясь, подхватил его под руку. В своем простом кабинете с тремя портретами в дубовых рамах — Ленина, Сталина и Дзержинского — он показался Вакиру высоким и коренастым. Впервые отметил Вакир, что лицо Емельяна — рябоватое, и от этого он показался еще более простым и близким.

— Ну, как?.. воюешь?.. Слышал, слышал... А я, брат, получил от Шастика писульку... Хоть он тебе привета не шлет, но писулька такая, что и привет слать излишне.

— А что?.. — встревожился Вакир. — Костит, что ли?.. Я ведь, товарищ Емельян, остался здесь... В его глазах я ведь, пожалуй, невозвращенец...

Емельян засмеялся и похлопал его по спине:

— Да нет, по письму-то он не столь — папаша, сколь — мамаша... Зато привет шлет Братцевой.

— Дядя Шастик — такой человек...

У Вакира дрогнул голос, и он махнул рукой.

Емельян почему-то пристально смотрел на него и посмеивался. Чтобы больше не волноваться, Вакир сказал:

— С иностранцами воюем. Мы как бы в капиталистическом окружении, на электростанции-то...

— Валяй, валяй... а как же иначе...

— Я, товарищ Емельян, пришел к тебе насчет этой самой Братцевой...

— А ты садись-ка...

Емельян потянул его вниз за рукав и сам сел на стул, против него.

— Что это — насчет Братцевой?

«Значит, не он...» — обрадовался Вакир.

— Я обнаружил, что ее арестовали...

— Кто же это так любовно обошелся с ней?

— Все ахают, а ни черта не знают.

— Так, Значит, он ахнуть не успел, как на него медведь напал...

Емельян замкнулся и потух. Вакиру почудилось даже, что ему стало скучно.

Емельян встал, нажал кнопку на стене и прошелся по комнате. Вошел красноармеец, который докладывал ему о Вакире.

— Мешков, позвони-ка в охрану и узнай: кто стоял на карауле... Когда это было?..—ну, этак час назад, и кого пропускали обратно с инженером Братцевой? Моментом!

— Есть, товарищ начальник.

Емельян остановился перед Вакиром и лукаво улыбнулся:

— Так, значит, пилотировал?

— У меня была мечта, товарищ Емельян, — летать. Эту мечту разбудила во мне Тибра.

— А кто это — Тибра? — строго спросил Емельян.

— Как кто? Я же о Братцевой говорю...

— Это — здорово: Тибра. А мечтать... что ж... Мечта, это, брат, — полет. Надо, милоч, всегда подниматься выше действительности, чтобы охватить ее всю, в безграничных ее даях. Не то ценно, что ты крепко стоишь на ногах, что у тебя есть надежная опора, а то дорого, что ты возносишь эту действительность... Знаешь, куда направить путь. А путь только один — в царство свободы, через мир чудес...

— Меня, товарищ Емельян, полет очень захватывает. Горизонт недосяжим и манит без конца. На земле у меня было много неприятностей: всякая была чертовщина. Много уж больно нелепостей...

— А как же? Без нелепостей пока нельзя.

— Можно, товарищ Емельян.

— Не можно, неуч... обязаны жить без нелепостей... Должна быть священная ненависть к нелепостям. Потому что всякая нелепость — это уродство. Тут у нас недавно парнишку из бадьи вырвало водой у самого водослива. Погиб. Перемайнали. Парнишка-то с девицей в этой бадье спускались в бездну, а им, должно быть, казалось, что они поднимаются в безбрежную высь. Отлично. Можно и в пропасть спускаться, лишь бы было сознание высокой цели. И спуск превращается в чудесный взлет. Ну, и погиб, значит. А почему погиб? Потому, что нелепость, вроде дезорганизации труда, неуважение к людям, рабское отношение к вещам, несет в себе страдание и смерть.

— А не за это ее взяли... Тибруто?.. Я знаю эту историю...

— Нет, что ты... Тут есть какие-то организаторы нелепостей... Не забывай, что нет более страшного и гнусного врага, как нелепости. Есть нелепости-пережитки, а есть система нелепостей.

Вошел Мешков и бодро отрапортовал:

— Товарищ начальник, стоял на посту Деревянкин. Он пропустил агента городского угрозыска, который прошел обратно вдвоем с инженером Братцевой.

Емельян одобрительно кивнул головой и отмахнулся.

— Так вот-с какие дела, дорогой Вакир...

Он присел около Вакира, потрогал его мускулы, ущипнул за бок и шлепнул ладонью по коленке.

— Хорошо сделан. А особенно отлично то, что ты прошел школу борьбы. Быть человеком — это большая и радостная ответственность, потому что человек имеет смелость родиться для счастья. Гордись! Время дано тебе для существования очень жесткое: каких-

нибудь пятьдесят-шестьдесят лет. Извольте-с уплотнить его, как говорится, чтобы оправдать свое человеческое назначение. Ты был дерзок в своем появлении на свет, так будь же дерзок до конца. Ты продрался в жизнь сквозь ужасающие препятствия и тем самым взял на себя обязательство родиться заново каждый день. Человек должен бросать лучи свои в будущее. Вот как, скажем, Спартак, Фарадей, Маркс, Ленин...

— Ну, куда же это!.. — вскрикнул Вакир. Его охватила волна страха и восторга, как бывало в первые дни его самостоятельных полетов. — Ведь это — Фарадей, Ленин...

— Человек обязан нести в себе мир. Не след оставлять после себя, а проекцию во времени... действенный образ свой в истории. Человек обязан не стареть, а с каждым часом становиться все моложе и моложе. Иначе не рождайся, чорт тебя подери...

Емельян даже встал от гнева и опять ушел за стол, на свое место. Он бросил на Вакира угрожающий взгляд:

— Ты для этого и социализм строишь, неуч...

Он взял какую-то книгу и, не взглянув на нее, в негодовании отбросил в сторону, точно Вакир один отвечал перед ним в каком-то тяжелом проступке.

Зазвонил телефон. Емельян подбросил трубку к уху, и Вакиру показалось, что ему до отвращения не хотелось брать ее.

— Да. Хорошо. Зайди ко мне через полчаса.

Емельян бросил трубку, и вдруг глаза опять у него лукаво засмеялись.

— Я, товарищ Емельян, желаю немедленно освободить Тибру...

— Ступай и освобождай.

Вакир быстро встал и запахнул пальто, хотя оно было застегнуто на все пуговицы.

— Башка! Сообрази: сам — против нелепостей, а первый делаешь нелепость. Ты знаешь, что такое система розыска? С какими глазами ты явишься туда? Ты же сразу же ударишься о стенку, как муха о стекло. Неуч! Иди домой.

Завтра утром можешь с своей Тиброй чай пить.

Он опять нажал кнопку и сказал Мешкову, который отворил дверь:

— Позвони, товарищ Мешков, чтобы сию же минуту — два стакана крепкого чаю и два бутерброда. Скинь пальто! — приказал он Вакиру.

— Сильнее тебя человека нет... — сказал Вакир и быстро сбросил плащ.

Емельян с любопытством поглядел ему в глаза, точно обнаружил в нем что-то новое и неожиданное. Потом что-то начал быстро писать на бумажке.

— Кто твой отец?

— Не скажу, товарищ Емельян.

— Ну, и не говори... — равнодушно сказал он, делая росчерк, и опять нажал кнопку на стене. — Товарищ Мешков, передай срочную телефонограмму.

И когда вышел Мешков, Емельян прошелся по комнате и засмеялся, оставившись перед Вакиром:

— Код у тебя плохой: Тибра, Вакир, Моссельпром...

Вакир встретился с его глазами и покраснел. Покраснел и возмутился. Он не сдержался и сгрубил:

— Ну, и пусть твое открытие остаётся при тебе...

— Что это за игра?

— Я знаю, что значит ненавидеть. Годами жил этим. А теперь — тяга исследовать... чтобы любить...

— Ишь ты, исследователь какой! Трус ты, а не исследователь. Смылся, как крысенок, и все время удирал от людей. Исследователь! Исследователи — смелые, доблестные люди, победители, а трусы никогда еще ничего не совершали и не открывали. Ну, что ты исследовал, какие у тебя подвиги?

— Я, если ты хочешь знать, товарищ Емельян, совершил то, чего тебе никогда и во сне не снилось.

— О? Ну-ка, ну-ка?.. — оживился Емельян и с насмешливым ожиданием засунул руки в карманы.

— Ты меня не нукай. Я был за пределами жизни, а теперь догнал страну и завоевал свое место.

Емельян совсем развеселился. В зрачках его вспыхнули горячие огоньки:

— Неуч, тебе еще надо долго карабкаться, чтобы захватить свое место. Чего ты хвастаешься?

Вакир успокоился, но лицо еще было упрямо и насуплено. На щеках горели красные пятна.

— Мне нечего хвастаться. Я привык Шастикку доказывать делом и поступком. Я — жадный, товарищ Емельян, и узнал по-настоящему, что надо жить гордо.

— Вот, вот!.. — обрадовался Емельян. — Вот в чем главное. Неуч!..

В комнату вошла белая женщина с подносом.

*Конец третьей части*

# Пламенный трибун революции

Три года прошло с тех пор, как прогремел злодейский выстрел троцкистско-бухаринских убийц — наемников фашизма. Народ содрогнулся от боли и скорби. Народное горе было безбрежным, и вся страна наша во главе с великим Сталиным стояла в почетном карауле у гроба с телом своего верного сына и любимца — Сергея Мироновича Кирова.

Три года тому назад, в день 1 декабря 1934 года, в Смольном, перестало биться сердце человека, который в памяти народов навечно останется с нежным именем — МИРОНЫЧ. Только самых близких и дорогих ему людей народ называл с такой душевной лаской! В расцвете сил от нас ушел верный друг, ученик и соратник товарища Сталина, один из отважнейших полководцев наших славных сталинских пятилеток, один из лучших стратегов социалистической революции, замечательный и страстный оратор. Враги народа злодейски убили неподкупного друга трудящихся. В его облике, исполненном высокого пролетарского благородства, сочетались все лучшие качества большевика и гражданина: пламенность трибуна и доблесть рядового бойца, мудрость вождя и отзывчивость доброго и милого товарища для всех трудящихся. Подлинный сын народа, он глубоко понимал его извечные нужды и стремления к великой социальной справедливости. Образ его никогда не исчезнет из памяти людей, а те, кто встречался и говорил с ним хоть раз, сохранят навсегда в себе частицу его умной, простой и такой ободряющей улыбки.

Трудно подобрать слово, которое со всей глубиной отразило бы гнусную мерзость троцкистско-бухаринских убийц Кирова. Стреляя в него, они целились в самое сердце народа, эти ползучие гады из троцкистско-бухаринского фашистского подполья. Они метили в нашу свободу, в наше могущество, в самую самостоятельность нашего существования на земле. Они убили нашего Кирова, имя которого было светлым и дорогим для масс, как святое народное слово правда.

Тогда сам народ, хозяин и творец своих судеб, поднялся во весь свой рост. Тяжелый кулак гнева он обрушил на своих врагов, и горе им!

Сергея Мироновича Кирова, доброго и милого Мироньча, нет с нами сегодня. В торжественные дни подготовки к выборам в Верховный Совет наш народ с любовью и нежностью произносит имя человека, который с беззаветной преданностью отдал всю свою жизнь борьбе за дело народа, за дело коммунизма.

---



**Сергей Миронович КИРОВ**  
(1886 — 1934).



## КАК МНЕ ГОРЕ МОЕ ВЫПЛАКАТЬ?

Как узнала я про смерть Сергея Мироныча,  
Сладкий сон меня покинул в ночи темные,  
В светлый полдень мое сердце омрачилось,  
Все лицо мое омыли слезы горькие.  
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать?

Другом нашего народа ты мне видишься,  
Сыном кровным и любимым вспоминаешься!  
Светлым разумом, Мироныч, ты прославился,  
Ты хорошими делами возвеличился!

Налетела, закружилась буря черная,  
В город Ленина ворвалась буря черная.  
Сорвала с него, лихая, крышу-голову,  
Омрачила злая буря нашу родину.  
Ох, Сергей Мироныч, гордый сокол наш!  
Кто убийца твой проклятый? Кто? Откуда он?  
Видно, в злых его делах ты был помехою,  
Видно, счастье ему наше не понравилось.  
Знать, давно-давно разбойник за тобой следил,  
Не спалось ему, душману, в ночи темные.  
Где бывал ты — за тобой подглядывал,  
Следы ног твоих, Мироныч, он выслеживал.  
Он боялся, словно филин, света ясного.  
Словно солнца, он боялся светлых глаз твоих.  
Он подкрался к тебе сзади — по-разбойничьи,  
Он ужалил тебя в сердце по-змеиному.  
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать?

Другом целого народа ты мне видишься,  
Сыном кровным и любимым вспоминаешься!  
Светлым разумом, Мироныч, ты прославился,  
Ты хорошими делами возвеличился!

Как закрою веки, как задумаюсь,  
Снова жизнь былая вспоминается:  
Как мы спины гнули у помещиков,  
Как людского званья не имели мы,  
Как меняли нас на псов породистых.  
Но зажглось над нами солнце Ленина,  
Но зажглось над нами солнце Сталина.  
И узнали радость мы впервые:  
На работе, как на светлом празднике;  
Говорим, как песни запеваем;  
Когда ходим, пола не касаемся.  
Долго жить на белом свете хочется!

Если б крылья легонькие дали мне,  
Я б к тебе, Мироныч, полетела,  
Проплыла бы через большую воду,  
Пробежала б огненную гору,  
Опалила б волосы седые,  
Хоть в гробу тебя я увидела бы,  
Над твоим я гробом зарыдала бы,  
С головы до ног тебя оплакала.  
Но я вижу на бумаге только образ твой,  
По бумаге провожу я рученькой,  
И стекают мои слезы горькие  
По щекам потоками горячими.  
Подперла я щеку левой рученькой,  
На груди, у сердца, лежит правая.  
Я глаза открою — не видать тебя,  
Протяну я руки — не пожмешь ты их,  
Голосок подам — ты не откликнешься!  
Что мне делать? Как мне горе мое выплакать?

Другом целого народа ты мне видишься,  
Сыном кровным и любимым вспоминаешься!

Шелк сыпучий, волокнистый — твои волосы,  
Много светлого ума в твоей головушке.  
Ты, Сергей Мироныч, тверже камня был,  
Был ты с нами мягче пуха голубинога,  
Быстролетнее ты был крыла орлиного.  
О-хо-хо, родной Сергей Мироныч,  
Причитаю я, слезами обливаюся!  
Хоть не видят тебя вовсе мои глазыньки,  
Знаю, много сделал ты хорошего,  
Много сделал ты хорошего трудящимся,  
Много дал нам мыслей мудрых, мыслей радостных,  
Много дел больших тобою сделано.

В цвете лет вошел Сергей Мироныч,  
Будто в темный бор, в местечко темное!  
Он текучую водицу не увидит,  
Голоса людского не услышит.  
В цвете лет ушел со света белого —  
От друзей, от братьев, от товарищей...  
Уж не будет с нами он здороваться,  
Не возьмет он больше нас за рученьки.  
Только память о Сергей Мироныче  
В каждом сердце навсегда останется.  
Злой душман убил вождя любимого,  
Смерть принес ему, злодей, негаданно.

Ой, не во-время, Сергей Мироныч,  
Ты ушел от нас в могилу темную!  
Там не плещется водица серебристая,  
Там лужок зеленый не волнуется,  
Ясно солнышко лучами не касается,  
Ветерочек легкий не колышется,  
Не польется с неба теплый дождичек,  
Вольный воздух не дойдет к Миронычу.

Как лежал в гробу ты дни и ноченьки,  
Сколько было у тебя товарищей!

Со всего-то света необ'ятного  
Собрались вокруг тебя товарищи,  
Ждали слова твоего последнего.  
Не приподнял ты свою головушку,  
Не промолвил ты словцо прощальное!  
Ох, Сергей Мироныч, гордый сокол наш!  
Когда вдоль скамьи передней вытянусь,  
Когда глазыньки мои закроются,  
Когда руки сложат на груди моей,  
Лишь тогда забуду я Мироныча,  
Отделю от сердца бездыханного!..

Что мне делать? Как мне горе мое выплакать?  
Другом целого народа ты мне видишься,  
Сыном кровным и любимым вспоминаешься!  
Светлым разумом, Мироныч, ты прославился,  
Ты хорошими делами возвеличился!

Записано со слов сказительницы Е. П. Кривоше-  
евой, 72 лет, в гор. Саранске Мордовской АССР.  
Перевод с мордовского.

---

# АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

В. ГАВРИЛОВ

**А**вгустовской ночью тысяча девятьсот тридцать пятого года молодой донбасский забойщик в девятом часу вечера спустился в шахту и направился по штреку на участок «Никанор-Восток». Он был в своей обычной шахтерке. В ламповой он получил лампу, отбойный молоток и несколько запасных шильев. Смазав молоток, он проверил его под давлением сжатого воздуха — молоток работал отлично.

Забойщик был молод, здоров, крепок. Глаза у него были голубые, с ясным, твердым взглядом. Он ничем особенным не выделялся среди своих товарищей, — разве только старательностью, вдумчивостью, твердым и упорным характером.

Звали забойщика — Алексей Стаханов.

В лаве, что на участке «Никанор-Восток», он тщательно проверил состояние уступа, затем сделал подбой с той целью, чтобы после разрезки кутка легче было отбивать уголь. Работал он в ту ночь всего 5 часов 45 минут. И вырубил 102 тонны угля, т.е. перекрыв норму в четырнадцать раз.

Через день-два имя молодого, скромного забойщика с шахты «Центральная-Ирмино» прогремело на всю страну, на весь мир. Среди множества писем от друзей и товарищей по труду он получил в те дни два письма из-за границы. Одно было из Америки, из штата Теннесси. Писал директор университета Линкольна.

«Мой дорогой сэр!

Несколько времени тому назад университет памяти Линкольна организовал камеру собственноручных актов, которая содержит теперь много фотографий с автографами и подлинными письмами великих людей наших современных и прошлых поколений.

Мы сочли бы за честь присоединить Вашу фотографию с собственноручной надписью в нашу коллекцию и были бы благодарны за ее присылку...».

Второе письмо было из Австрии. Венский историко-биографический архив включал фотографию забойщика из шахты «Центральная-Ирмино» в постоянную выставку портретов великих людей. Стаханова почтительно запрашивали, были ли ранее в его семье великие люди и не состоит ли он в родстве с великими личностями эпохи.

Алексей Стаханов — человек обыкновенной биографии, простой жизни. Он родился в деревне Луговой, Орловской губернии, в бедной крестьянской семье. Луговая была преобеднейшей деревней и поставляла шахтеров.

Стахановские земляки работали в Донбассе, в Кадиевке. В 1927 году молодой парень Алексей Стаханов приехал в Донбасс, на шахту «Центральная-Ирмино». Приехал в лаптях, с сундучком за плечами.

И расчет у парня был простой: поработать немного, скопить на конягу и на упряжь и вернуться обратно в деревню.

В «Рассказе о моей жизни» Алексей Стаханов с замечательной правдивостью передает тогдашние свои настроения, боясь перед шахтой, о которой он не имел ни малейшего представления. В ламповой он получил желанную лампу и рабочий номер, который прикрепил булавкой к гимнастерке. Послали его работать в напарники к земляку и однофамильцу Роману Стаханову, который был тогда коногоном.

Алексей стал в очередь к клетки. Каждые две-три минуты клеть приходила снизу, ржавая, мокрая. Стволовой звонил, и клеть как бы падала вниз. Стаханова охватило чувство некоторого страха. Он навсегда запомнил свой первый день на шахте.

В «Рассказе о моей жизни» Алексей Стаханов хорошо передает эти свои переживания:

«Может быть, не путь мне в шахту?» — подумал я. Но тут же сплюнул и, подражая старым горнякам, выругавшись без причины, пошел к десятнику отмечаться. Одет я был не как все шахтеры, а по-особому — так, как приехал из родной деревни: в белых полотняных брюках и в пеньковых лаптях с длинными бечевками. Теперь таких не увидишь. Все надо мной стали смеяться. Свистят, тюкают, а особенно девчата-откатчицы. Пускались в ход всякие шутки, насмешки. Приехал, мол, барин в белом костюме на коровку зарабатывать. Я краснел за свой наряд, хотел им объяснить, что никогда еще на шахте не был, что скоро буду похож на них всех, но не сумел объяснить и убежал к десятнику.

Сел в клеть. Раздались сигналы рукоятчика, и клеть опустилась. В животе почувствовался холодок. Я пригнул голову, весь с'ежился и жду чего-то страшного. Слышу, как по стволу льется вода. Шорох клетки, скользящей по проводникам, страшил меня.казалось, что канат перетретется, а клеть вместе со мной разобьется где-то внизу. Прижался к стенке. Мне показалось, что мы проваливаемся. Потом почудилось, что я лечу вверх. Но вот мелькнул свет, послышались голоса, раздался настоящий земной мат, и клеть остано-

вилась. Я вышел вместе с другими, посмотрел на себя и не узнал своего костюма. В клетки я измазал его о шахтерки, и он стал грязно-черным.

Попал в освещенный рудничный двор — квершлаг. Пошел с группой шахтеров. Вскоре мы очутились в темном коридоре — штреке. Светили лишь наши лампочки. Оглянешься назад — темно, как в могиле. Временами спотыкаюсь, попадаю в водосточную канавку. Местами глубокие лужи. Навстречу со свистом пару раз пронесли коногоны. Лошадь тащит несколько вагонеток.

Пришел с напарником на конюшню. Там он взял своего вороного коня «Красавчика». Я увидел много лошадей и сразу успокоился. Лошади мне, деревенскому парню, были близки, дело мне знакомое. Возле ствола стоял ящик, откуда Роман взял сцепки, а я тормоза. Удивила меня шахтная упряжь. На лошади была масса железа, все звенит, гудит.

Запрягли лошадь, прицепили шесть порожних вагонеток и поехали по коренному штреку на участок «Бераль-Запад». Все бы уже хорошо, да вот беда с лампочкой. Тогда на шахте были допотопные лампы Вольфа. Через каждые 5—10 минут лампа потухала оттого, что я еще не научился держать ее как следует. То и дело приходилось бегать к лампоносу менять лампочку. Приходилось идти по штреку на-темную, ударялся лбом о верхняк, искры из глаз сыпались.

Первая упряжка (смена в шахте зовется упряжкой) была для меня целой школой. Я понял, что должен делать тормозной. К концу смены и лампочка перестала тухнуть. И шишки перестал набивать на лбу. Напарник Роман Стаханов похвалил меня и сказал: «Дело будет». Первая упряжка пробжала быстро.

Выехали «на-гора», то-есть на поверхность. Случайно я увидел свое лицо в стекле окна нарядной. Я был похож на негра. Блестели только белки глаз и зубы. Мой белый костюм уже, конечно, нельзя было узнать, я перестал выделяться, и никто уже не обра-



**Алексей Стаханов**

щал на меня внимания. Я стал похож на всех тех, кто глубоко под землей добывает для страны драгоценное черное золото.

... На второй день, когда спустился в шахту, я уже был своим человеком. Все мне было известно. Я уже сам запрягал лошадь. Дело стало спориться. Я спешил скорее прицепить партию порожняка и мчался на участок, чтобы больше вывезти угля».

Так произошло его первое шахтерское крещение. Вскоре он стал коногонном. Смелым, трудолюбивым коногонном. И коня его звали «Букетом».

Это был хороший, понятливый конь — верный помощник своего хозяина.

Вот так жил молодой шахтер Алексей Стаханов. Он был тормозным, затем коногонном, затем отбойщиком, он становился настоящим шахтером, пытливым и любознательным. Он обучался искусству работы на отбойном молотке, учился сам и учил других.

«Парторгом на нашем участке был забойщик Мирон Дюканов, который являлся другом каждого беспартийного рабочего. Мирон Дюканов обратил на меня внимание, он видел, что я хорошо владею отбойным молотком, и предложил мне общественную нагрузку — обучать отстающих забойщиков. Все были благодарны за учебу, но я, в свою очередь, также был благодарен им, ибо общественная работа мне нравилась, и я стал ближе к партийной организации.

... Летом 1935 года много говорилось у нас о речи товарища Сталина на выпуске академиков Красной армии. Сталин говорил о внимании к людям, и хотелось еще лучше работать. Слова товарища Сталина, что нужно овладеть техникой и выжать из нее все, его слова о любви к человеку раскрыли мне глаза на многое, чего я раньше не понимал.

Я решил помогать рабочим овладеть техникой. Будучи отличником по гостехэкзамену, я подготовил нескольких человек, прежде отсталых рабочих, к сдаче экзамена на «отлично». На производстве я стал работать крепче. Ме-

ня все время беспокоило, что моя шахта в прорыве, и что как лучшие ударники ни стараются, а план шахты не выполняется. И хотя я сам работал неплохо и других обучал, но чувствовал, что этого мало, что надо дать такую производительность, чтобы из прорыва выйти. Я стал думать над тем, как лучше выполнить указания товарища Сталина. Так начала зарождаться у меня мысль о рекорде, мысль, которую я вскоре осуществил».

Партия терпеливо учила его, расширяла перед ним горизонты, воспитывала в нем передового человека, которому дороги интересы родины. В жизни Стаханова нет молниеносных взлетов, он рос медленно, верно. И постепенно созревала в нем мысль о рекорде, о таком повышении производительности труда, которое опрокидывало все существующие нормы...

Будущие историки, изучая историю стахановского движения, никогда не пройдут мимо той августовской ночи, когда на квартире Алексея Стаханова собрались большевики и решали вопрос о мировом рекорде производительности советского отбойного молотка. Сын народа, талантливый человек, Алексей Стаханов предложил простое и мудрое разделение труда: он как забойщик будет только рубать, а за ним будут идти крепильщики, которые будут только крепить.

В этом и состоял успех нового дела.

«Гости крепко пожали мне руку и тепло распрощались. Я вышел на улицу проводить их. Когда они ушли, я постоял еще немного на свежем воздухе. Посмотрел на шахту, на копер, на вагонетку с породой, которая медленно поднималась на верхушку терриконика. Дышалось легко. Настроение у меня было приподнятое. Я предчувствовал, что новое дело удастся. Зашел в дом, взял на руки дочурку и быстро закружился с ней посреди комнаты.

— Ты с ума спятил на старости лет, — шуточно проворчала жена».

В ночь под 31 августа Алексей Стаханов и два крепильщика спустились в шахту ставить рекорд.

«Я поднялся вверх лавы, — вспоминал позднее Стаханов, — и проверил состояние уступа: не висит ли корж, как расположены струи пласта. Тщательно просмотрел воздушную магистраль — на месте ли кран и в исправности ли шланга. Продул ее сжатым воздухом. После продувки подсоединил шлангу к крану, согнул ее пополам и послушал — нет ли шипения, не уходит ли воздух. Убедившись, что все обстоит благополучно, сделал на 35—40 сантиметров подбой, для того чтобы после разрезки кутка легче было отбивать уголь. Подбой я делал по небольшому прослойку угля снизу вверх одной рукой, а другой рукой держался за стойку. После этого разрезал верхний куток на одну крепь и погнал пласт вниз. Молоток играл в руках, глубоко врезаясь в пласт и отваливая глыбы угля.

... Мы выехали из шахты с рассветом. Рабочие только стали собираться на наряд.

Весть о моем рекорде, как молния, пронеслась по всему поселку. Вторая смена собралась в нарядной раньше времени. Враги и обыватели пустили слух, что мой рекорд — сплошная выдумка, что этому верить нельзя. С 7—14 тонн вдруг сразу перескочил на 102 тонны угля. «Это же больше 6 железнодорожных вагонов. Можно ли поверить, чтобы один человек за смену нарубал столько угля», — говорили всякие горючие кумушки.

Но опытные горняки сразу поняли «секрет» моего успеха. Когда я появлялся в нарядной, меня горячо приветствовали, крепко пожимали руку, преподнесли цветы, вместе со мной радовались.

В числе первых приветствовавших меня был парторг участка Мирон Дюканов. Он весь сиял улыбкой и непрерывно повторял: «Молодец, молодец, Алексей... Ты сделал хороший почин... Я пойду подкреплю твой рекорд...».

Таков был прекрасный почин Алексея Стаханова, зажегший сердца миллионов людей огнем социалистического соревнования. Пламя стахановского движения об'яло всю страну. Об Алексее Стаханове и о стахановцах товарищ

Сталин сказал в своей речи на Всесоюзном совещании в Кремле, что это — люди простые и скромные, что они даже несколько смущены тем размахом движения, которое развернулось у нас вопреки их ожиданиям. Движение назрело, быстро распространялось и нарастало, как снежный ком.

«Все, что произошло в моей жизни после рекорда, — рассказывает Алексей Стаханов, — происходит со многими людьми нашей страны, которые стремятся принести побольше пользы родине. Но иностранному рабочему человеку оно может показаться, да и показывается, сказкой. Когда я все припоминаю, все мысли собираю вместе, то мне хочется каждый раз сказать одно и то же:

— Спасибо товарищу Сталину!

Товарищ Сталин так поднял меня, рядового рабочего, что об этом я не мог и думать никогда. Я уже теперь привык к словам «стахановское движение», часто встречаю свое имя в газетах, слышу на собраниях. Первое время мне все это, откровенно говоря, непонятно было. Да и теперь я считаю, что наше движение справедливо звать сталинским, потому что рабочий класс, двинувшийся в сталинский поход за овладение техникой, родил мой рекорд и рекорды моих товарищей. Именно товарищ Сталин сделал наше движение широким. Он собрал нас в Кремле, он учил нас и советовался с нами, он создал нам почет, он делает для нас все».

Образ Сталина владеет умом и сердцем Алексея Стаханова. Партия и Сталин учат и воспитывают скромных, незаметных людей жить и творить во славу нашей великой родины.

Однажды на первомайской демонстрации, в Москве, на Красной площади, Алексей встретился и познакомился с французскими горняками и английскими рабочими.

Они подробно интересовались методами труда Алексея Стаханова, его жизнью, мечтами о будущем. Они жадно всматривались в лицо легендарного советского шахтера, которого любит вся страна, они вслушивались в его слова и

искали в них ответа на свои острые вопросы, затаенные думы.

Выслушав простой рассказ Стаханова, англичанин с завистью и грустью сказал:

— У вас советская система, а у нас — капиталистическая. В этом все дело...

А француз с живостью добавил, что в Советском Союзе и он мог бы быть стахановцем, потому что звание стахановца в стране Советов может заслужить всякий рабочий.

— Да, это совершенно верно, — подтвердил Стаханов. — Возьмите хотя бы меня...

Вся его жизнь служит живым подтверждением того, как растут люди Революции.

Когда Алексей Стаханов вернулся из Москвы на шахту, он был полон новых сил и энергии. Его выдвинули ин-

структором стахановских методов работы, он показывал шахтерам, как надо работать по-новому.

Осенью 1937 года шахтеры провожали Алексея Стаханова, уезжавшего учиться в Москву, в Промышленную академию. Он дал слово своим друзьям и товарищам упорно овладевать наукой, овладевать большевизмом. В свою очередь он просил шахтеров высоко держать знамя той шахты, которая воспитала Алексея Стаханова и которая явилась колыбелью стахановского движения.

\*\*\*

Таков Алексей Стаханов, сын трудового народа, которого шахтеры и металлисты облекли своим доверием — выдвинули кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР.

# Я — ДОЧЬ ТРУДОВОГО НАРОДА

ТАТЬЯНА ШАПОВАЛОВА

**В** хуторе Поплавском, во дворе у Ивана Дмитриевича Хвостикова, бригадира первой бригады, стоит крытая камышом землянка. Иван Дмитриевич давно уже живет в большом новом доме, но конуру, в которой родился и вырос, не ломает:

— Пусть видят наши дети, как жили в старину. Смотрите, люди молодые, и запоминайте.

Так вот — наша халупа была еще гаже, чем эта. Чтоб войти в нее, надо было чуть не вдвое согнуться.

Учиться в детские годы мне не пришлось. Ребенком еще, девятилетней девочкой, пошла я в люди на заработки к кулакам да лавочникам, с отцовских плеч долой.

Семья была бедная. Отец мой, Петр Герасимович, ходил за лошадьми калачевского прасола Бражникова. Лютый был у него хозяин. Мироед. Жадина. Когда отсчитывал батракам копейки — жалованье, руки у него тряслись, как бы грошика не передать.

Приносил отец домой получку — глядеть не на что. Отсчитает копейки на хлеб, отдельно — на картошку, сбоку положит кучку меди — долг отдать. И получалось, что ни на хлеб, ни на картошку, ни соседям должок вернуть — ни на что нехватает. Беда!

Вот и воспоминанья золотого детства... босоногого, лучше скажем. Ни разу в детстве мне ботинок не купили. Вспомнишь себя малюткой, вспомнишь свои детские слезы, ручонки, искалеченные на тяжелой, недетской работе, — и такая обида заливает душу, даже сказать невозможно.

Минуло мне десять лет, — забрали отца в солдаты. Началась война.

Слез-то, слез сколько пролито было. Одной надеждой держались — придет избавление, переменится жизнь.

К Великой Социалистической революции я уже совсем большая выросла — тринадцать лет исполнилось. Седьмого ноября, день, принесший избавление всему советскому трудовому народу, я не помню, как провела. Наверно, няньчила младших, стирала, стряпала. Мать где-то батрачила, я хозяйкой в доме оставалась. Отец только-только с германского фронта вернулся, поседел, сгорбился в окопах. В хате не было и корки хлеба.

Скоро голод выгнал нас из родных воронежских мест. Попала я на Дон, в Дубов хутор, весь 1921 год батрачила у кулака-казака. Моя младшая сестренка Агния даже не помнит, как я за девяносто верст на плечах таскала домой мешок хлеба, заработанного у богатеев. Горький хлеб...

В 1924 году — Ленин в тот год умер — вышла я замуж за демобилизованного красноармейца, нашего же брата, батрака. Стали сколачивать хозяйство — все врозь ползет. Два года мучились, купили клячку, еще через год — телку. Но какое это хозяйство: единоличное, мелкое, как у карликов. Землю обработать нечем было. Суховети сжигали хлеб на корню. Намолачивали чуть не на семена только. Негусто... Как же мне было мимо сталинских колхозов пройти и не загореться охотой строить новую жизнь? В 1929 году — мы вернулись уже тогда к себе в Поплавский хутор — зародилась у

нас артель «Большевик». Я была в числе первых колхозников. Организовали мы колхоз, и сразу дышать стало легче. С самого начала взялась я за скотный двор. И скоро наша молочная ферма стала лучшей в Калачевском районе. Малограмотная я была, а крестьяне выбрали меня в сельсовет.

В ту пору советская наша деревня очищалась от последних тунеядцев. И мне ли не знать тяжесть кулацкой кабалы! Я была самой решительной сторонницей ликвидации кулачества как класса.

Вот и выбрали меня крестьяне в сельсовет.

— Ты заботливая,—говорили они,— и врагам потачки не даешь. За это мы тебя и полюбили.

А в 1935 году выбрали меня делегатом на Воронежский областной съезд советов. С тех пор, как в сказке, вся моя жизнь потекла по-иному. Областной съезд избрал меня делегатом на VII Всесоюзный Съезд Советов, а здесь избрали меня в ЦИК СССР.

Стала дочь трудового народа членом советского правительства, рабоче-крестьянского правительства великой социалистической державы.

Вернулся член правительства — это я-то — в свой колхоз, и занялась я делами — к весне готовиться пора, я звеньевой была. А тут в Москве 2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников созывали. И решили тогда товарищи, что в Калачевском районе наш колхоз «Большевик» — самый лучший, а в этом колхозе лучшая колхозница — я, Татьяна Петровна Шаповалова. И опять послали меня в Москву, на съезд.

Приехали в феврале колхозники со всей страны в Кремль, в Большой Кремлевский дворец. Затерялась я, как песчинка, в этом море людском, вдруг слышу — выбирают меня в президиум съезда. Утром 14 февраля подходит ко мне Лазарь Моисеевич Каганович:

— Ну, Татьяна Петровна, ваш черед председательствовать. Идите, ведите съезд. Вам объяснят, что к чему, как со звонками управляться, бумаги все передадут, списки ораторов. Хозяйкой будете.

Сначала я сильно оробела.

Как так — Татьяна из Калача таким съездом руководит. Дрожала вся. Ну, а потом осмелела.

И выпало мне на долю предоставить слово Надежде Константиновне Крупской. Звонко так на весь зал объявила:

— Слово имеет товарищ Крупская.

Все делегаты поднялись с мест, долго, как мать родную, ее приветствовали. А я посмотрела на Надежду Константиновну, вспомнила про Ленина, вспомнила всю свою жизнь и заплакала...

А на другой день подходит ко мне товарищ Сталин, улыбается, крепко руку пожал:

— Это вы, Татьяна Петровна, вчера председательствовали? Хорошо как. Не стеснялись. Громко говорили. Так и надо.

И от этой похвалы сталинской так легко стало на душе, так радостно. Так захотелось еще и еще работать, для народа нашего стараться.

В тот же день, после обеда, снимались мы с товарищем Сталиным. Я села на полу. А он подхватил меня, посадил рядом с собой, а товарища Калинина попросил чуть подвинуться. Вот я с ним и вышла на карточке — Сталин и я, колхозница, рядом. Он на меня смотрит, улыбается. Вообще, он ласковый, веселый, добрый. На всех нас походит. И любит нас. Я уже и передать не могу, какая я счастливая с той минуты...

... Съезд продолжался. Вот приносят мне в президиум письмо. Сижу, читаю. Рядом — товарищ Каганович.

— От мужа? — спрашивает. — Интересно?

— Да, товарищ Каганович, — отвечаю, — очень интересно. Вот почитайте. Муж мой, Егор Васильевич, парторг в нашем колхозе. Пишет, собрались колхозники и постановили просить у правительства электростанцию. Есть что осветить у нас лампочкой Ильича — и в амбарах, и на фермах полно добра, и тридцать новых домов на хуторе уже выстроено, и в домах тоже стало богаче.

— А деньги колхоз имеет? — спрашивает Лазарь Моисеевич.

— Часть мы дадим, а часть у вас попросим.



**Татяна Петровна Шаповалова**

Назавтра повезли меня в Наркомзем. Рассказала там, что плотина у нас есть хорошая, мельничная, дела остается немного. И не успела я доехать после съезда в свои места, как нагнал меня инженер из Москвы. Все высмотрел, рассчитал, и в тот же год от мелководной, пустой и ледящей речушки Тулучеевки зажглись в хуторе электрические лампы—все осветили: и дома, и конюшни, а на улице у нас светлее, чем в Москве, — 66 фонарей горят. Нынешней осенью и для молотбы мы приспособили электричество. Забыли уже колхозники, как это жить можно при керосиновых коптилках.

Не понравилось это вражьему отродью, и задумали два бандита убить меня, мужа моего и председателя колхоза — бывшего красного партизана. Зато, что народ счастливую жизнь имеет, затаили они злобу на нас. Выловили мы их, обломали им крылья. А я в отместку — пусть сохнут враги со злости — еще родильный дом для колхозниц затеяла. Теперь лежат наши роженицы в прекрасной больнице на белоснежных постелях, в чистоте и уюте, и первое, что видят новорожденные, — это лампочку Ильича...

Начало этого года принесло мне новую радость — приняли меня в партию. Впервые затеяли мы тогда в районе сахарную свеклу сеять. Дело новое, трудное. Работала, не покладая рук. Все боюсь, как бы не осрамиться. А тут телеграмма из Москвы. Вызывают срочно к Михаилу Ивановичу — работать в приемной всесоюзного старосты. Сперва я была недовольна — как же со свеклой, надо мне обещание выполнить, дать урожай, на первый раз—хотя бы как у пятисотниц. И потом, все-таки я малограмотная...

Но Михаил Иванович так нас, новичков, принял, так успокоил — побывали мы у него в кабинете, увидели, как он сам принимает граждан, как решает дела, и скоро научились и закон соблюдать до буквы, и жизнь видеть. И со

свеклой все хорошо вышло. Когда я уезжала, только первые всходы появились. Но моя помощница, Екатерина Котлярова, пестовала их, как и я бы не сумела, и получило мое звено 350 центнеров свеклы с гектара. Это в первый-то год!..

Часто получаю я письма: «Москва. Кремль. Члену правительства Татьяне Петровне Шаповаловой». Всю душу хочешь отдать, чтобы правильно, по-советски, разобраться в жалобе. Вот пишет старуха, колхозница — сын у нее тяжело заболел. Надо на курорт. Что делать? Деньги у нее имелись, продала еще корову и купила путевку за 1.400 рублей. А больной, как приехал на курорт, тут же и умер. Хочет старуха деньги обратно получить, а ей не отдают. Написали мы письмо куда следует: раз такой случай, путевка не использована, — надо вернуть деньги. И вернули. Вот какие дела в деревне сейчас. Человек как дорог стал! Раньше старуха бабку бы позвала, на пяток яиц бы покупились, а сейчас тысячи платит, лишь бы человека спасти. Радостно видеть эту новую жизнь, новых людей, новые обычаи и порядки.

Сейчас я — член Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР. Год начался у меня радостно и кончится радостно — решили воронежские колхозники выбрать меня депутатом в Совет Союза. Велика честь. Спасибо народу. Трудиться и трудиться надо, чтобы доверие такое оправдать. Получила недавно письмо из дому от младшего сынишки, шесть лет ему, пишет печатными буквами:

«Хачу у Маскву. Хачу у мавзалея до дедушки Ленина. Пришли играшек...».

Счастливые дети... Я работаю в приемной председателя ЦИК СССР. Из окна виден Кремль, колокольня Ивана Великого, на башнях загораются звезды. За красной стеной — я сердцем чую — работает Сталин. Для нас, для народа советского, для наших детей.

# МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

Академик И. М. ГУБКИН

Осенью нынешнего года «Правда» напечатала мою статью: «Как я учился». То была статья о детстве моем и юности. После появления статьи я стал получать много писем. Писали люди разные: красноармейцы, студенты, учителя, рабочие, изобретатели. Одни изумлялись выносливости, которая позволила человеку из «низов» выбиться в проклятое старое время в ученые, другие просили совета, третьи просто благодарили за рассказ.

Меня особенно взволновало письмо немолодой уже учительницы Марии Л.

«Ваша статья,—писала учительница,—разрешила мои сомнения и вызвала радостное чувство находки потерянного. До сего времени, встречаясь с Вашим именем в книгах и газетах, я связывала его с именем торговца чаем «Губкин». Да и неудивительно! В старое время (я хорошо помню его) из паскудногословия удавалось выбиться «в люди» отдельным единицам.

Поэтому вероятнее всего подумать было, что Вы один из тех маменькиных сынков, для которых были широко открыты ворота в науку.

Оказалось иначе! Вы из тех, которым суждено было родиться под счастливой звездой, как говорили раньше.

Ваши переживания сродни моим, вот почему статья вызвала, в одно и то же время, и слезы, и прилив энергии.

Я всю жизнь трудилась для огромной семьи отца. Училась урывками, а жажда знаний велика.

Своим простым, искренним рассказом Вы перестроили мои планы. Иду

учиться в Пединститут. В нашей свободной стране дано право учиться всем. Трудновато будет с содержанием (работу в школе оставляю), но нет таких крепостей, чтоб большевики не преодолели их».

Я действительно родился под счастливой звездой — я живу и борюсь под пятиконечной звездой социалистической революции. Моя корреспондентка имеет в виду другую звезду — ту волшебную звезду, которая якобы светила мне, сыну крепостного, и помогла выбраться на путь науки. Но что это, скажите, за звезда, которая светит лишь одиночкам?! Да это и не светлячок, а не то, что звезда!

Я стал ученым еще до 1917 года, до пролетарской революции. Формально, «анкетно» это так. Но фактически ученым — в полную меру моих сил и способностей — я стал лишь при советской власти.

До революции я чувствовал себя в ученом мире белой вороной.

Я никогда не стеснялся и не забывал своего мужицкого происхождения, да и жизнь мне всегда напоминала о нем, хотя бы тем, прежде всего, что Горный институт я окончил почти сорока лет от роду. Будь я «маменькин сынок», каким меня ошибочно считала тов. Л., я мог бы в науку войти лет на пятнадцать раньше. Пятнадцать лет! Многого может добиться ученый за полтора десятка лет.

Через несколько дней я уезжаю в Баку, чтобы выступить перед избирателями Бакичского—Киовского избиратель-

ного округа, выставившими мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета СССР. Большая честь и большое счастье быть избранником народа! С того дня, как я узнал, что меня просят баллотироваться в Верховный Совет, меня не покидает радостное волнение. Скромничать здесь нечего: конечно, очень приятно и радостно было узнать о таком высоком доверии, но и чувство ответственности-то какое!

Я полон признательности к тысячам товарищей, которые выразили мне такое большое доверие. Я еду в Баку, чтобы рассказать своим будущим избирателям о себе и своей жизни, о науке, которую я со своими товарищами стараюсь постоянно двигать вперед на благо социалистической родины, о большевистской партии, о советской власти, без которых наука в нашей стране никогда не достигла бы такого расцвета, как теперь.

Я повторю своим избирателям то, что уже писал, и прежде всего то, что я—сын народа и готов служить народу до последней минуты своей жизни. Я по себе знаю, как много значит для трудового человека социализм, чтобы позволить кому-либо посягать на счастье, добытое в борьбе великой партии Ленина—Сталина за осуществление лучших идеалов человечества.

Я — сын крестьянина, испытавшего на своей спине крепостное «право». Я—сын человека, которого все годы после «освобождения» крестьян нужда гнала от дома, от семьи. В поисках заработка, борясь с нуждой и нищетой, отец уходил рыбалить на Волгу, на Каспий, доходил до далеких персидских берегов; оставшиеся в деревне женщины и мы, дети, не видали отца по полугоду и более.

Помню, как в восьмидесятых годах прошлого столетия я с двоюродным братом, другом детства, Алексеем Наумовым, оглушительно шлепая босыми ногами по деревенской грязи, мечтали вслух о том, как вот мы, ученики сельской школы, будем учиться дальше: сперва в уездной школе, а там, глядишь, и в школе, откуда выходят «образованные люди». Заманчивые фантазии! Уто-

пия! Уже одно то, что мы с Алексеем попали в сельскую школу, казалось нам неизъяснимым блаженством.

Я попал в школу благодаря настоянию бабушки Федосьи Никифоровны, неграмотной, но умной и энергичной старухи. Она хотела, чтобы хоть один ее внук был грамотным. Помню, сельский учитель Николай Флегонтович Сперанский разбудил во мне огромную любознательность. Я с ужасом думал: «Что будет, если мне не удастся дальше учиться?».

В сельской школе я занимался с таким рвением, что к моменту ее окончания помогал уже учителю обучать самых маленьких. Несколько лет назад я получил письмо от своего старого учителя. Он писал, что в газетах встречает имя академика Губкина, — не его ли это ученик? Я ответил, что академик Губкин и крестьянский мальчик в рваном армячке и лаптях — одно и то же лицо, и добавил, что я всегда с благодарностью вспоминаю старого учителя, который помог мне найти путь к знаниям.

Путь этот, к слову сказать, был сплошь усеян шипами. Сколько унижений, оскорблений, материальных невзгод пришлось вытерпеть маленькому трудовому человеку!

Советскому юношеству покажется дикой борьба крестьянского мальчика за дальнейшее образование. Но так оно было: тысячи, десятки тысяч людей гибли в этой борьбе. Друг моего детства Алексей Наумов, столь страстно мечтавший о науке, дальше сельской школы не пошел. Он так и остался малограмотным. Мне удалось выбиться, а вот двум моим младшим братьям — людям чрезвычайно даровитым — путь к знанию был заказан. Не только потому, что у отца-бедняка не было решительно никаких средств, чтобы учить троих детей, покупать им обувь, одежду, учебники и содержать столько ртов в городе. Дело в том, что крестьянская семья не могла в старое время отдавать работника. Подрастет в семье мальчик — он уже работник.

И со мной было трудно семье расставаться именно как с живой рабочей



**Иван Михайлович Губкин**

силой. Оттого-то братья мои не попадали в школу, а сызмала уходили с отцом на заработки.

Насмешки, издевательства, оскорбления сопровождали трудового человека с самого раннего детства. В Муроме, в уездной школе, я, крестьянский мальчик, завоевал первое место в учебе. Но мой деревенский выговор, рваная поддевка и подстриженные в скобку волосы давали повод маменькиным сынкам изводить меня насмешками. К счастью, кроме хорошей головы, природа наградила меня крепкими нервами и еще более крепкими кулаками, и вскоре я поставил маменькиных сынков на место. Фигурально выражаясь, все годы до революции мне приходилось пускаться в ход кулаки, чтобы пробиваться вперед. Я бился, как рыба об лед, — всем своим существом я стремился проломить стену, за которую гнали до революции детей рабочих и крестьян, «кухаркиных детей».

В Муроме я жил в подвале. В Киржаче, Владимирской губернии, где мне случайно удалось устроиться в учительской семинарии, я жил в грязной, кишевшей насекомыми, казарме. Ровно в шесть утра нас всех, как солдат, гнали на молитву. Семинарию я, несмотря на полуголодное существование, окончил с круглыми пятерками, но с четверкой по поведению: не становись в оппозицию к казарменному режиму!

Казалось, цель близка — скоро я учитель. Но четверка по поведению — волчий билет для народного учителя. Такая отметка отдавала меня под наблюдение жандармерии.

Только случай помог мне устроиться сельским учителем. Нынешний молодой учитель не представляет себе, какими оскорбительными процедурами обставлялась работа народного учителя в царской России. Меня вызвали к «попечителю» — местному купцу — богатею Быкову. Он сразу дал мне понять, что учитель — не больше, чем холоп. Я стоял у дверей, как последний из его приказчиков, а он пил чай и, не глядя в мою сторону, «тыкал» мне:

— Ты должен почитать старших и почитать святую церковь неукоснитель-

но! Я — церковный староста, и мне видно, кто в церкви бывает и кто не бывает. В церковь божию надо ходить и детей к тому же приучать!

Так с первых дней приучали молодого учителя рабоплегию перед «старшими», то-есть богатыми, заставляли затемнять головы детей церковной мутой. Как и многие другие учителя, я переживал мучительную душевную трагедию. В учителе я видел человека, несущего просвещение в деревню. Высокое призвание! А меня, атеиста, принуждали вколачивать в головы ребят религию.

В селе Жайском, а потом в Карачарове, куда меня перевели, среди моих учеников было много одаренных, даже талантливых детей. Вспоминаю четырнадцатилетнего самоучку-рисовальщика. Он удивительно точно давал в рисунке портретное сходство, краска под его кистью оживала на полотне. Какой чудесный художник вышел бы из этого мальчика, и сколько других талантливых детей перебивало в моих классах...

«Как выгнать их в жизнь?» — задавал я себе вопрос. А жизнь отвечала сама, сурово отвечала. Она швыряла даровитых людей обратно в деревню, нищью, обираемую помещиками, кулаками, попами, полицейскими. А малоспособные сынки кулаков, торговцев, судопромышленников шли в реальное училище и оттуда в институты и университеты.

Я много лет был сельским учителем. Много прочитал книг писателей, философов, экономистов. Случайно набрал на геологию фон-Котта, и эта довольно посредственная книжка определила мои научные стремления. Я в мечтах своих видел уже не просто высшее образование, а именно геологическое образование. Но до него было еще очень далеко.

В Петербург я приехал с несколькими рублями в кармане. Судьба бросала людей в разные стороны самым удивительным и непостижимым образом. Я хотел стать геологом, а попал в учительский институт. Меня страстно увлекало желание изучать недра земли, а вместо

этого, чтобы прожить и прокормить семью, я вынужден был писать глупую, никому не нужную историю царской охоты, заполнял архивные карточки в департаменте земледелия, преподавал в кошмарном приюте имени принца Ольденбургского, где самодур-директор избивал детей до крови.

Высшая школа для лиц «подлого состояния», к которым я принадлежал, была почти недоступна. Тогда еще действовал школьный устав 1828 года, и в нем значилось, что «для лиц подлого состояния учреждаются приходские училища». Лишь в 1903 году, будучи уже взрослым человеком, отцом семейства, имея почти пятнадцатилетний учительский стаж, я сдал экзамены за курс средней школы, чтобы получить официальный «аттестат зрелости», необходимый для поступления в высшее учебное заведение.

Жизнь была столь коварна и жестока, что я до последней минуты не верил, попаду ли я в Горный институт. Поэтому я одновременно держал экзамены и в Электротехнический институт. Мне повезло попасть в Горный, но ведь я мог попасть и в Электротехнический; даже добившись высшего образования, я стал бы тогда лишь посредственным электриком... Сколько таких неудачников я перевидал в старое время! С большим напряжением, теряя силы и годы, они, казалось, достигали цели, но неутомимое течение уносило их к противоположному берегу...

Лет за десять до 1917 года я уже стал горным инженером, геологом. В 1917 году меня уже хорошо знали в нефтяном мире, отзывались, как об ученом, подающем «надежды». Но комплименты, строго говоря, мало устраивают ученого. Тяжело, невыносимо тяжело было видеть, что поиски и находки нового, теоретические изыскания и победы не дают практического эффекта.

Смешно и дико сравнивать положение геолога у нас, в Советском Союзе, с положением, которое геолог занимал в проклятой памяти царской России. Теперь геолог окружен всеобщим вниманием, народ к нему относится с почетом, называет его гордым именем: разведчик

нового мира. Все, что находит геолог в недрах советской земли, сейчас же используется для увеличения богатства нашей родины, для укрепления ее мощи и обороноспособности, для улучшения жизни человека.

А раньше? Даже известные богатства недр лежали втуне, — где же и в чем, скажите, можно было видеть стимул для поисков новых ископаемых? Конечно, это не останавливало геологов — они ездили по стране, искали, находили (часть находили и до них открытое, но забытое и брошенное). Капиталисты, как стервятники, налетали на открытые богатства, они клевали землю, опустошали и губили богатейшие месторождения. Царскому правительству почти не было дела до индустриального развития страны и хищничества заводчиков.

О каком тут «творческом удовлетворении» могла идти речь! Геолог нужен был заводчику лишь как приказчик, который указывает хозяину, где можно погуще сливки снять. И это еще ничего! Часто роль геолога была более униженной и грустной. В Баку, например, с его богатейшими нефтяными месторождениями, геолог часто должен был открывать нефть, чтобы ее тем самым и закрыть. Я не оговорился. Так оно и было.

Бакинские нефтепромышленники почти не вели разведок и поисков нефти. Кое-какие разведки велись в Кала, к югу от Сураханов, возле Бинагадов. За пределами Апшеронского полуострова вообще не было никаких разведок на нефть. Но это не мешало нефтепромышленникам бешено спекулировать этими землями.

Дело происходило так.

Земли Апшеронского полуострова считались заведомо нефтеносными. Но и за полуостровом, к востоку от проходящего на нем меридиана  $67^{\circ} 15'$ , были нефтеносные земли. Они принадлежали царскому правительству, и разведывать нефть разрешалось лишь после торгов.

Нефтепромышленник просил царское правительство сдать ему с торгов некий участок земли. При этом он заявлял:

— Разницу между себестоимостью добытой в будущем нефти и ее фактической рыночной стоимостью отдам правительству.

Допустим, нефть стоила на рынке 33 коп. пуд. Нефтепромышленник делал смехотворное заявление:

— Мне нефть будет стоить 10 копеек пуд. 23 копейки с каждого пуда я отдам государству.

Ловкачи и спекулянты обгоняли друг друга, лишь бы надуть милое царское правительство. «Ты говоришь 10 копеек пуд, а я называю другую цифру: моя себестоимость — ноль! Да, да, ноль! Отдам государству 33 копейки с пуда нефти».

Это не анекдот, а печальная действительность того уродливого времени. Помнится, «Каспийское товарищество», когда спекуляция среди нефтепромышленников достигла небывалых размеров, дошло до того, что заявило:

— Себестоимость—минус 46 копеек! Будем давать государству 79 копеек с пуда нефти.

Что же это—бред сумасшедшего? Нет, это цинизм мародера. Обгоняя друг друга, нефтепромышленники брали с торгов новые и новые участки, чтобы не ставить на них промышленной эксплуатации новых месторождений нефти, которая привела бы лишь к снижению рыночных цен. А раз на полученном с торгов участке нефть не добывается—значит и платить государству нечего! Нефтепромышленники на взятых с торгов участках ставили столбы, и это называлось столбопромышленностью. Столбопромышленники были всем довольны, взяточники из министерств тоже не жаловались на жизнь.

После невинной установки столбов начиналась безудержная спекуляция нефтью, которую никто не собирався добывать. Геологи, в том числе и ученые авторитеты, вынуждены были играть постыдную роль приказчиков при спекулянтах. Застолбив участки, нефтепромышленники вызывали геологов и давали им задание «посмотреть, нет ли нефти».

Крупные фирмы, как Нобель, Ротшильд или «Каспийское товарищество»,

получив отзыв авторитетного в научных кругах геолога о нефтеносности того или иного участка, поднимали шум: «Вот-де у нас отзыв такого-то (имя рек авторитета). Каков участочек! Хотите купить?». Купивший участок еще больше шумел. Он уже говорил об организации «акционерного общества». Ажиотаж нарастал. Спекулянты налетали, как коршуны, цены на акции бешено взвинчивались, мошенники наживались среди бела дня, а участок—причина «бума»—забрасывался и забывался, как и геолог, сыгравший свою роль в горячке.

Трудно говорить о «творческом размахе», о «творческом удовлетворении», о «радости творчества», когда все-то твое назначение — помочь разжиться разбойникам-капиталистам.

Молодым советским инженерам мой рассказ покажется диким, да и мне прошлое, отделенное от сегодняшнего дня двумя десятилетиями, начинает казаться необычайным. Увы, все это было!

Не могу не вспомнить об одном из первых своих научных открытий и принесенной им горечи разочарования.

Сравнительно скоро после окончания Горного института я установил в Майкопском районе чрезвычайно оригинальные по своему строению нефтяные месторождения, так называемые рукавообразные залежи (нигде в мире не было аналогичных, только в Америке после меня нашли похожие). Любопытно, как я их разыскал.

Рукавообразные залежи ничем не напоминают обычные месторождения, подчиненные геологическим структурам. Миллионы лет назад в нынешнем Майкопском нефтяном районе была вымыта балка. Наступающее море залило длинный овраг. В течение тысячелетий овраг постепенно заполнялся песчаными отложениями. Нефть стала собираться из материнских пород и глубоко внизу заполнять песчаные отложения. Плотные массы глины закупорили пески и в течение миллионов лет сохранили в неприкосновенности нефть, не давая ей выхода на поверхность.

Старая балка давным-давно сравнялась с окружающей местностью, ничто не напоминало о ней и о нефти.

Внешние показатели нефти видны были лишь на том месте, где когда-то начиналась балка, в том месте, где рука вышел на поверхность и где она оказалась наиболее размытой.

Нефть в Майкопе есть, но где и как ее искать? Газы и нефтяные пески повели геологов, воспитанных старой наукой, в сторону от нефти. Бурили, искали не там, где нужно, и выходило, что нефти в Майкопе мало или даже совсем нет.

Так продолжалось до того, как я в 1911—1912 гг. установил теорию рукавообразных залежей и определил направление самого рукава размыва. Пришлось выдержать немалую борьбу с некоторыми учеными, пытавшимися опровергнуть мою теорию. Я с яростью восстал против рутинеров. Но весь мой запал, моя ярость и гнев пропали даром. Теория оказалась верной, рутинеры были посрамлены, а нефтепромышленность в Майкопе все хирела и хирела. Капиталисты игнорировали всякую теорию, майкопская нефть считалась ими невыгодной, и промысла почти совсем замерли.

Майкоп оправился и зажил лишь при советской власти. Теория рукавообразных залежей была применена на практике и принесла пользу нашему государству лишь тогда, когда рабочие и крестьяне вышвырнули вон капиталистов и дали возможность ученым полностью применить свои способности и дарования.

В конце девяностых годов прошлого столетия, когда я, сельский учитель, приехал в Петербург, меня потянуло в разные стороны. Мне страстно хотелось учиться, — извечная мечта человека о знаниях! Мне ненавистен был старый мир — царизм, капиталисты, помещики, попы; и я с радостью познакомился с членами революционных кружков, читал Маркса, работал в кружках, в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса».

Меня стала одолевать внутренняя борьба. «Политика», казалось мне, отвлечет от науки, к которой я так стремился. Я отошел от политики, через десятилетие стал ученым, а жизнь упорно сталкивала лбом с политикой капитали-

стов и фабрикантов, перед которой я и мои товарищи безвольно пасовали.

К 1917 году я, правда, смутно, но все же стал понимать, что нет науки без политики, что не может ученый, если он честен перед собой и наукой, быть «нейтральным» в политике.

Известие о Великой Октябрьской Социалистической революции застигло меня в Соединенных Штатах Северной Америки, куда я летом 1917 года был делегирован временным правительством для изучения нефтяных месторождений.

В г. Биллингсе я прочитал в газетах телеграммы об Октябрьском вооруженном восстании. Газеты вышли с аршинными заголовками: «Большевики у власти! Временное правительство низложено!». Американцы терялись в догадках, что же произошло в Петрограде. Газеты только сбивали читателя с толку, называя большевиков не иначе, как «экстремистами».

Вскоре я попал в Оклахома-сити, где происходил съезд геологов всех штатов Северной Америки. Узнав о присутствии на съезде русского, американцы пришли ко мне и сказали:

— Расскажите, что у вас происходит в России?

Меня сильно волновали вести, приходившие из-за океана. Так как газеты не договаривали и врал, приходилось самому дорисовывать картину событий на далекой родине. «Февральская революция, — говорил я себе, — свергла царизм. Но что изменилось? К власти перешли Колупаевы и Разуваевы, Гучковы и Рябушинские. Большевики свергли и изгоняют теперь буржуазию».

Надо было решать: с кем быть? Мысли — неясные и туманные — налетали одна на другую. Просьба американцев застигла меня врасплох. Но я согласился выступить, и во время речи, которую я начал на плохом английском и закончил на русском языке, ответы на мучившие меня вопросы пришли сами собою, и все стало на свое место, все стало ясно.

— Взоры всего мира, — говорил я, — обращены сейчас в сторону моей родины. Люди спрашивают себя: что произошло, что происходит в России?

Что за зарево видно на горизонте? Коллеги! Вас хотят уверить, что это — зарево огромного разрушающего пожара, в котором гибнет культура. Неверно! Взгляните в сторону революционной России, и вы увидите на горизонте не зарево пожара, а зарю восходящего солнца свободы и счастья. Над Россией взошло солнце новой жизни, солнце нового мира. Труженики отныне сами будут управлять своей судьбой, своим трудом и жизнью.

Волнение и энтузиазм, с которыми я говорил, передались и аудитории. Переводчик перевел речь с неменьшим жаром.

Съезд устроил колоссальную овацию,—это была овадия, обращенная к Октябрьской революции.

Мне уже не сиделось в Америке. Хотелось поскорее домой, в Россию. Но в Америке было еще много дела.

В нашей делегации начались распри. Член делегации Фосс, наживший в России круглый капиталец и переведший его за границу, обвинял меня и инж. Сняtkова в большевизме. С Фоссом мы разругались. Он остался в Америке. В вашингтонском посольстве временного правительства нам со Сняtkовым не хотели давать наших материалов, но у нас предусмотрительно были заготовлены копии, и мы уехали в Россию.

В Стокгольме бежавшие из Петрограда белоэмигрантские барыньки пугали нас всяческими страхами, визгливо советовали не ехать в «страну анархии», закатывая глаза, предсказывали нашу гибель. Вся эта чертовщина мало подействовала на нас.

Весною 1918 года, обогнув Европу, мы на траллере прибыли в советский Мурманск. Пролетарская революция была на подъеме, дел у молодой власти — масса, и все же у представителей мурманского совета нашлось время встретить приехавших ученых, помочь им достать теплушку для привезенной из Америки геологической библиотеки и архива, а самих ученых усадить в купе международного вагона. Я никогда не забуду волнения, которое я испытал, ступив на родную землю, волнения, воз-

росшего при виде ласкового и заботливого приема, оказанного нам.

Всхлипывавшие в Стокгольме барыньки, конечно, не могли рассчитывать на любезность советских властей. Лишенные возможности вести прежнюю паразитическую жизнь, белоэмигранты чорт знает что говорили о советской республике, благо они считали себя в безопасности и могли болтать все, что на язык придет.

Не могу не вспомнить об одном рассказанном мне недавно случае. Зимой 1919 года, в разгар гражданской войны, когда белые подступали к Харькову, у молодой женщины начались родовые схватки. Была холодная, снежная ночь. На всех перекрестках города, объявленного на осадном положении, стояли красноармейские патрули. Женщину надо было срочно отвезти в лечебницу. Будущий отец побежал искать извозчика. Его остановил патруль: «Стоять! Пропуск!». Взволнованный муж объяснил красноармейцам цель своего ночного путешествия. Когда через двадцать минут молодую женщину, скорчившуюся от боли, везли в лечебницу, начальник патруля велел пропустить извозчика и крикнул будущему отцу: «Товарищ! Дай руку! Пожелаем вам счастливо вырастить ребенка!». Ребенок, родившийся под гул орудийной стрельбы и встреченный теплым красноармейским приветствием, вырос ныне в молодую девушку, собирающуюся осенью в институт...

Советская власть и передовые советские люди с первых же дней Великой пролетарской революции показывали образцы гуманности и человечности. Только политический слепец, обыватель или враг не видели рождения нового мира.

В Петрограде меня ожидало распоряжение Высшего Совета Народного Хозяйства выехать в Москву. В комнате № 434 2-го Дома советов («Метрополь»), куда меня поселили, впоследствии образовался Советский геологический комитет в противовес старому Геолкому, не признававшему советской власти (не забудьте: то было время саботажа старой интеллигенции).

Я с большой горячностью стал работать в новом Геолкоме. Сделал доклад в

ВСНХ об американских нефтяных промыслах. Меня пригласили помочь организовать нефтяной главк. Я охотно согласился. Главнефть был образован декретом за подписью Владимира Ильича Ленина, я вошел в коллегия главка. Немного позже я стал работать и по сланцевой промышленности.

Время было голодное, холодное. Враги тесным кольцом окружили советскую республику. Нечем было отапливать здания, нечем было поддерживать огонь в топках паровозов и электрических станциях, нечем было кормить население. Положение отчаянное, и, между тем, советское правительство, Ленин и Сталин находили время, чтобы заниматься заглохшей и, казалось, совсем замершей промышленностью, они находили время помогать науке и ученым. Великолепное мужество вождей революции, их несгибаемая воля, их безграничная вера в народ, в силы революции не могли не увлечь, не повести за собой. Ведь именно в эти тяжелые годы возник грандиозный по смелости план электрификации страны!

Я вспоминаю о тех годах с теплотой и благодарностью. Они раскрыли мне глаза на мир, помогли приблизиться к пролетариату, стать большевиком.

Мне трудно найти слова, чтобы нарисовать хотя бы в отдаленной степени похожую картину творческого горения на работе того времени. В Главнефти мы, правда, сидели в шубах и перчатках, но работали, твердо веря, что и Баку, и Грозный, и Эмба, занятые тогда белыми, будут скоро нашими, советскими.

Но пока суть да дело, республика задыхалась без горючего. Мы занялись сланцами. Как председатель Главного сланцевого комитета, я послал экспедицию в район Ульяновска. Летом 1919 года мы сами поехали проверять, что сделано на месте. К стати сказать, на месте разработок ничего не было, и по дороге (мы ехали на пароходе «Верочка») мы собирали тачки, лопаты, топоры.

После приезда с Волги наши химики сделали разгон сланцевой и сапропелевой смол. В октябре 1919 года мы с

бутылочками сланцевого бензина, керосина и других нефтеподобных продуктов пошли к Владимиру Ильичу. Секретарь предупредил:

— Только, пожалуйста, не больше пятнадцати минут!

В кабинете Владимира Ильича, помню, стоял письменный стол, около него — два глубоких кожаных кресла, а позади — шкаф с книгами.

Владимир Ильич поднялся из-за стола, вышел к нам навстречу, усадил.

Началась беседа. Как человек несколько экспансивный, я во время разговора встал, сам не замечая, как я увлекся рассказом о будущем сланцев. Владимир Ильич попросил показать, где находятся сланцевые месторождения. Мы подошли к карте и простояли у нее два с половиной часа — беседа велась и о нефти, и о сланцах, и о сапропелях. Ленин внимательно слушал, задавал вопросы, вникал в детали — он искал выхода из топливного кризиса.

В конце беседы Владимир Ильич сказал:

— Вот вам мой телефон, вот телефон секретаря. Когда нужна будет помощь, обращайтесь ко мне непосредственно.

Обаятельная простота Владимира Ильича, поразительная эрудиция, умение выслушать человека и направить его мысли в нужном направлении никогда не изгладятся из памяти каждого, кому выпало огромное счастье видеть и разговаривать с отцом Великой Октябрьской Социалистической революции.

Ленин видел и знал все, он ничего не упускал из виду — поразительная черта, которую мы видим и в Сталине. Раз заинтересовавшись топливом, Ленин уже не бросал этой проблемы, а постоянно возвращался к ней, искал решения вопроса, направлял работу ученых и практиков.

Я неизменно посылал Владимиру Ильичу журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство». Каково же было мое изумление, когда я получил письмо Владимира Ильича, из которого увидел, что Ленин находит время читать наш сугубо-специальный журнал. Письмо гласило:

Главнефть  
тов. Губкину.

3 июня 1921 г.

Просматривая журнал «Нефт[яное] и Сланц[евое] Хозяйство», я в № 1—4 (1921) наткнулся на заметку (с. 199) «О замене металл[ических] труб цементным раствором при бурении нефт[яных] скважин».

Оказывается, что сие применимо при вращательном бурении. А у нас в Баку таковое есть, к[а]к я читал в отчете бакинцев.

От недостатка бурения мы гибнем и губим Баку.

Можно заменить жел[езные] трубы цементом и пр., что достать все же легче, чем жел[езные] трубы, и что стоит, по указ[анию] вашего журнала, «совершенно ничтожную» сумму!

И такого рода известие вы хороните в мелкой заметке архиученого журнала, понимать который способен, м[ожет] б[ыть], 1 чел[овек] из 1.000.000 в РСФСР.

Почему не били в большие колокола? Не вынесли в общую прессу? Не назначили к[омис]сии практиков? Не провели поощрит[ельных] мер в СТО?

Пр. СТО

В. Ульянов (Ленин).

Письмо Владимира Ильича меня чрезвычайно обрадовало и в то же время пристыдило. Мелкая заметка действительно была похоронена где-то на задворках журнала и напечатана петитом. Я поспешил достать номер американского журнала «Mining and Metallurgy», из которого была перепечатана заметка, и увидел, что речь шла пока-что не о практическом опыте, а о предложении. Написал об этом Владимиру Ильичу. Он снисходительно отнесся к моей ошибке:

В Главнефть тов. Губкину.

10 VI 1921.

Т. Губкин! Ваше письмо и выписка вполне раз'ясняют дело. Раз это только предложение, — конечно, дело меняется. Насколько помню, эту, самую важную часть английского текста в рус[ском] журнале опустили.

Надо выработать точные меры помощи Баку и внести в С. Т. О., следя за их выполнением.

С тов. прив. Ленин.

В первые годы революции большая часть интеллигенции саботировала мероприятия советской власти и не скрывала своего враждебного отношения к ней. Когда я приехал из Америки, меня встретил как-то Пальчинский, на которого при кабинете Керенского буржуазия возлагала большие надежды.

Увидев меня, Пальчинский спросил:

— Ну, что вы?

— Приехал. Привез очень, очень ценные материалы.

— Смотрите, — говорит Пальчинский, — не вздумайте давать их большевикам.

— Как так?! Ведь большевики — правительство страны! Эти материалы — собственность правительства.

Когда я был председателем Сланцевого комитета, Пальчинский собирался работать по сланцам. Я спросил у Владимира Ильича, как быть. Ленин посоветовал использовать знания Пальчинского. Подумав немного, Ильич сказал:

— Да... Это крупный враг. Носовых платков не крадет, на мелочи не разменивается.

Владимир Ильич прекрасно знал цену Пальчинскому. Много лет спустя Пальчинского расстреляли за вредительство.

Помимо работы в главке я стал выступать на митингах и собраниях. Я твердо решил оформить свои политические убеждения, вступив в партию большевиков, в партию Ленина — Сталина. В марте 1921 года меня приняли в члены РКП(б).

Незадолго до вступления моего в партию ко мне (я занимал комнату на Спиридоновке, редко отапливавшуюся «буржуйкой») явился Пальчинский. Заметив мое удивление, незваный визитер сказал:

— Не удивляйтесь, Иван Михайлович. Я по делу. Говорят, вы становитесь большевиком?

— Это верно.

— Я пришел предупредить вас.

— От чего?

— От этого безрассудного шага.

— Я не мальчик, — ответил я Пальчинскому, стараясь сдержать возмущение. — Вы забываете, что мне скоро пятьдесят лет.

— Неужели вы верите в прочность большевистской власти? Подумайте!

— Мне нечего думать. Я убежден в торжестве коммунизма.

— Подумайте о своей судьбе как ученого.

Тут я вышел из себя.

— Я—мужик! — громко сказал я. — Я—мужик, и это моя власть! Я именно как ученый должен стать большевиком. Только коммунисты по-настоящему ценят и понимают науку.

Пальчинский принял позу оракула, он уже не говорил, а изрекал:

— Иван Михайлович! Мы пришли предупредить вас от имени русского инженерства.

— Я сам—русский инженер,—перебил я Пальчинского и указал ему на дверь.

В 1921 году во время партийной чистки меня спросили, почему я вступил в партию. Я ответил:

— Я ученый. Мое место в партии, которая движет вперед жизнь.

Чтобы быть хорошим коммунистом и хорошим ученым, ученый-большевик должен бороться за науку с такой же страстностью, как и за генеральную линию партии. Ученый должен быть принципиальным и не сдавать своих убеждений. Вся свою жизнь я старался воспитывать в себе принципиальность. Я никогда — ни ради «дружбы», ни ради славы или денег, ни ради сохранения «хороших отношений» — не изменял своим убеждениям. Это и помогает мне добиваться многого в своей научной деятельности.

Я поздно вступил в партию. Это большая (хотя и объяснимая) ошибка, которую я стараюсь исправить усиленной работой. Мне все время кажется, что времени нехватает, что времени у меня остается мало, чтобы дать стране, промышленности, своим ученикам все то, что я мог бы дать. Академия наук, Главное геологическое управление, Институт горючих ископаемых, журнал

«Нефтяное хозяйство», — дел много, а сутки коротки.

Мои избиратели, оказывающие мне высокое доверие, вправе интересоваться не только тем, где я работаю, но и тем, чего я добился как ученый, что я сделал в общей борьбе партии за социалистическую индустриализацию страны. Я расскажу избирателям об установленной мною теории грязевых фонтанов, давшей миллионы тонн новой бакинской нефти, расскажу о Курской магнитной аномалии, о нефти на востоке СССР. Но во всех этих делах—лишь частица моего труда. Мои товарищи-геологи, мои ученики и я добиваемся многого в раскрытии недр потому, что мы живем и боремся в Советской стране, потому что мы живем и боремся под руководством великой партии коммунистов и лично товарища Сталина — нашего вождя и учителя.

Я счастлив, что Владимир Ильич находил время интересоваться и руководить геологической наукой. Я счастлив, что мне в Баку приходилось сталкиваться и работать под руководством одного из самых замечательных людей нашей эпохи, ближайшего сподвижника и соратника товарища Сталина — Сергея Мироновича Кирова. Я счастлив, что мы работаем под руководством нашего вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина, неустанно направляющего советскую геологию и вдохновляющего нас на новые успехи.

В моей памяти еще свежи впечатления о прошлогодней встрече с товарищем Сталиным, которая показала мне, как много он делает для того, чтобы наука в Советском Союзе постоянно прогрессировала. Товарищ Сталин интересовался разведками нефти на Урале и в северных районах европейской части СССР.

К товарищу Сталину меня пригласил покойный Серго Орджоникидзе. Нужно сознаться, что я ехал в Кремль с чувством большой робости. Я опасался, как бы не ударить лицом в грязь перед человеком, к которому я питаю чувство глубочайшего уважения.

Меня поразила простота, с которой встретил нас товарищ Сталин. Перед

началом беседы он сам принес карту и развернул ее перед нами на длинном столе. Показывая на топографические особенности этой карты, он обратил наше внимание на ряд возвышенностей. По его мнению, эти возвышенности заслуживают того, чтобы они были разведаны на нефть.

Я поразился, как товарищ Сталин, не являясь геологом, так правильно ставит прогноз, — будто геология его специальность! Присутствовавший при этом Л. М. Каганович заметил, что недавно у товарища Сталина были медики и он также дал им ряд указаний по их специальности.

Это говорит о глубине проникновения товарища Сталина в такие вопросы, которые, казалось бы, должны знать только люди особой научной квалификации.

В оживленной беседе меня покинуло чувство неловкости, которое было вначале. Это позволило мне свободно излагать свои взгляды, отвечая на вопросы товарища Сталина.

Беседа с товарищем Сталиным продолжалась около двух с половиной часов. В результате ее были приняты решения, которые определили дальнейшее направление разведочных и поисковых работ на нефть. Были даны твердые задания о разведках различных месторождений и установлены организационные формы работы. Иначе говоря, весь комплекс вопросов тут же получил окончательное разрешение.

Вот другой пример непосредственного руководства в развитии нефтяной про-

мышленности со стороны товарища Сталина. Ознакомившись с нашими материалами по эксплуатации и разведке Урало-Эмбинского района и по разработке Ишимбаевского месторождения, товарищ Сталин на XVII съезде партии ставит вопрос о создании второй нефтяной базы на востоке европейской части Союза. Его директивы предопределили конкретную программу поисково-разведочных работ, промышленное освоение новых месторождений и новых нефтяных районов.

Нигде в мире правительство не интересуется столь близко наукой, не помогает столь много ученым, как наше советское правительство. Нигде в мире ученые не поставлены в такие благоприятные условия, как в нашей стране. Как же не расцвести советской науке!

Иногда меня огорчает мой возраст. Хочется еще многое сделать. Но огорчения эти мимолетны, ибо я еще, как говорят спортсмены, «в полной форме». Шестьдесят шесть лет—это и много, и немного. Летом этого года, после избрания меня президентом Всемирного геологического конгресса, я получил поздравительную телеграмму от своего старого учителя. Он телеграфировал, что гордится своим учеником и своей родиной. Юношески-бодрый текст телеграммы заставил меня радостно рассмеяться и вспомнить слова из песенки:

Потому что у нас  
Каждый молод сейчас  
В нашей юной, прекрасной стране...

# ВЛАДИМИР КОККИНАКИ

И. ЭКСЛЕР

**К**огда пишешь о летчике Владимире Константиновиче Коккинаки, прежде всего должно начать с его детства.

Когда мы хотим представить себе детство Чкалова, перед нами встает Волга, ее высокий, живописный берег у Василева, ее плоты, под которые нырял Чкалов-мальчик... Чтобы вообразить себе детство летчика Громова, нужно очутиться в густом и тихом Ло-синоостровском бору, в котором Гром-св-школьник впервые стал пытливо наблюдать природу.

Владимир Коккинаки не похож на них ни по особенностям своего мастерства, ни по свойствам характера. Детство Коккинаки, его мальчишеские годы тоже не похожи ни на детские годы Чкалова, ни на детство Громова.

Владимир Константинович родился в Новороссийске, в маленьком домике грека-весовщика, приютившемся на портовом молу. Этот домик обдували норд-осты, неподалеку от него возвышались рыжие и голые вершины Маршотского хребта.

Синяя бухта и скрытые в облаках горы, у подножья которых лежит пыльная, кремнистая дорога на Геленджик.

По этой дороге проходила Таманская армия, описанная А. С. Серафимовичем в «Железном потоке».

По тропинкам, то извивающимся змеей, то концентрическими кругами опоясывающим горные склоны, маленький Коккинаки не раз, вероятно, подымался на перевал. Ему была вид-

на вся бухта, величественная и прекрасная, пароходы, казавшиеся игрушечными, порт, сверкающий на солнце южный город...

Вот откуда идут первые ощущения высоты и простора у Владимира Коккинаки.

Когда задувал знаменитый новороссийский норд-ост, дрожал маленький домик весовщика на молу. Наружные стены хижины обледеневали. Корабли, мачты, берега, крыши — все покрывалось толстым синегато-серебристым слоем изморози. Норд-ост рвал крышу, продавливал стекла, хлопал ставнями, разбрасывал ящики и бревна. Маленький Коккинаки, как и все его сверстники, сидел в эти дни дома, прислушиваясь к завыванию ветра, грохоту урагана. Все это воспринималось впечатлительным и пытливим детским умом.

С двенадцатилетнего возраста он начал работать. Зной Цемесской долины, табачные плантации на горных склонах, тяжелая мотыга, — так шли дни мальчика, мечтавшего о море. Наконец, желание сбылось. Шестнадцать лет он становится матросом. Росший у моря, солнца и ветров, молодой матрос был широкоплеч и мускулист. Во время плаваний, в часы, свободные от вахт, он читал.

Так возникает страсть к книге, к знаниям.

Захотелось учиться. Но оказалось, что учиться нельзя, — нужно помогать семье. Тогда Владимир Коккинаки решил: днем — работать, вечером —

учиться. Он стал грузчиком Новороссийского порта. Днем Коккинаки таскал на спине тюки, ночью сидел над книгами. За полтора года он стал знаменитым, по своей силе и сноровке, портовым грузчиком.

За эти же полтора года он прошел курс девятилетки, сдал экзамен экстерном.

Портовый грузчик стал мечтать об авиации. Как зачарованный, часами сидел он на берегу моря, наблюдая за взлетами и посадками гидросамолетов. Все свое свободное время он отдавал этому молчаливому созерцанию. И однажды, полный решимости, он пришел к летчикам и рассказал им о своем желании летать. Взглянув на грузчика, широкоплечего, упругого, летчики одобрили его решение.

Он стал ждать призыва в Красную армию. Коккинаки решил добиться, чтобы его послали служить в авиацию. Желая стать безусловно годным для авиационной службы, он начал увлекаться спортом. Прошло лето, и Владимир Коккинаки стал одним из самых популярных в городе спортсменов. Его приветствуют на стадионе бурей оваций.

Коккинаки стал чемпионом Северного Кавказа по тяжелой атлетике.

Призыв. Коккинаки зачислен в авиационную часть. Блестящие физические данные, неукротимая воля, упорство дали свои результаты: в 1927 году Владимир Коккинаки окончил школу военных летчиков...

Новороссийский грузчик стал летчиком.

Еще недавно этот летчик тащил на своих могучих плечах огромные многопудовые тюки с мануфактурой.

А сейчас он сидит в открытой кабине военного самолета.



О Владимире Коккинаки скоро заговорили и в армии. Неукротимый и спокойный в одно и то же время, смелый и расчетливый, хладнокровный и физически выносливый, он стал затем летчиком-испытателем. Как Громов.

как Чкалов, он немало поработал над испытанием новых конструкций самолетов.

О выносливости Коккинаки ходили легенды.

Его знали, как человека, которому на большой высоте, где воздух разрежен, достаточно нескольких «глотков» кислорода, чтобы лететь там, где летать нельзя.

В 1934 году, еще до того, как Коккинаки прославился своими рекордными полетами, в качестве военного летчика он много летал на больших высотах. Однажды Коккинаки вел отряд самолетов. Неожиданно обнаружилось, что его кислородный прибор неисправен. Но Коккинаки и не думал снижаться, ибо это означало, что задание не выполнено. На финише, когда самолет приземлился, Коккинаки нашли сидящим в кабине в обморочном состоянии...

После блестящей работы в качестве испытателя скоростных самолетов Владимир Коккинаки начинает свою замечательную серию высотных полетов. Многие москвичи помнят, как однажды, в погожий осенний день 1935 года, на московском небе появились таинственные серебристые линии. На другой день все выяснилось: это Владимир Коккинаки совершал свои высотные полеты. 4 октября 1935 года он поднялся на 11.800 метров. Пилот был одет в меховой комбинезон и снабжен кислородным прибором. Ни шестидесятиградусный мороз, ни резкий ветер не остановили Коккинаки.

20 ноября того же 1935 года Владимир Коккинаки поднялся еще выше... Он достиг 13.000 метров. Был ясный, морозный день. Самолет ринулся в воздух и быстро исчез в голубизне неба. И вот снова Москва ходит, задрав голову, — снова появилась серебристая линия, которую вел кто-то невидимой рукой. То Коккинаки рисовал узоры своим самолетом, который, забираясь во все более холодные слои атмосферы, оставлял после себя след.

Весь полет, стремительный, сказочный, трудный, продолжался ровно час.



Владимир Коккинаки

Вот летчик снова появляется в небе, идет на посадку и благополучно совершает ее. Он достиг высоты 13.000 метров. Его поздравляют, но он недоволен машет рукой: мало! И на следующий день — 21 ноября — достигает высоты 14.575 метров! В этот день Коккинаки сразу побил несколько рекордов, установленных в 1932 —

1933 году немецкими и французскими летчиками, а также мировой рекорд высотного полета, достигнутый итальянцем Ренато Донати 11 апреля 1934 года.

В следующем, 1936 году Коккинаки продолжает свои высотные полеты. 17 июля 1936 года на транспортном самолете Коккинаки достигает нового рекорда. Двухмоторный красавец-моно-

план нес на себе коммерческий груз в 500 килограммов. Поднявшись на высоту 11.458 метров, Коккинаки оставил позади рекорд, установленный французским летчиком Синьорин в 1932 г., — 10.285 метров высоты.

Самое удивительное, что можно было заметить уже тогда в Коккинаки, — это ощущение легкости и непринужденности, с какой он совершал труднейшие рекордные полеты. Вскоре он предпринимает новый полет. В тихий и яркий августовский день Коккинаки поднимается на самолете «ЦКБ-26» с грузом в 1.000 килограммов. Он достигает высоты 12.101 метр.

Коккинаки обратился тогда с письмом к товарищу Сталину:

*«Дорогой Иосиф Виссарионович!*

21 августа я совершил высотный полет на двухмоторном транспортном самолете «ЦКБ-26» конструкции инж. С. В. Ильюшина, имея на борту коммерческий груз в тысячу килограммов, и достиг высоты 12.101 метр, тем самым превысил существующий международный рекорд, который принадлежал мне.

Продолжаю работать над высотными полетами.

Летчик-испытатель В. Коккинаки.

23 августа 1936 года».

Ответ гласил:

«Летчику-испытателю В. Коккинаки.

Поздравляю Вас с достижением нового высотного рекорда. Крепко жму Вам руку.

*И. СТАЛИН».*

2 сентября того же 1936 года Коккинаки поднимается на высоту 10.400 метров с грузом в две тонны. И, наконец, еще через пять дней — 7 сентября 1936 года — он поднимает те же 2 тонны груза на высоту 11.295 метров.

Международный рекорд, принадлежавший до сих пор итальянским летчикам Мауро и Оливарий, поднявшимся в мае 1934 года с грузом в 2 тонны на высоту 8.438 метров, — побит.

Этим полетом Владимир Коккинаки словно подвел итог целому этапу своей

авиационной жизни. Он закончил первую серию полетов на самолете «ЦКБ-26». Никогда не забудется энергия и труд этого человека, которые пришлось ему измотать для достижения рекорда. Коккинаки упорно, методично и смело готовил себя для полетов в стратосферу. Не будет преувеличением сказать, что он готовился к высотным полетам годами. Он последовательно завоевывал высоты, целые дни терпеливо тратил на отсидку в барокамере.

Зимой, когда нужно было летать на лыжах, он все же летал на колесах, — лыжи увеличивали полетный вес самолета и уменьшали его летные качества. Но самолет на колесах, садящийся на глубокий снег, неизбежно должен опрокинуться. Коккинаки хладнокровно это учел и заранее высчитывал не только место, где самолет должен опрокинуться, но и в воображении своем воссоздавал ситуацию, которая может возникнуть в связи с этим...

Вот Коккинаки идет на посадку. Самолет пробежал метров десять, колеса вязнут в снегу. Машина, как выражаются на авиационном языке, делает «полный капот», т.-е. опрокидывается. Коккинаки успевает схватиться руками за стойку и нагнуть голову. Поясной ремнем, которым он привязан к сиденью, лопаются, сиденье, на котором он сидит, разлетается вдребезги. Сам Коккинаки — в снегу...

Он вылезает и ощупывает себя: цел!

Затем он осматривает машину: цела и машина!

1937 год войдет в жизнь Владимира Коккинаки как год «скоростного треугольника». После целого ряда тренировочных полетов Коккинаки решил совершить рекордный скоростной беспосадочный перелет с грузом в одну тонну по замкнутому треугольнику Москва — Севастополь — Свердловск — Москва, общим протяжением в 5.000 километров.

Капитан А. Бряндинский, спутник Коккинаки в этом перелете, рассказывает об удивительном спокойствии и ясности мысли Коккинаки на всем протяжении полета. Когда самолет, все

время шедший на очень большой высоте, стал приближаться к Крыму, слева показались грозные, черные облака. Это был давно предсказанный метеорологами циклон. И что же? Коккинаки посылает веселую записку Бряндинскому: «Посмотри, Саша, какие столбики небо подпирают...».

Уже после полета Бряндинский рассказывал нам:

— Этот циклон мог испортить все дело, он был очень опасен, но Коккинаки встретил его с улыбкой на устах, с каким-то особенным задором. В кино, вероятно, хорошо было бы посмотреть эти столбы иссиня-черного цвета, подпирающие небо. Однако, когда знаешь, что тебе, может быть, придется лететь на них, это не так приятно...

Самолет идет сквозь фронты облаков, в том числе и грозовых. Коккинаки лавирует между отдельными выступающими вершинами облаков. Машину сильно трясет. Эта болтанка опасна, но Коккинаки не желает удлинять путь. Он идет строго по заранее проложенному курсу. Полет на большой высоте должен проходить в кислородных масках. Опасаясь, что кислорода может нехватить на весь путь, Коккинаки экономил его, время от времени снимая маску.

Коккинаки спокоен всегда, в любой ситуации. Полет оказался архитрудным и сложным. Но в 10 часов пора завтракать, и Коккинаки пишет записку своему спутнику: «Желаю познакомиться с той жареной птахой, которая имеется у тебя. Дай ее сюда и дай яблочко».

Жареная курица и яблоки — его обычное меню в воздухе.

Замечательный полет по треугольнику близится к концу. Коккинаки и его спутник устали, они спешат к финишу. Неприятная новость: пошаливает левый мотор. Это отражается на скорости, которая так нужна! Тогда Коккинаки спокойно пишет штурману: «Занимайтесь ориентировкой, имейте наготове какую-нибудь площадку для посадки, а я займусь мотором и скоростью...».

Коккинаки получает ответ: «Площадки никакой на ближайшие 200—300 километров пути не предвидится».

Внизу бескрайные лесные пространства. Сесть некуда. Заходящее солнце слепит глаза и мешает работать. Коккинаки мастерит себе из газеты козырек и продолжает лететь по курсу. Он пробивает облака, летит дальше. Уже темнеет. Коккинаки включает бортовые огни и вскоре появляется над ночной Москвой, над заревом ее огней.

Еще мгновение—и самолет «ЦКБ-26» идет на ночную посадку.

Этот перелет по треугольнику, совершенный Коккинаки 26 августа этого года, принес советской авиации новую победу. Установлено три международных рекорда скорости на дистанции в 5.000 километров по замкнутой кривой. Вылетев из Москвы в 4 ч. 50 мин. утра, Коккинаки снова прибыл в Москву в 20 ч. 14 м.

До сих пор рекорды на таких дистанциях принадлежали французскому летчику Росси и американским летчикам Томлинсону и Бартлесу.



Летом прошлого года мы сидели в гостях у Владимира Константиновича, когда к нему постучался фельд'егерь с пакетом: то было письмо товарища Сталина. Летчик, побывавший в стратосфере, бесстрашный, смелый, молча стоял с большим белым пакетом в руках и от волнения не мог говорить. Потом он сел за свой письменный стол и долго смотрел на эти несколько сталинских строк. В этот же вечер он рассказывал нам о своих планах, о новых и новых перелетах, какие думает совершить.

Смелость и мастерство Владимира Коккинаки, его собственный, не похожий ни на какой другой, авиационный «почерк», добросовестность, с которой он испытывает новые машины, сделали популярным это имя не только среди летчиков, но и среди рабочих авиационных заводов.

Владимир Константинович Коккинаки является подлинным сыном народа. Новороссийские грузчики до сих пор с гордостью вспоминают о нем, а грузчики Феодосии выставили его кандидатуру в депутаты Совета Союза.

Немало новороссийских ребят мечтают сейчас последовать примеру своего знаменитого земляка. Два брата Владимира Константиновича тоже стали летчиками.

Владимир Коккинаки, несмотря на достигнутое, еще весь в будущем. Его изумительный летный талант еще покажет себя. Ведь недаром товарищ Сталин, провозглашая тост, однажды сказал:

«...За летчиков малых и больших, — неизвестно, кто малый, кто большой, это будет доказано на деле: за Коккинаки, который случайно не попал в Герои Советского Союза, но который попадет, — я ему это предсказываю».

# ПОСЛАНЦЫ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А. ЭРЛИХ

Страна называет на предвыборных собраниях имена лучших, прославленных сынов и дочерей, которых она хотела бы видеть в составе Верховного Совета — высшего органа советской власти.

Выдвигаются кандидатами в депутаты руководители партии и правительства, организаторы социалистических побед, стахановцы, герои, поднимающие на высочайший уровень производительность труда в социалистических условиях, ученые, обратившие весь свой опыт и все свои знания на практическое служение революции, художники, творчеством своим содействующие воспитанию революционного духа в стране.

Среди многих славных имен прозвучали и имена писателей: Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Владимира Ставского, Александра Корнейчука. Кандидатом в депутаты Совета Союза был выдвинут и замечательнейший народный певец Дагестана, недавно умерший, — Сулейман Стальский, чьи вдохновенные, волнующие песни знала вся наша страна.

Представители разных поколений, они завоевали своими произведениями широкую популярность. Алексей Толстой, сливший свои мысли и чувства с боевой эпохой, назван рядом с именами других писателей, чьи биографии и чье творчество с первых шагов связаны с революцией и советской властью. Народы

Советского Союза подчеркивают доверие и любовь к своей интеллигенции, честно думающей и действующей.

Алексей Толстой — ныне любимый писатель Советской страны. Вернувшись некогда из-за границы на родину, он прошел весь сложный внутренний путь старой интеллигенции — от выжидательного наблюдения за жизнью революционной страны, от романтического любования страстями борющихся масс к активной творческой деятельности, к полному слиянию своих мыслей и чувств с народом, к энергичному участию в строительстве социализма, в победоносном движении масс вперед, к коммунизму.

И вместе с этим постепенным внутренним политическим ростом можно было наблюдать в творчестве А. Толстого непрерывный художественный рост.

Давно был написан роман «Сестры» — первая часть трилогии «Хождение по мукам». Толстой заканчивал этот роман далеко от родины, где-то на берегу чужого океана. «Сестры» звучат грустно. Это лирическая полемика еще буржуазного интеллигента с резолюцией, которая ему непонятна и страшна. Опустошенный и растерянный, он наивно взывал тогда устами своего героя:

«Опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна любви!.. Только во имя ее,

только этим святым пламенем мы живы!».

И уже во второй части трилогии—в романе-хронике «Восемнадцатый год»—автор пытается познать сущность классово-борьбы, его герой бьется в рядах красноармейских частей против белогвардейцев, против генеральского и помещичьего сброда. Правда, его герой Телегин еще далек от истинного понимания революции, и его душевное равновесие покоится на шаткой, сменовой платформе. Но уже многие прежние представления подверглись коренной переоценке. Так, и Толстому, и герою его становится ясным, что «Великая Россия»—совершенно разное понятие для разгромленных остатков буржуазии и для рабочих и крестьян, утверждающих новые порядки на земле.

Прошло еще немного лет. Страна двинулась в героическое наступление по всему фронту социалистического переустройства, страна взялась с невиданным и неслыханным энтузиазмом за осуществление великих сталинских пятилетних планов социалистического строительства. На глазах у художника происходили чудеса. Менялась жизнь, менялась страна, возникли грандиозные заводы, быстро догоняли и обгоняли технику передовых капиталистических государств, возрастала мощь нашей индустрии. Богатством и силой насыщалась страна изо дня в день, из часа в час. Художник с изумлением, восторгом и гордостью наблюдал каждодневное проявление массового героизма. На любом заводе, на любой стройке он бывал свидетелем могучего творческого всодушевления, которым охвачены были миллионы строителей нового, социалистического быта.

То был огромный толчок. Художник воочию увидел несравненные силы революции, он проник до конца в ее созидательную, преобразующую суть и стал певцом ее, жизнерадостным и торжествующим, полным сил и вдохновения. В самом себе, в творческом напоре своем, в чрезвычайном расширении своего собственного художественного зрения А. Толстой ощутил вли-

яние революции. Он пишет «Петра I» с идейных высот нового для себя, революционного миропонимания, — создает монументальный исторический роман.

Алексей Толстой достигает в романе «Петр I» господствующих над всем его прежним творчеством высот. Весьма интересно сопоставить роман «Петр I», созданный в наши дни, когда мысли и чувства автора слились с мыслями и чувствами революционного народа, с рассказом «День Петра», написанным им в давние времена.

В этом рассказе Алексей Толстой дает трагическую маску сверхчеловека, титана, который действует один против всех и один за всех...

«За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день кончен—трудоу, трудный, хмельный. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех» — так, подчеркивая сущность задуманного им образа, закончил некогда свой рассказ А. Толстой.

И совсем иначе, бесконечно глубже и исторически вернее, неизмеримо ярче и точнее в своем великом многообразии развернута перед нами петровская Русь в новом романе А. Толстого о Петре Первом. Петр здесь глубоко правдив и человечен. Новое мироощущение автора раздвинуло масштабы его художественного зрения. Обращаясь к далекому прошлому своей родины, он видит теперь могучие общественные движущие пружины. Петр не одинок, он не сверхчеловек, он не мистическая фигура, не трагическая маска титана, взвалившего себе на плечи непосильный человеку груз. Он — талантливый, несокрушимой воли, царь российских феодалов и купцов, прорубавших себе дорогу в застойных дебрях византийской Руси. Самое появление Петра обусловлено и подготовлено всем прошлым ходом истории. Василий Голяцын, царедворец и любовник правительницы Софьи, очень суеверный, но и весьма образованный человек, задолго до Петра понимает необходимость коренных



Алексей Толстой

реформ в стране. Но он — бездейственный, безвольный созерцатель и мечтатель. А Петр — сильный и умный руководитель, настойчиво и умело направляющий все общественные рычаги к достижению поставленных перед страной высоких целей. Есть замечательная сцена в романе, показывающая, как двигал Петр купечество к ак-

тивному соперничеству с заморскими торговыми компаниями. Царь принял купцов, повелел им жить по-новому. Момонов, богатый суконщик, спросил, кланяясь:

«— Это как — по-новому жить, государь?»

— Отучаться жить осбе... Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам

нельзя, вы — люди торговые... Учиться надо торговать не в одиночку, — кумпаниями. Ост-Индская кумпания в Голландии — милое дело: сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли... Нам у них учиться... В Европе — академии для сего. Желаете — биржу построим не хуже, чем в Амстердаме. Составляйте кумпании, заводите мануфактуры... А у вас одна наука: не обманешь — не продашь...».

В наши задачи не входит обстоятельное раскрытие творчества писателя, а лишь этапы его политического роста и связанные с ним ступени высокого художественного подъема. Роман «Петр I» показывает, как могуче расширились художественные творческие возможности автора вместе с его политическим ростом. «Петр I» — одно из лучших, одно из самых ярких произведений социалистического реализма, получившее общенародное распространение. Неизмерима разница между старым рассказом «День Петра» и новым, совершенным романом «Петр I», полным света, юмора, замечательной яркости красок, чудесной, образной, у народа почерпнутой, речи.

Меж тем Алексей Толстой вовсе не останавливается в своем развитии.

Выступления Алексея Толстого на конгрессе Международной ассоциации писателей в Валенсии и в Мадриде свидетельствуют о дальнейшем развитии его революционного миропонимания. Он сказал:

«Мы — поколение великого рубежа, когда старый мир, перед тем, как рухнуть навсегда, огрызается, как матерый волк, на четыре стороны. Мы строим искусство революции, искусство нового человека. Пусть оно покажется изощренным людям Запада еще сырым, технически несовершенным, но в нем кипит и бьется освежающей влагой новый гуманизм. Оно поднято массами. Оно — их искусство, оно человеколюбиво».

Переходя к общеполитическим формулировкам, писатель находит очень верные слова, свидетельствующие о твер-

дом, укрепившемся, пролетарском уже сознании:

«Есть два понятия интернационализма. Одно — органическое, свойственное пролетариату, — когда чувство родины растет и ширится в ощущение человечества. На этом интернационализме воспитываются дети в СССР. По такому пути — через глубокое принятие своей национальности и включение себя в бесклассовое общество — движется наша литература».

«Есть другое понятие интернационализма, лжеинтернационализма: это безразличие, и от безразличия отрицание национальности. Это — путь авантюристов, врагов народа. Таков был Троцкий...».

Алексей Толстой стал кровным сыном своей революционной страны — и отсюда возникнут новые его победы, новые замечательные успехи в творчестве.

Михаил Шолохов — автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины», ставших народными произведениями. Шолохов вырос вместе с советской властью и никогда не находился в стороне от политической жизни своей страны, от напряженных классовых битв, победоносно выигранных под руководством коммунистической партии.

Шолохов живет в непосредственной близости со своими героями. В станице Вешенской, в голубом доме с мезонином, из окон которого виден Дон, изо дня в день работает писатель. Вокруг — станицы, описанные им, пашни, на которых трудятся его герои, дороги, так хорошо знакомые ему, ведущие из колхоза в колхоз. Член бюро вешенского райкома ВКП(б), он часто разъезжает по этим дорогам, выполняя поручения партии. Население книг его творит новую жизнь, и писатель, непрерывно наблюдая за этой жизнью, копит в себе новые образы, готовые заселить собою новые книги о советском казачестве.

Журналист И. Экслер, недавно побывавший в гостях у Мих. Шолохова, обстоятельно передал на газетных страницах содержание своей беседы с писателем. Шолохов заканчивает сейчас



Михаил Шолохов

четвертую книгу «Тихого Дона», снова и снова отделяет ее.

«— Много езжу по станицам, — говорит писатель, — и все исключительно с одной целью — перепроверяю уже написанное, собираю дополнительные данные, относящиеся к концу романа».

Язык шолховских книг органичен, точен и живописен. Автор очень требо-

вателен в искусстве. Описание внешности, костюма, показ жестов и движений, речь и интонация речи, — ко всему одинаково требователен молодой художник. В упомянутой уже беседе с корреспондентом газеты Мих. Шолохов говорит, между прочим, о своих впечатлениях от театральных инсценировок «Поднятой целины»:

«— Когда я услышал у Симонова, как артист произнес слова «курень» и «кубыть» с разными ударениями в разных случаях, мне стало не по себе... Удивительно несерьезно относятся люди к своей работе! Не удосужились даже поинтересоваться, как в действительности говорят донские казаки... А в Ленинграде (я сам не видал, мне лишь присылали свои протесты зрители, я даже одно коллективное письмо от военных академиков получил) донских казаков нарядили в украинские шаровары, казачек — в вышитые черниговские рубахи. Это же чорт знает что такое! Люди делают свое дело «абы-как»...».

Страстное возмущение Мих. Шолохова в столь непривычных для него выражениях объясняется собственной его, высокой, ревнивой, точной, до мелочей, требовательностью в искусстве.

Надолго запоминаются малахай деда Щукаря, его мешочные штаны, праздничная, зеленой шерсти, юбка Лушки, маринкина одежда, буйствующая на ней в минуты гнева и подчеркивающая в спокойные минуты ее мужскую силу, ее дородность, ее сохранившуюся до поздних лет красоту. Из самой жизни выхвачена горячая, нервная жестикация Макара Нагульнова, его взгляд, отведенный в сторону, когда он ходил из дома в дом на другой день после расхищения семенного фонда и спрашивал: «Брал хлеб?»; он остерегался смотреть в глаза казакам, ибо знал меру своей несдержанности и силу своего слепого гнева. Исключенный из партии за перегибы при коллективизации, Маркар Нагульнов, красный партизан, орденосец, страстно мечтающий о мировой революции, охвачен следующими мыслями: «Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в которой пришел с польского фронта, и застрелюсь». «Шинель с польского фронта» — деталь, которую не выдумаешь. Островнов принимает гостя, приехавшего верхом, он заботливо накрывает коня попонкой, а «сам, оцупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до-отказу сво-

бодно распущена соединяющая стремненные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег».

И все это — и одежда, и жесты, и вещи, и характер мыслей, высказываемых героями, и речь их, строй речи, интонация речи, — все одинаково свидетельствует о глубоком, органическом проникновении автора в описываемый им мир, о тщательном, долгом, ревнивом изучении этого мира.

Произведения Михаила Шолохова не только высокохудожественны, значительны, ярки, — они партийны.

«Поднятая целина» была настольной книгой партийных работников. Ее изучали, ее прорабатывали на партийных активах, чуть ли не как партийный документ. И в самом деле, «Поднятая целина» с несравненной живостью показала классовую борьбу в коллективизирующейся деревне, она учила наших партийных работников правильной политике и тактике в переустройстве сельского хозяйства на новых началах, она предостерегала от ошибок и в великолепной, образной, чувственной форме показывала истоки и сущность этих ошибок.

Автор дал галерею типических фигур в казачьей станице того времени: Давыдов, путиловский слесарь, двадцатипятилетний, которому партия поручила строить колхоз; Нагульнов, секретарь ячейки в Гремячем Логе, где разворачивается действие романа, горячий человек, в самом характере которого были заложены первопричины будущих ошибок и перегибов; бывший красный партизан Андрей Разметнов, председатель сельсовета, рядовой деревенский коммунист, честный и преданный революции; Кондрат Майданников, ставший отличным колхозником, — пробудилась в нем политическая мысль, правильная и честная мысль труженика, хотя и выражает он ее в упрощенных, наивных словах; Островнов, Яков Лукич, хитрый ераг, проникший в колхоз с диверсионными намерениями и действующий по указке белогвардейского эмиссара, есаула Половцева; Тит Бородин, бывший участник гражданской войны, а теперь



Владимир Ставский

непримиримый враг советской власти, кулак, с великой жадностью принявшийся за накопление; Фрол Дамасков, прозванный Рваный, и сын его Тимофей, все из того же враждебного, ненавистного кулацкого лагеря; дед Щукарь, Лушка, Маринка, Демид Молчун, Любишкин, Демка Ушаков и еще многие другие колхозники и колхозницы, строящие новую жизнь на земле, даны в романе с исчерпывающей полнотой, правдивостью и точностью.

Автор действует по горячим следам. Еще не отшумели в стране решительные схватки с врагом, еще не укрепились как следует формы артельного труда, увлекающиеся головы закружились от успеха и допустили грубейшие ошибки, которые партия вынуждена была срочно и самыми решительными мерами исправлять. А уже написан был этот замечательный роман «Поднятая целина». Автор с жадностью и волнением наблюдал за ходом великих, исто-

рических, революционных процессов в столице и, движимый партийной мыслью, потребностью писателя-партийца немедленно прийти на помощь в важнейших революционных начинаниях, создал и выпустил из печати первый том. Несмотря на это, в романе вовсе не чувствуется следов спешки, поверхностного скольжения над темой, образной и словесной неряшливости, столь обычных для «кампанейских» работ, для срочных художественных «отображений» и «откликов». Высокая художественность «Поднятой целины», несколько не пострадавшая от трактовки самых острых, самых злободневных, самых насущных политических тем, объясняется, несомненно, только органической, глубокой, взволнованной заинтересованностью автора. Писатель-партиец отложил все прочие художественные замыслы, он временно отказался от выполнения других, не менее важных, но более спокойных литературских планов, и перо его заговорило страстью текущих дел.

Идет раскулачивание. Группы колхозников обходят дома кулаков, производят опись кулацкого имущества и выселяют богатеев из насыженных гнезд. Вовсе не легкая это работа. Она требовала классовой стойкости, мужества, непоколебимости, веры в затеянное великое дело и крепких, испытанных нервов. «Жизнь в Гремячем Логе стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием». Советский писатель — «инженер человеческих душ» — должен был поддержать колеблющихся, подкрепить волю слабых, подверженных напрасной и опасной жалости. Великий опыт производился в масштабах огромной страны, и Андреев Разметнов, честных коммунистов, но способных дрогнуть и малодушно отступить перед врагом, могло быть немало, и они могли бы сорвать начатое дело или отдалить его окончательное, победоносное завершение.

Андрей Разметнов заявил: «Больше не работаю». Он отказался от дальнейшего руководства группой содействия из бедноты и не хочет больше раскулачивать. Не может. Отчаяние повер-

женного врага пробудило в нем жалость.

И тогда, в наступившей вдруг тишине, Давыдов медленно поднялся со стула и, заговорил, задыхаясь. Слова его относились не только к Андрею Разметнову. Миллионы людей читали «Поднятую целину», и многие колеблющиеся, смятенные, поддавшиеся минутной слабости, могли обрести новый прилив сил и ненависти к врагу в этих словах:

«— Ты их жалеешь... Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слез наших детей? Над сиротами убитых плакали? Ну? Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь... У матери нас четверо... мне, старшему, девять лет тогда... Нечего было кушать, и мать пошла... Ты смотри сюда! Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не подохли... Кто наши слезы вытер? Слышишь ты?.. Утром беру этот проклятый рубль... — Давыдов поднес к лицу Андрея свою зажатую ладонь, мучительно закрипел зубами, — ... мамой заработанный рубль и иду за хлебом... Ты!! ... Как ты можешь жалеть?!».

Путиловский рабочий, двадцатипятилетний, осуществляющий в деревне пролетарское, партийное руководство, Давыдов находит и множество других доводов:

«— Эко, дурило ты!!.. «Не буду работать... дети... жалость...». Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи? Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь... Ну, выселим кулаков к черту, на Соловки выселим. Ведь, не подохнут же они? Работать будут — кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает...».

Книга учила мужеству, книга воспитывала пролетарские души, она помогала партии в сложном, трудном, великом деле, когда громилась старая жизнь и на развалинах ее строилась новая, светлая, единственно достойная человека.



**Александр Корнейчук**

Люди менялись, менялась психика их, одно лишь участие в революционном созидании уже подымало их культуру, раздвигало горизонты их мышления, облагораживало их чувства.

Когда колхоз в Гремячем Логе уже был прочно сложен, когда миновали многие беды, осложнения и неудачи, когда покончено было с ошибками и перегибами, с кулацкими подвохами и вредительством, между Макаром Нагульновым и Кондратом Майданниковым произошел огромный внутреннего смысла разговор. Макар предложил Кондрату вступить в партию. Кондрат, вздохнув, отказался.

«— Это почему такое? — нахмурился Макар.

— А через то не могу, что вот я зараз в колхозе об своем добре хвораю... — Губы Кондрата дрогнули, он перешел на быстрый шопот: — Вот по своим быкам хвораю душой, и жалко мне их... Конишке Акимка Бесхлебнов на волочье шею потер хомутом, поглядел я и сутки через это не жрал... Через это и не могу. Раз я ишо не отрешился от собственности, — значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть. Я так понимаю».

Таково отношение широких масс к партии, как к организации честнейших, чистейших и бескорыстнейших бойцов за новую жизнь.

Михаил Шолохов своими произведениями содействует партии в воспитании новых людей, новых строителей советской земли. Его неопценная политическая работа писателя-большевика заслуженно пользуется самым высоким уважением. Он был избран в члены Центральной избирательной комиссии и выдвинут кандидатом в депутаты Совета Союза.

Теми же качествами писателя-партийца отмечена деятельность писателя-большевика Владимира Ставского — кандидата в депутаты Совета Национальностей.

Автор популярных книг, — «Станица», «Разбег», «На гребне», — сыгравших немалую роль в политическом развитии коллективизирующейся деревни,

он стал руководителем Союза советских писателей СССР.

Занятый большой, ответственной политической работой (Комиссия партийного контроля, правление Союза советских писателей), Владимир Ставский находит время заботиться о писательской молодежи, ее политическом воспитании.

В творчестве его с тем же постоянством и силой сказывается любовь к молодежи, забота о нравственной и политической ее чистоте. С большой теплотой живописует автор Петруся Хижного в книге «На гребне».

«Петрусь напряженно морщит высокий, спаленный летним солнцем, лоб. Миколо Горленко, друг сердечный, вчера заходил, про день урожая рассказывал. На улице будет праздник, с флагами пойдут... Хорошо бы флаг понести... У всей станицы очи повывлазили бы!..».

Из главы в главу растет юноша, накапливает опыт, силы, житейскую мудрость, знания, чувства нового человека. И как работает он!

«За курганом пашет артель «Коллективист». Пашет и Петрусь Хижный. Вчерашним днем закончена полевая разведка. Алексей Рева посулил ему какую-то награду...».

Труд на социалистических полях — труд радости, сопровождаемый веселой песней. Песнь сама собой льется из счастливой груди.

«С пегого лица Петра не сходит улыбка. Он идет по борозде, крепкой рукой держа рукоять плуга. Выбеленные корпуса режут потрескивающую корешками трав землю, валятся, дымясь под солнцем легкой испариной, пласты. Сзади, вспархивая и горлая, подбирают вьющихся червей черносизые грачи и галки, впереди — за плугами — шагают Григорий Корж и другие колхозники. Бегут у Петра мысли, — нет, это не мысли — воспоминания, легкие и сквозные, как то вон облачко на востоке. Сама просится из груди, и он мурлыкает ее, любимую свою песню: «Рано утром, только солнышко взойдет...».

Этот тон сердечной мягкости возникает у автора всякий раз, как на страницах книги появляется Петрусь Хижый — новый человек, рожденный на новой земле.

Самый молодой кандидат из писательской нашей семьи—Александр Корнейчук. Он еще комсомолец, а уже давно знает страна этого драматурга, чьи пьесы «Гибель эскадры» и «Платон Кречет» обошли все театры Союза.

В недавнем прошлом он ремонтный рабочий Христиновского железнодорожного узла, на Украине. Отсюда рабочие послали его в Киев на учебу. Будучи студентом, Александр Корнейчук начал пробовать свои силы в драматургии. Первые пьесы его оказались неудачными. Юноша не сдавался, он упрямо работал и учился. «Гибель эскадры» вознаградила его настойчивость и открыла молодого талантливого автора. Еще больший успех выпал на долю другой его пьесы — «Платон Кречет»: ее поставил Московский Художественный театр им. М. Горького. Пресса единодушно отметила высокие достоинства молодого драматурга.

Александр Корнейчук с этих пор утвердился прочно на театральных подмостках. Он становится профессиональным автором и энергично участвует в общественной жизни украинских писателей.

Авторитет его возрастает. Рабочие железнодорожного узла, на котором он некогда работал, гордятся своим воспитанником. Корнейчук написал новую пьесу «Правда», в которой отражен образ великого Ленина. Корнейчук упорно работает над новыми пьесами. Успех не вскрыжил ему головы. Глубоко самокритичный, очень требовательный к себе, настойчивый и трудолюбивый, молодой драматург воспитал в себе чувство высокой ответственности за свою продукцию перед страной.

В настоящее время он изучает многочисленные исторические материалы, готовится создать пьесу о Богдане Хмельницком, о борьбе украинского народа с польскими панями за свою независимость.

Вот представители писательской общественности, выдвинутые кандидатами в депутаты Верховного Совета. Люди разных возрастов, разных жизненных путей, они отмечены единой, общей для всех чертой—кровной близостью к народам Советского Союза, к коммунистической партии, великим идеям нового человечества.

Народные массы оказывают высокое доверие творцам советского художественного слова, и доверием этим глубоко гордится вся литературная общественность Союза ССР.

# Поездка в Карабах и Курдистан

З а м е т к и и з з а п и с н о й к н и ж к и

**Б. ЛАПИИ, З. ХАЦРЕВИН**

**С**корый поезд Баку — Тбилиси. Мы доезжаем до станции Евлах. Отсюда по автомобильной дороге мы едем вглубь страны, через душную и богатую долину. По обеим сторонам дороги лежат хлопковые поля, бесконечно раскинувшиеся от горизонта до горизонта. Маленькие бензиновые станции. Дорожные столовые, где подаются только-что сорванные дыни. Районные городки Барда и Агдам, с их складами и магазинами, возникающими прямо в степи.

Дорога полна движения. Это колесная магистраль обширного колхозного края, где производят хлопок, вино, пшеницу и шерсть. Вместе с нами на сером от многочасового перехода «газе» едет сельский пропагандист в маленькой надетой набекрень бараньей шапке. Он едет в горы беседовать о выборах в Верховный Совет.

Навстречу нам, грохоча на ухабах, проносится полуторатонка с кипами республиканских и центральных газет. Ворчат гудки встречных машин; неторопливо скрипят арбы на высоких колесах; верхом на конях продвигаются к железной дороге студенты бакинских вузов. Они проводили свои каникулы в горных колхозах, среди родных.

Сухой ветер из степи поднимает желтую пыль. Дорога идет вверх. Появляются круглые развалины Аскеранской крепости. Это въезд в Нагорный Карабах.

В полчаса исчезает пыль. Ветер становится свежим. Наш шофер Сурен

Петросян говорит: «Дальше комары не летят — для них слишком высоко».

Вскоре показывается и сам город Степанакерт. Он лежит в дали, неясно возникающей за горной чертой. Через двадцать минут машина въезжает на центральную площадь. Мы — в столице Нагорного Карабаха.

Степанакерт — областной город Азербайджанской ССР. Он лежит в широкой котловине, окруженной лесистыми горами карабахского кряжа. Местоположение Степанакерта живописно, климат его считается целебным. Лето жаркое, с прохладными ветренными ночами. Население Степанакерта — армяне Нагорно-Карабахской автономной области.

В Степанакерте девять тысяч жителей. Это новый город, целиком построенный советским государством. Как у всех городов, строящихся по плану, у него нет окраин. Он кончается сразу, без предупреждения — дальше горы, лощины, тропинки, по которым движутся всадники.

Облик Степанакерта чем-то напоминает характер карабахских горцев — скромный, простой и мужественный. Улицы опрятны. Внутренность домов отличается удивительной чистотой. На окнах цветы, белоснежные занавески.

Город стоит в центре области. Отсюда во все стороны открыт просторный кругозор. С главной площади можно разглядеть вдали дома и деревня. Это соседний город Шуша, лежащий в четырнадцати километрах к югу и на

несколько сот метров выше Степанакерта.

Шуша — оживленный город; живут в нем азербайджанцы и армяне. Здесь горная климатическая станция, областные и республиканские дома отдыха, пионерские лагеря. В последние годы Шуша стала студенческим и дачным городком.

Рядом с современной советской Шушой лежит мертвый город Шуша, один из наиболее трагических памятников времен интервенции в Закавказье. Семнадцать лет назад Шуша была разрушена и уничтожена во время провокационной резни, в которую ввергли Карабах предатели своих народов — мусаватисты и дашнаки.

Мы идем со студенческой экскурсией осматривать семнадцатилетнюю древность Шуши. Вымощенные гладким камнем улицы поднимаются вверх. Начинают попадаться дома со сломанными крышами и проломами вместо стен. \*

А выше открываются разрушенные кварталы, где никто больше не живет. Одни камни, камни и камни... Они ослепительно блестят под осенним солнцем. В дырах окон, высунув хвосты, греется воронье. Щемящую грусть навевают поросшие бурьяном улицы этой кавказской Помпеи.

Здесь, на развалинах старой Шуши, возникает беседа. Она ведется на трех языках, тема ее — прошлое и настоящее, Сталинская Конституция и национальная рознь на старом Кавказе. Внезапно просит слова наш шофер, отправившийся вместе с нами осматривать город. Ему было десять лет, когда погибла Шуша. Он помнит зарево над горами, трупы на дорогах, сожженные деревни...

Карабахская трагедия никогда не повторится. После Сурена говорят еще четыре человека. Они воспитаны сталинской дружбой народов — азербайджанец и армянин, азербайджанка и армянка. 12 декабря 1937 года они будут вместе выбирать в Верховный Совет.

— Вы — приезжие. Разрешите познакомиться. Я — гражданин Степанакерта Арзумян. Сегодня мой выходной. Если

у вас есть время, пойдемте посидим на Верхнем бульваре.

Ованес Арзумян — человек среднего роста, коренастый, с большими руками и с загорелым восточным лицом. Он идет рядом с нами, полный доброжелательного гостеприимства, как будто Степанакерт является частью его собственного дома.

«Сейчас еще темно, — говорит он, оглядываясь по сторонам. — Фонари зажигаются у нас поздно. А уже осень, день уменьшается. Наше степанакерское солнце по ночам неярко светит: электростанция построена давно. Ждем окончания Тэртэргэса.

«Славный город Степанакерт, жизнь в нем веселая, недорогая. Народ учится, каждый третий прохожий — вузовец или курсант. Очень упорный народ, он всегда добьется цели. В обком поступают заявления со всего Карабаха, и в большинстве сказано: «Хочу учиться, хочу быть образованным».

«Глядя на эту картину, невольно вспоминаешь прошлое. Двадцать лет назад мы часто проходили по нынешним степанакерским улицам. Город наш еще не существовал, и тьма вокруг была гуще, гораздо гуще. Когда смотришь, вокруг него не видно ни одного огонька, только разве там, на склоне, мерцает костер пастуха. Люди притаились в своих домах, боялись выйти за ограду.

«На месте Степанакерта была небольшая деревня Хан-Кенды, где были расквартированы царские казаки. Мы, карабахские армяне, редко появлялись в этом военном поселении. Мы жили голодно, скудно. Бывало, осенью станешь на дороге между Хан-Кенды и Шушой и видишь — с гор цепочками ползут бедняки с дорожными мешками за спиной в города на заработки. Верст четырехста отмахает бедняга пешим ходом, доберется до Баку и кланяется — просит подрядчика принять его на работу.

«У карабахского мужика золотые руки. Он на всем Кавказе первый каменщик, самый опытный мастер-строитель, плотник такой, каких свет не видал, а если попадет на промысел — старательней его не найдете. Половина Баку по-

строена руками карабахских отходников. Есть у нас каменщики, работают по пятьдесят лет.

«Я по специальности строитель. Ровно двадцать лет назад я шел в первый раз из голодной своей деревни на заработки. Деревня моя — теперь очень известный колхоз, называется «Красный», — место знаменитое во всей области, даже театр свой собираемся завести. Тогда мы между собой называли ее «Воронье гнездо», или, иначе, «Чесноковка».

«Из этого «Вороньего гнезда» я вышел на заработки вместе со своим братом. Собрались мы в путь на рассвете, шли весь день и к ночи решили остановиться возле Хан-Кенды. И помню я прекрасно следующую картину. Остановились мы на горном склоне, недалеко от ручья. Шагах в двадцати от нас стояли лагерем азербайджанцы, голытьба из соседнего селения, три брата — Мамед, Рза и Усейн, мы их отлично знали, а еще подальше горел костер лачинских курдов, спускавшихся в агдамские поля — наниматься в батраки к тамошним помещикам, бекам.

«И помню я отлично, как брат мой сказал: «Смотри, будь осторожен, не спи эту ночь». И мы с братом по очереди не спали, следя за соседями. А эти соседи боялись нас. Так мы провели ночь, следя друг за другом. И наверху горели огни в Хан-Кенды и перекликались русские часовые, и мы боялись подойти к нынешнему Степанакерту на тысячу шагов. Такое было «братство» народов на старом Кавказе. В эти недели перед выборами многие карабахцы вспоминают кровавое прошлое Кавказа».

Из белого двухэтажного дома выпали ученики карабахской школы. В руках они несут инструменты — гобои, трубы, флейты, фаготы, блестящее медное вооружение духового оркестра. По вечерам на сквере перед обкомом школьный оркестр играет народные танцы. В толпе детей идет капельмейстер школьного оркестра, старый учитель-осетин.

На сквере под темными электрическими фонарями гуляет половина степана-

накертцев. Здесь слышна речь армянская и русская. Здесь жители города танцуют, слушают музыку, здесь встречаются командированные перед тем, как уехать в горы.

Вы по обуви отличите армянских горцев: они носят высокие узорные чулки и желтые туфли из сыромятной кожи. Это народ сильный, мужественный и прямодушный, как все горцы Кавказа. Вы познакомитесь здесь с пастухами и с руководителями области, с рабочими степанакертской типографии и с агрономами, по сигналу которых начинается сбор урожая.

Часам к одиннадцати улицы Степанакерта пустеют. Горожане расходятся по домам. Школьный оркестр, исполнивший на площади народные танцы, давно уже спит. Учитель-осетин разбирает новые ноты, он готовит к дню выборов концерт для карабахского народа. Редкие прохожие спешат домой. С окрестных гор ползет густой белый туман.

На краю города, там, где на склоне холма стоят дома пригородного колхоза, еще горят огни, слышно пение, смех, громкие голоса. Начался сезон свадеб — традиционные «шесть недель после сбора урожая». Подойдем к дому, у которого собрался пригородный колхоз. Сегодня Нерсес выдает замуж свою дочь Шушаник. Колхоз не поспешил на иллюминацию по случаю этого торжественного события. Белые стены дома ярко освещены шестью фонарями. Погода теплая. Три стола стоят на открытом воздухе. Нерсес в своем доме угощает семьдесят гостей. Невеста сидит под фонарем; сейчас хорошо видно ее маленькое лицо с черными кудрями, энергичный рот. На подносах навалены помидоры и фасоль, перед гостями — жареные индейки и каурдак, на земле стоят бутылки с душистой тутовой водкой.

В этот вечер произнесено пятьдесят тостов. Карабахские колхозники славятся своим красноречием.

— За здоровье дорогой невесты! За процветание жениха! За родителей, получивших за год восемьсот трудодней.

Встал Хачатур Варсегов, бригадир молочной фермы, и сказал:

— Жалко тех, чьи родители не увидели этой свадьбы...

Старик Нерсес заплакал, слушая его слова. Гости собирались запить вином предложенный тост, но Нерсес начал рассказывать длинную историю о лисе, которую он поймал сорок лет назад и которую отнял бек Агабекан.

— И так он отнимал нашу жизнь, — закончил свою речь Нерсес.

— Будем же беспощадны к врагам советской власти, — сказал Хачатур Варсегов, — их надо истреблять везде, нужно стулья поджигать, на которых сидят наши враги.

— За наш дорогой колхоз, лучший колхоз района! — сказал Даниэль Даниэлян.

— Не надо зазнаваться, не надо чваниться, — сказал брат жениха, здоровый парень в русской рубашке. — Не надо хвастать, не вы первые, есть лучше вас, есть колхозы-миллионеры...

Пока шел ужин и произносились тосты, невеста и жених, не отрываясь, глядели друг на друга. Они за весь вечер не произнесли ни слова.

— Одну минуту, — крикнул кто-то: — Слово новобрачным!

Все подхватили его слова, начали кричать, хлопать в ладоши. Наконец, жених встал с места.

— Тсс, жених хочет говорить.

И жених сказал:

— Пью за всех новобрачных Советского Союза.

Он сидел за столом свободно, слегка откинувшись назад, его большие крестьянские ноги были обуты в охотничьи сапоги, его обветренное, кирпичного цвета, лицо блестело в свете шести фонарей.

— Знакомьтесь, — сказал шофер Сурен Петросян, — вот товарищ Хако, азербайджанский курд, наш популярный колхозник. Сегодня он едет вместе с нами в город Лачин.

Мы с любопытством посмотрели на плотного человека с резкими чертами лица, сидевшего на скамье у автомобильной станции. В своих галифе из

старого солдатского сукна и войлочной шапке он выглядел довольно внушительно. Поздоровавшись с нами, он сказал:

— Я умею по-русски.

Сурен осмотрел покрышки и принял ся наливать воду в радиатор.

— Товарищ Хако — курдский партизан, — сказал он.

Машина Сурена стояла на дороге, нагруженная товарами для гор. Мы выехали под вечер и после привала в Лысогорске очутились за пределами Нагорного Карабаха. Ехали мы в полной темноте. Фары едва освещали дорогу. Автомобиль несся под уклон, потом с грохотом полз вверх, иногда по долгому шуму катившихся из-под колес камней мы догадывались, что внизу глубокий обрыв.

Становилось все труднее ехать. Невдвно в горах прошел дождь. Во многих местах дорога была размыта, и нас «заносило»: автомобиль вилял на краю бездны.

— Придется потрястись, — сказал Сурен, — это неважная дорога — крутизна, опасность. Ты не боишься, приятель?

— Курды этого не понимают, — сказал Хако.

Мы летели по темным горам, не убавляя хода. Сурен принадлежал к лихой породе горных шоферов — людей храбрых и уверенных. У него была странная манера петь песни, делая головокружительные виражи. Наконец, мы выехали на узкую лужайку среди каменистого ущелья. Сурен остановил машину в укрытом месте. Здесь был наш ночлег. Спустился туман, в пяти шагах уже не было видно человека. Стало сыро. В тумане то здесь, то там светились огни. Горели костры азербайджанских пастухов, спускавшихся в долины с высокогорного пастбища.

— Эге-эй! Чьи овцы? — крикнул Хако.

Из тумана донеслось:

— Колхоз Агда-ам.

У одного из костров слышна музыка. Подойдя ближе, мы увидели пирушку. Несколько семейств, собравшись у костра, пекли лепешки и жарили на огне

мясо. Вокруг костра сидели женщины и укачивали младенцев, завернутых в яркие платки. Громадная добродушная овчарка, охранявшая стадо, увидев нас, лениво залаяла. Сегодня торжественный день на пастбище. Колхозных пастухов посетил слепой азербайджанский ашуг Джевад. Его просят исполнить новые песни, и он охотно соглашается. Он поет о народе советского Карабаха, о Сталинской Конституции, о вершинах гор. Его высокий, протяжный голос несетя над ночным лугом.

Мы с Суреном вернулись к машине и стали укладываться спать. Через несколько минут возвратился Хако, очень довольный разговором.

— Есть новости, — сказал он, укладываясь в кабине. — Кое-что интересное рассказали мне азербайджанцы. Приехал Асо Джумшудов, курд-орденоносец, и ставит рекорды: четыре килограмма шерсти с овцы.

Помолчав, он прибавил:

— Мы во-время едем к курдам. Стада возвращаются с пастбищ, всюду праздники, пирушки, свадьбы.

Он зевнул, прикрывшись курткой, и растянулся в кабинке. Устроившись на платформе грузовика, мы заночевали на кипах мануфактуры. Ранним утром мы тронулись дальше.

Дорога к Лачину, районному городу Азербайджанской ССР, вилась сквозь долины и ущелья, подъемы и спуски. Часов с девяти утра навстречу нам начали попадаться колхозные стада. Из-за поворота выходили чабаны с семействами. Женщины — по две, по три на одной лошади; подростки верхом на ослах. Часто встречались двухколесные телеги, среди крестьянского скарба виднелись любопытные головы телят и щенят, родившихся на альпийских лугах.

— Эге-ей! Чей колхоз? — вопил Хако, приложив ладонь ко рту.

— Каладарасинские, шушанские, агдамские, мильские, — слышалось в ответ.

— Добро ли кочевали? Добро ли кочевали?

— Спасибо на слове, — нынче из всех годов год. Из всех годов год.

Становилось жарко. Через несколько минут повеяло неожиданной прохладой.

Мы двигались сквозь зной и свежесть, поочередно сменявшие друг друга. Внезапно с обрыва мы увидели ущелье, где живут советские курды.

Отдаленный район Лачина и Кельбаджара, этот азербайджанский Дальний Запад, начинался сразу, за перевалом. Налево от нас далекие холмы загораживали иранскую границу. Они слегка дымились, темные и неясные над освещенной ярким солнцем равниной. Впереди виднелись луга и темномалиновая гряда армянского Зангезура.

Вскоре город Лачин предстал перед нашими глазами: как бы распахнулся горный занавес. Потом на мгновение город снова скрылся из виду.

Подъезжая к перекрестку, мы увидели первых курдов. Их было трое, они ехали куда-то верхами по конной тропе. У каждого была длинная веревка и суковатая палка с петлей. Впереди ехал белозубый курд с длинными шелковистыми усами. Второй был очень толстый. Третий — совсем маленький, курносый, с черными, как уголь, волосами. Поровнявшись с нами, они придержали коней.

— Э-э-эй! — крикнул Хако.

— Э-эй! — закричал толстяк. — Что заметно на дороге?

— Важный вопрос, — сказал второй курд, — мы ищем беглого быка старухи Нанапэри, нашей колхозницы.

— Бык Шахдар, такой же старый и такой же хороший работник, как его хозяйка, — сказал третий.

— Давно вы его ищете?

— Четвертый день, в свободное от косовицы время.

— А старуха Нанапэри?

— Ничего! Мы ей сказали, что бык перевозит доски для школы. Она очень старая женщина, а для стариков неприятности вредны.

— Советская власть дала ей спокойную старость, грех ее огорчать, — сказал другой.

Хако был заметно горд и растроган этой первой нашей встречей с курдами.

— Наши колхозники внимательны к старикам, — сказал он, — знаешь, такая привычка.

Сурен тихо вел машину на завороте дороги.

— Цо, цо! — крикнул один из курдов, и лошадь его, помахивая хвостом, пошла вверх. Через минуту они скрылись в ущельи.

Все выше и выше поднимаемся мы по дороге. Мы на высоте тысяча семьсот метров над уровнем моря. Направо от нас просторный луг, окруженный коричневыми горами. На вершинах гор лежит первый снег.

По краям луга цепью расположено несколько горных армянских селений. Они похожи друг на друга. Границы их сливаются. Громадный кругозор открывается перед домами. Можно подумать, что селения летят над долиной.

Издалека слышен протяжный крик:

— На собрание! Прошу на собрание! Эй, Аветис, Рубен, Садик, Аршак, Ермония!

Дежурный по колхозу созывает народ на собрание, посвященное выборам в Верховный Совет.

Две тысячи колхозников собрались на лугу. Митинг происходит на фоне могучего карабахского ландшафта. За спиной собравшихся блестит линия горной реки. Вершина горы — в дымке и солнечных бликах. В холодном разреженном воздухе гулко и внушительно раздаются голоса колхозников. Один за другим они всходят на подножку трактора, служащего трибуной.

Выступают: тракторист, чабан-овцевод, зав. молочной фермой, бывший партизан, старик контролер на мельнице, семнадцатилетний пионервожатый.

Карабахские армяне — природные ораторы, со своей особенной, свободной и несколько торжественной манерой...

Они говорят о мудром, великом садовнике Сталине, о цветущих колхозах, где зреет пшеница и шумят виноградные лозы, о своих детях, защищающих в городе Баку диссертации на ученую степень, о женщинах-бригадирах, о прекрасном Кавказе, сверкающем в лучах великой Сталинской Конституции...

Народы, населяющие Лачинский район, столетиями жили рядом и мало чем

отличаются друг от друга. Курда иногда можно узнать по лицу — черты его лица резче и суровее. В Европе принято говорить, что курды разбойники и что они не могут быть хорошими земледельцами. Этот народ, живший в Иране, в Турции и в царской России, был предметом долгих и враждебных наблюдений. Составлялись статистические таблицы «курдских злодейств», которые должны были доказать, что этот народ нужно искоренить.

Курды считались одним из самых бедных и диких народов мира. Их звучный, красивый язык называли «презренным», они не имели школ, у них не было письменности. Советская действительность опрокидывает досужие измышления.

Мы в'ехали на главную площадь курдского городка. Что же представляет собой Лачин? Это единственная улица, идущая снизу вверх, — здания районных учреждений, школа и клуб, двухэтажный дом с большой вывеской «Отель Парлак», огромные зеленые горы, стоящие почти рядом с домами. Во всех направлениях с гор и в горы по улице движутся всадники. Возле почты стоит забрызганная грязью машина. Это первый автомобиль, проехавший по новой, еще не законченной дороге из Лачина в Минкент — центр курдских селений. Мы стоим перед зданием райкома. Хако, который знает всех в Лачине, дает нам объяснения:

— Этот человек азербайджанец, этот курд, этот армянин. Проехал такой-то уполномоченный Совнаркома, Вот Карагез, стахановка, ей восемнадцать лет, вяжет сто пятьдесят снопов в день...

За двадцать минут мы обошли весь город. Мы пили чай в городской столовой. Хако рассказывал десяток историй одновременно. Под конец он сказал:

— Видите, на горе сложены камни, — это ураганные зимовки; нигде на Кавказе нет таких зимних бурь. Там живет одна женщина курдского племени, которой исполнилось сто шестьдесят лет.

— Уступи, пожалуйста, лет пятьдесят, очень тебя прошу, — сказал Сурен, — полтора года лет не может ей быть.

— Спроси кого хочешь, — сказал Хако.

— Во всяком случае, ей больше ста, — сказал редактор районной газеты «Советский Курдистан». — Трудно проверить: события женской жизни однообразны. Ее зовут Сакинэ, из колхоза Орджоникидзе.

— Историческая старуха, — сказал Сурен.

— Я пытался провести с ней беседу, — продолжал редактор газеты, — спрашивал: «Что ты помнишь?». «Помню, как было землетрясение. Еще помню, что мы долго ничего не ели. Я была, говорит, совсем девочкой — лет пятьдесят». «Хочется тебе умирать?» — говорю я. «Придется, — говорит она, — но время стоит слишком хорошее, не хочется». Тут она подошла к памятнику Ильичу, перед редакцией, и поклонилась ему: «Спасибо тебе, отец, за моих потомков...».

Когда проезжий попадает в Лачин, ему говорят:

— Видели ли вы орденосцев Джумшудовых, отца и сына?

Случайно в день нашего приезда старший Джумшудов оказался в Лачине, и нам удалось с ним познакомиться. Он проезжал по улице на своей гнедой. Мы вышли ему навстречу. Заметив, что мы хотим с ним поговорить, он спешился и энергичным шагом направился к нам.

— Как видно, вы приехали издалека, — сказал он. — На ваших сапогах не здешняя пыль, здешняя пыль темнее. Это карабахская пыль.

Он внимательно оглядел нас. Глаза его были светлые, зоркие, сильно выцветшие. Мы предложили ему посидеть с нами. Он отказался, сославшись на недосуг, — он торопился попасть в горы до темноты.

— Отец, — сказал Хако, — с тобой хотя бы поговорить. Слышишь? Приезжие из Москвы.

— Спасибо, — сказал пастух, — что меня еще помнят.

— Ты ведь был в Москве на совещании животноводов? — спросил Хако.

— Я шел по Москве, как дитя, — сказал Джумшудов, — я, старый чело-

век, я шел радостный, как дитя, после встречи с товарищем Сталиным.

— Расскажи нам об этом, — сказал Хако.

— Об этом не говорят на-ходу, — ответил курд, — об этом надо толковать до поздней ночи, потом завтра день — все равно не успеешь всего рассказать. Я, старый курд, здоровался с великим человеком.

— Тогда расскажи, пожалуйста, о себе.

— Моя речь — это овцы. Когда отара здорова, овцы дают хороший приплод и шерсти много, — вот моя речь.

Все это он говорил ровным, тихим голосом.

— Спасибо тебе, — с чувством сказал Хако, — я тоже курд, ты мне, как отец.

Джумшудов подошел к коню и поправил седло.

— По какому делу вы приезжали в город?

— Мне строят дом, — сказал старик. — Я везу гвозди, деньги, ордер на лес; по этому делу я заезжал в Лачин.

— Ты заслужил, — сказал кто-то из стоящих рядом людей. — Тебе уж можно отдохнуть от трудов.

— Пусть ленивые отдыхают, — недобрительно ответил старик.

Сев на коня, он взмахнул кнутом и поехал рысью туда, к горам, где лежало курдское селение Тия-Ленин.

— Правильный старик, — сказал Хако, — не даром носит орден Ленина. На-днях проведут в его дом телефон.

После трех часов дня стало прохладней. С гор, пригибая кустарники, подул свежий ветерок. Учреждения Лачина закрылись. На дверях висели замки. Мы пошли вверх по главной улице. Прохожих было больше, чем утром. Пройдя мимо белых домов, мы остановились у входа в маленький лачинский кооператив. Двое курдов, не слезая с лошадей, громко между собой переговаривались. Мелкорослые их лошади стояли, как вкопанные.

— О чем разговор, Хако?

— Понимаете, товарищи, — сказал он, — в кооперативе остался всего один

шелковый зонтик. А покупателей двое — колхоз подгорный и колхоз луговой. Каждый из них свою рекордистку хочет премиривать зонтиком. Это, на конях, председатели. Отсюда и весь шум...

Между тем всадники не унимались. Свешиваясь с седел, они продолжали выкрикивать достоинства своих кандидатов. Лица их пылали.

— Эх, и горячий народ! — сказал Хако и пошел уговаривать спорщиков.

Ожидая машину, мы сидели на ступеньках гостиницы. Смеркалось. На горах появились тени. С вершины Лачин-Дага сползал жидкий туман. Сверху торопливо ехал всадник; за его спиной на крупе коня сидела совсем молодая, худая черноволосая девушка. Хако его окликнул:

— Зачем приехал?

— За справкой о совершеннолетии невесты, — сказал всадник. — Я люблю ее, уже свадьба ждет, даже наточен нож, чтобы резать барана.

Это был сильный парень с большим, добрым лицом. Четверть часа спустя жених и невеста снова появились на площади. Жених вел коня под уздцы.

— Разрешение есть, — сказал он и швырнул на землю свою рыжую баранью шапку, — приглашаю всех на свадьбу. Слышите, приглашаю всю улицу.

— Нехватит угощения, — шуточно сказал Хако.

Курд вспылал:

— Меня оскорбляешь, даю честное слово. Я заработал пятьсот трудовней. Слышите, весь Лачин я приглашаю на свадьбу. И Карабах тоже.

— Хватит тебе кричать, Усо, — тихо сказала девушка, — хватит тебе волноваться.

— Почему же не кричать, если у меня такой крепкий голос? — спросил курд.

— Да, — с восхищением согласилась невеста, — голос у тебя неплохой.

Перед отъездом мы зашли в редакцию газеты.

— Жалко, что рано едете, — сказал редактор газеты. — Вечером вы услышали бы курдский самодетельный

концерт. Вам было бы полезно также присутствовать на районном слете безбожников, который состоится на-днях.

— Если заглянете ко мне, — сказал секретарь райкома партии, — я покажу вам архив врага, который будет опубликован на слете.

Он показал нам холстяной кисет, оставленный в одном из селений заезжим человеком. В кисете лежал пергаментный восьмигранник, на котором были оттиснуты избранные суры корана. Он же служил ладанкой, предохраняющей от пуль. Под ним в грязной бумажке был завернут толченый шафран для переписывания заклинаний. Мы увидели документы шпиона: грубо перечеркнутый, подчищенный и исправленный карандашом паспорт на имя некоего Кахраман-оглы. На вложенных в паспорт листках бумаги были нарисованы арабские молитвы; некоторые строки для вящей учености были написаны на нигде не существующем алфавите.

Это были вещи, второпях брошенные странником. Весной по чужому документу он проник из одной зарубежной страны и появился на горных леговках. Он сулился излечивать все болезни наложением рук, писал молитвы для неплодных женщин. Он собирал стариков и говорил с ними на темы о коране, о расположении пограничных постов и халифе Али, о Хусейне и Хасане, «погибших за веру», он сыпал пословицами и каламбурами. Он расспрашивал также о различных других вещах. С первых своих шагов мулла показался курдам подозрительным. Курдские комсомольцы стали следить за этим любопытным скотоводом. Ночью мулла тайно скрылся из кочевья и лишь некоторое время спустя появился снова, за много километров отсюда. Здесь он был пойман.

В сумерках мы выехали из Лачина и через два часа доехали до крайнего пункта, где кончалась автомобильная дорога. В селении мы заночевали. Отсюда кооперативный груз должны были везти конно-бычьим обозом. Проснувшись ночью, мы увидели, что в воротах горит фонарь. Хако стоял, наклонившись над телегами.

Хако сказал:

— Привели лошадей.

Мы оделись и вышли на двор. Было светло, над гребнем Лачин-Дага взошла луна. Хако принес чай и сказал:

— Ешьте осторожно, много хлеба не ешьте, — сегодня хорошо поедим, будут праздники в курдских колхозах.

Около трех часов мы выехали с базы по направлению к летовкам курдов. Хако ехал рядом с нами. Мы видели косую тень его войлочной шапки то на скале, то на поверхности куста, внезапно появившегося на повороте. Каждый раз при виде тени наши лошади пугались и пятились в сторону. Хако снова нас спросил:

— Вы не ели много хлеба? Надо для угощений оставить место.

Некоторое время мы ехали молча. Наш небольшой обоз, состоявший из двух телег и восьми всадников, медленно двигался в гору — горный обоз, завозивший к курдам кооперативные товары. Один из кладовщиков запел; возчики тихо бранились между собой. Внезапно второй кладовщик, Абдулла, спросил:

— Хако, ты меня слышишь?

— Да, — сказал Хако.

— Я волнуюсь, — сказал Абдулла, — курды останутся нами недовольны.

— А ты ждал, что тебе преподнесут розы? — спросил Хако.

— Тут надо быть героем прилавка, честное слово, — обиженным голосом сказал Абдулла. — Они требуют ситец, посуду, гвозди, оконные стекла. Если что не так, ругают меня. Что ты будешь делать! Везде постройка домов; люди жили раньше в пещерах и ямах. Только и слышно: «Ввиду переезда в дом прошу отпустить печную трубу, отпустить дверь...».

Постепенно мы поднимались в гору, и ущелье становилось уже. Воды ручья, протекавшего среди ущелья, гремели, ворячая камни. Внезапно Хако закричал, стараясь покрыть голосом шум потока:

— Вы едете к нашему племени, смотрите хорошо. Пожалуйста, полюбите наш отважный народ. Такая уж это сила — ленинско-сталинская национальная политика, что все, чего она ни коснется, начинает цвести и оживать.

Он хлестнул коня и поскакал вперед по тропинке. Мы приближались к лугам. Они были синего цвета и блестели от росы.

## „Губерниальный староста“

Л. МОРЕВ

**В** тот день, когда Чрезвычайный VIII с'езд Советов обсуждал проект Сталинской Конституции, в зале заседаний с'езда, в местах для публики, сидел еще не старый человек с живыми, блестящими глазами и удивительно знакомым лицом. Лицо казалось знакомым главным образом потому, что его приходилось видеть в иллюстрированных журналах и на газетных столбцах. «Несомненно, где-то я видел его портрет» — думал сидевший с ним рядом человек, и в то же мгновение сосед, привлечший его внимание, повернулся к нему и сказал:

— А мы с вами знакомы. Мы вместе встречали октябрьский праздник в клубе советской колонии в Париже.

И он назвал довольно известное в стране имя врача-хирурга.

В перерыве заседания оба, на правах старых знакомых, поднялись в буфет и говорили о том, что слышали сегодня на с'езде. Заседание кончилось, и они ушли вместе. Была морозная, тихая ночь, они не торопились расстаться и продолжали обсуждать волнующие минуты заседания — минуты постатейного голосования. Это были действительно волнующие мгновения, когда творец Конституции голосовал вместе со всеми делегатами за каждую статью Основного Закона Советского Союза.

— Должен вам сказать, — помолчав, начал хирург, — что все эти дни я много думал о прошлом. Лет тридцать назад я был молодым врачом, и с само-

го начала мне повезло. Я был ассистентом, как тогда выражались, у одного из светил в большом университетском городе. Светило это было замечательно еще и тем, что занималось не только медицинской практикой и научной и педагогической работой, — мой учитель был в некотором роде политической фигурой у нас, в нашем городе. По убеждениям он был, как бы вам сказать, ну, «левый» кадет, что ли...

По вторникам в его низенькой, но просторной гостиной собирались уважаемые в городе лица, городские деятели, адвокаты с солидными именами, профессура. Было это в годы реакции, город наш был в своем роде знаменит и не раз упоминался в прогрессивной печати. Дело в том, что для усмирения рабочих и окрестных крестьян в наш город назначили губернатора — погромщика-зубра из титулованных черносотенцев. Можете себе представить, что проделывал этот субъект. В городе существовало положение усиленной охраны, впрочем в годы реакции вся Россия была на таком положении. Этот тип умудрялся нарушать даже законы военного положения, насаждал черносотенные банды, устраивал погромы и провоцировал крестьян и рабочих. Ну, словом, матерый погромщик. Ненавидели его страшно и особенно в те дни, когда были объявлены выборы в 3-ю государственную думу. В доме моего учителя раздавались почти революционные речи.

Насколько я помню, дело обстояло так: депутат от нашего города в 1-й государственной думе подписал известное Выборгское воззвание: «Ни одной копейки в казну, ни одного солдата в армию». За это самое его, уважаемую в городе личность, профессора государственного права, привлекли к суду и навсегда лишили права баллотироваться в думу. Остались два кандидата: один — «трудолик», как они тогда назывались, учитель, эсер или близкий к эсерам, а другой — местный либеральный помещик, бывший уездный предводитель дворянства Георгий Константинович Андрэ.

Я помню, как удивляло меня одно обстоятельство: всюду, в городе, в салонах (вроде того, где мне довелось бывать) горячо спорили о достоинствах господина Андрэ и «трудолика» Орешечкина. И мне пришла в голову мысль: как же это так — в городе триста пятьдесят тысяч жителей, в губернии три миллиона, а разговор про кандидатов ведет только купечество, интеллигенция, «чистая» публика. Я даже спросил одного из своих пациентов — рабочего чугунолитейного завода, как у них насчет Орешечкина и Андрэ. Поглядел он на меня довольно сумрачно и сказал: «Эх, доктор. Да вы с неба свалились, что ли? Вы поглядите, что у нас на Слободке делается. На каждой тумбе шпик сидит».

Довелось мне познакомиться с Георгием Константиновичем Андрэ.

Вообразите себе дамского угодника, красавца-мужчину, сорока лет, с раздушенными, завитыми усами, подбородок с ямочкой, и барский говорок с французским прононсом! Я никак не мог понять, каким образом аристократ и богатый барин считался либералом. Оттого ли, что он на «вы» с кучером, или оттого, что в своей деревне построил кабак?

Не подумайте, что я был очень уж сознательный в те годы. Ничуть, я был то, что мой шестнадцатилетний сынок называет «аполитичная шляпа». Но, как вы там ни хотите, меня заинтересовал господин Андрэ. Особенно, когда

однажды на «вторнике» у моего учителя он отвечал на тосты и поздравления: «Высокая честь, оказанная мне, будущему народному представителю, от нашей губернии, заставляет меня с особым чувством отчестись к каждому вашему слову, господа... Разрешите мне заверить вас, что мое избрание, буде оно состоится, явится для меня величайшей честью... (Возгласы: «Браво! браво!») Разрешите мне заверить вас, что воля моих сограждан будет единственным для меня законом. На высокую трибуну государственной думы я понесу чаянья лучших моих сограждан, я брошу в лицо ретроgrадам и обскурантам правду... («Браво, браво, браво!».) С этим высоким стремлением я осушаю мой бокал во здравие моих друзей, вдохновляющих меня на высокий подвиг общественного служения». («Ура!».)

И я, «аполитичная шляпа», как выражается мой сын, был даже растроган. В самом деле, думал я, образованный, состоятельный человек, из высшего общества, прогрессист, либерал, — не так уж это часто встречалось в те времена.

Рассказывавший умолк и задумался.

— Ну? — поторопил его собеседник, — выбрали? Выбрали его в думу?

— Выбрали.

— И что же?

— Был он довольно бесцветным депутатом, прогрессистом, правду народную в лицо обскурантам не бросал, но голосовал с кадетами. Дело, видите ли, не в этом.

— А в чем?

— А в том, что произошло позже, через девять, десять...

— Что же именно произошло?

— Произошло вот что. Был я уже врачом с положением, работал в клинике в том же университете, где учился, и в том же городе. И представьте вы себе — 1918 год, и город этот оказывается одним из самых больших городов «державы» гетмана Скоропадского. И губерниальным старостой,

как они тогда назывались, в этом городе оказался Георгий Константинович Андрэ.

Как же так получилось, что такая светлая личность, воплощение высоких чаяний, оказался преемником зубра и черносотенца-губернатора? Сказать вам по правде, я не так уж удивился. В марте 1917 года в губернаторском доме проживал губернский комиссар временного правительства, вышеупомянутый «трудовик» — эсер Орешечкин. Затем пришла власть советов, и Орешечкин оказался нигде, как говорят любители скачек. После Орешечкина правил суб'ект из украинской центральной рады, верноподданный немецкого фельдмаршала Эйхгорна с его немецкими полками. Затем, как вам известно, появился Скоропадский и его «губерниальный староста», с позволения сказать, ширый украинец — Георгий Константинович Андрэ, бывший член 3-й и 4-й думы, прогрессист и тому подобное. И тут мне пришлось столкнуться с этим отставным, с позволения сказать, «народным избранником».

Был среди моих студентов один талантливейший парень, умная голова, некто Саша Бондаренко. Известен он был в нашем городе тем, что был большевиком. Отец его был железнодорожник — путевой сторож. Не легко было тогда человеку из низов попасть в гимназию и университет, но Саша оказался парнем редчайших способностей, умница, действительно золотая голова. Со второго класса гимназии давал уроки неуспевающим, кончил с медалью, пошел в университет и прекрасно шел. А тут война, революция, и он — лидер большевиков у нас в университете. Пришли немцы и гетманцы, и выдал Бондаренко какой-то знавший его в лицо университетский чинуша. И забрали Сашу. Оказывается, он скрывался в подполье. И когда повели его в казармы каких-то «сердюков», — так, кажется, назывались гетманские вояки, — то пришли ко мне его близкие и попросили вызволить его у нашего знаменитого «избранника» — Георгия Константиновича Андрэ.

Ну, я решил так — он меня знал, и я его немного знал в прошлом. Надо попробовать, надо спасти замечательно-го паренька. И пошел я в бывший губернаторский дом.

Рассказывавший умолк, остановился и закурил папиросу. Сделал он это главным образом для того, чтобы скрыть волнение.

— Ну-с, так... Принял меня господин «губерниальный староста» не сразу, поманежил ровно столько, сколько полагается, чтобы я понял разницу между собой и его превосходительством. Затем вышел ко мне и сел на единственное кресло в парадном зале. Те же пышные усы, с сильной проседью, холеные руки, басок и обольстительная повадка.

Я сказал, что обратился к нему потому, что однажды «имел удовольствие его видеть накануне выборов в думу» у нашего общего знакомого на «вторнике».

Его превосходительство молчало. Тут я покривил душой для Саши Бондаренко, думаю, можно (ведь, жизнь человеческая, малому 22 года), и говорю: «Запомнились мне ваши слова, Георгий Константинович, относительно того, что «воля ваших сограждан — единственный закон для народного избранника» и насчет правды».

Провел он рукой по усам и сказал:

— Кстати, известно ли вам, профессор, что сахарный мой завод подожгли эти самые сограждане. И от моей усадьбы в Софиевке, не знаю, что осталось...

Поглядел я на него, вижу — плохо Саше Бондаренко. И все-таки рискнул: сказал насчет прежних высоких идей его превосходительства «губерниального старосты» и опять же насчет чаяний...

Господин Андрэ только глазами сверкнул:

— Я глубоко раскаиваюсь в своем либеральном прошлом. По-моему, государственная дума была гнездом крамольников, а Родзянко после всего этого — просто разбойник.

Тут я спрашиваю:

— После чего «после этого»: после сахарного завода и Софиевки? И думаю: «Ах, дураки они были, ах, караси-идеалисты». Это про тех, кто его выбирал, разумеется.

— Чем могу быть полезен? — спрашивает.

Тут я понял — не о чем нам разговаривать, повернулся и пошел.

Вот вам и «народный избранник»!  
Рассказывавший эту историю остановился и протянул собеседнику руку:

— И вот теперь слушали мы с вами чудесное наше настоящее и будущее, и после того, как прогулялись в прошлое, как-то радостно думать, что вся эта мерзость прошла, кончилась и никогда не вернется...

# Сталинская Конституция в песнях народов СССР

## К. АЛТАЙСКИЙ

Сталинская Конституция — величайший документ нашей эпохи. Просто, ясно, по-сталински мудро и глубоко в ней записаны осуществленные мечты человечества. Все, что предвосхищали и к чему звали человечество Маркс, Энгельс, Ленин, все, о чем пел народ в своих песнях, о чем слагал он пленительные легенды, в Сталинской Конституции записано как непреложный, нерушимый закон.

Всемирно-историческое значение Сталинской Конституции признано во всем мире. Ни один документ во всей истории человечества не вызывал такого живого, идущего из народных глубин интереса, любви, гордости и восхищения, как Сталинская Конституция. В ней говорится о самом насущном, самом близком и заветном для всех ста семидесяти миллионов населения СССР. Она, как солнце, как новое созвездие, как исполинский маяк, загорелась для всех трудящихся капиталистических стран.

Доклад вождя народов товарища Сталина о проекте Конституции и всенародное обсуждение проекта Конституции превратились в праздник миллионов. Когда вождь народов начал свою речь о Конституции, в одиннадцати республиках, услышавших его голос, началось ликование.

От Белого моря и до Тихого океана — везде на шестой части земного шара, подхваченный радиоантеннами, звучал спокойный, твердый, мужествен-

ный голос вождя народов. Об этом историческом моменте можно сказать словами 92-летнего народного певца Джамбула:

Волнуется мир. Тишина разлилась,  
Настал на земле исторический час.  
С трибуны звучит, как могучий набат,  
Вождя гениальный доклад.  
Казахи в степях, грузины в горах,  
Эвряне в лесах, белоруссы в полях —  
Народы, чтоб каждое слово сберечь,  
Слушают Сталина речь.  
В ней пламя бушует, в ней мощь илита,  
В ней сила, уверенность и простота,  
В ней веет отцовская теплота,  
Она — кристально чиста.  
Слова Конституции миру звучат,  
И каждое слово теплее луча,  
Светлее зари, яснее звезды,  
Свежее, чем в август, плоды.

Народы подняли свою Сталинскую Конституцию, как знамя. Народы назвали ее солнцем. Народы открыли перед ней свою душу и воспели ее в своих замечательных песнях. Устами народных певцов — русских сказителей, казахских акынов, украинских бандуристов, азербайджанских ашугов, таджикских гафизов, узбекских бахши, якутских олонгахутов, карельских кантелистов, народы воспели великий Сталинский закон.

«От моря и до моря, от края и до края» воспевалась и воспевается Сталинская Конституция.

Старейшина народных певцов-импровизаторов орденосоец Джамбул, воспевая Сталинскую Конституцию, нашел глубокие и правдивые слова:

Закон, по которому радость приходит,  
 Закон, по которому степь плодородит,  
 Закон, по которому сердце поет,  
 Закон, по которому юность цветет,  
 Закон, по которому служит природа  
 Во славу и честь трудового народа,  
 Закон, по которому вольным джигитам  
 К подвигам смелым дорога открыта,  
 Закон, по которому все мы равны  
 В созвездии братских Республик страны.

Над русскими богатырскими равни-  
 нами, над могучими реками, над овяня-  
 ными историческими ветрами башнями  
 Кремля плывет песня, написанная Лебе-  
 девым-Кумачом, но усыновленная наро-  
 дом, — раздольная песня о том, что

За столом никто у нас не лишний,  
 По заслугам каждый награжден,  
 Золотыми буквами мы пишем  
 Всенародный Сталинский закон.

Ей вторит русская народная песня,  
 посвященная творцу Конституции, пес-  
 ня, сложенная в Пензе рабочими завода  
 имени Фрунзе:

А мы эту песню поем горделиво  
 И славим величие сталинских лет, —  
 О жизни поем мы, прекрасной, счастливой,  
 О радости наших великих побед.

От края до края, по горным вершинам,  
 Где свой разговор самолеты ведут,  
 О Сталине мудром, родном и любимом  
 Прекрасную песню народы поют.

Над вишневыми соловьиными сада-  
 ми, над золотыми полями, над сиянием  
 Днепрогэса, над каменноугольными  
 шахтами и металлургическими гиганта-  
 ми счастливой Украины, как широкие  
 воды Днепра, звенит «Дума про Кон-  
 ституцию», симпровизированная 56-лет-  
 ним колхозником Миколой Шашко, из  
 колхоза имени Шевченко, с Мала-  
 Сквирка, Белоцерковского района на  
 Киевщине.

Слова Конституции новой читаю,  
 Закон основной до конца изучаю.  
 Закон, что всех больше обдумывал Сталин,  
 Закон, что открыл нам безмерные дали.  
 От пункта до пункта когда я читаю,  
 Волнуюсь и сердцем привет посылаю.  
 Имели ль мы право такое когда-то  
 У власти поставить своих депутатов?  
 Тогда, при царизме, попы нам кадили,  
 Про пекло и рай днем и ночью твердили.  
 Кто вешил их вракам — тем рай обещали,  
 А кто не молился — тех пеклом стращали.

Царя и министров мы скинули, смыли  
 И пекло поповское в прах разгромили.  
 Законы тиранов погибли с царями,  
 Мы рай тот прекрасный построили сами.  
 Тот рай не на небе, а тут, на земле,  
 В Советском Союзе да в братской семье,  
 Закон справедливый, надежнее стали,  
 Закон, что всем сердцем вынашивал Сталин!  
 Закон, при котором свободны народы  
 И поровну делят и земли, и воды.  
 Закон, при котором кого уважаем,  
 Тому лишь и власть мы свою поручаем.  
 Себя не жалея, мы силы устроим:  
 Счастливую жизнь — коммунизм! —  
 Мы построим.

Над лесными пущами, над льяняными  
 и овсяными просторами, над молодыми  
 заводами возрожденной Белоруссии, как  
 журавли весной, плывут песни о Стали-  
 не, написавшем «светлые законы твер-  
 дою рукой».

Колхозник Я. С мо л и н с к и й, из  
 колхоза «Пролетарий», сочинил задум-  
 шевную, «от всего сердца» песню:

Нет краше на свете  
 Краины моей.  
 Поет она песни  
 Да всех веселей.

Поет она всюду,  
 Что радостно жить,  
 И Сталину в песнях  
 Спасибо гремит.

Он ленинским шляхом  
 Нас к счастью ведет,  
 Под ленинским стягом  
 Краина цветет.

По-казахски, по-лезгински, по-грузин-  
 ски, по-киргизски, по-татарски — на де-  
 сятках языков необъятной нашей родины  
 сложены и поются песни о Сталинской  
 Конституции. На наших глазах слагает-  
 ся величаяя, монументальная эпопея о  
 солнечном, счастливом законе, о друж-  
 бе и братстве народов, о сталинском гу-  
 манизме. В песнях народов стучит  
 горячая кровь, слышится могучее серд-  
 цебиенье эпохи. Эти песни просты, за-  
 душевны, искренни и красочны. Самое  
 лучшее, самое чистое, самое светлое, что  
 накапливал народ веками в своей поэти-  
 ческой сокровищнице, он вкладывает в  
 песни о Конституции и ее гениальном  
 творце. В Горном Дагестане народ поет  
 песню, сложенную знаменитым певцом  
 Сулейманом Стальским.

Все то, о чем народ мечтал,  
В законы наши он вписал  
И Конституцию нам дал,  
Что признана на свете лучшей.

В ней буквы к нам любви полны,  
В ней ключ от золотой весны,  
И стар, и млад моей страны  
В ней жизнью обеспечен лучшей.

Сулейман Стальский, названный Горьким «Гомером XX века», сказал: «Страна моя — гудящий и счастливый улей. Мы строим медовую общечеловеческую радость».

Недавно умерший народный певец Сулейман Стальский оставил своей Родине замечательные, незабываемые песни.

В своем прекрасном «Слове о Сталинской Конституции» Стальский, обращаясь к творцу Конституции, поет:

Ты нам могучий пламень дал,  
Закон мудрейший написал,  
И он, как драгоценный лад,  
В страны златом уборе.

С ним колосится рожь в полях,  
С ним зреют яблоки в садах,  
И люди, честные в делах,  
С ним побеждают в споре.

Закон — величье наших дней,  
С ним весны ярче, песнь стройней,  
С ним слава родины моей  
За мир стоит в дозоре.

На всей земле всей бедноты  
Тысячелетние мечты  
На деле воплощаешь ты  
В побед безбрежном хоре.

Гордая мысль о том, что наша Конституция — лучшая в мире, звучит в песнях других народов. На крыше мира — Памире, в далеком Таджикистане гафиз Искандер бек Каримов поет о том,

... Кто нам радость дал,  
Кто нам, как солнце, светит,  
Кто Конституцию нам написал,  
Самую лучшую в свете...

В Крыму, где изумрудные виноградники, где в дымных облаках кроются утесы Яйлы и Карадага, где, вскипая, плещется теплая черноморская волна, народный певец Абибулла Софу поет по-татарски песню о Сталинских законах:

Законы Сталиские дышат  
Перед народом, как ветры.  
Когда прочтешь их валь услышишь,  
Как медом, насладишься ты.

В цветущих долинах Ферганы узбекские колхозники сложили песню о животворном солнце Конституции и ее творце:

О ты, великий вождь народов,  
Призвавший к жизни человека,  
Призвавший земли к плодородью,  
Призвавший к юности века,  
К цветению — весны, к песне — струны,  
К любви — сердца, к труду — заводы.  
Повсюду ясно ошутима  
Твоя отцовская рука.  
Ты цвет весны моей, ты солнце,  
Что отражается в миллионах  
Людских сердец. Не ты ли поднял  
Мою страну от века сна?  
Не ты ли осветил долину  
Великим солнцем Конституции,  
Чтобы жемчужиной сияла  
Моя родная Фергана?!

В залитом солнцем Узбекистане журчат арыки, шумят сады. В радостном гуле новой жизни бьется, звенит народная песня, рожденная Сталинской Конституцией. В ней, в этой песне, — и шум садов, и гул пропеллеров, и дробный топот боевых коней горно-кавалерийской дивизии Узбекистана, и безмерная, пламенная любовь к великому Сталину:

В могучем содружестве Сталинских стран  
Звездой сияет Узбекистан.  
В полях наших сказочный хлопок цветет,  
Нас Сталин и Партия движут вперед.  
В лучах и колосьях сияет наш герб, —  
В железном содружестве молот и серп.  
Под этим гербом сравняли свой шаг  
Узбек и счастливый кара-калпак.  
Насилье и рабство исчезли навек,  
И спину свою разогнул человек.  
Слова Конституции право дают  
На отдых, культуру и творческий труд.  
Гудит, как набат, над страной манифест:  
«Кто не работает, тот не ест!».  
Запели в сердцах миллионов людей  
Слова величайшего из вождей.  
Словам Конституции верен народ.  
В ней каждая строчка о счастье поет,  
В ней каждая буква сверкает, как луч,  
Как солнце, творец ее смел и могуч.  
Ловольство и счастье несет нам закон.  
Плывет над страной серебряный звон,  
И плещутся песни над зеленой рощ, —  
Спасибо тебе, наш учитель и вождь!

В нефтеносном Азербайджане, у черных вышек, на предгорьях, покрытых

виноградниками, звенит песня ашуга  
Мухаммеда:

Сталин — солнечный гений бездольного  
люда.

Чтобы счастье нам дать, он на землю  
пришел.

Он слова-бриллианты, слова-изумруды  
Рассыпает, чтоб людям жилось хорошо.

Написав Конституцию твердой рукою,  
Он нам к солнцу и звездам дорогу открыл,  
Да и сам он, как солнце, горит над  
страною,

Возрождая в народах кипение сил...

Ему вторит прославленный ашуг  
Азербайджана — Асад, сравнивающий  
Конституцию со знаменем, которое под-  
няли идущие к счастью народы:

Конституцию мы, словно знамя пред боем,  
подняли.

Мощный Азербайджан говорит, как один  
человек:

«Да живет наш любимый, великий  
и солнечный Сталин,  
Да цветет и сияет счастливейший  
Сталинский век!»

В братском содружестве с великим  
русским народом, при его помощи и  
поддержке народы СССР создали соб-  
ственную индустрию, мощное социали-  
стическое земледелие, создали свои за-  
мечательные кадры рабочих, инженеров,  
техников, организаторов колхозного  
производства.

«... дружба между народами СССР,—  
говорил на совещании передовых кол-  
хозников и колхозниц Таджикистана и  
Туркменистана товарищ Сталин. —  
большое и серьезное завоевание. Ибо  
пока эта дружба существует, народы  
нашей страны будут свободны и непо-  
бедимы. Никто не страшен нам, ни  
внутренние, ни внешние враги, пока эта  
дружба живет и здравствует».

Сталинская Конституция, воплотив-  
шая в себе лучшие чаяния трудового  
человечества, закрепила существующее  
в жизни равноправие граждан СССР,  
независимо от их национальности и ра-  
сы, во всех областях хозяйственной, го-  
сударственной, культурной и обществен-  
но-политической жизни. Это равнопра-  
вие — непреложный закон. Об этом  
поется в ойротской народной песне:

Горы, степи, лес, поля и воды, —  
Велика ты, родина моя.  
Сколько рас, племен!.. И все народы —  
Дружная, счастливая семья.

Счастье мы в боях завоевали,  
Мы его не выпустим из рук.  
Нас ведет любимый, мудрый Сталин,  
Наш отец, учитель, вождь и друг.

Счастливы трудящиеся люди  
Необъятной родины моей.  
Верим мы: такое время будет —  
Заживет весь мир одной семьей!

«Женщине в СССР, — говорится в  
122-й статье Сталинской Конститу-  
ции, — предоставляются равные права с  
мужчиной во всех областях хозяйствен-  
ной, государственной, культурной и об-  
щественно-политической жизни...».

Конец парандже! Женщина сво-  
бодна, равноправна перед законом самой  
демократической в мире страны. И вот,  
вчера была бесправная рабыня, чувашка  
Параскева Никифоровна, из села Нью-  
Исаково, Урмарского района Чувашской  
АССР, на всю страну поет свою гордую  
песню:

Ох, длинны у ветел ветки,  
С веткой елз наравне,  
С веткой ели наравне.  
Так и мы равны с мужчиной  
В нашей радостной стране,  
В нашей радостной стране.

Не дадим мы наше поле,  
Наши льны коням топтать,  
Наши льны коням топтать.  
Не дадим мы в наше время  
Вольных женщин обижать,  
Вольных женщин обижать!

Сталинская Конституция, в которой  
записаны права человека, гражданина и  
борца за коммунизм, впервые в истории  
человечества провозглашает бесклассо-  
вое общество, не знающее эксплуатации  
человека человеком и отвергающее вол-  
чьи законы капитализма. Больше нет  
господ и рабов!

Народы, обреченные при царизме на  
нищету, голод и вымирание, после Вели-  
кой Октябрьской Социалистической ре-  
волюции по-хозяйски взглянули на  
свою страну. И страна раскрыла перед  
ними свою красоту, свое богатство, свое  
могущество. Человек, согретый солнцем

Сталинской Конституции, увидел и жемчужные вершины, и цветущие сады, и пурпурные от маков степи, и рассыпающиеся радужные брызги водопады, и могучие силные реки, и бескрайние моря.

Этот новый человек стал пламенным советским патриотом, горячо любящим свою могучую социалистическую родину, страстно ненавидящим всех ее врагов. Об этих заклятых врагах народа не раз напоминал в дни всенародной подготовки к выборам в Верховный Совет Сулейман Стальский:

Но враг взбешен. Его гнетет  
Советов солнечный восход.  
Он злые сети нам плетет,  
Не спи, товарищ мой достойный!

Коварно, крадучись в ночи,  
Готовят бойню палачи.  
Но под рукой у нас мечи,  
Чтоб обнажить в ответ достойно.

Наша страна окружена врагами. Фашистские агрессоры готовят войну против СССР. Вместе с ними действуют и подлые наемники фашистских генеральных штабов — черная троцкистско-бухаринская свора, националистские выродки всех мастей и окрасок, склизкие, как змеи, двурушники, подлые диверсанты и шпионы.

Грозным предостережением всей этой разбойничьей фашистской банде прозвучало замечательное произведение Джамбула, — «Поэма о Ворошилове», — созданное перед выборами в Верховный Совет и выражающее готовность нашего народа к сокрушительному отпору:

Когда, Ворошилов, приказ будет дан,  
То весь необятный степной Казахстан  
Коней оседлает и саблями брызнет  
В защиту счастливой и радостной жизни.  
Взмахни только саблей, вождем тебе  
данной,

И встанут под знамя полки Киргизстана,  
Разведчики знойного Узбекистана,  
Отважные всадники Туркменистана,  
Танкисты ордного Таджикистана,  
Бесстрашные летчики Азербайджана —  
Рванутся в походы, как смерч, как буран,  
Одиннадцать страха не знающих стран,  
Одиннадцать стран, — полных мощи и силы, —  
И ты поведешь их, батыр Ворошилов,  
И ты их обрушишь, прекрасен и смел,  
На тех, кто границы нарушить посмел.  
Нам дорого счастье и честь дорога,  
Клинками в куски мы изрубим врага...

Нам кровью добытая жизнь дорога, —  
Мы в землю горячую втопчем врага.  
Любимая Родина нам дорога, —  
Мы будем рубиться на землях врага.  
Рубиться — и в зной, и в дожди, и в снега  
До полного уничтоженья врага.  
Чтоб Сталин, рукою потрогав усы,  
Узнав о победе, промолвил: «Жаксы»<sup>1</sup>.

Сталинская Конституция — это самый демократический закон в мире. 12 декабря 1937 года — знаменательный день. В этот день граждане Советского Союза будут избирать свой Верховный Совет. Это будет всенародный праздник страны, праздник социалистической родины. Страна украсится флагами и цветами, наденет самые нарядные платья, запоет самые звонкие песни. Вот что говорится в песне, написанной М. Исаковским и подхваченной колхозами нашей страны:

Пусть наша земля молодеет,  
Пусть радостней всходит заря!..  
Мы лучшее платье наденем  
В двенадцатый день декабря.

Украсим колхозные хаты,  
Чтоб празднику всюду сверкать!  
Пойдем выбирать депутатов,  
Верховную власть выбирать.

Навеки нам отданы пашни,  
Навеки — поля и леса.  
И знают колхозники наши,  
Кому отдавать голоса.

Кто вел нас дорогою славы,  
Дорогой борьбы и побед, —  
Того, по законному праву,  
Пошлем мы в Верховный Совет.

Кто дал нам счастливую долю  
На сотни, на тысячи лет, —  
Того нерушимою волей  
Пошлем мы в Верховный Совет.

Того, кто предателей-гадов  
Решительно сводит на-нет,  
Кто бьет по врагам без пощады, —  
Пошлем мы в Верховный Совет.

Кому выражает доверие стасемидесятиллионный советский народ? Голоса трудящихся одиннадцати республик сливаются в один могучий голос, звучащий по всему миру. Все они говорят словами Демьяна Бедного:

<sup>1</sup> Жаксы — хорошо.

Народный голос — он, как мощный  
водопад,  
Как волн морских прибой, стихийно-  
музыкален.

Симфонией звучит предвыборный доклад.  
Ликующий финал: «Народ наш гениален,  
И знает он, кому даст первый свой  
мандат!».

В ответе громовом слились стар и млад:  
«Да здравствует товарищ Сталин,  
Наш гениальный вождь, наш первый  
депутат!».

Украина отзывается песней, сложен-  
ной Максимом Рыльским:

Будь прославлена певцами,  
Мать-отчизна, в этот час!  
Слово Сталина меж нами.  
Воля Сталина средь нас!

Казахский акын Орымбай, обращаясь  
к Сталину, говорит:

Как знамя больших человеческих прав,  
Ты дал Конституцию, светлый устав,  
Написанный мудро и ясно.  
В Верховный Совет, наше солнце, тебя,  
От чистого сердца глубоко любя,  
Мы выберем единогласно!

Акына Джамбула окружили колхоз-  
ники Ер-Назара и спрашивают: «Отец,  
назови кандидата!»

Джамбул отвечает:

За счастье мой голос, за правду, за  
солнечный быт,  
За братство народов, за дружество  
всечеловечье.  
Под номером первым, чем выборный список  
открыт,  
Я Сталина ставлю — на всех языках  
и наречьях.

На всех предвыборных собраниях  
звучит звонкое волнующее слово на-  
родной песни. Это — искреннейший го-  
лос миллионов. Это — песни «от всей ду-  
ши», «во весь голос», «от чистого серд-  
ца». Это поет многомиллионный народ,  
выявляющий в песне свои глубокие чув-  
ства, свои мудрые мысли и свою несо-  
крушимую волю.

С гордой, победной, богатырской пес-  
ней — на всех языках и наречьях —  
многомиллионный советский народ бу-  
дет выбирать лучших своих сынов и до-  
черей в Верховный Совет Союза ССР.

# РУСТАВЕЛИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Д. ДАНДУРОВ

**В** связи с 750-летним юбилеем Руставели поэма «Витязь в тигровой шкуре» привлекает к себе внимание миллионов советских читателей, имеющих возможность ознакомиться с ней в нескольких переводах.

Когда поэма появилась в свет, Грузия была культурнейшей страной, не уступавшей другим странам ни в своем политическом развитии, ни в просвещении. Знаменитый поэт был известен и за пределами Грузии, но переводы поэмы «Вепхис ткаосани» («Витязь в тигровой шкуре») на другие языки стали появляться только к концу XIX века.

Содержание и значение поэмы долгое время оставались спорными и невыясненными. Только в наше время — время торжества ленинско-сталинской национальной политики — стало возможно изучение поэмы в тесной связи с историей страны, в которой она появилась.

Первые же строфы поэмы вводят читателя в своеобразный феодальный мир, со всей его сложной общественной иерархией: мир рабов и господ, неограниченных властелинов и рыцарей, преданных своим сюзеренам.

Поэма Руставели, помимо ее высоких литературных достоинств, представляет собой огромную ценность и как важнейший исторический памятник. Поэма Ру-

ставели — это яркая картина общественных отношений феодальной Грузии конца XII века. И изучение этого величайшего поэтического произведения необходимо для понимания не только грузинской культуры, но и культуры мировой.

От раннего феодализма, периода его наивысшего расцвета, осталось очень мало литературных памятников. «Песнь о Роланде», «Слово о полку Игореве» — вот, пожалуй, и все, что можно здесь назвать. Но как бы высоко ни ставить эти произведения, они все же во многом отличаются от поэмы Руставели.

Поэма Руставели изображает борьбу человеческих страстей в условиях, общих для многих народов в определенный период их исторического развития. Общечеловечность созданных Руставели образов делает его поэму памятником не только грузинского феодализма, но и феодализма вообще.

В основу поэмы Руставели положен один из самых драматических моментов грузинской истории, когда в среде высшей феодальной знати достигла наибольшего напряжения борьба против объединительных стремлений грузинских царей из династии Багратидов.

В поэме автор со всей свойственной ему страстностью восстает против тех

сил, которые держат в плену царевну и разлучают ее с наследником трона, ее возлюбленным.

Руставели не только сам, в лице автобиографического героя Автандила, служит образцом высокого понимания верности и преданности своим друзьям; он всю свою поэму пронизал идеей служения государству, выразившегося в защите царевны, в борьбе за интересы власти, носителями которой являются она и ее возлюбленный.

На долю Руставели выпала удивительная судьба: появление его поэмы было торжественно отпраздновано царицей Тамарой, автор получил высшую должность — царского казначея, а с другой стороны, поэма вызвала к себе столь жгучую ненависть поверженных им врагов Тамары, что последняя скоро принуждена была расстаться с поэтом, покинувшим родную страну. С тех пор и вплоть до середины XIX века Руставели сопровождают любовь и признание одних и ненависть других.

Руставели в своей поэме затронул самый больной вопрос своего времени: должна ли государственная власть быть единой или раздробленной на мелкие составные элементы? Эта проблема не теряла своей актуальности для Грузии вплоть до XIX века. В той сложной исторической обстановке, которая создавалась в конце XII века в Грузии и которая нашла свое отражение в поэме, Руставели стал на сторону единой государственной власти, боровшейся против стремления феодалов поставить во главу всего свои узкие корыстные интересы.

Борьба, которая разгорелась между Тамарой, возглавлявшей объединительную политику, и феодалами, носила такой драматический характер, что отзвуки ее не прекращались в Грузии в течение веков.

Ведшие объединительную политику Багратиды искали опоры против могущественных феодалов и выдвигали на высшие должности и в армию незнатных людей из крестьян, находившихся

в крепостной зависимости от феодалов. Понятно, что такие способы усиления власти вызвали острую ненависть со стороны старых феодалов и обостряли борьбу.

Эта борьба осложнилась династическим кризисом Багратидов. Георгий III уже 20 лет царствовал «незаконно». Действительным наследником трона был его племянник Демна, которому было несколько месяцев, когда умер его отец — царь Давид Георгий, ставший после смерти брата регентом, вскоре провозгласил себя царем, дав обещание, что, когда Демна достигнет совершеннолетия, он уступит ему трон. Демна был последним представителем династии Багратидов, так как у Георгия не было сыновей, а только дочь Тамара.

В 1177 г. Демна, воспитывавшийся у могущественных феодалов — Орбелиани, предъявил свои права, но Георгий III отказался уступить ему трон. В кровопролитной борьбе Орбелиани были истреблены, а сам Демна был убит другим претендентом на трон — Давидом Сосланом, представителем осетинской ветви Багратидов. Он воспитывался при дворе Георгия III с мыслью о том, что современем он сделается царем Грузии и мужем Тамары. Это драматическое событие из истории Багратидов и было положено в основу поэмы Руставели.

Одна деталь определила дальнейшую судьбу поэмы. Описывая, как возникла у Тариела мысль об убийстве «жениха», Руставели сообщает, что инициатором убийства была царевна Нестан-Дареджан (Тамара). Как бы то ни было, убийство Демны, законного наследника трона, которого клерикально-феодалы и реакционные круги сделали своим знаменем в борьбе, произвело ошеломляющее впечатление, и Давид Сослан должен был исчезнуть с политического горизонта Грузии как непосредственный исполнитель убийства.

О других участниках разыгравшейся драмы эти круги, конечно, также



**Шота Руставели**

С картины художника Т. о и д з е.

знали и ловко использовали создавшееся положение в своих целях. Они вступили в переговоры с Георгием III, получили от него ряд уступок и помирились с ним на том, что вместе с Георгием будет царствовать и его дочь Тамара. Феодалные группы рассчитывали, что по смерти Георгия III Тамара сделается послушным орудием в их руках. Однако они ошиблись в своих расчетах. Властолюбивая Тамара повела долгую и упорную борьбу против этих «каджей», борьбу, нашедшую такое яркое отражение в поэме Руставели. Реакционно-феодалные круги числили в своей среде патриарха Микеля и ряд других высших представителей церкви. Надо было обладать огромной решимостью, чтобы вести борьбу с такими силами феодального общества XII века.

Руставели в своей поэме создает вокруг своих любимых героев атмосферу сочувствия, несмотря на то, что они являются инициаторами и исполнителями убийства «жениха». Читатель вместе с поэтом становится всецело на сторону царевны и ее жениха, так жестоко разлученных и переживающих столько лишений и страданий. Раскрытие всех обстоятельств убийства «жениха» сыграло огромную роль в борьбе, которая происходила в Грузии. Оружие, которое с таким успехом применялось феодалными кругами против Тамары и Давида, было выбито из их рук. Угроза разоблачений отпала, поскольку эти обстоятельства были раскрыты в поэме Руставели, вызывавшей у всех сочувствие к жертвам этих «каджей».

Тамара и Давид соединились, и феодалные группы должны были признать себя побежденными. Но это поражение не было их полным разгромом. Они сохранили все основы своего существования, и Тамара скоро принуждена была вступить с ними в компромисс. Однако они больше не претендовали на то, чтобы она была послушным орудием в их руках.

Но теперь силу своей ненависти они направили против Руставели, который с победой Тамары и Давида достиг вы-

сокого положения в Грузии как лицо, наиболее близкое к царской семье, много сделавшее для торжества их дела и для посрамления «каджей». Они ловко замаскировались и, выдавая себя за лояльных и преданных Тамаре и Давиду подданных, выражали свое возмущение тем, что в поэме содержатся места, где слишком явно изображаются события, связанные с подготовкой и осуществлением убийства Демны. Конечно, после компромисса с феодално-клерикальными кругами Тамаре не могли быть приятны разговоры о недавнем прошлом. Надо было положить конец раздорам, вызванным поэмой, и она решила принести в жертву своего великого друга.

Если бы Руставели пошел на примирение и стал участником компромисса, его судьба пошла бы по иному пути. Но он решил иначе. С тяжелым чувством он расстался со своими недавними друзьями и покинул родичу.

В поэме Руставели можно найти ответ на то, почему он так круто порвал со всем окружавшим его миром и обрек себя на одиночество. Грузия в то время переживала ломку социальных отношений, и за внешними событиями борьбы между единой государственной властью и влиятельными феодалами в недрах феодального общества происходили глубокие процессы, затрагивавшие самые основы установившегося строя.

В народе идея народной власти, должностующей объединить раздробленные земли, была популярна. Из среды крепостного крестьянства выделялись группы, которые служили опорой возвышавшейся царской власти. Когда при их помощи Тамара вместе с Давидом и Руставели привели к покорности могущественных феодалов, перед Руставели встал вопрос: что же дальше? Тамара решила, что она достигла всего, к чему стремилась; Руставели же выражал стремления демократических слоев населения, ставил перед собой иные, более широкие цели и связывал достигнутую победу с общественными преобразова-

ниями, о демократическом характере которых можно судить по поэме.

Рисуя современный ему мир, Руставели показывает рабов, крепостных, находящихся в полной зависимости от землевладельцев. При этом отношение его к ним таково, что он видит в них прежде всего людей. Рабов он изображает наделенными таким же чувством человеческого достоинства, как и их господ — рыцари и вельможи. Эта окрашенность поэмы чувством уважения к человеку, какое бы место ни занимал он на социальной лестнице, свидетельствует о том, что для Руставели происходившая в стране борьба за власть была движением, с которым он связывал известные социальные стремления, нашедшие свое отражение в поэме в идеале равенства. Он не мог примириться с тем компромиссом, который удовлетворил Тамару, и здесь надо искать причину того, почему он покинул родину.

Поэма проникнута идеей беспощадной ненависти к «каджам», к феодально-эгоистическим группировкам, и для них поэма была ненавистным произведением. Они и использовали то обстоятельство, что в поэме содержатся такие подробности разыгравшейся в царской семье драмы, которые для представителей династии были не совсем удобны.

Царствование Тамары было провозглашено «золотым веком» Грузии, а сама Тамара причислена грузинской церковью к «лику святых». Ясно, что поэма, где изображена сцена убийства «жениха», т.е. Демны, стала неприемлемой для династии. Создалась острая историческая коллизия. Поэма, которая сослужила такую большую службу Тамаре в ее борьбе с феодально-клерикальными кругами, оказалась неприемлемой для Тамары и для тех, кто продвигал дело Тамары и боролся за единую власть в Грузии, при новой ситуации. Они сделали своим знаменем Тамару и все, что могло хотя бы в малейшей мере порочить ее имя, отвергали без всякого снисхождения. Так великая поэма Руставели нашла

своих гонителей и в лице тех, кто вел борьбу с феодальной раздробленностью Грузии.

С другой стороны, ненавидя Руставели за то, что он с такой беспощадностью клеймил «каджей», феодальные группировки в то же время были заинтересованы в том, чтобы поэма Руставели не исчезла совсем, и сцену убийства «жениха» ловко использовали против Багратидов с их объединительными стремлениями и культом Тамары. Поэма переписывалась и сохранялась в кругах, резко враждебных Руставели. Они, как и церковь, и династия, ненавидели его. Вот почему хотя поэма и дошла до нас, но имя ее великого автора долгое время подвергалось сомнению. Ни летописи, ни какие-либо иные документы не упоминают о его существовании в Грузии.

Такой же «казни через забвение» пытались подвергнуть и Давида Сослана. Он был мужем Тамары, царствовал с нею вместе больше 10 лет, одержал много побед, и, казалось, замолчать его было невозможно. Летописи его действительно упоминают, но в церковных фресках, сохранивших изображение Тамары, она представлена вместе со своим сыном Георгием Лаша и отцом Георгием III, но не с мужем Давидом Сосланом. Церковь считала невозможным появление на ее стенах изображения Давида Сослана, убившего царевича Демну.

Руставели оказался неприемлемым не только для династии, но и для церкви, и для феодальных кругов. Его поэма сохранилась в народе, в сказаниях о Тариеле и в единичных списках.

Таким образом, вопрос стоял так: либо Тамара, либо Руставели. Вплоть до XIX века националистические и шовинистические элементы Грузии признавали своим знаменем Тамару и отвергали Руставели. Так, грузинские цари Теймураз I и Арчил, сами причастные к поэзии, считали Руставели простым переводчиком персидского сказания и никакой заслуги за ним не признавали. Они полагали, что ника-

кого отношения его поэма к грузинским событиям не имеет. Но эта крайняя точка зрения страдала тем, что приняла «век Тамары». Вычеркнуты из истории Грузии Руставели—это значило лишить век Тамары лучшего ее украшения.

С потерей Грузии самостоятельно и присоединением ее к России те элементы, которые считали себя представителями национальной, грузинской идеи, конечно, не отвергали Руставели. Они признавали его гениальным поэтом, гордились им, но в определенных, националистических целях; они выставляли его как представителя культурного прошлого страны, имеющей право на свое национальное независимое существование. Они не противопоставляли Руставели Тамаре, в которой они, подобно старым националистам, видели носительницу идеи величия Грузии, знамя борьбы за независимость. Они не интересовались тем, какое отражение нашла жизнь Грузии в поэме Руставели, для них сама по себе поэма и ее содержание отходили на второй план. Им была чужда объективная оценка исторического прошлого грузинского народа.

Тамара сыграла крупную роль в истории Грузии, окруженной со всех сторон мусульманским миром, стремившимся раздавить маленькую, но могущественную страну. Она собрала под своей властью все силы нации и умело противопоставила их наступающим врагам. Руставели как верный сын своей страны призывал всех к верности, преданности, к служению родине и беспощадной борьбе с врагами. Эти идеи он воплотил в своей гениальной поэме.

Нельзя Руставели противопоставлять Тамаре. Они боролись за общее дело. Но, когда победа над феодалами была достигнута, их пути разошлись. Их разделило различное понимание целей борьбы. Тамара видела в феодальных группах реальную силу и стремилась подчинить ее себе, чтобы использовать их в интересах государства и для борьбы против врагов. Руставели шел даль-

ше и хотел создания нового общества взамен старого феодального.

Кто же оказался прав — Тамара или Руставели? История Грузии ответила со всей ясностью на этот вопрос. При Тамаре в мусульманском мире наметился перелом в его борьбе с крестоносцами. В 1187 г., в год появления в свет поэмы Руставели, султан Саладин взял Иерусалим. Это произвело большое впечатление на Тамару, и она поняла, что ослабление крестоносцев освобождает огромные силы мусульман, которые не замедлят ринуться на Грузию. Между тем ее борьба с «каджам» затянулась, и ей пришлось против своей воли выйти замуж за русского князя Юрия, сына Андрея Боголюбского, изгнанного из Владимира-на-Клязьме его дядей Всеволодом. Вскоре она развелась с ним, и это вызвало в Грузии восстание, организованное Юрием, но Тамаре удалось его подавить.

Тамара по-своему понимала создавшееся положение и опасалась, что скоро настанет день, когда ей придется померяться силами с султанами, и она спешила навести порядок в стране. Она решила, что в борьбе с феодально-клерикальными группировками ей нельзя идти слишком далеко, и вступила с ними в компромисс. Тут же она вышла замуж за Давида Сослана, сыгравшего роковую роль в убийстве Демны и послужившего прототипом Тариела—героя поэмы Руставели. Этот брак, видимо, тоже был продиктован компромиссом. Грузия стала собирать силы и готовиться к решительному столкновению с мусульманским миром. Нужно помнить, что именно при Георгии III и Тамаре борьба крестоносцев против мусульман приняла особо напряженный характер. Естественно, направлялся союз между Грузией и крестоносцами, и султаны, конечно, употребляли все усилия, чтобы воспрепятствовать соединению этих двух сил. Та борьба с феодалами, которая поглощала в течение многих лет внимание Тамары и ее отца, протекала без сомнения не без участия султанов. В их

прямых интересах было поддерживать — материально и политически — борьбу феодальных группировок против объединительной политики государственной власти и, ослабляя таким образом последнюю, не допускать союза Грузии с крестоносцами.

В 1203 г. Амир-Бубакар двинул огромное войско, набранное на пространстве от границ Индии до Самарканда и от Багдада до границ Грузии. Бубакар уже дошел до Ганджи, и здесь под Шамхором произвел бой, который по справедливости считается «Полтавским боем» Грузии. Тамара отправила против 400-тысячной неприятельской армии грузинские войска под предводительством своего мужа Давида Сослана и своего знаменитого полководца Захария Мхаргрделадзе. Амир-Бубакар хотел придать своему походу на Грузию религиозный характер. Он уговорил халифа, главу мусульманского мира, провозгласить эту войну священной, выпросил у него зеленое знамя Магомета и двинулся со своим воинством, равным, как говорит летописец, «пескам морским и звездам небесным». Произошел бой, и мусульмане были на-голову разбиты. Огромный лагерь Амир-Бубакара достался грузинам вместе с зеленым знаменем пророка, водворенным в Гелатский монастырь в качестве трофея.

Шамхорская победа произвела потрясающее впечатление на мусульманский мир. Уже в следующем году султан Алеппо Нукардин стал собирать огромное войско, чтобы отомстить Тамаре за поражение Бубакара и за посрамление мусульман. Он двинулся с армией, достигавшей 800 тысяч человек, в пределы Грузии.

Произошел Болостикский бой, в котором войска Нукардина были разбиты на-голову, а сам грозный повелитель едва не был захвачен в плен и спасся только благодаря быстроте своего чистокровного арабского коня.

Когда происходили эти бои, Руставели не было в Грузии. Тамара, вступив в компромисс с реакционно-фео-

дальными кругами, казалось, достигла своих целей. Ей удалось объединить вокруг себя те самые силы, которые так долго выступали против нее и добивались подчинения государственной власти себе. Компромисс Тамары носил временный характер и не закреплял той победы, которую Тамара одержала над своими противниками. Феодальные круги подчинились Тамаре, но это не значило, что они отказались от своих домогательств и забыли свои эгоистические интересы.

Руставели не шел на примирение с этими кругами и не считал, что борьба с ними окончена. Он хотел использовать победу над ними для более прочного закрепления единой государственной власти, и поэтому на него посыпались с их стороны все удары.

Тамара должна была идти дальше в своей победе и, сохранив при себе Руставели, продолжать борьбу с «каджамми» до полной победы и до безусловного упрочения той власти, во имя которой она боролась. Но она предпочла компромисс с ними и принесла в жертву Руставели.

Военные победы, которые последовали после примирения Тамары с ее противниками, казалось, свидетельствовали о правоте Тамары и об излишней прямолинейности Руставели. Но это не так.

Прошло 20 с небольшим лет после шамхорской и болостикской побед, и на земле Грузии появился новый враг — Джелаледдин Хварезмский. Султан Хварезмский потерпел поражение от появившихся тогда монголов и был ими изгнан из государства. В сущности, это был бродячий султан, и, конечно, в таком положении он не мог ни собрать крупных сил, ни обеспечить нужную их организованность. И все же он устремился в Грузию, которая уже не была Грузией Тамары.

После смерти последней (Давид умер раньше нее) на престол вступил ее сын Георгий Лаша, едва достигший 18 лет. Его окружили феодалы, почувствовав-

шие себя вновь независимыми владельцами, для которых центральная государственная власть была только помехой.

Георгий Лаша умер рано. После него грузинский трон заняла его сестра Русудан. При ней Грузия окончательно пришла в упадок. Русудан, по примеру своего брата, предалась веселой жизни, и феодалы наезжали в центр не для государственных дел, а для праздности и разгула. Легкомысленный поход Джелаледдина никогда не мог бы состояться, если бы Джелаледдин не был уверен в том, что не встретит сопротивления.

По странной иронии судьбы Джелаледдин был султаном хварезмским, а, как известно, Руставели в своей поэме выступление Демны описывает как появление «жениха», наследника Хварезмского царства.

И вот этот хварезмский султан шел теперь уже на самом деле покорить Грузию и взять себе в жены ее красавицу-царицу. Но в Грузии не было Тариэла, который так быстро расправился с вымышленным женихом, и султан не встречал на своем пути сопротивления. Феодалы отсиживались по своим замкам, удерживая свои войска на месте, а покинутая всеми Русудан бежала из столицы государства и скрылась в Кутаиси. Брошенный царицей Тбилиси сделался легкой добычей бездомного султана, и он предал огню и мечу страну. Несколько лет продолжалось его хозяйничанье в Грузии, и, когда он, наконец, ее покинул, от цветущей и культурной страны остались одни развалины.

Компромисс Тамары получил историческую проверку и оказался гнилым. Если феодально-реакционные группы признали себя побежденными и подчинились Тамаре, то только потому, что у них не было другого выхода и компромисс давал им отсрочку. Вскоре Грузия увидела и оборотную сторону компромисса и подверглась разгрому, которого она, безусловно, могла избежать, если бы в ней попрежнему были единомышленники и сплоченность и феодальные круги не стремились бы к децентрали-

зации и ослаблению единой государственной власти.

Руставели был прав в своей непримиримости к феодалам, и Тамара совершила крупную ошибку, принеся в жертву своего великого друга. Борьба до конца, до победы, до взятия «каджетской крепости» — вот к чему призывал Руставели. Изгнание Руставели из Грузии не только биографическая подробность его жизни. Он боролся во имя определенной идеи и хотя потерпел поражение, но история его оправдала.

Семь с половиной веков отделяют нас от Руставели, но его личность представляет для нас не только исторический интерес. Его поэтические и этические идеалы были для того времени прогрессивны, и многие из них в наше время оживают с новой силой. Вера в победу прогрессивных сил, страстная напряженность в борьбе с врагами, жизнерадостность, любовь к родине — все эти черты в творчестве Руставели являются для нас особенно ценными и близкими.

К Руставели применимы слова Белинского, сказанные им о другом великом поэте: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы верно ни поняла она их, но всегда останется следующей за ней эпохой сказать что нибудь новое и более верное».

Мы знаем, как господствующие классы прошлых эпох понимали Руставели; новое и более верное в изучении Руставели начинается в наше время, чуждое всяких националистических и иных предрассудков. Руставели — величайший грузинский национальный поэт, но сказать это, значит сказать не все. Руставели общечеловечен, ибо общечеловечны его гармоническое мироощущение, его высокий гуманизм, его поэтические образы, такие понятные, простые и в то же время величественные.

Всю глубину и все значение творчества Руставели правильно понял грузинский народ, отразивший в своем фольклоре ту безмерную любовь и почитание, какое он питает к своему великому поэту.

Как звезда в предутренней лазури,  
Чью огромность видим, глаз не щуря,  
Как луна, светило ночи строгой,  
Что плывет блистательной дорогой,  
Так, красой сверкая несравненной,

Светишь ты, о, Шота, всей вселенной!  
Ты, чья песнь всю землю покорила,  
Ты, чья мудрость — мудрости мерило,  
Ты, пред кем смиренно поникаем,  
Чей полет для нас недосыгаем,  
Ты, чей взмах неудержим орлиный,  
Ты, пред кем не глубоки глубины,  
Ты, кому не высоки высоты,  
Просвети нас, научи нас, Шота,  
Как собратъ, пожать нам без урона  
Злак, что бросил ты в земное лоно?

# ШОТА РУСТАВЕЛИ И ЕГО ПОЭМА

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ

**Н**и исторические хроники, ни памятники художественной литературы, относящиеся к эпохе до XVI в., не сохранили никаких сведений о личности Руставели. Единственным достоверным источником того, что мы о нем знаем, является его же поэма «Витязь в тигровой шкуре».

В двух строфах вступления и двух эпилога поэмы сказано, что пишет эти стихи он, Руствели (Руставели). Затем первая строфа эпилога словами: «Пишу это я, некий месх» — дает знать, что он родом из Месхети, одной из культурнейших провинций древней Грузии. Это же самое сведение косвенно подтверждается еще одним стихом поэмы, в котором Автандил и Фридон, утешающие Тариэла и его возлюбленную в скорби, сравниваются с католикосом и мацкверели. Звание «мацкверели» было присвоено высшему духовному лицу Месхети. И, по народному преданию, Руставели происходил из месхетского села Рустави<sup>1</sup>, от которого до сего времени сохранилась одна лишь небольшая развалившаяся крепость. Не раз имевшие место попытки отнесения Руставели к другой провинции Грузии, главным образом к эретскому Рустави, расположенному к востоку от Тбилиси, не имеют никакого реального основания.

Третье и последнее, что мы узнаем из поэмы об ее авторе, это время его деятельности — эпоха царствования царицы Тамары, конец XII в. и начало XIII в. Об этом свидетельствует ряд

вступительных и заключительных строф, в которых поэт восхваляет царицу Тамару и ее супруга Давида в качестве их современника.

Это была эпоха наибольшего усиления Грузинского царства и расцвета его культурной жизни. Начатое еще при Давиде Возобновителе дело укрепления и расширения границ и улучшения хозяйственного состояния государства продолжалось больше одного столетия и достигло полного своего завершения в царствование царицы Тамары. Перестав быть объектом вторжений главных сил мусульманского мира, оттянутых к берегам Средиземного моря крестоносцами, Грузия XII века сама перешла в наступление и далеко расширила свои пределы на восток и на юг за счет соседних стран, грабя при этом их в такой же степени, в какой грабили те ее, когда им представлялся для этого подходящий случай.

Золотым роем окружали воинственные феодалы свою царицу, которая соединила в себе все необходимое, чтобы пленять сердца: власть, красоту, ум и черты высокой нравственности. Верноподданнические чувства многих ее приближенных разжигались огнем совершенно иных чувств, которые в большинстве случаев тщательно скрывались их носителями или же переключались на страсти к военным подвигам, но в единичных случаях эти чувства прорывались наружу и принимали характер открытого безумия.

Еще при возведении на престол совершенно молодой царевны был выдвинут

<sup>1</sup> Руставели, или Руствели, в переводе на русский язык значит руставец.

вопрос о ее замужестве как вопрос большой государственной важности. Жадные взоры грузинских владетельных князей, обращенные к ней и к ее престолу, не сулили стране ничего хорошего, и, чтобы предотвратить междоусобные смуты, стали искать для нее супруга вне пределов Грузии. Выбор пал на сына суздальского великого князя Андрея Боголюбского, Юрия, названного при грузинском дворе Георгием, который, однако, скоро впал по не совсем еще выясненным причинам в немилость царицы и двора, определившую весь ход его дальнейшей печальной жизни.

Второй муж царицы, ее родственник по матери, осетинский князь Давид Соллани, упомянутый во второй, заключительной строфе поэмы Руставели, оказался человеком большой инициативы и прекрасным помощником своей супруги во всех государственных делах. При их совместном царствовании страна достигла максимального благополучия. Процветало сельское хозяйство, строились дороги и мосты, возводились храмы, дворцы и крепости. Поощрялось искусство, подчеркивалось эстетическое отношение к вещам. Накопленные в результате ряда победоносных войн богатства вызывали в господствующем классе повышенную потребность в благоустройстве, в роскоши и т. д. Феодалное сословие перестало довольствоваться одними церковными песнопениями. Оно требовало восхваления не только божьей благодати, но и своих дел.

Поэма Руставели вся проникнута духом того времени. Перерастая идейно породившее ее общество и уходя корнями в область общечеловеческих мыслей и чувств, эта поэма все же полностью отражает высокий стиль своей эпохи, который ни в какой степени не повторялся больше в дальнейшей истории Грузинского царства. Поэтому всякие имевшие место попытки датирования поэмы Руставели и его жизни другими, более поздними эпохами следует отнести к числу тех недоразумений, которыми вообще богаты исследовательские работы вокруг великих произведений искусства.

По одному народному преданию, Руставели причисляется к тем современни-

кам царицы Тамары, которые открыто проявляли свою безнадежную любовь к ней. Но в иной, более вероятной, легенде говорится о других любовных заключениях поэта. Что в его жизни любовь сыграла большую роль, об этом свидетельствует не только общий характер всей его поэмы, но и прямое признание поэта в одной из вступительных строф, в которой он с горечью заявляет, что любовные беды его героев равны десятой доле его собственных бед:

Народное предание гласит, что Руставели учился сначала в Икалтинской академии (в Грузии), а затем для завершения образования был послан в числе других юношей в Грецию. В преклонном возрасте он будто бы поехал в Иерусалим и там в одном из грузинских монастырей умер, достигнув глубокой старости.

Вот все, что можно сказать о жизни и личности Руставели на основании его непосредственных заявлений в поэме о себе и некоторых сохранившихся о нем в народе легенд. Сказать пока больше этого по данному вопросу — значит унести в область фантазии. Таким образом, можно заключить, что у Руставели нет биографии. Биография его — поэма «Витязь в тигровой шкуре».

Одно можно сказать почти с достоверностью: Руставели в глазах современного ему общества, очевидно, ни в каком отношении не казался знаменитостью; в противном случае его имя непременно попало бы на страницы исторической хроники тех времен. Слава великого поэта к нему пришла, должно быть, позже, спустя некоторое время после его смерти, но она утвердилась за ним навсегда и окружила его имя на его родине исключительным блеском.



На протяжении целых трех столетий (XIII—XV вв.), в результате ряда опустошительных военных нашествий, культурная жизнь в Грузии совершенно замерла. Эти века не оставили после себя ни одного памятника художественной литературы. Но начавшееся с XVI века возрождение духовной культуры страны



жирающей любви, смотрит, откинув голову назад, на небесные светила, распоряжающиеся судьбами людей, и начинает петь, призывая их в свидетели своего горя. Слезы постепенно овладевают им, рыдания вторгаются в его звенящий голос, и общая симфония пения и плача, скорби и радости человеческого существования, ширясь, поднимается все выше и выше к небу, приводя в оцепенение зверей и птиц, слушающих Автандила и словно понимающих свою причастность к этой жалобе.

Руставели любит называть устами Автандила мир «мгновенностью», размышлять о его скоротечности и тщете его стремлений.

Поэт обвиняет этот мгновенный мир в том, что он, по его мнению, строит всякие козни против человека и причиняет ему страдания и горе. Однако он верит, что добру все-таки предназначено окончательное торжество над злом.

Главным героем поэмы является Тариэл, молодой амирбар — военачальник всех сухопутных и морских сил Индии. Он — сын одного из семи индийских царей, добровольно отказавшегося от своего престола в пользу верховного властителя страны — Парсадана, отца героини произведения — Нестан-Дареджан. Его воспитал Парсадан при своем дворе. Необычайная физическая сила Тариэла и его исключительная красота приводили народ в изумление и безграничный восторг. Не считая, очевидно, скромность за большую добродетель, он сам так о себе рассказывает Автандилу:

На коня садясь, будил я гул рогов и ловчих  
тьму,  
 Роем пчел вздымалось войско, только руку  
подыму,  
 Девы, юноши толпились, близясь к взору  
моему;  
 Кто меня видал, хватало на год гордости  
тому.

Тариэл наводил ужас на врагов Индии. В бою он был беспощаден и свиреп до дикости, но побежденных миловал и отпускал на волю. В нем была сила, очаровывающая и поработщающая людей. Могучая воля его была безгра-

нична. Казалось по всем признакам, что он должен был стать великим завоевателем, создателем какой-нибудь огромной империи. Но одного качества ему для этого все-таки нехватало — хладнокровия.

Кипучий и пламенный, Тариэл неожиданно, как-то вдруг и целиком отдался во власть всепоглощающего чувства любви к царевне Нестан-Дареджан. В него проникла «страсть, губящая сердца», и потрясла его душу до основания. Эта роковая любовь приняла трагический оборот, привела молодого амирбара к тягчайшему преступлению, навлекшему кару на его возлюбленную. Тариэла охватило необузданное бешенство вначале, а затем титаническое страдание и горе, превратившее его в мизантропа, отмежевавшегося от людей на протяжении десяти лет, пока при помощи друзей, Автандила главным образом и Фридона, он не обнаружил бесследно исчезнувшую царевну. Тариэл — это неимоверная физическая и духовная сила, олицетворение идеальной красоты человека, гиперболизированное средоточие страстей.

Руставели во вступлении к своей поэме, рассуждая о любви, говорит: «По-арабски однозвучно и «безумен» и «влюблен». Такова любовь Тариэла: настоящее бешенство и сумасшествие. Вспомним хотя бы сцену с тигрицей, которую Тариэл, уподобив своей возлюбленной, хватает голыми руками и поднимает вверх, чтобы покрыть поцелуями; но — «лютый нрав острокогтистой эту нежность отвратил», и неистовствующий влюбленный убивает тигрицу, яростно ударив ее о землю.

В чудном образе тигрицы прозреваю я ее,  
 Оттого я взял у зверя одеяние свое, —

рассказывает он Автандилу. Автандил в противовес Тариэлу благоразумен, глубоко нежен в своих чувствах и обходителен с людьми.

В плане такого же противопоставления очерчены и характеры двух главных героинь поэмы — Нестан-Дареджан и Тинатин. Первая действительно напоми-



туры, главным образом с «Шах-Намэ». Отличаясь от поэтов мусульманского Востока своим мировоззрением, Руставели в мироощущении своем имеет безусловно много общего с ними. Замечательно, что, ссылаясь в поэме на художественные произведения иранской литературы, он не упоминает ни одного представителя научной или религиозной мысли Востока; зато в его поэме упоминаются имена греческих мудрецов, но нет ссылок на какие-либо произведения поэтов этой страны.

Сравнивая Руставели с известными иранскими поэтами, можно прийти к заключению, что эти последние, за исключением, быть может, только лишь Омара Хайяма, элементарнее и проще в своем творчестве, чем автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Руставели сложен в сюжетном построении своей поэмы и в системе создаваемых им ситуаций романа. Он глубок в изображении людских чувств и разнообразен в своих откликах на явления жизни. Убеждение в скоротечности земного существования и суетности мирских дел приводит его не к восхвалению вина, минутной любви и других подобных средств забвения, как это мы видим в творчестве многих иранских поэтов, а к глубокой надежде на конечное торжество блага.

В понимании чувства любви интересно провести в данном случае параллель между Руставели и Фердоуси.

Когда в «Шах-Намэ» туранская царица, будущая мать Зораба, видит случайно заехавшего к ним знаменитого героя и великана Рустема, она, обуреваемая страстью к нему, красивому и могучему, тайком пробирается вечером в его спальню и разделяет с ним ложе на одну ночь.

Совершенно другое мы видим в поэме Руставели. Когда Таризл в первый раз замечает в башне юную царицу Нестан-Дареджан, которая в детстве воспитывалась вместе с ним, он, пораженный ее необычайной красотой, лишается чувств. Через несколько дней после этого случая царица, сама далеко не равнодушная к Таризлу, тайно при содействии своей служанки Асмаг приглашает к себе его, молодого и светозарного, как

солнце, амирбара. Это их первое любовное свидание получилось, против их ожидания, совершенно безмолвным: ни один из них в оценении не мог выговорить ни слова.

Молодая царица, которая, смущая, сама смутилась при первом любовном свидании до такой степени, что потеряла способность говорить, позднее, когда для нее наступило тяжелое испытание, проявила необычайное самообладание и стойкость. В своем знаменитом письме Таризлу из Каджетской крепости она доходит до полного самоотречения ради любимого существа. Нестан пишет Таризлу: «Примиришься с тем, что я навсегда для тебя потеряна. Рок беспощаден к нам, колесо семи небес яростно вращается над нами. Если я увижу тебя павшим в борьбе за мое освобождение, то я сама буду сожжена огнем страданий. Знай, что никому другому я не отдамся, лучше брошусь со скал, меня окружающих, или же заколю себя ножом. Молись богу за меня, пусть он освободит меня от оков воды, огня, земли и воздуха, — даст мне крылья для полета ввысь, где днем и ночью могу я видеть молниеносный трепет солнца. Солнце не может существовать без тебя, ибо ты являешься его частицей. Так оставайся же ты в нем и раздели с ним его великую судьбу. Там я буду созерцать тебя, и моя скорбная душа озарится этим зрелищем».

Это письмо Нестан-Дареджан, подобного которому не писала, быть может, ни одна литературная героиня, полностью иллюстрирует одну короткую мысль Руставели: «Любовь возвышает».

Герои поэмы Руставели — магометане. Поэт глубоко безразлично относится ко всякой религии. Бог в этой поэме наделен самыми общими чертами, которыми приблизительно наделяют его главнейшие монотеистические религии мира. Он — единый, создавший жизнь, а также мир для людей во всей его многогранности. К такому богу обращается Руставели в первых двух строфах своего вступления, прося у него сил для выполнения взятой им на себя поэтической задачи. Автан-

дил молится богу, «не постигаемому разумом, не поддающемуся словесному определению, владыке всех прав и всякой власти»<sup>1</sup>.

Трудно себе составить представление по произведению Руставели о реальном образе жизни его времени. Он не станет, например, описывать вам, подобно Гомеру, из чего и как сделан щит или копье его героя. Руставели интересуется лишь общими взаимоотношениями между людьми и характером основных чувств человека в их чистом виде. Гиперболизируя и сгущая краски, он все время стремится уловить главную суть изображаемых им явлений и возвести ее до принципиальной высоты. Только случайно прорывается у него иногда какая-нибудь фраза, характеризующая ту или другую бытовую особенность современной ему жизни. Почти обо всем приходится догадываться на основании общего стиля поэмы, энергичного биения ее пульса и по характеру его героев, мужественных и блестящих.

Во вступлении к своему произведению Руставели после ряда обязательных для поэтов его эпохи хвалебных обращений к богу и царице довольно подробно излагает свои взгляды на любовь, являющуюся лейтмотивом всей этой поэмы, и, в частности, на поэзию.

О поэзии Руставели говорит, что она является «издревле одной из отраслей мудрости, полезной для ее слушателей». Отличительной чертой поэзии он считает ее способность выражать мысль кратко:

Весь простор могучих мыслей заключает  
краткий стих.  
Тем прекрасна речь поэта, тем отлична от  
иных.

Считая лаконичность в формулировке мыслей особенным достоинством поэзии, Руставели вместе с тем, имея в виду общий об'ем поэтического произведения,

<sup>1</sup> В XVIII в. поэма Руставели подверглась гонению со стороны духовенства за ее религиозный индифферентизм и за ту успешность, с которой она отбивала читателей и слушателей у «священного» писания: большая часть ее первого печатного издания, вышедшего в 1712 г., была по приказанию католикаса предана огню.

полагает, что «поэтом не может называться тот, кто не в состоянии написать пространно». В этом отношении он поэта сравнивает с конем на ристалище, силы которого измеряются расстоянием, положенным ему для пробега. Не поэт, по мнению Руставели, тот, «кто случайно два-три слова склеит рифмой тут и там», утверждая при этом с упрямством мула, что он превзошел других стихотворцев.

Долгом поэта и признаком его таланта он считает способность возбуждать большие чувства, воспламенять сердца поэтическим словом. Поэта, не способного на это, Руставели уподобляет подростку, охотящемуся на мелкую дичь.

Великие чувства и мысли должны, по мнению Руставели, вдохновлять поэта, он должен быть проникновенным и окрыленным высокими стремлениями, определяющими глубину его страданий и радостей:

Чувство истинное, это — отраженье высших  
сил.  
Надо, чтоб язык поэта несказанность  
изъяснил.  
Есть возвышенная сила широкорастущих  
крыл,  
Тот, кому она открылась, все страданию  
открыл.

Свой взгляд на поэзию, на ее задачи и назначение Руставели планомерно осуществляет на протяжении всей поэмы. Язык его лаконичен. Он действительно с исключительным мастерством умеет высказывать обширные мысли вкратце. Большое обилие афоризмов, глубочайших мыслей, которыми богата вся поэма, превращает произведения Руставели в настоящую сокровищницу поговорок и пословиц на всевозможные случаи жизни. Собственно говоря, вся поэма перешла в фольклор и, своеобразно видоизменившись, до сего времени продолжает существовать параллельно в устной народной словесности.

Особо следует отметить метафоричность стиля Руставели. Руставели — такой же великий мастер метафоры, какими являются Данте и Пушкин. Аристотель в своей «Поэтике» пишет: «Особенно важно быть искусным в метафорах,



нейшая судьба героев произведения вплоть до их смерти; царь Вахтанг отсек эти главы от печатаемого им текста поэмы, но допустил при этом довольно грубую ошибку в определении того места, где должны были пройти его ножницы, в результате чего он отрезал здоровую и совершенно необходимую часть конца произведения. Чтобы после этого

как-нибудь скомпановать окончание поэмы, он взял 22 строфы из разных мест отвергнутой им части текста и приложил их к новому концу (к 52-й главе по этому изданию). Только в последнем издании поэмы (Тбилиси, 1934 г.) восстановлен подлинный ее конец и заполнены пробелы внутри ее текста внесением пропущенных строф.

# САТИРА НЕКРАСОВА

Е. ПАМФИЛОВА

Сатира действует и шире, и смелей,  
Как пуля находить виновного умея.

Некрасов.

Общественная функция литературы ни в одной из ее форм не раскрывалась с такой ясностью и определенностью, как в сатире. Сатира всегда служила могучим орудием полемики, борьбы, художественной критики общественных отношений. В зависимости от общественного положения того класса, в интересах которого она была направлена, сатира играла различную роль. Служа интересам уходящих классов, защищая существующий порядок вещей, стремясь подправить и закрепить его, сатира являлась реакционной. В этом случае общественное значение ее было весьма ограниченным, она не оставляла в истории литературы заметного следа. Напротив, все свое огромное значение и все свои специфические свойства как оружия критики социального зла и его отрицания сатира обнаруживала в руках прогрессивных общественных групп и в особенности революционных классов. Произведения революционной сатиры намного пережили свое время и сохранили для нас не только огромное познавательное значение, но и большую художественную ценность.

Отличительная черта дворянской сатиры XVIII века состояла в том, что она брала на себя право судить об общественных явлениях только *post factum*, только после того, как эти явления получали общепризнанную общественную оценку.

«Наша сатира, — писал в шестидесятых годах прошлого столетия Добролюбов, — всегда шла позади жизни, тогда как по своему исключительному положению среди общества могла опережать ее. Она видела порок только тогда, когда он был уже уличен, опубликован, всенародно показан, ранее она не осмеливалась дотронуться до него... Сатира всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала ее... Сатира не поднималась у нас до понимания народных интересов».

Добролюбов был глубоко прав, говоря, что «противники просвещения у нас были и до Кантемира, но только после указа Петра о том, что «стыдно быть невеждою особливо дворянину и все дворяне должны учиться», появилась сатира на хулящих учение.

Кантемир стоял на позициях защиты петровских реформ. Он выступал за культурный рост и европеизацию дворянства, против местничества и патриархальной боярской отсталости, которые были всем ходом исторического развития обречены, но он не мог, как говорит Добролюбов, «поражать тех пороков, какие в его время были сильны».

Сатира Фонвизина, по сравнению с творчеством Кантемира, отличается большей остротой и целеустремленностью. Фонвизин создал сильные сатирические произведения, направленные против невежественного, но знатного дворянства. Его положительные идеалы — чест-

ность, трудолюбие, семейные добродетели, которые он противопоставляет идеалам господ Скотининых, Простаковых и недорослей, носят на себе все черты морального кодекса буржуазии, когда она выступает с критикой феодальных порядков. Сатира Фонвизина имела для своего времени несомненное прогрессивное значение. Революционное движение крестьянства, в частности современное Фонвизину пугачевское восстание, не могло не сказаться на остроте критики Фонвизиним пороков его класса.

Из дворянских писателей, много сделавших для развития сатирического направления в русской литературе, надо указать на Грибоедова, комедия которого «Горе от ума» поставила его в ряд крупнейших русских сатириков, а также на Крылова, создавшего и утвердившего в русской литературе жанр басни. Но особенный интерес представляет с этой стороны творчество Гоголя. Обличая отрицательные явления, Гоголь как крупнейший реалистический талант создал сатирические произведения огромной силы, которые по своему общественному эффекту превзошли всякие ожидания самого автора.

Развязывание капиталистических отношений в России совершалось при сохранении власти дворянства как основной опоры самодержавия. Все это не могло не придавать реформам царской власти характера половинчатости, характера сделок, обеспечивающих, по возможности, интересы и дворянства, и молодой буржуазии. Каждый шаг уступок в пользу нового класса самодержавие пыталось обставить как можно эффектнее, как уступку общенародным интересам. Но, так как «классы обмануть нельзя», то все эти свободы и реформы очень скоро обнаруживали свое настоящее содержание.

Огромную боевую роль выполнила в эти исторические предреформенные и пореформенные десятилетия сатира Некрасова и Салтыкова. Не случайно Ленин в своих высказываниях о Некрасове ставит его всегда рядом с Салтыковым. Значение Некрасова как сатирика чрезвычайно велико. Можно сказать, что

между Некрасовым и Щедриным было своеобразное разделение труда. То, что Салтыков сделал в прозе в смысле развития сатирического направления, то Некрасов совершил в поэзии. «Некрасов и Салтыков, — говорит Ленин, — учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика, его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов...»<sup>1</sup>.

Некрасовская едкая ирония, гневный сарказм и разящий смех на протяжении более чем двух десятков лет служили революционной демократии в ее борьбе.

Типичными чертами некрасовской сатиры, во-первых, является острота отрицания, ее революционный характер, во-вторых, реалистичность. Даже в случаях, когда в интересах наибольшего воздействия Некрасов прибегал к гиперболическому изображению тех или иных образов или фактов, он всегда оставался на почве реальности. Сатира Некрасова была одним из проявлений становления нового литературного стиля — стиля революционно-демократической литературы.

Можно без преувеличения сказать, что творческое лицо Некрасова-художника определяется в большей мере сатирической стороной его поэзии; по своей художественной ценности некрасовская сатира ни в какой мере не уступает его лирике.

Творчество Некрасова является глубоко народным не только по своей идейности, но и по форме. Он нашел свежий и удачный способ использования фольклорного материала. Его эстетика органически связана с крестьянством, жизнь и борьбу которого в условиях крепостнического общества поэт воспел с глубоким сочувствием и силой.

Идейно-политически Некрасов был крестьянским революционным демократом, а его творчество — поэзией крестьянской революции 60 — 70-х гг. Его общественные идеалы сложились в результате общения с такими крупнейши-

<sup>1</sup> Ленин. Соч., т. XII, стр. 9.

ми революционерами, предшественниками научного социализма в России, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Большую революционизирующую роль сыграла и личная судьба поэта. Некрасов прошел суровую жизненную школу, начиная от впечатлений крепостнического произвола в имении своего отца до положения голодного, бесприютного обитателя петербургских углов в годы юности.

Известны отдельные колебания Некрасова в сторону либерализма. Но во всех случаях эти колебания были, как говорит Ленин, «следствием личной слабости поэта», не меняющим его основных симпатий к революционно-демократическому движению.

В литературном отношении путь Некрасова, если не считать первого, неизбежно подражательного периода учебы, в высшей степени самостоятелен. Во всяком случае, как сатирик Некрасов не учился у дворянской литературы, а активно преодолевал ее.

В русской литературе по духу творчества предшественником Некрасова можно считать более других Радищева, с которым его роднят общность революционного протеста против крепостного произвола и взгляды на роль просвещения. Предшественником Некрасова является и Рылеев, с которым у Некрасова много общего как с «поэтом-гражданином» и сатириком. Рылеев, поэт-декабрист, пережил в своем творчестве сходную с Некрасовым ломку стиля, насытив поэзию гражданскими и политическими мотивами.

Творчество Некрасова, и в частности его сатира, находится на высоком общественно-политическом уровне. Тематика некрасовской сатиры разносторонняя. Она отличается большой целеустремленностью и конкретностью в раскрытии социальных противоречий.

Самодержавие и его агенты: министры, жандармы, цензоры, судьи, чиновники, дворяне, крепостники всех сортов, начиная от откровенных зубров, кончая либеральными, купцы, промышленники, подрядчики — вот главные персонажи сатирического изображения в творчестве Некрасова. Интересно от-

метить одно существенное обстоятельство в тематике некрасовской сатиры. Поэт одинаково отрицательно относится как к уходящему феодально-крепостническому строю, так и к нарождающемуся капиталистическому, разоблачая его эксплуататорскую сущность:

Знаю, на место цепей крепостных  
Люди придумали много иных.



Творчество Некрасова как сатирика по содержанию можно разделить на два периода: первый — до второй половины 50-х годов, второй — от второй половины 50-х годов и до конца его жизни. В первом периоде у Некрасова-сатирика преобладают мотивы морального осуждения изображаемой им действительности, осуждения эксплуатации вообще, тогда как во втором складывается вполне определенная революционно-демократическая тенденция, призыв к борьбе с самодержавием, понимание революционных возможностей крестьянства. Сатира становится политически более конкретной и действенной.

В первом периоде творчества Некрасова преобладающее место занимает городская тематика. Образам эксплуататоров нового типа, капиталистов, с их методами первоначального капиталистического накопления, ростовщиков, чиновников, противопоставляются образы городской бедноты, тружеников и люмпен-пролетариев.

В раннем периоде творчества Некрасова большое место занимает проза. В первые годы он писал водевили, пьесы, рассказы, романы; дошедшая до нас в незаконченном виде рукопись романа «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», не появившегося в печати при жизни Некрасова по цензурным условиям, суммирует огромный материал из жизни социальных низов тогдашнего Петербурга. Образы этого романа, в большой мере автобиографичного, послужили для Некрасова позднейшего периода источником тем и мотивов для его поэтического творчества.

«Жизнь и похождения Тихона Тросникова» как бы продолжают сатириче-

скую линию гоголевского реализма, но некрасовское отрицание того периода носит в себе уже все элементы стиля демократической литературы.

Во второй части романа, в «Похождении русского Жиль Блаза», дается яркая картина нравов современного общества. Некрасов обличает продажность официальной журналистики, показывает одну из самых больших язв капиталистического общества — проституцию, «танцклассы» — эти узаконенные дома терпимости для «уважаемых отцов семейства» и золотой молодежи.

В стихах Некрасова 40-х и первой половины 50-х годов поэта интересуют вопросы общественного устройства, классового неравенства. В этих стихах большое место занимает сатира. Примерно из 50 стихотворений этого периода, вошедших в полное собрание сочинений, самыми значительными являются сатирические произведения: «Современная одежда», «Записки графа Гаранского», «Филантроп», «Родина», «Колыбельная песнь», «Нравственный человек», «Прекрасная партия», «Псовая охота», «Секрет».

Кроме ярко выраженных сатирических произведений, в творчестве Некрасова элементы сатиры вкраплены в очень многие лирические произведения. В «Современной оде» Некрасов создал обобщенный образ нового буржуа, всяческими неправдами пролезшего в высший слой общества. Иронически восхваляя его добродетели, он раскрывает образ этого российского Тартюфа, ханжи, лицемера, не брезгающего никакими средствами на пути к обогащению:

Не спрошу я, откуда явился,  
Что теперь в сундуках твоих есть;  
Знаю: с неба к тебе все свалилось  
За твою добродетель и честь!..

Ту же буржуазную «философию жизни», что и в «Современной оде», обличает Некрасов и в «Ростовщике», который еще от младенческих лет усвоил отцовскую заповедь:

Вздор, дитя мое, все в мире  
Дело — капитал.

В «Секрете» Некрасов дает сатирическую картину семейного быта народившейся буржуазии. Перед нами старинный, «гербами украшенный дом». Все внешние атрибуты: львы, решетки кругом, старинная мебель, бронза — все говорит о том, что он принадлежал когда-то иному, богатому, знатному владельцу из какой-нибудь оскудевшей дворянской фамилии. Теперь в нем новый владелец — миллионер:

А ныне в нем несколько боен  
И с юфтью просторный лабаз.

Умирающий миллионер-лабазник спешит передать детям свой секрет наживы. Воровство и подлость — вот содержание этого секрета. И —

Вот тебе, коршун, награда  
За жизнь воровскую твою!

Не дождавшись смерти отца, достойные дети уже готовы перегрызть друг другу горло из-за наследства.

Свое отношение к крепостническому укладу Некрасов определил уже в стихотворении «Родина», написанном в 1846 году. Недаром Белинский дал этому произведению очень высокую оценку. Оно проникнуто беспощадным разоблачением всей крепостнической системы:

И вот они опять, знакомые места,  
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,  
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,  
Разврата грязного и мелкого тиранства,  
Где рой подавленных и трепетных рабов  
Завидовал житию последних барских псов.

В «Псовой охоте», написанной также в 1846 году, противопоставление помещичьего быта быту крепостных крестьян превращает это произведение в острое обличение той же «бессмысленной и пустой» жизни, о которой Некрасов говорит в «Родине». Некрасов резко подчеркивает оскудение дворянского класса, стремящегося еще удержать от былого могущества внешность, видимость благополучия.

В «Филантропе» Некрасов берет под обстрел сановного либерала, исписав-

шего 8 томов «о народном просвещении», но не сумевшего отличить «голодного от пьяного» при первой встрече с живым, действительно нуждающимся человеком. Этот образ либерального болтуна, не способного к практическому делу, несколько лет спустя воплотится в полнокровный образ либерала во многих сатирических произведениях поэта.

Но, пожалуй, самым острым сатирическим произведением этого периода являются «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Используя форму путевых наблюдений путешественника по России «с французской кухнею и русским титулом графа», Некрасов раскрывает безнадежность положения крепостных крестьян.

Объяснение причин эксплуатации крестьянства, его забитости, власти над ним помещиков, опирающихся на полицейские нагайки, очень хорошо выражено в немногих, предельно иронических словах:

Я думаю, земель избыток и лесов  
Способствует к труду всегдашней их охоте.  
Но должно б вразумлять корыстных мужиков,  
Что изнурительно излишество в работе.  
Не такова ли цель — в немецких сюртуках  
Особенных фигур, бродящих между ними?  
Нагайки у иных заметил я в руках...

Небольшими вставками, характеризующими способы наблюдений графа и обоснованность его заключений, Некрасов превращает утверждения графа в их собственную противоположность:

Я также наблюдал—в окно моей кареты—  
И быт крестьянина: он нищеты далек!  
По собственным моим владениям проезжая,  
Созвал я мужиков: составили кружок  
И гаркнули: «Ура!»... С балкона наблюдая,  
Спросил: довольны ли?.. Кричат,  
«Довольны всем!».

... Я мало с ними был,  
Но видел, что мужик свободно ел и пил.  
и т. д.

Заключительные строки этого произведения говорят о роли сатиры, которую Некрасов призывает в качестве «грозного бича» для «любителей кнута, поборников тиранства».

Уже в раннем периоде творчества у Некрасова сложилось четкое представление о своем поэтическом призвании.

В стихотворении 1852 г. «Блажен незлобивый поэт», написанном на смерть Гоголя, Некрасов дает последнему оценку как сатирику — «тому, чей благородный гений стал обличителем»:

Питая ненавистью грудь,  
Уста вооружив сатирой,  
Проходит он тернистый путь  
С своей карающей лирой.

С полным основанием все сказанное по адресу Гоголя Некрасов мог бы отнести к самому себе, и это хорошо воспринимается читателем. Поэт-сатирик противопоставлен здесь «незлобивому поэту, стороннику «чистого искусства», который любит «беспечность и покой» и гнушается дерзкою сатирой».

Современники «его» не гонят, не злобуют, а при жизни памятник готовят». Некрасов на другом пути:

И веря, и не веря вновь  
Мечте высокого призванья,  
Он проповедует любовь  
Враждебным словом отрицанья.

Путь этот не усыпан розами, как у незлобивого поэта, напротив:

Каждый звук его речей  
Плодит ему врагов суровых.

Но поэт-обличитель видит в этом только подтверждение правильности избранного пути:

Он ловит звуки одобренья  
Не в сладком ропоте хвалы,  
А в диких криках озлобленья.



Второй период творчества Некрасова, в котором его революционно-демократические позиции определились с полной ясностью, был периодом расцвета сатирического направления его таланта. Сатира зрелого Некрасова формировалась и крепла в усложнившейся общественной обстановке. После 1848 года, когда «поднялась тревога в Париже буйном— и у нас по-своему отозвалась...», наступила полоса разгула реакции, «...скрутили бедную цензуру». Было очень тяжело писать: «Писать не время было, почти-что ничего тогда не проходило». Со второй половины 50-х годов, осо-

бенно после неудач Крымской кампании, общественное мнение было невероятно возбуждено, и цензурные запреты ломались в первую очередь снизу. В это время широко распространилась бесцензурная литература в виде записок, статей общественно-политического характера и произведений художественной литературы. Некрасову было невероятно трудно выражать свои настроения в стихах, которые могла бы пропустить верноподданническая цензура. Нередки были случаи, когда Некрасов, как он об этом писал Тургеневу в 1858 г., «немного написал, но поощрения цензуры не встретил».

К крестьянской реформе 1861 года Некрасов отнесся без всяких иллюзий. На шум, поднятый официальной общественностью и либералами о «свободе» для крестьян, он ответил строками скорбного раздумья:

... Мать-отчизна. Дойду до могилы,  
Не дождавшись свободы твоей.

Реформы самодержавия оберегали жизненные устои дворянства — своей основной опоры. Вместе с тем оно должно было дать возможность новой буржуазии принимать участие не только в экономической жизни, но и в общественных делах. Так родились земства, которые немало доставляли хлопот помещикам, привыкшим жить по-старинке, за широкой мужицкой спиной. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов в образе помещика Оболта Оболдуева вывел такого «потревоженного» барина. «Цепь великая», порвавшись, ударила «одним концом» и по барину.

В рассказе помещика странникам раскрывается типичное лицо крепостника, самодура, не желающего мириться с новыми порядками. Оболт Оболдуев недоволен тем, что усадьбы переводятся:

Поят народ распущенный,  
Зовут на службы земские.

В «Современниках» мы встречаем те же жалобы, что и у Оболта Оболдуева:

Да. Провинция пустеет:  
Города обьяты сном,

Земледелец наш беднеет,  
Дворянин поник челом.

Сатира Некрасова не обошла и барина «высшего разбора». Князь Утятин в «Последыше», как говорят его бывшие крепостные:

Помещик наш особенный,  
Богатство непомерное,  
Чин важный, род вельможеский...

Этот матерый крепостник не смог смириться с реформой. Его хватил удар:

Известно, не корысть,  
А спесь его подрезала, —  
Соринку он терял.

Интересно, что в обрисовке портрета Утятина Некрасов находит такие индивидуальные черты внешности, которые делают эту характеристику несколько отличной от портретов других помещиков. Утятин, например, никак не смешается с Оболтом Оболдуевым. Если тот был дан в тонах юмористических:

Вдруг тройка с колокольчиком  
Откуда ни взялась  
Летит! а в ней качается  
Какой-то барин кругленький,  
Усатенький, пузатенький,  
С сигарочкой во рту. —

то внешний облик Последыша дан как облик старого хищника, и сразу же производит отталкивающее впечатление:

Нос клювом, как у ястреба,  
Усы седые, длинные  
И — разные глаза.  
Один здоровый — светится,  
А левый — мутный, пасмурный,  
Как оловянный грош!

С большим сатирическим мастерством изображен маскарад, который за поемные луга устраивают своему «последышу» крестьяне, разыгрывая перед ним его крепостных.

В поэме «Кому вольготно, весело живет на Руси» есть много замечательных песен: «веселая», «барщинная», «голодная» и др. Все они с огромной силой отражают бедственное, безвыходное положение крестьянства. Попробуйте сравнить с портретом Оболта Обол-

дуева, например, хотя бы портрет Калины в «барщинной» песне, у которого:

С лаптя до ворота  
Шкура вся вспорота,  
Пухнет с мякины живот.

Верченый, крученный,  
Сеченый, мученый,  
Еле Калина бредет.

Или образ мужика в «голодной» песне:

Стоит мужик —  
Кольшется,  
Идет мужик —  
Не дышится.

С коры его  
Распучило,  
Тоска-беда  
Измучила.

Темней лица  
Стеклянного  
Не видано  
У пьяного.

Конец «веселой» песни отражает настроение прямого политического протеста:

Чуть из ребятишек,  
Глядь — и нет детей.  
Царь возьмет мальчишек,  
Барин — дочерей.  
Одному уроду  
Вековать с семьей.  
Славно жить народу  
На Руси святой.

Недаром Некрасову не удалось при жизни добиться разрешения на печатание всей четвертой части поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир».



Дворянская литература создала яркие поэтические образы лишних людей — Печорина, Онегина, Рудина и т. д.

В ином освещении образы либералов раскрываются в сатирических произведениях революционно-демократических писателей этой эпохи — Салтыкова-Щедрина и Некрасова. Современная Некрасову и позднейшая критика склонна была видеть в герое «Саши» — Агарине — простую копию Рудина. Действительно, и Тургенев, и Некрасов использовали в данном случае один социальный объект, но на их отношении

к своим героям сказались все различные идеологии писателей либерального дворянства и революционной демократии.

В то время как Тургенев опозитивировал метания своего героя, сочувственно изобразил его трагедию, образ Агарина дан Некрасовым в сатирических тонах. Поэт высмеивает и разоблачает этого современного героя, который:

Книги читает да по свету рыщет —  
Деда себе исполинского ищет,  
Благо, наследье богатых отцов  
Освободило от малых трудов...

Сам на душе ничего не имеет,  
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;  
Нынче не знает, что завтра сожнет,  
Только наверное сеять пойдет.  
Это в простом переводе выходит,  
Что в разговорах он время проводит;  
Если ж за дело возьмется — беда!  
Мир виноват в неудаче тогда;  
Чуть поослабнут нетвердые крылья,  
Бедный кричит: «беспользны усилья!»  
И уж куда как становится зол  
Крылья свои опаливший орел...

В послереформенные годы отношение Некрасова к либералам становится все более резким. В «Ночлегах», написанных в 1874 году, помещик-либерал, принявший в услужение бывшего крепостного Ермолая, начинает с того, что внушает ему всякие либеральные идеи:

Ты человек! ты гражданин!  
Знай: сила не в богатстве,  
Но в том — велик ли, мал ли чин,  
А в равенстве и братстве!

Я раболепства не терплю,  
Не льсти, не унижайся!  
Случится, может, сам вспяю —  
И мне не поддавайся.

Но Некрасов, раскрывая образ дальше, показывает фальшивое нутро либерала, оставшегося на деле крепостником в либеральном обличии:

Однажды он сердитый встал,  
Порезался, как брился.  
Все не по нем! весь день ворчал  
И вдруг совсем озлился.

«Костит... Потихе, господин!  
Сказал я, вспыхнув тоже.  
Как! что? Зазнался хамов сын!»  
И хлоп меня по роже.

Непревзойденным сатирико-политическим произведением является некрасовская поэма «Современники», которая

действительно дает энциклопедию общественных нравов своего времени.

Бывали хуже времена,  
Но не было подлей.

Эти слова как эпиграф открывают серию некрасовских современников. Сатирическое богатство поэмы поистине необъятно. Перед читателем проходят десятки типов представителей капиталистического хищничества, обмана, эксплоатации. Справляет эргию молодой капитализм, срывающий неслыханные проценты прибавочной стоимости на российской отсталости, на труде рабочих и разоренных, обманутых крестьян.

Материалом для «Современников» послужили действительные факты и живые лица. Критика при жизни Некрасова писала, что это «фотографическое отражение жизни». Но это не простая фотография. «Современники» воспроизводят правду жизни, дают показ живых «типических людей» в «типических обстоятельствах». Некрасов ненавидит, начисто отрицает изображенный им мир. Ни одной светлой черты нет среди многообразия типов этих представителей всех видов капиталистического грабежа.

Главное место в «Современниках» Некрасов отвел представителям торгового и ростовщического капитала. Промышленники зарабатывают бешеные прибыли на казенных заказах; броненосцы, построенные ими для военного ведомства, идут ко дну, гранаты рванят «только собственных людей».

Власть денег, продажность, взяточничество, — вот что видит и обличает Некрасов.

Продажная царская бюрократия очень удачно использовалась Саввами и Зацепами за взятки и долю участия в прибылях для получения казенных подрядов, заказов и т. п.

Некрасов подчеркивает, что у Антихристов на банкете

... Были почетные лица  
В чинах, с орденами. Их видит столица  
В сенате, в палатах, в судах.  
Служа безупречно и пользуясь весом,  
Они посвящают досуг интересам  
Коммерческих фирм на паях.

Оскудевшая дворянская знать, «правнуки Гедимины», продавали свое социальное достоинство, которое, кстати сказать, кормило все хуже, за любой реальный куш:

И рядом вельможи тут русские были,  
Погрязшие в тине долгов...  
То имя, что деды в бездумной отваге  
Прославили — гордость страны —  
Они за пай подмахнут на бумаге,  
Не стоящей трети цены.

Прибирая к рукам представителей власти, герои капиталистической наживы за деньги ставили себе на службу и представителей науки, которые все способности пускали в ход для оправдания жульнических махинаций своих новых хозяев. Профессора, бывшие либералы и демократы («Искандер был друг его») и представители «чистой науки» спешили променять свой образ мыслей и занятий на наиболее выгодное услужение тузам капитализма, «предпочтя ученой славе соблазнительный металл»... Эти представители науки принесли на помощь аферистам силу знания. «Всякий план, в основе шаткий», они, «как на сваях, утвердят».

Интересны приемы сатирического изображения, к которым прибегает Некрасов в «Современниках»; так, например, речь какого-то сенатора снижается внезапным окриком лакея:

... Первоприсутствуя в сенате,  
Радел ли ты о меньшем брате?..  
Всегда ли ты служил добру?  
Всегда ли к истине стремился?..

— Позвольте!..

Я посторонился  
И дал дорогу... осетру...

Обзор главнейших сторон тематики некрасовской сатиры был бы неполон без указания на сатирическое изображение царской цензуры — врага, от которого Некрасову приходилось непосредственно страдать и как поэту, и как редактору «Современника».

В стихотворении «Газетная», написанном в 1865 г., Некрасов изображает бывшего работника цензуры. Уже в описке портрета дается типичная характеристика бывшего цензора:

Под огромным газетным листом,  
 Видишь, тощий сидит человек  
 С озабоченным, бледным лицом.  
 Весь исполнен тревогою страстной,  
 По движеньям похож на лису,  
 Стар и глух; и в руках его красный  
 Карандаш, и очки на носу.  
 ... глаз его под очками играет,  
 Как у кошки, заметившей мышь.

По усвоенной привычке этот непо-  
 гребенный труп из цензурного ведом-  
 ства занят тем, что «выправляет слог»  
 в газетах, занимаясь этим уже не по  
 служебному долгу, а «для души».

Сатирической эпитафией так назы-  
 ваемой предварительной цензуре звучат  
 строчки:

Здесь обрел даровую квартиру  
 Муж злокачествен, подл и плешив  
 И оставил в наследие миру  
 Образцовых донзсов архив.



Говоря об особенностях сатиры Не-  
 красова, мы должны остановиться на  
 той борьбе, которая развернулась во-  
 круг вопроса о значении Некрасова как  
 художника. Общеизвестны высказыва-  
 ния дворянских литераторов Тургенева,  
 Фета, Толстого, Дружинина и др. о  
 нехудожественности некрасовской по-  
 эзии. История уже сказала свое слово,  
 поставив Некрасова в ряд крупнейших  
 художников, у которых многому можно  
 учиться и современной советской лите-  
 ратуре. Политически заостренные стихи  
 поэта насыщены глубочайшей лириче-  
 скостью и задушевностью.

Некрасов как друг Чернышевского,  
 его ближайший ученик и последователь  
 совершенно определенно ставил вопрос  
 о примате содержания над формой в ху-  
 дожественном произведении. Это был  
 один из основных тезисов всей ре-  
 волюционно-демократической лите-  
 ратуры.

Стих Некрасова чеканен, строг, от-  
 четлив, честен. До него уже сложился  
 определенный дворянский стиль, со сво-  
 ими законами, лексикой, метрикой и пр.  
 особенностями. Его мыслям стало тес-  
 но в старых формах. Новые мысли, но-  
 вое содержание требовали новой формы.  
 И Некрасов кропотливо, медленно, но

настойчиво шел по пути становления  
 новых форм. В результате им соверше-  
 на целая революция в области поэтиче-  
 ского творчества.

Прежде всего эта революция сказа-  
 лась в многообразии жанров. Он писал  
 пародии, романы, повести, оды, сатири-  
 ческие фельетоны, эпиграммы и т. д.  
 Уже в раннем периоде творчества мы  
 наблюдаем у Некрасова стремление к  
 критическому преодолению «высокого  
 стиля» дворянской литературы.

Одним из моментов преодоления «вы-  
 сокого стиля» и утверждения стиля ре-  
 волюционной демократии было создание  
 таких жанров, как сатирические оды,  
 баллады, сатирический стихотворный  
 фельетон и сатирическая поэма.

К жанру оды, господство которого от-  
 носится к XVIII веку, Некрасов обра-  
 щается неоднократно.

В модернизированной некрасовской  
 оде канонический прием утверждения и  
 воспевания используется как форма от-  
 рицания. Так построена «Современная  
 ода», написанная в 1845 году.

На таком же приеме построена и са-  
 тирическая ода в «Современниках». И-  
 роническое воспевание Марьи Львовны  
 дает острую сатиру на благотвори-  
 тельность.

В «Мечтах и звуках» Некрасов еще  
 пользовался традиционной формой бал-  
 лады. Но скоро он убедился в пол-  
 ной ее непригодности для своей стили-  
 стической установки. Отправляясь от  
 этого старого жанра, он создал свой  
 «опыт современной баллады» — «Се-  
 крет», придав ей совершенно иное на-  
 значение. Балладную форму использу-  
 ет Некрасов и в других произведениях.  
 В «Псовой охоте», например, он парод-  
 ирует «Суд над епископом Гаттоном»  
 Жуковского.

Об использовании фольклорного ма-  
 териала Некрасовым имеются целые ис-  
 следования. Некрасов часто пользовал-  
 ся словарями Даля, Садовникова и дру-  
 гими работами по собиранию народного  
 творчества. Особенно насыщена фольк-  
 лорным материалом поэма «Кому на  
 Руси жить хорошо». Наряду с введе-  
 нием в язык поэмы переработанных по-

словicc, поговорок, загадок, песен, причитаний и т. п. Некрасов пользуется и прямым заимствованием у Даля, Садовникова и др.

Речь Некрасова очень напевна. Он мастерски соединяет в своих стихах сказовый строй с песенным:

Как немые, молчат мужики,  
 Даже песня никем не поется,  
 Бабы спрятали лица в платки,  
 Только вздох иногда пронесется  
 Или крик: «Ну, чего отстаешь,  
 Седоком одним меньше везешь».  
 Но напрасно мужик огрызается,  
 Кляча еле идет, упирается,  
 Скрипом, визгом окрестность полна.

\*\*\*

Революционное достоинство некрасовской сатиры, ее боевой дух, а также художественные достоинства его гражданской поэзии и лирики, получили еще при жизни поэта справедливую и заслуженную оценку.

Белинский очень высоко ценил творчество Некрасова. Уже о первых его гражданских произведениях он говорил, что это «не стишки о деве и луне, в

них много умного, дельного, современного».

Большой критик, в период своего увлечения Гегелем отрицавший сатиру как жанр дидактический, в период просветительный, революционно-демократический пересмотрел свое отношение к сатире и писал о ней как о ведущем направлении в искусстве.

Ссылный Чернышевский лучше всего выразил свое отношение к Некрасову, его творчеству в последнем прощальном письме.

«Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет дышать, — писал Чернышевский Пыпину, — скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что целую его, что, я убежден, его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему».

История подтвердила эту оценку. Творчество Некрасова живет до сих пор, на нем учатся и многому еще будут учиться поэты и писатели нашего времени.

# В МУЗЕЕ А. М. ГОРЬКОГО

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Вот он, слепок с руки Алексея Максимовича Горького, великого художника, великого человека, великого сына страны Советов. Рука небольшая, в старческих морщинах, с чуть заостренными пальцами. Как удивительно красив, прост и почти нежен ее рисунок! А ведь это могучая рука, которая полвека не отдыхала, находясь в постоянном труде. Эти заостренные пальцы держали беспощадное оружие. Оно разило насмерть всякого врага народа. Оно неукротимо отстаивало интересы всего трудового человечества. Эту великую труженицу-руку, вложив в нее только перо, поднял сам великий и героический русский народ.

Слепок с руки и маска с умершего гения... Скульптор Меркуров, должно быть, отдал все свои способности, чтобы достойно запечатлеть дорогие и благородные черты огромного человека, рожденного нашим народом. Сотни тысяч советских людей, которые пройдут по одиннадцати залам музея А. М. Горького (Москва, улица Воровского, 25), унесут в своей памяти этот незабываемый, типично русский, народный в своем облики образ великого художника. Но, унося неизбежную скорбь, они испытают высокое, горделивое чувство восхищения и преклонения перед изумительным человеческим явлением, каким был покойный, вся его долгая, плодотворная жизнь, горы произведенной работы на благо народа.

«Нет сомнения, — писал Владимир Ильич Ленин еще о живом художнике, — что Горький — громадный ху-

дожественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению»<sup>1</sup>.

Не прошло еще полутора лет после смерти пролетарского художника, труд которого был так оценен В. И. Лениным, как уже советской властью создан памятник по увековечению имени Горького.

Столь краткий срок неизбежно должен был отразиться и на полноте собранных материалов, и на их отборе, и даже на самой распланировке.

За десять лет до своей кончины, в 1926 году, Алексей Максимович сказал: «Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые любят и умеют работать, людей, которые ставят целью себе освобождение всех сил человека для творчества, для украшения нашей земли, для организации на ней форм жизни, достойных человека».

Музей А. М. Горького всем своим содержанием являет красноречивую иллюстрацию этих слов.

В первом зале хранится такая драгоценность, как первый вариант повести «Детство», помеченный 1893 годом; вариант еще не опубликован нигде. Тетрадка в переплете, покрытом дешевой зеленой в полоску бумагой. Рукой Алексея Максимовича на первой линованной странице этой ученической тетради написано: «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Такого же значения первый вариант повести «В лю-

<sup>1</sup> Ленин, т. XX, стр. 41.

дах». Он написан на длинных газетных гранках.

К первому залу относится небольшой стенд у входных дверей в музей: на нем несколько снимков и этюдов, по священным отображению детских годов А. М. Горького. Метрическая выпись о рождении, две старинные фотографии родственников, дом деда Каширина в Нижнем (в этом доме прошло детство писателя), дом иконописца, у которого учился Горький иконописанию и сбегал от этого дела, дом чертежника, где тоже работал Горький. Еще несколько экспонатов менее значительных. И все.

Родословные демократических слоев всегда малообследованы. Но следовало как-то подчеркнуть детство, отрочество и юность Горького. Хотя бы привлечением для этой цели бытовых материалов, непосредственно и не относящихся к дому Каширина. Показ быговой обстановки того времени помог бы воссоздать значительно ярче образ молодого Горького.

Рядом с этим стендом волнующая витрина с книгами, которые читал Алексей Максимович в отроческую и юношескую пору.

Обращает на себя внимание макет дома в Тбилиси А. М. Калюжина, у которого жил Алексей Максимович в 1892 году и где написал свой первый чудесный рассказ «Макар Чудра».

Любопытна карта скитаний Горького по Руси 1888 — 1892 годов. Сохранился стол, за которым работал Алексей Максимович с 1896 по 1901 год. Совершенно замечателен скорбный больничный лист 1887 года, когда Горький, отчаявшийся в окружающей мрачной жизни, решил покончить самоубийством, прострелил себе левое легкое и оказался на излечении в Казанской больнице.

Этот скорбный лист еще более становится интересным и трогательным из-за одной детали. Сыновья доктора Плюшкова, который удачно произвел операцию Алексею Максимовичу, через пятьдесят лет после нее прислали в музей фотографию своего отца. Она приколота к «скорбному листу».

Первый зал показывает А. М. Горького в Казани, Нижнем, Тбилиси, Самаре. Тут документы о его нижегородском аресте, об участии в революционных казанских кружках, аресте и заключении А. М. в тбилисском Метехском замке.

Время влияет на людей часто вне зависимости от того, замечают ли они это влияние. На эти мысли наводит смешная, кривая, примитивная палка Алексея Максимовича, с которой он в девятисотых годах ходил по улицам. К палке прикреплена декадентская вьющаяся змея, высунувшая жало. Украшение вполне в стиле эпохи.

Вот серебряные часы, подаренные А. П. Чеховым Алексею Максимовичу в 1899 г. На передней крышке часов надпись: «Максиму Горькому Чехов». И как бы в дополнение к этому «ценному» подарку чудная чеховская «улыбка» — фотографическая карточка, на которой лаконичная подпись: «Доктор Чехов».

Нижегородский «мещанин», приписанный к «малярному цеху», А. М. Горький к 1900 годам — уже на вершине известности и славы. Через два года, в 1902 году, Академия наук избирает нижегородского «простолюдина» академиком.

Может быть, самым забавным экспонатом второго зала является письмо Николая II президенту Академии наук. Жалкий пигмей пишет своему подчиненному, что он возмущен избранием в академики какого-то подозрительного по поведению писателя, не находит ничего особенного в «коротеньких» рассказах этого нового академика и в ужасе восклицает, что новый академик состоит под следствием. Царь не утверждает выборов и приказывает отобрать выданный диплом на звание академика подследственному по политическому делу писателю. Но диплома они так и не получили: великий писатель отказался его выдать. Тогда же он написал на своей фотографии: «Вид носа бывшего академика».

Во втором зале отражены предгрозовые 1901 — 1904 годы. Стоит большой стол, покрытый простым солдатским

сукном. Под стеклом переписанный на машинке экземпляр пьесы «На дне» с собственными чернильными отметками Горького.

Человечески прекрасная интимная подробность. Углы у стола круглые. Они были острыми. Великий художник боялся, что играющий около стола сын Максим может наткнуться на острое: Горький собственноручно закруглил углы в безопасный овал.

В одной из витрин лежит пробитый кинжалом, желтоватый, из коры, с лилей на крышке, портсигар. Дыра зияет страшно. Она могла достаточно свободно пропустить кинжал в смертное тело гения. Портсигар спас. Однажды вечером в 1901 году, на нижегородской набережной к Горькому подошел незнакомец и взмахнул своим подлым оружием. Удар пришелся в портсигар. Горький оказал сопротивление нижегородскому черносотенцу, посланному убить пролетарского трибуна. Возле зловещей реликвии — иронически-спокойное письмо Горького своему издателю Пятницкому. Из письма узнаем, что, презирая самодержавную полицию, Алексей Максимович не пожелал заявить ей о гнусном покушении на него.

В третьем зале выставлен до сих пор неизвестный в горьковской литературе политический скетч, написанный по поводу куцой конституции Николая II. Скетч так и назван «Конституция». Дополнением к нему служат сатирические журналы эпохи 1905 года. На развернутых страницах некоторых из них появился горьковский псевдоним — Иегудил Хламида, под которым писатель вел газетную работу в предреволюционные годы. Годы 1905—1914 довольно полно представлены. Вот девятое января со знаменитым выступлением Алексея Максимовича против расстрелов рабочих масс. Вот Горький в Петропавловской крепости, где он написал пьесу «Дети солнца». Вот декабрьское вооруженное восстание, V Лондонский съезд РСДРП, поездка Горького в Америку, жизнь на Капри.

Приковывает внимание известный снимок, на котором Владимир Ильич, окруженный товарищами, играет в шах-

маты; Алексей Максимович сидит на перильцах террасы и сосредоточенно наблюдает за игрой. Это происходило на каприйской даче великого художника.

Украшением третьего зала надо назвать исключительной силы портрет А. М. Горького, сделанный знаменитым Валентином Серовым. Жаль, что в этой комнате не находится еще репинский портрет. Где он?

В четвертом зале (1914—1921 гг.) — А. М. Горький в годы империалистической войны, в феврале и октябре 1917 года. Нельзя эту комнату назвать удачной. Не чувствуешь в ней грозного и победоносного дыхания Октября. Единственная драгоценность здесь — книга В. И. Ленина «Детская болезнь» «левизны» в коммунизме» (Гос. изд-во. 1920), подаренная Ильичом великому художнику с такой надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу Горькому 18/VI — 1920 от автора».

В пятом зале (1921—1933 гг.) между барельефными портретами Ленина и Сталина хранится орден Ленина, который носил Алексей Максимович на груди. Знаком высшей награды в стране советское правительство отметило сорокалетний юбилей литературной деятельности великого художника. Весь этот зал посвящен неоднократным ежегодным наездам Горького в СССР из Сорренто, где долгие годы вынужден был жить писатель. Состояние здоровья отрывало Алексея Максимовича от своего родного народа. Он этим томился. С наступлением лета в СССР Горький не мог больше оставаться в Сорренто и непременно пускался в нелегкое для него путешествие. Болел здесь. Но, выздоровев, скоро забывал угрозу болезни, чтобы опять повторять объезды различных уголков СССР. В конце-концов великий художник не усидел в Италии и окончательно переехал на родину.

Надо из немногих экспонатов этой комнаты отметить большой чернильный прибор, сделанный палехскими мастерами. Представители народного искусства, хиревшего до Октябрьской революции, стоявшего на грани полного

вымирания, потратили много труда, чтобы сделать подарок, достойный великого сына нашей страны. Палехские мастера с тем большим вдохновением трудились над этой вещью, что знали, как любовно относится великий художник ко всякому проявлению народного творчества. Чернильный прибор палехских мастеров постоянно стоял на письменном столе А. М. Горького.

Седьмой зал — самый слабый во всем музее. А. М. Горький — руководитель советского литературного движения. Без великого художника в эти годы, по возвращении его из-за границы, не обходится ни одно литературное дело. Горький оказывает могучее влияние на всю литературу РСФСР, на национальные литературы. Под его руководством занимает подобающее ей место детская литература. Начинающие писатели находят внимательного, строгого, доброжелательного ко всякому проявлению таланта судью и подлинного литературного отца. А. М. Горький собственной рукой, отрываясь от своего большого и последнего труда — «Клима Самгина», правит тысячи страниц молодых, начинающих авторов. Музей не сумел все это показать. Одна «детская» витринка и витринка работы с начинающими дают хороший материал, но все-таки не отражающий гигантской работы, произведенной великим нашим тружеником. Первый Всесоюзный съезд писателей представлен несколькими десятками фотографий советских писателей. Надо было предельно выделить А. М. Горького. В нынешнем же виде получилось, что в шестом зале плывет многочисленная флотилия из мелких судов, а флагманского судна нет.

В седьмом зале чудесные по исполнению и по краскам акварели художника Корина — интервьюеры комнат Горького в Сорренто, пейзаж Тессели — крымского местопребывания Алексея Максимовича. Трудно только по этому представить себе Алексея Максимовича дома, в его творческом и домашнем быту, а ведь музей заверяет, что этот зал должен показывать великого художника «дома». Огромный стол,

за которым работал А. М. Горький в последние годы, не может заменить всего необходимого для такого показа материала.

Очень неубедителен и скучен зал восьмой.

В десятом зале невольно задерживаются шаги. Смотришь на море книг великого художника, изданных в советское время, и чувствуешь безграничное влияние слова Горького на нашу страну. Вот экспонаты художественного творчества детей. Как на них властно влияли жизнь и произведения пролетарского художника! Вот иллюстрации советских художников к произведениям А. М. Горького. Ни для кого не секрет, кто хоть мало-мальски знаком с историей иллюстрации в России, что вся классическая русская литература в иллюстративном отношении до сих пор представляет буквально непочатый угол. Рисунки Агина, Сапожникова, Боклевского (часто неудачные), Соколова и случайные работы отдельных крупных мастеров — это все. Советские художники с жаром бросились иллюстрировать Горького. Не все тут удачно в художественном отношении, но чрезвычайно показательна количественная сторона.

Последний, одиннадцатый, зал — самый пестрый. Он назван творческой лабораторией А. М. Горького. Одна круглая витрина с текстами обработки повести «Мать» всецело этому соответствует. Это очень хорошо. И долго от нее не можешь оторваться. Люди перед ней стоят и стоят; уходят одни, приходят другие. Эта витрина выполняет большую пропагандистскую работу.

Но странное впечатление производят бюсты Гете и Пушкина в этом зале. Почему выставлены они, а не все другие мировые гении? По мысли музея, они демонстрируют место А. М. Горького в классической мировой и русской литературах. Показывает ли это преемственную связь великого пролетарского художника с ними или не показывает? Думаю, нет. Наоборот, это рассеивает внимание. Нужны какие-то не чисто внешние, а более углубленные методы этого показа. Нужны рукописи Горь-

кого, высказывания художника о классической литературе. Неполно и неярко представлен великий драматург на театре. Значение Горького для советского театра решающее. Такой шедевр советской драматургии, как «Егор Булычев», показан в отдельных кусках.

Кстати надо сказать, что по всем залам музея расставлены макеты театральных постановок горьковских пьес. Чьему вкусу обязан посетитель музея, что хорошие макеты вознесены на безобразнейшие, под красное дерево, огромнейшие тумбы, похожие на какие-то уличные ларьки или на несгораемые шкафы. Право, эти чудовища занимают и много места, и способствуют развитию дурного вкуса.

Раздел «Партия Ленина — Сталина и А. М. Горький» при безграничном материале, который бы мог иллюстрировать эту глубочайшую сердечную связь, разработан недостаточно.

Не место в творческой лаборатории великого художника огромной статуе А. Креницкого, изобразившего А. М. Горького во весь рост. Статуя, представляющая какого-то костлявого, неведомого старика, лишенного всякой мысли, изможденного скелета, — предельно безобразна.

В музее А. М. Горького много замечательного, даже исключительного. Советский народ уже валом валит в него, тысячи граждан уже прошли по этому исключительному по внешнему и внутреннему виду особняку начала XIX столетия. Все замечания о недочетах не умаляют огромной работы, произведенной в чрезвычайно короткие сроки, почти невиданные для устройства новых музеев. Все указанные недочеты легко исправимы. И тогда музей в память величайшего русского художника будет вполне отвечать своим высоким целям и задачам.

# ТРИ КНИГИ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ

К. ГРИШИН

М. И. Калинин. «Что дала Советская власть трудящимся». Партиздат ЦК ВКП(б). Москва. 1937 г. Стр. 32. Цена 15 коп. Тираж 10.000.000.

«Наша Родина». Под редакцией А. Стецкого, С. Ингулова и Н. Баранского. Партиздат ЦК ВКП(б). 1937 г. Стр. 95. Цена 85 коп. Тираж 4.000.000.

«СССР и страны капитализма». Под редакцией А. Стецкого, Л. Мехлиса, Е. Варга и В. Карпинского. Партиздат ЦК ВКП(б). 1937 г. Стр. 80. Цена 50 коп. Тираж 2.000.000.

Эти три книги объединяет одна большая тема — тема социалистической родины. «Рабочие не имеют отечества» — писали в свое время в «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс. Теперь рабочие и трудящиеся одной шестой части мира имеют свое могучее социалистическое отечество — Советский Союз.

Чувство социалистической родины — сильнейшее чувство, объединяющее миллионы и являющееся источником силы, доблести и героизма. Советский патриотизм, воспетый лучшими советскими поэтами — Маяковским, Багрицким, Д. Бедным, Джамбулом, пронизывает эти три книги.

Родину нужно не только любить, но и знать, — знать ее историю, государственную структуру, экономику, культуру, ее место и значение в мировом хозяйстве, в мировой политике.

В рецензируемых книгах правдиво и просто нарисована картина «убогой и обильной» дореволюционной России, которая была, по словам Ленина, «невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки».

Чай в царской России был китайский, сукно — английское, спички — шведские, машины — немецкие, сыр — голландский, ружья — бельгийские, замки — французские, апельсины — итальянские и т. д. Россия ввозила все: от паровозов до булавок, от ткацких станков до жести для консервных банок.

В книге «Что дала Советская власть трудящимся» товарищ М. И. Калинин приводит живые, убедительные, основанные на личном опыте, примеры фабричной каторги, на которую были обречены трудящиеся массы в царской России.

«Это было сравнительно недавно, — вспоминает М. И. Калинин. — Я еще захватил время, когда работа на заводе начиналась в 6 часов утра и кончалась в 6 часов вечера при полуторачасовом перерыве на обед. На фабриках работа начиналась в 5 часов утра и кончалась в 8 часов вечера при двухчасовом перерыве на обед и завтрак. Рабочие в своем большинстве жили в общежитиях барачного типа.

Жизнь рабочего была крайне примитивной; изнурительно длинный рабочий день, плохие квартирные условия были уделом русского рабочего. Почти все

свободное время рабочие вынуждены были проводить в трактирах, пивных и чайных. Заработок рабочего был настолько низок, что его едва хватало для поддержания полунисенского существования рабочей семьи. На Прохоровской мануфактуре в Москве, где заработная плата была наиболее высокой, она в среднем равнялась 20 руб. 50 коп. в месяц. Почти на каждом предприятии в то время применялась издевательская система штрафов. На той же Прохоровской мануфактуре рабочих штрафовали:

- за безобразие — 50 копеек,
- за оставление у себя для ночлега без позволения конторы — 50 копеек,
- за проход в нижние ворота — 50 копеек,
- за отлучку со двора — 50 копеек,
- за раннее вставание — 50 копеек.

Некоторые «богомольные» фабриканты штрафовали рабочих и «за нехождение в церковь».

Со страниц этих трех рецензируемых книг во всей убогости и неприглядности встает старая деревня — с ее сохой и трехполкой, с цынгой и сивухой, с церковным звоном и знахарством, с «красным петухом» и урядником.

«Большая часть земли, — читаем в книге «СССР и страны капитализма», — находилась в руках дворян-помещиков, церкви, царя, буржуазии. Коупнейших помещиков, имеющих свыше 500 десятин земли, было около 30 тысяч, земли у них было около 70 миллионов десятин. В то же время около 10 миллионов беднейших крестьянских дворов имели тоже 70 миллионов десятин земли. У каждой крестьянской семьи было около 7 десятин, а у каждого крупнейшего помещика — около 2.300 десятин. Крупнейшие помещики-дворяне владели огромным количеством земли. Граф Бобринский владел 60 тысячами десятин, Рукавишников — свыше 800 тысяч десятин, Голицын — свыше миллиона десятин.

Сельскохозяйственные машины были только у помещиков и кулаков. Соха была главным орудием производства. Каждый третий крестьянин не имел лошади. Хлеба крестьянам хватало обыч-

но лишь до весны. Нищета, помещичья и кулацкая кабала царили в деревне».

Дореволюционная Россия, по выражению Ленина, была «тюрьмою народов». Царские власти широко применяли лозунг: «Разделяй и властвуй», натравливая один народ на другой.

В книге М. И. Калинина «Что дала Советская власть трудящимся» приводится гнусное по своему цинизму объяснение царской национальной политики, данное генералом Куропаткиным:

«В 1904 г. во время проезда царского министра Куропаткина на Дальний Восток делегация бурят-монгол подала ему жалобу на произвол местных властей. В ответ на эту жалобу Куропаткин заявил делегации следующее: «Имейте в виду, что, если ваш народ поведет себя худо, отвечать будете вы. Если же, от чего избави бог, вздумает ваш народ проявить какую-либо вольность, сопротивляться велениям государя, тогда знайте, что вы будете моментально стерты с лица земли. От вас не останется и следа. Вот смотрите, сколько здесь русских войск, а их можно достать сотни тысяч, и вы в один миг будете раздавлены и уничтожены. Требовать вы ничего не должны. Вы можете лишь просить милостыню».

В книге «СССР и страны капитализма» рассказывается о том, что ужасы, которые пережили народы России за 51 месяц империалистической войны 1914—18 гг., являлись прямым следствием того, что царь, помещики и фабриканты хотели захватить Константинополь, Галицию и установить господство на Балканах.

Все, что говорится в этих книгах о социалистической родине, тем более убедительно, что читатель имеет возможность сравнить цифры, факты, документы двух миров, двух систем — капиталистической и социалистической.

На развалинах Российской империи, бывшей «тюрьмой народов», создан многонациональный Союз Советских Социалистических Республик, созданы могучая индустрия, крупные промышленные оча-

ги, мощное социалистическое земледелие, замечательные кадры рабочих-стахановцев, инженеров, техников, организаторов колхозного земледелия. Об этом прекрасно поет 92-летний казахский певец-импровизатор, орденоносец Джамбул:

Бледны и бессильны слова у певцов.  
 Пред нами одиннадцать стран-близнецов, —  
 И счастлив, и радостен каждый близнец.  
 Их мать — Конституция, Сталин — отец.  
 Их Сталин лелеет, растит и ведет.  
 Великое братство народов цветет.  
 На черную зависть и злобу врага  
 Священная дружба народов крепка.  
 Как клятва над Ленинским гробом — крепка.  
 Как в Арктике льды и сугробы — крепка.  
 Как Сталина светлая слава — крепка.  
 Как скалы вершин Ала-Тау — крепка.

В течение двух сталинских пятилеток в нашей стране произошли величайшие изменения. Страна преобразилась.

Уже в течение первой пятилетки была осуществлена индустриализация страны. В деревне поднялась волна коллективизации, середняк стал на путь социализма, массаи пошел в колхозы. Капиталистические элементы были почти полностью вытеснены из промышленности и торговли. В сельском хозяйстве была проведена на основе сплошной коллективизации ликвидация кулачества как класса. Таким образом, в течение первой сталинской пятилетки в СССР был построен фундамент социалистической экономики.

Во второй пятилетке в СССР продолжалось строительство социализма. В итоге второй пятилетки в СССР бесспорно победил социализм. В СССР победила общественная, социалистическая форма собственности на средства и орудия производства, окончательно уничтожены эксплуататорские классы, осуществлено плановое социалистическое хозяйство, обеспечивающее неуклонный подъем материального и культурного уровня трудящихся, устраняющее возможность кризисов, безработицы, нищеты масс.

Строительство социализма в СССР было встречено бешеным сопротивлением подлейших врагов народа — троцкистско-зиновьевских и бухаринских бандитов, наймитов фашистских разве-

док. Партия, под руководством товарища Сталина, разгромила вражеские банды — троцкистов и зиновьевцев, бухаринцев и рыковцев — вредителей и шпионов.

В СССР осуществлена самая последовательная, самая широкая в мире социалистическая демократия. Все эти завоевания записаны в Великой Сталинской Конституции. Граждане СССР идут на выборы в Верховный Совет Союза с гордым сознанием, что дело Ленина и Сталина победило.

Три книги о родине, своевременно изданные Партиздатом, помогут миллионам избирателей уяснить себе все величие происшедших в стране перемен и отдать голоса за тех, кто ведет страну от победы к победе.

Перед читателями этих книг встают люди Страны Советов — партийные и непартийные большевики, стахановцы, летчики, герои-пограничники, зимовщики Арктики, женщины, сбросившие чачван и паранджу.

Вот она, непобедимая гвардия социалистического государства, знатные люди Советского Союза:

Донецкий забойщик Алексей Стаханов, добившись в 1935 году превышения обычной нормы добычи угля в 14,5 раза, положил начало массовому движению рабочих и колхозников за новые производственные достижения. Кузнец Бусыгин на автозаводе имени Молотова в Горьком, вичугские ткачихи Маруся и Дуся Виноградовы, железнодорожный машинист Кривонос, перетяжчик обувной фабрики «Скорход» Сметанин, рамщик архангельского лесопильного завода Мусинский, колхозница-свеклоробка Мария Демченко, трактористка Паша Ангелина, — все они показали, каких высот производительности труда могут достигнуть советские люди, овладевшие социалистической техникой.

«Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» — эта сталинская формула раскрывается и в росте валовой продукции, и в неуклонном увеличении зарплаты, и в песнях и красках народных карнавалов, и в переполненных театрах.

Книги эти показывают читателю рост новой культуры.

«Культурное строительство в нашей стране, — читаем в книге «Наша Родина», — идет бурно на под'ем. В отличие от буржуазных стран в СССР с каждым годом возрастает количество учащихся. Во Франции, Англии, Германии число учащихся в школах ниже, чем до войны, — во Франции на 5%, в Англии — на 7%, в Германии — на 14%. А в СССР число учащихся выше, чем до войны, на 202%. Советское государство тратит на народное образование в 100 раз больше, чем тратила царская казна в 1913 г.»

М. И. Калинин напоминает о недавно прошедших в Москве декадах искусства Украины, Казахстана, Грузии, Узбекистана, продемонстрировавших расцвет национального по форме и социалистического по содержанию искусства. Расцвет творческих сил страны, проявление народного гения ощутимы во всех областях жизни — в производстве, в искусстве, в художественной самодеятельности, в спорте, в авиации.

Перед читателем рецензируемых книг встают светлые образы гигантов советской науки — Павлова, Циолковского, Карпинского, Мичурина, а за ними образы тех, кто сдружил знание и отвагу, науку и большевистскую волю, — Шмидта, Чкалова, Байдукова, Беякова, Громова, Папанина, — и всей блестящей плеяды Героев Советского Союза.

В книгах рассказывается об одиннадцати равноправных советских республиках многонационального Советского Союза, где живет свыше 175 народов. Большой и разносторонний материал, привлеченный в эти книги, прекрасно иллюстрирует слова товарища Сталина:

«Мы имеем теперь вполне сложившееся и выдержавшее все испытания многонациональное социалистическое государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части света».

Советский Союз обладает самой могучей, вооруженной передовой техникой армией. Непобедимая Красная армия стоит на страже границ Советского Союза, готовая в любой момент ответить сокрушительнейшим ударом на удар фашистских поджигателей войны.

Дополняющие друг друга три книги о социалистической родине являются ценным подарком многомиллионному советскому читателю.

Книга М. И. Калинина, это — разговор по душам со всем 170-миллионным населением многонационального Советского Союза. Переведенная на языки народов СССР, книга М. И. Калинина звучит одинаково убедительно во всех одиннадцати советских республиках. Сила этой книги — в ее покоряющей простоте, глубине анализа, наглядной убедительности примеров, политической страстности, железной большевистской логике.

Книга «Наша Родина», написанная ярко и просто, показывает страну победившего социализма, ее индустрию и социалистическое земледелие, новых людей и новую технику, под'ем культуры и расцвет искусства, дружбу и братство народов, военное могущество Советского Союза.

Книга «СССР и страны капитализма» показывает страну социализма в ее соревновании со странами капитала. В этой книге без прикрас показано капиталистическое окружение Страны Советов — унижение рабочих и крестьян в капиталистическом мире, черная чума фашизма, подготовка фашистами новой войны.

На этом зловещем фоне показан СССР — страна победившего социализма, ее государственный строй, могучий расцвет ее сил.

Все эти три замечательные книги должен прочесть каждый гражданин Советского Союза.



**Сулейман Стальский**  
**(1869—1937)**

## Сулейман из аула Ашага-Сталь

Умер Сулейман Стальский. Осиротела народная песня. На празднике советских народов его голос замолк, как порванная струна. С сознанием громадной утраты мы обнажаем головы перед могилой великого певца из аула Ашага-Сталь.

Народная песня — самое правдивое зеркало народного бытия. Ее слова и мелодия, сплетенные воедино безошибочным поэтическим чутьем, остаются в веках как самая емкая и непосредственная летопись народа, его действительности и его героических свершений. Она бывает суровой, когда народ в тишине копит свои силы и ярость к предстоящим боям за свое благо. Она становится грозной и пламенной в кануны решающих столкновений с врагом. Но песен радостных, исполненных глубокого сознания своего единства, песен осуществленной победы народы вчерашнего мира еще не пели никогда.

Оглянемся! Песни старой России — скорбная книга народной судьбы, и отражено народное горе даже в самых веселых из них. Они, как вздох, как стон, как крик в ночи. Крепостная участь и рекрутчина, батрацкая неволя и женская доля, поруганная любовь и сиротское одиноче-

ство — вот постоянные темы прежней народной поэзии. Они изменились лишь со времени великого октябрьского перелома в истории мира. Советские народы, делая мировой почин, взяли свою судьбу в свои собственные руки. В поникший, было, за годы реакции парус народной песни ударил грозный ветер революции, и песня приобрела новые формы и голос, еще неслыханный дотоле. Ее ритм крепнет, ее дыхание убыстряется. Вместе с новым содержанием в нее вливается новое, действенное назначение. Она становится пламенным тезисом наших великих завоеваний. Теперь она — как путевка в счастье.

Из боевых рядов народа, сознавшего свое могущество и объединившего свою волю в могучем слове Сталин, вышли новые певцы. Они кажутся исполинами, как все те, кто заслужил свое право говорить от лица народа. Их головы седые, но какой неистребимой юности полны их сердца! Глубокий смысл заключен в самом их возрасте, и это не только зрелость поэтического дарования, помноженного на мудрость. Все эти люди помнят те исходные точки, от которых начала свое победоносное шествие в коммунизм семья советских народов. В дореволюционное время они испытали на себе всю тяжесть рабского ярма.

Их гений получил жестокою жизненную закалку; бесправие и безысходная нищета взрастили мужество и разящую силу их стихов. Они полностью познали участь дореволюционного поэта — и «рубище певца, и гонение дикого неведжды», как определил ее сто лет назад национальный русский гений — Пушкин. И первое место в этой блестящей плеяде народных певцов, без сомнения, принадлежит Сулейману Стальскому.

Счастливым потомкам, которые понесут песни Сулеймана в будущие бои за коммунизм, следует знать главные этапы этой поучительной биографии. Мать родила его в хлеву. Нужда была его первой нянькой. Злая мачеха, понятие тоже достаточно известное из народных песен, омрачает детство поэта. Беспризорные годы скитаний, и родная земля не может накормить досыта своего будущего гения. В тринадцать лет он работник дербентского богача. Он чистит его двор, рубит ему дрова, холит его виноградники, разбросанные на три версты. Нищий, он возвращается в родной аул. Поденная работа у соседей. Отъезд в Гянджу на английскую концессию. Два страшных года на плантации, малярия и голод. Сулейман бежит, и нищета следует за ним по пятам. Самарканд: Сулейман—чернорабочий в депо. Два года спустя он в числе других безвестных тружеников строит мост на Сыр-Дарье. Потом еще два года впроголодь на нефтяных бакинских промыслах. Ему уже тридцать, пора обзаводиться семьей, пора домой, в родной аул, но снова пусты карманы будущего дагестанского поэта. Женильба на такой же беднячке, как он сам. Он живет в сакле, сложенной его руками, и батрачит у богачей. Однажды случай сводит его с бродячими ашугами, и отныне Сулейман вступает в их семью. Но поэтическое ремесло ашуга

становится у него призванием всей жизни. Он поет о несправедливости и угнетателях, и вот боевую песню молодого ашуга с бранью и поношением ведут сквозь строй. Издеательства из лагеря врагов и угрозы тюремного заключения не в состоянии сломить мужество поэта. Его поэтическая слава среди бедняков растет. И вот когда приходит оно, желанное, выстраданное признание народа!

Революция — и безвестный дотеле поэт становится государственным деятелем. Он приезжает в столицу, он делегат с'езда писателей, он рапортует всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинин о достижениях своей страны за пятнадцать лет. Наконец — его встреча с товарищем Сталиным на одном из всесоюзных совещаний. Отныне его приподнятая, взволнованная речь украшает многие конференции и с'езды. Народ аплодирует своему избраннику. Его знают в лицо; знают его походку, его жест, его суровую горскую одежду с орденом Ленина на ней. Его голос становится слышным далеко за пределами родного Дагестана. «Песню о Сталине» и «Поэму о Серго», где с предельной ясностью и искренностью сконцентрирована преданность народа великому вождю, тысячеусто повторяют все, кто в поэзии видит прежде всего неисчерпаемый арсенал нашего победного оружия. Героическая монолитность и сдержанное изящество его стиха рождает к жизни все новых и новых народных певцов. На этом своеобразном митинге народной поэзии он всегда оставался победителем Сулейман из Ашага-Сталь.

У древних римлян в слове поэт заключалось, кроме того, и значение пророка. В этом тесном сочетании двух значений заложена была вся требовательность народа к высоким носителям по-

этического искусства. Сегодня слово поэт неотъемлемо связано с понятием воина, оружием которому в боях за коммунизм служит литература. Основное условие его успеха — беззаветная преданность делу трудящихся и молодость, молодость... И если только слово это означает прежде всего радостное сознание, как много еще жить впереди, как много делать, одолевая и не испытывать усталости, — то какой пламенной молодости было исполнено сердце это-

го скромного и большого человека!

Он умер шестидесяти восьми лет. Смерть оборвала его песню на полуслове. Пусть ее продолжат достойные наследники Сулеймана. Пусть она сопровождает нас в наших будущих походах. Пусть ее повторяют все, неся в своем сердце Сталинскую Конституцию, — лучший из гимнов, которые на протяжении веков, как знамя, поднимало трудящееся человечество.

---

Редколлегия: **Ф. В. Гладков.**  
**Л. М. Леонов.**  
**А. Г. Малышкин.**  
**В. П. Ставский.**

Ответственный редактор **В. П. Ставский**

---

Издательство: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»

Адрес редакции: Москва, 6, площадь Пушкина, дом 5.

# ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1938 г.

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ

## Ж У Р Н А Л Н О В Ы Й М И Р

(14-й ГОД ИЗДАНИЯ)

В 1938 году в «НОВОМ МИРЕ» БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:  
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПОЭМЫ, ПЬЕСЫ, РАССКАЗЫ:

- |  |  |
|--|--|
| Д. БЕДНЫЙ — Петербургская Вене-<br>ра, поэма.                                      | А. МАЛЫШКИН — Люди из захо-<br>лустья, роман, кн. 2-я.               |
| В. ГЕРАСИМОВА — Новая повесть  | А. НОВИКОВ -ПРИБОЙ.<br>Капитан 1-го ранга, роман.<br>Новые рассказы. |
| Ф. ГЛАДКОВ.<br>Энергия, роман, кн. 4-я. Детство,<br>автобиографическая повесть.    | П. НИЛИН — Все впереди, роман.                                       |
| С. ДИКОВСКИЙ — Новые рассказы.   | Б. ПАСТЕРНАК — Новый роман.  |
| ВС. ИВАНОВ.<br>Чудо Бранденбургского дома<br>(историч. повесть).<br>Кремль, роман. | К. ПАУСТОВСКИЙ — Северное лето,<br>повесть.                          |
| АЛ. КАРЦЕВ — Созидатели, роман.  | Г. САННИКОВ — Двадцатилетие,<br>поэма.                               |
| ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Новые рас-<br>сказы.   | И. СЕЛЬВИНСКИЙ — Челюскиннана,<br>поэма, окончание.                  |
| А. КОРНЕЙЧУК — Богдан Хмель-<br>ницкий, пьеса.                                     | К. ФЕДИН — Новый роман.  |
| БОРИС ЛЕВИН — Новая повесть.   | МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Ленин,<br>роман.                                  |
| Л. ЛЕОНОВ — Новая повесть.   | МИХ. ШОЛОХОВ.<br>Тихий Дон, окончание.<br>Поднятая целина, кн. 2-я.  |
| В. ЛИДИН — Новые рассказы.   |  |

В журнале печатаются многокрасочные вкладки — репродукции лучших образцов советской живописи.

Подписная цена на 1938 год:

Б Е З П Е Р Е П Л Е Т А					В П Е Р Е П Л Е Т Е				
12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.	12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
36 р.—	27 р.—	18 р.—	9 р.—	3 р.—	60 р.—	45 р.—	30 р.—	15 р.—	5 р.—

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:** Главной конторой Издательства «Известия Пушкина, отделениями Издательства «Известия» в г. Ленинграде — Проспект 25 Октября, д. 10 и в г. Киеве — ул. Ленина, 30 а также: «Союзпечатью» всеми почтовыми конторами, письмовоцами книжными магазинами Когиза, сборщиками подписки на предприятиях и на транспорте.

# ЛИТЕРАТУРА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ИЗДАНИЯ ПАРТИЗДАТА ЦК ВКП(б)

**СТАЛИН, И. В.** Доклад о проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 1937. Стр. 76. Ц. 30 к., в пер. 70 к.

**О КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР.** 1937. Стр. 72. Ц. 30 к., в пер. 65 к. Сборник материалов.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.** 1937. Стр. 16. Ц. 10 к.

**МОЛОТОВ, В. М.** Конституция социализма. Речь на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде советов 29 ноября 1936 г. Стр. 40 + 1 портрет. Ц. 10 к.

**МОЛОТОВ, В. М.** К двадцатилетию Октябрьской революции Доклад на торжественном заседании в Большом театре 6 ноября 1937 г. Стр. 39. Цена 15 коп.

**КАЛИНИН, М. И.** Положение о выборах в Верховный Совет Союза ССР и задачи советов. 1937. Стр. 16. Ц. 10 к.

**КАЛИНИН, М. И.** Что дала советская власть трудящимся. 1937. Стр. 36. Ц. 15 к.

**ЖДАНОВ, А. А.** Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной системе и соответ-

ствующая перестройка партийно-политической работы. Доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 г. Стр. 45. Ц. 30 к.

**20 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.** Статистический сборник. (Цифровой материал для пропагандистов). 1937. (Центр. управл. народнохозяйственного учета Госплана СССР). Стр. 110. Ц. 50 к., в пер. 80 к., 1 р. 25 к. и 1 р. 75 к.

**НАША РОДИНА.** Под ред. А. Стецкого, С. Ингулова и Н. Баранского. 1937. Стр. 87 + 1 карта. Ц. 50 к., в бум. пер. 85 к., в кол. пер. 1 р. 25 к.

**СССР и СТРАНЫ КАПИТАЛИЗМА.** Под ред. А. Стецкого, Л. Мехлиса, Е. Варга и В. Карпинского. 1937. Стр. 84. Ц. 50 к., в пер. 80 к. и 1 р. 25 к.

**ВЫШИНСКИЙ, А. Я.** Положение о выборах в Верховный Совет СССР. В вопросах и ответах. 1937. Стр. 56. Ц. 25 к.

**СТЕЦКИЙ, А. И.** Сталинская Конституция — воплощение идей Ленина. 1937. Стр. 37. Ц. 20 к.

**БУДЕННЫЙ, С. М.** Боец-гражданин. 1937. Стр. 31. Ц. 15 к.

**КАРПИНСКИЙ, В.** Жизнь рабочих и крестьян раньше и теперь, у нас и за границей. 1937. Стр. 63. Ц. 35 к.

## П Л А К А Т Ы

**КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.** 1937. Цена 50 коп.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.** 1937. Цена 15 коп.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ КОГИЗА, ПАРТИЗДАТА, СОЮЗПЕЧАТИ, ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И У ПОЧТАЛЬОНОВ, В РАЙКУЛЬТМАГАХ И ЛАВКАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.

**СМОТРИТЕ!  
СЛУШАЙТЕ!**

**БОЛЬШОЙ ЗВУКОВОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИКО-  
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  
Ф И Л ь М**

Автор сценария  
**А. КАПЛЕР**

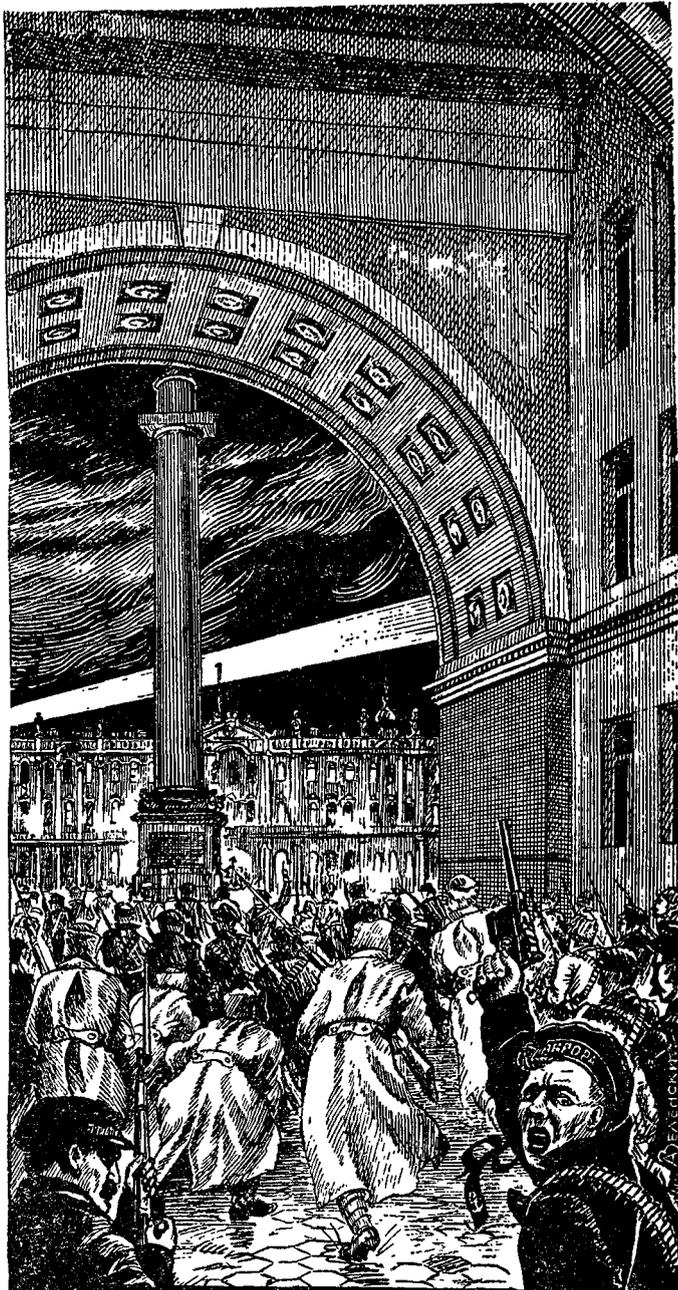
Режиссер  
**Михаил РОММ**

Композитор  
**Анастасий АЛЕКСАНДРОВ**

Гл. оператор  
**Б. ВОЛЧЕК**

**В ГЛАВНОЙ РОЛИ**

Нар. арт. СССР  
**Б. В. ЩУКИН.**



# ЛЕНИН В О К Т Я Б Р Е

ПРОИЗВОДСТВО  
*«Мосфильм»*